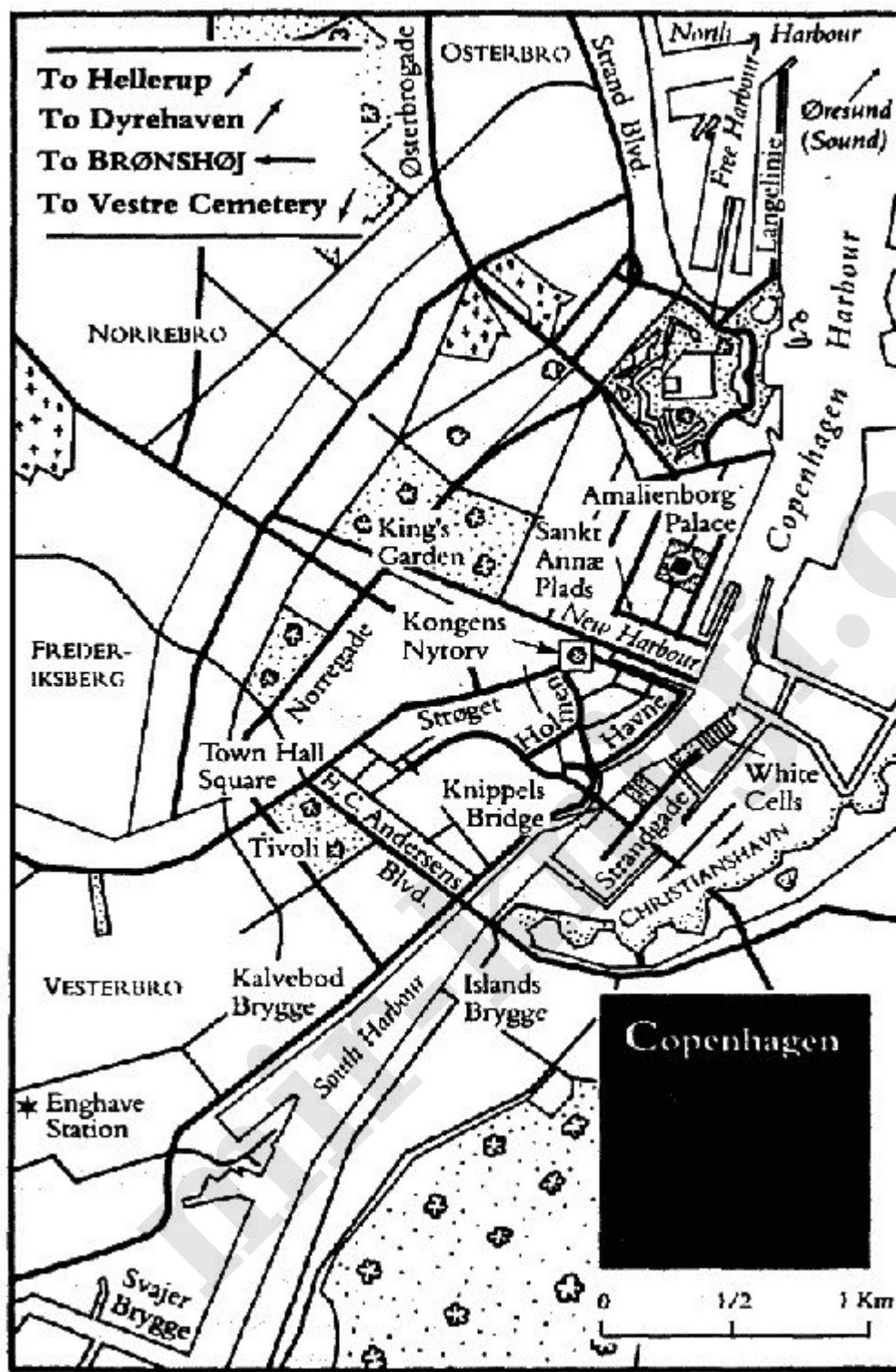




"Фрекен Смила и её чувство снега"

**Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org**



ГОРОД

I

1

На улице необычайный мороз — минус 18 градусов по Цельсию, и идет снег, и на том языке,

который больше уже не является моим, такой снег называется qanik — большие, почти невесомые кристаллы, которые всё падают и падают, покрывая землю слоем белого порошка.

Декабрьская тьма поднимается из могилы, которая кажется необъятной, как и небо над нами. В этой тьме наши лица — лишь слабо светящиеся диски, но, тем не менее, я чувствую, с каким неодобрением священник и служитель относятся к моим черным чулкам в сеточку и к причитаниям Юлианы, которые усугубляются тем, что утром она приняла таблетку антабуса и теперь встречается горе почти в трезвом виде. Им кажется, что мы с ней не проявили уважения к погоде и к трагическим обстоятельствам. А на самом деле и нейлоновые чулки, и таблетки по-своему воздают должное и холоду, и Исайе.

Женщины вокруг Юлианы, священник и служитель, все они — гренландцы, и когда мы поём Guutiga, illimi “Ты, мой бог”, и когда ноги Юлианы подкашиваются и она всё сильнее и сильнее начинает рыдать, и когда священник говорит на западно-гренландском, опираясь на любимое моравскими братьями место из апостола Павла об очищении кровью, то, забывшись на мгновение, можно подумать, что ты в Упернавике, или Хольстейнсборге, или Кваанааке.

Но высоко в темноту, словно борт корабля, поднимаются стены тюрьмы Вестре — мы в Копенгагене.

Гренландское кладбище — это часть кладбища Вестре. За гробом Исайи движется процессия — знакомые, поддерживая, ведут Юлиану, за ними следуют священник и служитель, механик и маленькая группа датчан, среди которых я узнаю только попечителя и ассессора.

Священник говорит что-то, наводящее на мысль, будто он действительно должен был знать Исайю, хотя, насколько мне известно, Юлиана никогда не ходила в церковь.

Потом его голос перестает быть слышен, потому что теперь все жен-шины плачут вместе с Юлианой.

Собралось много людей, может быть, человек двадцать, и теперь они целиком отдаются горю, словно погружаются в черную реку, уносящую их своим течением, и никто посторонний не может понять этого, никто, если только он не вырос в Гренландии. Но, может быть, даже и этого недостаточно. Ведь и я не могу разделить это с ними.

Я первый раз внимательно смотрю на гроб. Он шестиугольный. Такую форму в какой-то момент приобретают кристаллы льда.

Вот его опускают в могилу. Гроб сделан из темного дерева, он кажется таким маленьким, и на нем уже слой снега. По размеру снежинки как маленькие перышки, да и сам снег такой же — он вовсе не обязательно холоден. В этот час небеса оплакивают Исайю, и слезы превращаются в снежный пух, покрывающий его. Это вселенная прячет его под перину, чтобы ему никогда больше не было холодно.

В ту минуту, когда священник бросает горсть земли на гроб, когда мы должны повернуться и уйти, наступает тишина, которая кажется бесконечной. В этой тишине умолкают женщины, никто не двигается, это как будто затишье в ожидании того, что что-то произойдет. Мое сознание отмечает две вещи.

Первое — это то, что Юлиана падает на колени и опускает лицо к земле, и женщины не останавливают ее.

Второе событие происходит внутри, во мне — это рождается понимание.

У нас с Исайей, должно быть, навсегда был заключен серьезный договор о том, чтобы не оставлять его в беде, никогда, даже сейчас.

2

Мы живем в “Белом Сечении”. <Так в Дании называется лоботомия — операция по иссечению лобных долей человеческого мозга с целью лечения людей, страдающих психическими заболеваниями. Считается, что излечение сопровождается изменениями личности, в частности, наносится ущерб эмоциональной сфере человека, появляется безволие и апатия (прим пер.)>

На полученном безвозмездно участке земли жилищно-строительный кооператив воздвиг несколько блочных коробок из белого бетона, за которые он получил премию от “Общества по украшению столицы”.

Все это, в том числе и премия, производит жалкое и убогое впечатление, однако плата за квартиру составляет вовсе не безобидную сумму, она столь велика, что здесь могут жить лишь такие люди, как Юлиана, за которых платит государство, или механик, которому пришлось согласиться на то, что удалось найти, или еще более маргинальные существа вроде меня. Так что название квартала, хотя и обидно для нас, живущих здесь, но, тем не менее, в целом оправданно.

Есть причины, заставляющие человека переезжать на новое место, и есть причины, которые заставляют его оставаться там, где он живет. Со временем вода стала иметь для меня большое значение. “Белое Сечение” выходит прямо на копенгагенскую гавань. Этой зимой мне удалось увидеть, как образуется лед.

Мороз начался в ноябре. Я испытываю уважение к датской зиме. Холод — не тот, который можно измерить, не тот, который показывает термометр, а тот, который чувствуешь, — зависит скорее от силы ветра и влажности воздуха, чем от того, какой на самом деле мороз. В Дании я мерзла сильнее, чем когда-либо в заполярном Туле. Когда первые ливни начинают хлестать меня и ноябрь мокрым полотенцем по лицу, я готова их встретить — в меховых сапогах, рейтузах из “альпаки”, длинной шотландской юбке, свитере и накидке из черного “гортекса”.

И вот температура начинает падать. В какой-то момент на поверхности моря она достигает минус 1,8 градусов Цельсия, и образуются первые кристаллы, недолговечная пленка, которую ветер и волны разбивают, превращая в ледяную крошку и создавая вязкую массу, называемую ледяное сало — grease ice, из нее в свою очередь возникают отдельные льдинки — блинчатый лед — pancake ice, который однажды в холодный воскресный день смерзается монолитным слоем.

И становится холоднее, и я радуюсь, потому что знаю — теперь мороз уже взял свое, теперь лед никуда не денется, теперь кристаллы образовали мосты и заключили соленую воду в полости, напоминающие своей структурой прожилки дерева, по которым медленно течет жидкость. Об этом задумываются немногие из тех, кто обращает взгляд в сторону Хольмена, но это подтверждает мысль, что между льдом и жизнью много общего.

Лед — это первое, что я обычно ищу глазами, когда поднимаюсь на мост Книппельсбро. Но в тот декабрьский день я замечаю нечто другое. Я вижу свет.

Он желтый, каким почти всегда бывает зимой свет в городе. Выпал снег, так что хотя свет и очень слабый, он усиливается, отражаясь от снега. Он виден на тротуаре рядом с одним из тех пакгаузов, которые не решились снести, когда строили наши дома. У стены здания, выходящей на Странгаде и Кристиансхаун, мигает вращающийся голубой сигнал патрульной машины. Я вижу полицейского. Временное ограждение, сделанное из красно-белой ленты. Ближе к стене дома я замечаю то, что огорожено, — маленькую темную тень на снегу.

Из-за того, что я бегу, и из-за того, что только пять часов, и на улицах еще много машин, я успеваю за несколько минут до появления машины скорой помощи.

Исайя лежит, подобрав под себя ноги, уткнувшись лицом в снег и закрыв голову руками так, будто он заслоняет глаза от освещающего его маленького прожектора, словно снег — это оконное стекло, через которое он увидел что-то глубоко под землей.

Полицейскому наверняка следовало бы спросить меня, кто я, записать мою фамилию и адрес, и вообще, подготовить все для тех его коллег, которые скоро займутся расследованием. Но это молодой человек с болезненным выражением лица. Он старается не смотреть на Исайю. Убедившись, что я не переступаю через его ленту, он перестает обращать на меня внимание.

Он мог бы огородить и больший участок. Но это бы ничего не изменило. Пакгаузы перестраивают. Люди и машины так сильно уплотнили снег, что он стал похож на каменный пол.

Даже мертвым Исайя кажется каким-то отстраненным, будто не хочет, чтобы к нему чувствовали сострадание.

В вышине, над светом прожектора, виднеется конек крыши. Здание пакгауза высокое, должно быть высотой с семи-восьмизэтажный дом. Примыкающий к пакгаузу дом ремонтируют. Фасад, выходящий на Странгаде, весь в лесах. Туда я и направляюсь, в то время как машина скорой помощи переезжает через мост и скрывается среди домов.

Леса закрывают всю стену дома до самой крыши. Нижняя лестница опущена. Чем выше я поднимаюсь, тем более непрочной кажется вся конструкция.

Крышу перестраивают. Надо мной возвышаются треугольные стропила, покрытые брезентом. Они закрывают только половину площади крыши. Вторая половина, обращенная к гавани, представляет собой ровную поверхность, покрытую снегом. На ней видны следы Исайи.

Там, где начинается снег, на корточках, обхватив руками колени и раскачиваясь взад и вперед, сидит человек.

Даже в такой сторбленной позе механик кажется большим. И даже в полном отчаянии, он кажется сдержанным.

На крыше очень светло. Несколько лет назад под Сиорапалуком измеряли освещенность. С декабря по февраль, в течение трех месяцев, когда нет солнца. Кажется, что там должна быть вечная ночь. Но есть луна и звезды, а иногда и северное сияние. И снег. Было зарегистрировано такое же количество люксов, как и в Дании под Сканерборгом. Таким я и помню свое детство. Мы всегда играли на улице, и всегда было светло. То, что было светло, казалось тогда совершенно естественным. Ребенку многое кажется естественным. И только с годами начинаешь удивляться.

Меня, во всяком случае, поражает то, как освещена крыша передо мной. Как будто один лишь снег, лежащий слоем сантиметров в десять, был источником зимнего дневного света, до сих пор теплящегося в сиянии множества огоньков, похожих на мелкий, сероватый, сверкающий жемчуг.

У земли даже при сильном морозе снег всегда немного подтаивает из-за излучаемого городом тепла. Но здесь, наверху, он рыхлый, каким бывает, когда только что выпал. Только Исая ступал по нему.

Даже когда нет тепла, нет свежавыпавшего снега, нет ветра, даже тогда снег меняется. Как будто он дышит, как будто он уплотняется и поднимается, оседает и распадается на части.

Он и зимой ходил в кедах, и это его следы, отпечатки стертой подошвы его баскетбольных ботинок с едва заметным рисунком концентрических окружностей в той части подошвы, на которой спортсмен делает поворот.

Он вышел на снег в том месте, где мы стоим. Следы идут под уклон к краю крыши и тянутся дальше вдоль края на протяжении метров десяти. Здесь они останавливаются. Чтобы затем повернуть к углу и торцу дома. Там они идут примерно на расстоянии полуметра от края до угла, напротив которого другой пакгауз. Оттуда он отошел вглубь метра на три, чтобы разбежаться. Потом следы ведут прямо к краю, где он сорвался.

Противоположная крыша покрыта черной, глазированной черепицей, которая ближе к желобу обрывается так круто, что снега на ней нет. Ухватиться было не за что. Получается, что он с таким же успехом мог прыгнуть прямо в пустоту.

Кроме следов Исая, других следов нет. На покрытой снегом поверхности не было никого, кроме него.

— Я нашел его, — говорит механик.

Мне никогда не привыкнуть к тому, как плачут мужчины. Возможно, потому что я знаю, как губительно действуют слезы на их чувство собственного достоинства. Возможно, потому что слезы так непривычны для них, что всегда переносят их назад в детство. Механик в таком состоянии, что уже не вытирает глаза, его лицо — сплошная слизистая маска.

— Сюда кто-то идет, — говорю я.

Два появившихся на крыше человека не испытывают восторга при виде нас.

Один из них тащит фотооборудование и совсем запыхался. Другой несколько напоминает мне вросший ноготь. Плоский, твердый и полный нетерпеливого раздражения.

— Вы кто?

— Я его соседка сверху, — говорю я. — А этот господин — его сосед снизу.

— Спуститесь, пожалуйста, с крыши.

Тут он видит следы и перестает обращать на нас внимание.

Фотограф делает первые снимки большим фотоаппаратом "Полароид" со вспышкой.

— Только следы погибшего, — говорит Ноготь. Он говорит так, как будто в голове составляет протокол. — Мать пьяна. Он играл наверху.

Он снова замечает нас.

— Спускайтесь вниз.

В этот момент у меня в голове нет ясности, есть одна лишь путаница. Но такая большая путаница, что я вполне могу поделиться ею с другими. Поэтому я никуда не уйду.

— Станный способ играть, не правда ли?

Найдутся, наверное, люди, которые назовут меня тщеславной. Я, пожалуй, не буду этого отрицать. Ведь для тщеславия у меня могут быть свои причины. Во всяком случае, именно то, как я одета, заставляет его прислушаться к тому, что я говорю. Кашемир, меховая шапка, перчатки. Конечно же, он хочет и имеет право отправить меня вниз. Но он видит, что я похожа на респектабельную даму. А ему не часто на копенгагенских крышах встречаются респектабельные дамы.

Поэтому он задумывается.

— Что вы имеете в виду?

— Когда вы были в этом возрасте, — говорю я, — и папа и мама еще не вернулись домой из шахты, а вы бегали один по крыше барака, вы бегали по прямой линии вдоль края?

Он задумывается.

— Я вырос в Ютландии, — говорит он потом. Но, говоря это, он не сводит с меня глаз.

Потом он поворачивается к своему коллеге.

— Нам надо сюда несколько ламп. И заодно проводи вниз эту даму и этого господина.

К одиночеству у меня такое же отношение, как у других к благословению церкви. Оно для меня свет милости божьей. Закрывая за собой дверь своего дома, я всегда осознаю, что совершаю по отношению к себе милосердное деяние. Кантор в качестве иллюстрации к понятию бесконечность рассказывал ученикам историю о человеке, державшем гостиницу с бесконечным числом комнат, и все они были заняты. Потом приезжал еще один постоялец. Тогда хозяин делал вот что: он переселял гостя из комнаты номер один в комнату номер два, того, кто жил в номере два — в номер три, того, кто жил в номере три — в номер четыре, и так далее. Так освобождалась для нового гостя комната номер один.

В этой истории меня восхищает то, что все ее участники — и постояльцы, и хозяин — считают совершенно естественным проведение бесконечного числа операций для того, чтобы один человек мог спокойно жить в своей собственной отдельной комнате. Это — настоящий гимн одиночеству.

Вообще-то я отдаю себе отчет в том, что я оборудовала свою квартиру, как гостиничный номер. Не стараясь никак изменить впечатление, что живущий в этой квартире находится здесь проездом. Когда у меня возникает потребность объяснить это самой себе, я вспоминаю о том, что родственники моей матери, как и она сама, были чем-то вроде кочевников. В качестве

оправдания объяснение не очень-то убедительное.

Но у меня есть два больших окна, выходящих на море. Мне видно церковь Хольмен, здание Морского страхового общества, Национальный банк, мраморный фасад которого сегодня вечером такого же цвета, что и лед в гавани.

Я думала о том, что мне надо скорбеть. Я поговорила с полицейскими, поддержала Юлиану, проводила ее к знакомым и вернулась назад, и все это время не подпускала скорбь к себе, удерживая ее на расстоянии. Теперь пришла моя очередь почувствовать несчастье.

Но еще не пришло время. Скорбь — это дар, это то, что надо заслужить. Я сделала себе чашку мятного чая и встала у окна. Но я ничего не чувствую. Может быть, потому что я чего-то не сделала, осталась какая-то незавершенность из тех, что могут затормозить выражение чувств.

Так что я пью чай, пока движение на Книппельсбро стихает, и в ночи остаются лишь отдельные красные полосы от габаритных огней. Постепенно я немного успокаиваюсь. Наконец настолько, что могу пойти спать.

3

Первый раз я встретила Исаяю однажды в августе полтора года назад. Свинцовая и влажная жара превратила Копенгаген в очаг стремительно зарождающегося безумия. Я проехала в автобусе, пронизанном удушливо-давящей атмосферой, в новом платье из белой льняной ткани с глубоким вырезом на спине и отделкой из валансьенских кружев, которые я долго отпаривала и крахмалила и которые теперь поникли в полном унынии.

Есть люди, которые в это время года отправляются на юг. К теплу. Сама я никогда не бывала южнее Кёге. И не собираюсь туда, пока ядерная зима не заморозит Европу.

Это один из тех дней, когда можно задать вопрос, в чем смысл существования, и получить ответ, что никакого смысла нет. А тут еще на лестнице, этажом ниже моей квартиры, копошится какое-то существо.

Когда первые партии гренландцев начали в 30-е годы приезжать в Данию, одним из первых впечатлений, о которых они писали домой, было замечание, что датчане — страшные свиньи, потому что они держат в доме собак. На секунду мне показалось, что на лестнице лежит собака. Потом я поняла, что это ребенок, но в такой день это ничуть не лучше.

— Отвали, засранец, — говорю я.

Исайя смотрит на меня.

— Peerit, — говорит он. — Сама отвали.

Только немногие из датчан могут разглядеть во мне это. Они, как правило, замечают во мне какие-то азиатские черты, только когда я сама наложу тени под скулы. Но этот мальчишка на лестнице смотрит прямо на меня взглядом, который сразу же замечает то, что нас с ним роднит. Такой взгляд бывает у новорожденных. Потом он утрачивается, чтобы иногда опять появиться в глубокой старости. Возможно, что я сама никогда не обременяла свою жизнь детьми отчасти и потому, что слишком много думала над тем, почему же люди теряют мужество прямо смотреть друг другу в глаза.

— Ты мне считаешь?

В руке у меня книга. Это она заставила его задать такой вопрос.

Можно было бы сказать, что он похож на лесного эльфа. Но он грязен, в одних трусах, блестит от пота, и поэтому можно с таким же успехом сказать, что он похож на тюленя.

— Отвали, — говорю я.

— Ты не любишь детей?

— Я детей пожираю.

Он освобождает мне проход.

— Salluvutit, врешь, — говорит он, когда я прохожу мимо.

В эту минуту я замечаю в нем две особенности, которые каким-то образом соединяют нас с ним. Я вижу, что он одинок. Словно изгнанник, который всегда будет одинок. И я вижу, что он не боится одиночества.

— Что это за книга? — кричит он мне вслед.

— Евклидовы “Элементы”, — говорю я и захлопываю дверь.

Так и вышло — мы выбрали “Элементы” Евклида.

Именно эту книгу я достаю в тот вечер, когда раздаётся звонок, а за дверью стоит он, по-прежнему в одних трусах, и просто прямо смотрит на меня, и я отступаю в сторону, а он входит в дом и в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда, вот тогда я снимаю с полки именно Евклидовы “Элементы”. Как будто для того, чтобы прогнать его. Как будто для того, чтобы сразу же показать, что у меня нет книг, которые могут интересовать ребенка, что мы с ним не можем встретиться над книгой, и вообще не можем встречаться. Как будто, чтобы избежать чего-то.

Мы садимся на диван. Он сидит, скрестив ноги, на самом краю, как сидели дети в Туле, у залива Инглфилд, на краю саней, которые летом в палатке превращаются в скамейку.

— “Точка — это то, что нельзя разделить. Линия — это длина без ширины”.

Эта книга становится той книгой, которую он никогда не комментирует и к которой мы всегда будем возвращаться. Бывает, что я пытаюсь читать ему другие. Однажды я взяла в библиотеке книгу “Толстяк Расмус на льду”. С невозмутимым спокойствием он слушает, как я описываю ему первые картинки. Потом он показывает пальцем на Расмуса.

— Это вкусно? — спрашивает он.

— “Полукруг — это фигура, которая ограничена диаметром и отрезанной диаметром периферией”.

Чтение для меня в этот первый августовский вечер проходит три стадии.

Сначала я просто чувствую раздражение из-за всей неловкости этой ситуации. Потом

возникает настроение, которое у меня всегда появляется, стоит мне только подумать об этой книге — торжественность. Сознание того, что это — основа, предел. Что если двигаться назад, мимо Лобачевского и Ньютона, все дальше и дальше, придешь, наконец, к Евклиду.

— “На большем из двух неравных отрезков...”

В какой-то момент я перестаю осознавать, что я читаю. В какой-то момент есть только звук моего голоса в комнате и свет заката с Сюдхаун. А потом даже и голос пропадает, есть только мальчик и я. В какой-то момент я перестаю читать. И мы просто сидим и смотрим прямо перед собой, как будто мне пятнадцать, а ему шестнадцать, и мы дошли до the point of no return <Точка, откуда невозможно вернуться (англ.) (Прим. перев.)>. Потом он в какой-то момент тихо встает и уходит. Я смотрю на закат, который в это время года продолжается три часа. Как будто солнце в последнюю минуту перед заходом все-таки нашло в этом мире какие-то достоинства, и из-за этого теперь не хочет уходить.

Конечно же, Евклид его не отпугнул. Конечно же, было неважно, что я читаю. Я с таким же успехом могла читать вслух телефонную книгу. Или книгу Льюиса и Карриса “Изучение и классификация льда”. Он бы все равно приходил и сидел со мной на диване.

Бывало, что он приходил каждый день. А иногда я могла за две недели только раз увидеть его издалека. Но если он приходил, то это обычно бывало, когда начинало темнеть, когда день заканчивался, и Юлиана была в бесчувственном состоянии.

Иногда я отводила его в ванную. Ему не нравилась горячая вода. Но в холодной его нельзя было отмыть. Я ставила его в ванну и открывала душ. Он не противился. Он давно научился мириться с превратностями судьбы. Но он ни на секунду не отводил своего укоризненного взгляда от моего лица.

4

В моей жизни было множество интернатов. Обычно я стараюсь вытеснять это из памяти, и на протяжении длительных отрезков времени мне это удается. Отдельному воспоминанию случается пробиться на свет только в виде мимолетной картины. Как, например, совершенно особому воспоминанию об общей спальне. В Стинхойе под Хумлебеком у нас была общая спальня. Одна спальня для девочек, одна для мальчиков. По ночам открывали окна. А наши одеяла были слишком тонкими.

В морге копенгагенского амта, в подвале под зданием Института судебной медицины Государственной больницы, спят в общих спальнях своим последним, ледяным сном охлажденные почти до нуля мертвецы.

Повсюду чистота, современные и четкие линии. Даже в смотровой, покрашенной, как гостиная, где поставлено несколько торшеров, и одинокое зеленое растение в горшке пытается поднять настроение.

Исайя покрыт белой простыней. На нее кто-то положил маленький букетик цветов, словно для того, чтобы растение в горшке не чувствовало себя одиноко. Он закрыт с головы до ног, но его можно узнать по маленькому телу и большой голове. В Гренландии перед французскими антропологами встали серьезные проблемы. Они разрабатывали теорию о том, что существует прямая связь между умом человека и величиной черепа. У гренландцев, которых они считали переходной формой от обезьяны к человеку, они обнаружили самый большой череп.

Человек в белом халате откидывает простыню с его лица. На нем нет никаких повреждений, кажется, будто из его тела очень осторожно выпустили кровь и лишили его красок, а потом уложили спать.

Юлиана стоит рядом со мной. Вся в черном, трезвая уже второй день подряд.

Когда мы идем по коридору, белый халат идет с нами.

— Вы родственница? — высказывает он предположение. — Сестра?

Он не выше меня ростом, но коренаст и похож на приготовившегося к нападению барана.

— Врач, — говорит он. Он показывает на карман халата и обнаруживает, что там отсутствует карточка с его именем и фамилией.

— Черт побери, — говорит он.

Я иду дальше по коридору. Он идет прямо за мной.

— У меня самого есть дети, — говорит он. — Вы не знаете, его нашел врач?

— Механик, — говорю я.

Он едет вместе с нами в лифте. Неожиданно у меня появляется желание узнать, кто именно касался Исаяи.

— Вы его обследовали?

Он не отвечает. Возможно, он меня не слышал. Он идет вразвалку впереди нас. У стеклянной двери он резким движением, словно эксгибиционист, распахивающий пальто, вытаскивает кусочек картона.

— Моя визитная карточка. Жан Пьер, как флейтист. Лагерманн, как сорт лакрицы.

Мы с Юлианой не сказали друг другу ни слова. Но когда она села в такси, и я собираюсь захлопнуть за ней дверцу, она хватается меня за руку.

— Эта Смилла, — говорит она, как будто речь идет об отсутствующем человеке, — замечательная женщина. На все сто процентов.

Машина отъезжает, и я выпрямляюсь. Почти двенадцать часов. У меня назначена встреча.

"Гренландский государственный центр аутопсии" — написано на стеклянной двери, у которой оказываешься, пройдя по улице Фредерика Пятого назад мимо здания "Тейлум" и Института судебной медицины к новому крылу здания Государственной больницы и поднявшись на лифте на шестой, последний этаж мимо этажей, обозначенных на панели лифта как "Гренландское медицинское общество", "Полярный центр", "Институт арктической медицины".

Сегодня утром я позвонила в полицию, и меня соединили с отделением "А", где мне к телефону позвали Ногтя.

— Вы можете посмотреть на него в морге, — говорит он.

— Я хочу также поговорить с врачом.

— Лойен, — говорит он. — Вы можете поговорить с Лойеном.

За стеклянной дверью короткий коридор, ведущий к табличке, на которой написано “Профессор”, а маленькими буквами — “И. Лойен”. За табличкой дверь, а за дверью гардероб, за которым прохладный офис, где сидят два секретаря под огромными фотографиями, изображающими освещенные солнцем айсберги на фоне голубой воды, а за этим помещением уже настоящий кабинет.

Здесь не стали делать теннисный корт. Но не потому, что не хватает места. А потому что у Лойена, наверняка, есть парочка кортов за его домом в Хеллерупе, и еще парочка на Клитвай в Скагене. И еще потому, что это нарушило бы высокую торжественность помещения.

На полу — толстый ковер, вдоль двух стен — книги, из окон открывается вид на город и на Фэлледпаркен, в стене — сейф, картины в золотых рамах, микроскоп над столиком с подсветкой, стеклянный стенд с позолоченной маской, которая, похоже, происходит из египетского саркофага, две композиции из мягких диванов, две выключенные лампы, каждая на отдельной подставке, и все равно здесь достаточно места, чтобы устроить пробежку, если устанешь сидеть за письменным столом.

Письменный стол представляет собой большой эллипс из красного Дерева. Встав из-за него, он направляется мне навстречу. Он ростом два метра, ему около 70-ти, стройный, в белом халате, загорелый, как шейх из пустыни, и с тем любезным выражением лица, которое могло бы быть у человека, сидящего на верблюде и снисходительно поглядывающего на весь остальной мир, проползающий мимо него внизу по песку.

— Лойен.

Хотя он и не называет свое звание, оно, тем не менее, подразумевается. Его звание, а также то обстоятельство, о котором собеседнику не следует забывать, что он, по меньшей мере, на голову выше всего остального человечества, и в этом здании, на других этажах под ним, находится множество других врачей, которые не смогли стать профессорами, а над ним — только белый потолок, голубое небо, и Господь Бог, а, может быть, даже и этого нет.

— Садитесь, фру.

Он излучает любезность и превосходство, и мне следовало бы чувствовать себя счастливой. Другие женщины до меня были счастливы, и многие еще будут счастливы, потому что разве в трудные минуты жизни может быть что-нибудь лучше, чем иметь возможность опереться на двухметровую блестящую медицинскую самоуверенность, да еще в такой приятной обстановке.

На столе в рамке стоит фотография жены врача с эрдельтерьером и тремя взрослыми сыновьями, которые наверняка изучают медицину и у которых отличные оценки по всем предметам, включая клиническую сексологию.

Я никогда не говорила, что я совершенна. Перед людьми, у которых есть власть и которые наслаждаются этим и используют это, я становлюсь другим, более мелким и злым человеком.

Но я этого не показываю. Я сажусь на краешек стула, кладу темные перчатки и шляпу с темной вуалью на край поверхности из красного дерева. Перед профессором Лойеном, как и много раз до этого, сидит скорбящая, вопрошающая, неуверенная в себе женщина в черном.

— Вы из Гренландии?

Благодаря своему профессиональному опыту он замечает это.

— Моя мать была из Туле. Это вы... обследовали Исайю? Он утвердительно кивает.

— Я хотела бы узнать, отчего он умер?

Этот вопрос оказывается несколько неожиданным для него.

— От падения.

— Но что это значит, чисто физически?

Он задумывается на минуту, поскольку не привык формулировать совершенно очевидные вещи.

— Он упал с высоты седьмого этажа. Просто нарушается целостность организма.

— Но на его теле не было заметно никаких повреждений.

— Это обычно бывает в случае падения, моя дорогая фру. Но...

Я знаю, что он хочет сказать. “Это только, пока мы их не вскрыем. Тогда мы видим сплошные осколки костей и внутренние кровоизлияния”.

— Но это не так, — заканчивает он.

Он выпрямляется. У него есть другие дела. Беседа приближается к концу, так и не начавшись. Как и многие другие беседы до и после этой.

— Были ли следы насилия?

Я не удивила его. В его возрасте и при его роде деятельности трудно чему-нибудь удивиться.

— Никаких, — говорит он.

Я сижу, не говоря ни слова. Всегда интересно погрузить европейца в молчание. Для него это пустота, в которой напряжение нарастает, становясь невыносимым.

— Что навело вас на эту мысль?

Теперь он опустил “фру”. Я не реагирую на его вопрос.

— Как получилось, что эта организация с ее функциями не находится в Гренландии? — спрашиваю я.

— Институту всего три года. Раньше не существовало гренландского центра аутопсии. Государственный прокурор в Готхопе, если возникала необходимость, обращался за помощью в Институт судебной медицины в Копенгагене. Эта организация возникла недавно и находится здесь временно. Все должно переехать в Готхоп в течение следующего года.

— А вы сами? — говорю я.

Он не привык, чтобы его допрашивали, еще минута — и он перестанет отвечать.

— Я возглавляю Институт арктической медицины. Но прежде я был судебным патологоанатомом. В период организации я исполняю обязанности руководителя центра аутопсии.

— Вы проводите все судебно-медицинские вскрытия гренландцев?

Я ударила вслепую. Однако это, должно быть, был трудный, резкий мяч, потому что он на секунду закрыл глаза.

— Нет, — говорит он, но теперь он произносит слова медленно, — я иногда помогаю датскому центру аутопсии. Каждый год у них тысячи дел со всей страны.

Я думаю о Жане Пьере Лагерманне.

— Вы один проводили вскрытие?

— У нас действуют определенные правила, которым мы следуем, за исключением совершенно особых случаев. Присутствует один из врачей, которому помогает лаборант и иногда медсестра.

— Можно ли посмотреть заключение о вскрытии?

— Вы бы все равно его не поняли. А то, что вы бы смогли понять, было бы вам неприятно!

На мгновение он потерял контроль над собой. Но тут же взял себя в руки.

— Такие заключения находятся в ведении полиции, которая делает официальный запрос о результатах вскрытия. И которая, к тому же, подписывая свидетельство о смерти, принимает решение, когда могут состояться похороны. Гласность во всех вопросах касается гражданских дел, а не уголовных.

В пылу игры он выходит к сетке. В его голосе появляются успокоительные нотки.

— Поймите, в любом подобном случае, где возможно хотя бы малейшее сомнение относительно обстоятельств несчастного случая, полиция и мы заинтересованы в самом серьезном расследовании. Мы обследуем все. И мы находим все. В случае нападения совершенно невозможно не оставить следов. Могут быть отпечатки пальцев, порвана одежда, ребенок защищается, и под ногти ему попадают клетки кожи. Ничего этого не было. Ничего.

Это был сетбол и матчбол. Я поднимаюсь, надеваю перчатки. Он откидывается назад.

— Мы, разумеется, изучаем полицейский протокол, — говорит он. — По следам ведь было видно, что, когда это произошло, он был на крыше один.

Я проделываю длинный путь, выхожу на середину комнаты и здесь оглядываюсь на него. Я что-то нащупала, не знаю точно, что. Но он уже снова на верблюде.

— Если понадобится, звоните еще, фру.

Проходит минута, прежде чем перестает кружиться голова.

— У всех нас, — говорю я, — есть свои фобии. Есть что-то, чего мы очень боимся. Я меня есть свои. У вас, наверняка, когда вы снимаете свой пуленепробиваемый халат, тоже появляются

свои страхи. Знаете, чего боялся Исайя? Высоты. Он взбегал на второй этаж. Но дальше он полз, закрыв глаза и цепляясь за перила. Представьте себе, каждый день, по внутренней лестнице, пот выступает на лбу, колени трясутся, пять минут уходит на то, чтобы подняться со второго на четвертый этаж. Его мать начала просить о том, чтобы им дали квартиру на первом этаже еще до того, как они переехали. Но вы же знаете — если ты гренландец, и живешь на пособие...

Проходит некоторое время, прежде чем он отвечает.

— И, тем не менее, он был на крыше.

— Да, — говорю я, — был. Но понимаете, вы могли явиться с домкратом, вы могли привести с собой плавучий кран “Геркулес”, но вы и на метр не затащили бы его на леса. То, что поражает меня, то, о чем я спрашиваю сама себя в бессонные ночи, это — что же его туда привело?

Снова перед моими глазами возникает его маленькая фигурка, такой, какой я ее видела в морге. Я даже не смотрю на Лойена. Я просто ухожу.

5

Юлиана Кристиансен, мать Исайи, представляет собой живую иллюстрацию терапевтического эффекта, которым обладает алкоголь. Когда она находится в трезвом состоянии, она холодна, неразговорчива и замкнута. Когда она пьяна, она безумно весела и готова танцевать.

Так как утром она приняла антабус, а теперь, после возвращения из больницы, выпила, как говорится, “поверх таблетки”, то, естественно, это замечательное преобразование несколько затуманено общим отравлением организма. Но тем не менее ей значительно лучше.

— Смила, — говорит она. — Я тебя люблю.

Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют. Именно этим объясняется мое отношение к алкоголю. Когда у меня появляется желание выпить что-нибудь покрепче, чем чай из трав, я всегда вспоминаю о том, что предшествовало введению добровольного ограничения на употребление спиртных напитков в Туле.

Я бывала в квартире Юлианы и раньше, но мы всегда сидели на кухне и пили кофе. Необходимо уважать границы, в которых существует человек. Особенно, когда вся его жизнь и так обнажена, как открытая рана. Но в настоящий момент мною движет неотвязное чувство, будто передо мной стоит какая-то задача, сознание того, что кто-то что-то упустил.

Поэтому я исследую все вокруг, а Юлиана нисколько не возражает. Во-первых, у нее есть яблочное вино из магазина “Ирма”, во-вторых, она так долго существовала на разные пособия под электронным микроскопом государства, что уже перестала думать, будто у человека могут быть какие-либо тайны.

Квартира полна того домашнего уюта, который появляется, когда по лакированным полам уже достаточно походили в сапогах с деревянными каблуками, и уже забыли достаточное количество сигарет на столе, а на диване уже не раз засыпали в пьяном виде, и единственное, что является новым и хорошо работает — это телевизор, большой и черный, как концертный рояль.

Здесь на одну комнату больше, чем в моей квартире — это комната Исайи. Кровать, низенький стол и шкаф. На полу картонная коробка. На столе — две палки, бита для игры в классы, какое-то приспособление с присоской, игрушечный автомобильчик. Все блеклое, как морские камешки в ящике стола.

В шкафу плащ, резиновые сапоги, сабо, свитера, нижнее белье, носки, наваленные в полном беспорядке. Я засовываю руку под ворох одежды, провожу рукой сверху по шкафу. Там нет ничего, кроме прошлогодней пыли.

На кровати, в прозрачном полиэтиленовом пакете, лежат его вещи, полученные из больницы. Непромокаемые брюки, кеды, джемпер, белье, носки. В кармане белый, мягкий камешек, который использовался в качестве мела.

Юлиана стоит в дверях и плачет.

— Я выбросила только памперсы.

Раз в месяц, когда у Исайи усиливалась боязнь высоты, он в течение нескольких дней пользовался памперсами. Однажды я сама ему их покупала.

— Где его нож? Она не знает.

На подоконнике стоит модель корабля, резко выделяющаяся своим дорогим видом в невзрачной комнате. На его цоколе написано: Теплоход “Йоханнес Томсен” Криолитового общества “Дания”.

Никогда прежде я не пыталась понять, как ей удавалось удерживаться на поверхности.

Я обнимаю ее за плечи.

— Юлиана, — говорю я. — Сделай одолжение — покажи мне свои бумаги.

У каждого из нас есть ящик, коробка, папка. У Юлианы для хранения печатных свидетельств ее существования есть семь засаленных конвертов. Для многих гренландцев самой сложной стороной жизни в Дании является бумажная. Созданный государственной бюрократией бумажный фронт ходатайств, бланков и обязательной переписки с необходимыми инстанциями. Есть тонкая и глубокая ирония в том, что даже столь примитивное существование, как у Юлианы, порождает такую гору бумаг.

Маленькие номерки из амбулатории по лечению алкоголизма на Сундхольме, свидетельство о рождении, 50 чеков от булочника на площади Кристиансхаун, за которые, если наберется сумма на 500 крон, дают бесплатный крендель. Карточка учета посещений из венерологической клиники Рудольфа Берга, старые части “А” и “Б” карточек из налогового управления, квитанции из сберегательной кассы. Фотография освещённой солнцем Юлианы в Королевском саду. Карточка медицинской страховки, паспорт, неоплаченные счета из Энергонадзора. Письма из кредитного общества “Рибер” о не выплаченных Юлианой долгах. Стопка тонких листков, похожих на извещения о выплате зарплаты, из которых следует, что Юлиана каждый месяц получает пенсию в 9400 крон. В самом низу — пачка писем. Я никогда не могла заставить себя читать чужие письма. Поэтому я пропускаю личные письма. Под ними — официальные, напечатанные на машинке. Я уже собираюсь положить их назад, когда обращаю внимание на одно из них.

Это странное письмо. “Настоящим уведомляем Вас о том, что правление Криолитового общества “Дания” на своем последнем заседании приняло решение о выделении Вам пенсии как вдове Норсака Кристиансена.

Пенсия составляет 9000 крон в месяц, эта сумма будет регулироваться в зависимости от индекса цен”. От имени общества письмо подписано “Э. Любинг, главный бухгалтер”.

Ничего особенного в самом письме нет. Но когда оно было написано, его развернули на 90 градусов. И авторучкой на полях наискосок написали: “Примите мои соболезнования. Эльза Любинг.”

Можно кое-что узнать о своих близких, читая то, что они написали на полях. Многие люди задумывались над исчезнувшим доказательством теоремы Ферма. В книге, в которой рассматривается так никогда и не доказанный постулат о том, что если можно представить число в квадрате в виде суммы квадратов двух других чисел, то для степени больше двух это невозможно, Ферма приписал на полях: “Этому положению я нашел поистине удивительное доказательство. К сожалению, эти поля слишком малы, чтобы вместить его”.

Два года назад в конторе Криолитового общества “Дания” сидела дама и диктовала в высшей степени корректное письмо. Оно написано по всем правилам, в нем нет опечаток, оно такое, каким и должно быть. Потом ей дали его перечитать, она прочитала и подписала. Затем помедлила минутку. И, повернув листок, написала: “Примите мои соболезнования”.

— Как он умер?

— Норсак? Он был в экспедиции на Западное побережье. Это был несчастный случай.

— Что за несчастный случай?

— Он съел что-то не то. Кажется, так.

Она беспомощно смотрит на меня. Люди умирают. И совершенно бесполезно размышлять о том, как они умирают и почему.

— Можно считать дело закрытым.

Это я говорю по телефону с Ногтем. Я предоставила Юлиану ее собственным мыслям, которые двигаются словно планктон в море сладкого вина. Возможно, мне надо было остаться с ней. Но я не целитель душ. Я и самое себя не в состоянии исцелить. К тому же, у меня есть свои навязчивые идеи. Это они заставили меня позвонить в полицию. Меня соединяют с отделением “А”. Там мне говорят, что инспектор все еще работает. И, судя по его голосу, он работает слишком долго.

— Свидетельство о смерти подписано сегодня в 4 часа.

— А те следы?

— Если бы вы видели то, что я повидал, или если бы у вас самой были дети, вы бы знали, насколько они безрассудны и непредсказуемы.

В его голосе звучат раскаты грома при мысли обо всех тех несчастьях, которые принесли ему его собственные шалопаи.

— В данном случае речь, конечно же, идет просто о грязном гренландце, — говорю я.

В трубке молчание. Он из тех, кто даже после продолжительного рабочего дня сохраняет резервы для того, чтобы быстро перейти в наступление.

— Вот что я вам, черт возьми, скажу. Для нас все равны, все. Упав с крыши пигмей или убийца-рецидивист, совершивший преступления на сексуальной почве, мы делаем все, что полагается. Все. Понимаете? Я сам ездил за судебно-медицинским заключением. Нет никаких признаков того, что это не просто несчастный случай. Из тех трагических случаев, которых у нас происходит 175 в год.

— Я собираюсь подать жалобу.

— Ну что ж, подавайте.

Разговор закончен. На самом деле я не собиралась жаловаться. Но у меня тоже был тяжелый день. Я знаю, что у полиции много дел. Я хорошо его понимаю. Все, что он сказал, я поняла.

Кроме одного. Когда меня позавчера допрашивали, мне надо было ответить на ряд вопросов. На некоторые из них я не ответила. Один из них был вопрос о “семейном положении”.

— Это, — сказала я полицейскому, — вас не касается. Если только вы не собираетесь назначить мне свидание.

Поэтому полиция не должна была ничего знать о моей личной жизни. Откуда, спрашивается, Ноготь узнал, что у меня нет детей? На этот вопрос я не могла найти ответа. Это всего лишь маленький вопрос. Но всему миру вокруг одинокой и беззащитной женщины не терпится узнать, почему она, достигнув моего возраста, не обзавелась мужем и парой очаровательных малышей. Со временем этот вопрос начинает вызывать аллергию.

Взяв несколько листов нелинованной бумаги и конверт, я сажусь за обеденный стол. Наверху я пишу: “Копенгаген, 19 декабря 1993 года. В Государственную прокуратуру. Меня зовут Смилла Ясперсен. Настоящим письмом я хотела бы подать жалобу”.

6

Ему не дашь больше пятидесяти, но на самом деле он на двадцать лет старше. На нем теплый черный спортивный костюм, ботинки с шипами, американская бейсбольная кепка и кожаные перчатки без пальцев. Из нагрудного кармана он достает маленький коричневый пузырек с лекарством, который опрокидывает умелым, почти незаметным движением. Это про-пранолол, ? — блокатор, снижающий частоту сердцебиения. Он разжимает кулак и смотрит на руку. Она большая, белая, холеная и совсем не дрожит. Он выбирает клюшку номер один, driver, tailor-made, <Длинная клюшка для гольфа, сделанная на заказ (англ.)> с полированной, конусообразной головкой из палисандра. Сначала он прикладывает клюшку к мячу, потом поднимает ее. Во время удара он концентрирует всю свою силу, все свои 85 килограммов в одной точке размером с почтовую марку, и кажется, что маленький желтый мячик навсегда растворился в воздухе. Он снова становится виден, только когда приземляется на площадке на самом краю сада, где послушно ложится поблизости от флага.

— Мячи из кожи каймана, — говорит он. — От Мак-Грегора. Раньше у меня всегда были проблемы с соседями. Но эти мячи пролетают в два раза меньше.

Этот человек — мой отец. Это представление дано в мою честь, и я вижу то, что за ним на самом деле скрывается. Мольба маленького мальчика о любви. Которую я никак не могу ему дать.

Если смотреть моими глазами, все население Дании представляет собой средний класс. По-настоящему бедные и по-настоящему богатые — редкость.

Так уж случилось, что я знаю некоторых из бедных, потому что часть из них — гренландцы.

Один из действительно состоятельных — мой отец.

У него есть 67-футовый “сван” в гавани Рунгстед с постоянной командой из трех человек. Ему принадлежит маленький остров при входе в Исен-фьорд, куда он может удалиться, чтобы жить в своем норвежском бревенчатом домике, а случайно оказавшимся там туристам сказать, что, мол, пора уезжать, проваливайте. Он один из немногих в Дании владельцев “бугатти” — автомобиля, ради которого нанят человек, чтобы полировать его и бунзеновской горелкой подогревать смазку в подшипниках два раза в году для участия в пробеге старых машин клуба “бугатти”. В остальное время можно довольствоваться прослушиванием присланной клубом пластинки, на которой слышишь, как одну из этих прекрасных машин ласково заводят при помощи рукоятки и нажимают на акселератор.

У него есть этот дом, белый как снег, украшенный покрытыми белой штукатуркой бетонными ракушками, с крышей из природного шифера и с витой лестницей, ведущей к входу. С клумбами роз, круто спускающимися от дома к Странвайен, и садом позади дома, подходящим для площадки с девятью лунками, что оказалось прямо в самый раз теперь, когда он купил новые мячи.

Он заработал свои деньги, делая уколы.

Он никогда не относился к числу людей, распространяющих сведения о себе. Но если кто-то заинтересуется, можно открыть “Синюю книгу” и прочитать, что он стал заведующим отделением в 30 лет, стал заведовать первой в Дании кафедрой анестезиологии, когда она была создана, и что спустя пять лет покинул больницу, чтобы посвятить себя — так торжественно об этом говорится — частной практике. Став знаменитым, он принялся колесить по свету. Не пешком, из города в город, в поисках работы, а на частных самолетах. Он делал инъекции великим мира сего. Он давал наркоз во время первых исторических операций на сердце в Южной Африке. Он находился в составе делегации американских врачей в Советском Союзе, когда умирал Брежнев. Мне рассказывали, что именно мой отец в последние недели отодвигал смерть, орудуя длинными иглами своих шприцев.

У него внешность портового рабочего, и он старательно поддерживает это сходство, отпуская время от времени бороду. Бороду, в которой теперь седина, но которая когда-то была иссиня-черной, а теперь ее по-прежнему необходимо подстригать два раза в день, чтобы она выглядела ухоженной.

У него неизменно уверенные руки. Ими он может при помощи 150-ти миллиметровой иглы пройти через бок ретроперитонеально сквозь глубокие спинные мышцы к аорте. Потом он может легко постучать кончиком иглы по большой артерии, чтобы убедиться в том, что он дошел туда, куда надо, а потом, подобравшись сзади, может положить порцию лидокаина в большое сплетение нервов. Центральная нервная система создает тонус в кровеносных сосудах. У него есть теория о том, что с помощью такой блокады он может преодолеть недостаточность кровообращения в ногах состоятельных пациентов с избыточным весом.

Пока он делает укол, он предельно сосредоточен. Ничто не отвлекает его, даже мысль о счете в десять тысяч крон, который выписывает в этот момент его секретарь, счете, который надо оплатить до первого января, и “счастливого вам Рождества” и “с Новым годом”, а “теперь, пожалуйста, следующий пациент”.

В течение последних 25 лет он входил в число тех 200 игроков в гольф, которые борются за последние 50 еврокарточек. Он живет с балериной, которая на 13 лет моложе меня и которая все время смотрит на него так, будто только и ждет, чтобы он сорвал с нее пачку и пуанты.

Так что мой отец — человек, у которого есть все из материальных и осязаемых вещей. И это, как ему кажется, он и демонстрирует мне на этой площадке. Что у него есть все, что только можно пожелать. Даже ? — блокаторы, которые он принимает уже десять лет, чтобы не дрожали руки, в общем-то, не имеют побочного эффекта.

Мы идем вокруг дома, по аккуратным, посыпанным гравием дорожкам, бордюры которых садовник Сёренсен летом подравнивает парикмахерскими ножницами, так что если идешь босиком, можно случайно порезаться. На мне котиковая шуба поверх шерстяного комбинезона на молнии, украшенного вышивкой. Со стороны может показаться, что мы — отец и дочь, у которых большой запас жизненной силы и всего в избытке. При ближайшем рассмотрении мы оказываемся всего лишь воплощением банальной трагедии, поделенной между двумя поколениями.

В гостиной пол из мореного дуба и стена из зеркального стекла в обрамлении из нержавеющей стали, выходящая на бассейн для птиц, на кусты роз и крутой спуск к простым смертным на Странвайен. У камина стоит Бенья в трико и толстых шерстяных носках и растягивает мышцы ног, полностью игнорируя меня. Она бледна, очаровательна и бесстыдна, будто девушка-эльф, ставшая стриптизершей.

— “Брентан”, — говорю я.

— Извини, что ты сказала?

Она выговаривает слова полностью, как учат в училище при Королевском театре.

— Если с ногами не в порядке, моя милая. “Брентан” — средство от грибка между пальцами. Сейчас продается без рецепта.

— Это не грибок, — говорит она холодно. — Он ведь может быть только в твоём возрасте.

— И у малолетних тоже, моя милая. Особенно когда они много тренируются. И он быстро распространяется в промежность.

С рычанием она удаляется в соседнее помещение. В ней масса жизненных сил, но у нее было счастливое детство и очень быстрая карьера. Она еще не пережила тех несчастий, которые необходимы, чтобы развить дух, способный к сопротивлению.

Сеньора Гонсалес сервирует чай на столике, который представляет собой стекло толщиной 70 миллиметров, положенное на отшлифованный кусок мрамора.

— Давно не виделись, Смила.

Он рассказывает немного о купленных им новых картинах, о воспоминаниях, которые он пишет, и о том, что он разучивает на рояле. Он тянет время. Чтобы подготовиться к воздействию того удара, который я нанесу, заговорив с ним о деле, не имеющем к нему никакого отношения. Он благодарен мне за то, что я не мешаю ему говорить. Но на самом деле мы оба не строим никаких иллюзий.

— Расскажи мне о Иоханнесе Лойене, — говорю я.

Моему отцу было чуть больше тридцати, когда он приехал в Гренландию и встретил мою мать.

Полярный эскимос Аисивак рассказывал Кнуду Расмуссену, что в начале на свете было только два мужчины, оба они были великими чародеями. Когда они пожелали, чтобы их стало больше, один из них изменил свое тело так, чтобы можно было рожать, и с тех пор эти двое родили множество детей.

В 60-е годы прошлого столетия гренландский катекет <Учитель и священник гренландского происхождения (Прим. перев.)> Хансеерак в дневнике моравского братства, *Diarium Friedrichstal*, зарегистрировал несколько случаев, когда женщины охотились наравне с мужчинами. Это, разумеется, никогда не было особенно распространено, но такие случаи встречались. Объяснялось это тем, что женщин было больше, чем мужчин, высокой смертностью в сочетании с нуждой, а также глубоко укоренившимся представлением, что каждый из двух полов потенциально содержит в себе противоположный.

Но в этом случае женщины должны были одеваться, как мужчины, и вынуждены были отказываться от семейной жизни. Общество могло смириться со сменой пола, но не терпело зыбкого переходного состояния.

У моей матери все было иначе. Она смеялась, рожала детей, сплетничала о своих друзьях и обрабатывала шкуры — как женщина. Но она стреляла, управляла каяком и тащила мясо домой как мужчина.

Когда ей было около двенадцати, она вышла в апреле вместе со своим отцом на лед, и там он выстрелил в *uuttog* — гревшегося на солнце тюленя. Он не попал. У других мужчин промах мог объясняться разными причинами. У моего деда могла быть только одна — происходило что-то непоправимое. Это был склероз зрительного нерва. Год спустя он полностью ослеп.

В тот апрельский день моя мать осталась на месте, в то время как ее отец пошел дальше проверять снасти для подледного лова. У нее было время подумать о будущем. О социальном пособии, которое и сегодня в Гренландии ниже прожиточного минимума, а в то время было своего рода неосознанной насмешкой. Или о голодной смерти, которая была не такой уж редкостью, или о жизни за счет родственников, которые и сами не могли прокормить себя.

Когда тюлень снова появился, она выстрелила.

До этого она ловила рыбу-подкаменщика и палтуса и стреляла куропадок. Начиная с этого тюленя, она стала охотником.

Мне кажется, что она редко превращалась в наблюдателя, чтобы взглянуть на свою роль со стороны. Однажды мы жили в палатке в летнем лагере у Атикерлука, утеса, который летом наводняют люрики — такое множество черных птиц с белой грудью, что только тот, кто это

видел, может составить себе представление об их количестве. Оно выходит за пределы измеримого.

Мы приехали с севера, где охотились на нарвалов с маленьких катеров с дизельными моторами. Однажды мы поймали восемь животных. Отчасти потому, что они были заперты льдом в ограниченном пространстве. Отчасти потому, что наши три катера потеряли связь друг с другом. Восемь нарвалов — это слишком много мяса, даже для собак. Слишком много мяса.

Одно из животных оказалось беременной самкой. Сосок находится прямо над половым отверстием. Когда моя мать одним движением вскрыла брюшную полость, чтобы вынуть внутренности, на лед выскользнул ангельски белый, абсолютно созревший детеныш длиной в полтора метра.

Пожалуй, часа четыре охотники стояли почти в полном молчании, глядя на полуденное солнце, которое в это время года делает свет нескончаемым, и ели mattak — китовую шкуру. Я ничего не могла взять в рот.

Неделю спустя мы лежим у птичьего утеса. Мы уже сутки ничего не ели. Наша задача в том, чтобы слиться с окружающей природой, выждать и поймать птицу большой сетью. Со второй попытки я поймала трех.

Это были самки, направлявшиеся к птенцам. Они выводят птенцов в углублениях на крутых склонах, откуда те производят адский шум. Матери держат найденных червяков в своего рода маленьком мешочке в клюве. Птиц убивают, нажав им на сердце. У меня было три птицы.

Такое случалось и раньше. Так много птиц было убито, поджарено в глине и съедено, так много, что я даже и не помню, сколько. И, тем не менее, неожиданно их глаза представляются мне туннелями, в конце которых ждут птенцы, и Глаза этих птенцов снова становятся туннелями, и в конце этих туннелей детеныш нарвала, взгляд которого снова уходит далеко вглубь. Я очень медленно переворачиваю сеть, и птицы взлетают с коротким взрывом шума.

Мать сидит прямо рядом со мной, совсем тихо. И смотрит на меня так, словно впервые что-то увидела.

Я не знаю, что меня остановило. Сострадание не считается достоинством в арктических широтах, ценится скорее некоторая бесчувственность, отсутствие привязанности к животным и природе и осознание необходимости.

— Смила, — говорит она, — я носила тебя в amaat.

Дело происходит в мае, ее темно-коричневая кожа блестит, как будто она покрыта десятью слоями лака. На ней золотые серьги, а на шее — цепь с двумя крестами и якорем. Волосы убраны в узел на затылке, она большая и прекрасная. Даже сейчас, когда я думаю о ней, она мне кажется самой красивой женщиной, какую я когда-либо видела.

Мне, должно быть, лет пять. Я точно не знаю, что она имеет в виду, но в первый раз я осознаю, что мы с ней одного пола.

— И все же, — говорит она, — я сильная, как мужчина.

На ней хлопчатобумажная рубашка в красную и черную клетку. Вот она закатывает один рукав и показывает мне руку, широкую и крепкую, как весло. Потом она медленно расстегивает рубашку. — Иди сюда, Смилла, — говорит она тихо. Она никогда меня не целует и вообще редко касается меня. Но в мгновения большой близости она дает мне пить то молоко, которое, как и кровь, всегда есть там, под кожей. Она раздвигает ноги, чтобы я могла встать ближе. Как и другие охотники, она носит штаны из грубо обработанной медвежьей шкуры. Она любит пепел, ест его иногда прямо из костра, и она намазала им себя под глазами. Вдыхая этот запах жженого угля и медвежьей шкуры, я подхожу к груди, ослепительно белой, с большим нежно-розовым соском. Оттуда я пью imtuk, молоко моей матери.

Позже она как-то пыталась объяснить мне, как в каком-нибудь открытом ото льда месте может собраться 3000 нарвалов и как это место кипит жизнью. А через месяц лед запирает их там, и они все замерзают насмерть. Она рассказывала, как в мае и июне утес становится черным от люриков — так их много. Проходит месяц — и полмиллиона птиц гибнет от голода. Она по-своему пыталась объяснить мне, что за жизнью арктических животных всегда скрывались экстремальные флуктуации популяций. И при таких изменениях то, что мы забираем, значит меньше, чем ничто.

Я понимала ее, понимала каждое ее слово. И тогда и позже. Но это ничего не изменило. Год спустя — это было за год до ее исчезновения — я почувствовала тошноту во время рыбной ловли. Мне тогда было около шести лет. Я была недостаточно взрослой, чтобы размышлять над тем, почему. Но достаточно взрослой, чтобы понять, что так обнаруживает себя отчуждение от природы. Что какая-то часть ее больше уже не доступна мне тем естественным образом, каким она была доступна раньше. Возможно, я уже в тот момент захотела научиться понимать лед. Желание понять — это попытка вернуть то, что ты потерял.

— Профессор Лойен...

Он произносит имя с тем интересом и с тем полным боевой готовности уважением, с которым один бронтозавр всегда рассматривал другого.

— Очень толковый человек.

Он проводит белой ладонью по щеке и подбородку. Это хорошо отработанное движение, при котором раздается звук, как будто очень грубой пилой пилят сплавной лес.

— Институт Арктической медицины — он его создал.

— Почему он интересуется судебной медициной? Он стал исполнять обязанности директора Гренландского центра аутопсии.

— Он был раньше судебным патологоанатомом. Но он берется за все, что приносит известность. Он, должно быть, считает, что это путь вверх.

— Что им движет?

Здесь наступает пауза. Мой отец прошел большую часть своей жизни, спрятав голову под крыло. На старости лет его стали сильно занимать мотивы, которые движут людьми.

— Среди врачей моего поколения есть три разновидности. Есть такие, которые по-прежнему работают в больнице, или заводят частную практику. Среди них много прекрасных людей. Другие пишут диссертации, что — ты сама знаешь это, Смилла — является эпизодическим,

смехотворным и недостаточным условием для продвижения наверх. Они становятся заведующими отделениями. Это маленькие монархи удельных княжеств медицины. И есть третья группа. Это мы, поднявшиеся наверх и достигшие вершины.

Это сказано без всякого намека на самоиронию. Пожалуй, можно было бы заставить моего отца совершенно серьезно заявить, что одна из его проблем состоит в том, что он не испытывает и половины того удовольствия собой, которое он должен был бы чувствовать.

— Последние метры на этом пути требуют особого напряжения. Сильного желания, амбиций. Желания получить деньги. Или власть. Или же проникнуть в суть вещей. В истории медицины это последнее усилие всегда символизировал огонь. Негаснущее пламя, горящее под риторикой алхимика.

Он смотрит прямо перед собой, как будто в руке у него шприц, как будто игла уже приготовлена.

— Лойен, — говорит он, — со студенческих времен хотел только одного. По сравнению с Этим все остальное — мелочи. Он хотел, чтобы его признали самым талантливым в своей области. Не самым талантливым в Дании, среди всякой деревенщины. Самым талантливым во всей вселенной. Профессиональные амбиции — это неугасимый огонь в нем. И это — не огонек газовой горелки. Это — костер Святого Ханса.

Я не знаю, как встретились моя мать и мой отец. Я знаю, что он приехал в Гренландию, потому что эта гостеприимная страна всегда была полигоном для проведения научных экспериментов. Он разрабатывал новые методы лечения невралгии *trigeminus*, тройничного нерва. Раньше это заболевание лечили, убивая нерв спиртовыми инъекциями, что приводило к частичному параличу лица и потере чувствительности мускулатуры с одной стороны рта, так называемому парезу. Болезни, которая может поразить даже лучшие и самые богатые семейства, что и было на самом деле причиной того, что мой отец ею заинтересовался. В Северной Гренландии встречается много случаев этой болезни. Чтобы лечить ее при помощи своего нового метода — частичной тепловой денатурации больного нерва — он и приехал.

Сохранились его фотографии. В сапогах “кастингер” и одежде на пуху, с ледорубом и в солнечных очках, перед тем домом, который был ему предоставлен. Он стоит, положив руки на плечи двух маленьких, темных мужчин, которые должны были быть его переводчиками.

Для него Северной Гренландией был, в сущности, Туле, лежащий на самом краю. Он ни на минуту не мог представить себе, что пробудет более одного положенного месяца в продуваемой всеми ветрами ледяной пустыне, где даже нельзя найти площадку для игры в гольф.

Можно составить себе некоторое представление о степени энергетического накала между ним и моей матерью, когда задумаешься над тем, что он остался там на три года. Он пытался заставить ее переехать на базу, но она отказывалась. Как и всякому, кто родился в Северной Гренландии, ей была невыносима любая попытка посадить её под замок. Тогда вместо этого он последовал за ней в один из тех барачков, сделанных из фанеры и рифленого железа, которые были построены, когда американцы прогнали эскимосов из того района, где была построена база. И сегодня я иногда задаю себе вопрос, как же он выдерживал такую жизнь. Ответ, конечно же, состоит в том, что пока она была жива, он бы в любой момент оставил свои клюшки для гольфа и сумку, чтобы последовать за ней, даже если б ему пришлось спуститься прямо в черный, выжженный центр преисподней.

"У них появились", — говорят о людях, у которых рождаются дети. В этом случае так сказать было бы не правильно. Я бы сказала, что у моей матери появились мой младший брат и я. За пределами этой жизни, — присутствуя, но не будучи в состоянии стать ее частью, опасный как медведь, взятый в плен в стране, которую он ненавидел, любовью, которую он не понимал, но жертвой которой он стал, и на которую он, как ему казалось, не имел ни малейшего влияния — был мой отец, человек со шприцем в уверенных руках, игрок в гольф Мориц Ясперсен.

Когда мне было три года, он уехал. Или, точнее сказать, был изгнан самим собой. В глубине любой слепой, безрассудной влюбленности растет ненависть к объекту любви, который владеет единственным в мире ключом к счастью. Как я сказала, мне было только три года, но я помню, как он уезжал. Он уезжал, охваченный кипящей, затаенной, неистовой, страшной яростью. Если рассматривать ее как вид энергии, то превзошла ее только та тоска, которая отшвырнула его назад. Он был крепко привязан к моей матери резиновым жгутом, который хотя и был невидим миру, обладал действием и физической реальностью приводного ремня.

Он не много занимался нами, детьми, когда приезжал. Из первых шести лет своей жизни я запомнила его следы. Запах табака "Латакия", который он курил. Автоклав, в котором он кипятил свои инструменты. Тот интерес, который он вызывал, когда время от времени, надев ботинки с шипами, выходил на улицу и раскидывал ведро мячей по только что вставшему льду. И то настроение, которое он приносил с собой и которое было суммой его чувств к моей матери. Такое же умиротворяющее тепло, каким, должно быть, обладает ядерный реактор.

Какова была роль моей матери во всем этом? Этого я не знаю, и никогда не узнаю. Люди, которые понимают в подобных вещах, говорят, что когда любовная связь действительно терпит крушение и идет ко дну, то способствуют этому обе стороны. Это возможно. Как и все остальные, я с семи лет тщательно покрывала свое детство фальшивой позолотой, и какая-то ее часть, наверное, попала и на мою мать. Но, во всяком случае, именно она осталась на своем месте и ставила тюленьи сети, и расчесывала мне волосы. Она была там, большая и надежная, в то время как Мориц со своими клюшками для гольфа, щетиной на лице и шприцами раскачивался, подобно маятнику, между крайними полюсами своей любви — от полного растворения в ней до дистанции в виде всей Северной Атлантики между ним и его любимой.

Тот, кто в Гренландии попадает в воду, не всплывает. Температура моря меньше четырех градусов, а при этой температуре приостанавливаются все процессы гниения. Поэтому не происходит того разложения содержимого желудка, которое в Дании снова придает самоубийцам плавучесть и прибывает утопленников к берегу.

Но нашли обломки ее каяка, и по ним определили, что это был морж. Моржи непредсказуемы. Они могут обладать повышенной чувствительностью и застенчивостью. Но если они заплывают немного южнее, и если этой осенью мало рыбы, они превращаются в самых быстрых и самых добросовестных убийц океана. При помощи двух клыков они могут выломать борт судна из армоцемента. Мне довелось видеть, как однажды охотники поднесли треску к морде моржа, которого они поймали живьем. Он сложил губы, как для поцелуя, а потом всосал в себя мякоть рыбы прямо с костей.

— Было бы прекрасно, если бы ты смогла прийти в Сочельник, Смила.

— Рождество для меня ничего не значит.

— Ты хочешь, чтобы твой отец сидел один?

Это одна из наиболее утомительных черт характера Морица, с годами развившаяся у него —

смесь раздражительности и сентиментальности.

— Не сходить ли тебе в “Дом одиноких мужчин”? Я встаю, и он идет за мной.

— Ты ужасно бессердечная, Смила. Именно поэтому ты не смогла жить с другим человеком.

Он так близок к тому, чтобы зарыдать, насколько это вообще для него возможно.

— Папа, — говорю я, — выпиши мне рецепт.

Он мгновенно, молниеносно переходит, как и бывало у него с моей матерью, от обвинений к заботе.

— Ты больна, Смила?

— Очень. Но этим клочком бумаги ты можешь спасти мне жизнь и выполнить клятву Гиппократу. Он должен содержать пять цифр.

Он морщится, речь идет о сокровенном, мы затронули жизненно важные органы — бумажник и чековую книжку.

Я надеваю шубу. Беня не выходит попрощаться. В дверях он протягивает мне чек. Он знает, что этот трубопровод — единственное, что соединяет его с моей жизнью. И даже это он боится потерять.

— Может быть, Фернандо отвезет тебя домой? И тут неожиданно его ударяет.

— Смила, — кричит он, — ты ведь не собираешься уезжать? Между нами покрытый снегом кусочек лужайки. Вместо него мог бы быть и полярный лед.

— Кое-что отягощает мою совесть, — говорю я. — Чтобы как-то это поправить, нужны деньги.

— В таком случае, — говорит он, как бы наполовину про себя, — боюсь, что эта сумма недостаточно велика.

Так за ним остается последнее слово. Нельзя же выигрывать каждый раз.

7

Может быть, это случайность, может быть, нет, но он приходит, когда рабочие обедают, и на крыше никого нет.

Ярко светит, начиная пригревать, солнце, небо голубое, летают белые чайки, видна верфь в Лимхамне, и нет никаких следов того снега, из-за которого мы здесь стоим. Мы с господином Рауном, следователем государственной прокуратуры.

Он маленького роста, не выше меня, но на нем очень большое серое пальто с такими большими ватными плечами, что он похож на десятилетнего мальчика из мюзикла о временах сухого закона. Лицо у него темное и потухшее, словно застывшая лава, и такое худое, что кожа обтягивает череп, как у мумии. Но глаза живые и внимательные.

— Я решил заглянуть к вам, — говорит он.

— Это очень любезно с вашей стороны. Вы всегда заглядываете, когда получаете жалобу?

— В исключительных случаях. Обычно дело передается в районную комиссию. Положим, что это связано с обстоятельствами дела и вашей наводящей на размышления жалобой.

Я ничего не отвечаю. Я хочу, чтобы помощник прокурора побыл немного в молчании. Но молчание не оказывает на него никакого заметного воздействия. Его песочного цвета глаза пристально и без всякой неловкости смотрят на меня. Он может простоять здесь столько, сколько потребуется. Уже одно это делает его необычным человеком.

— Я говорил с профессором Лойеном. Он рассказал мне, что вы были у него. И что вы считаете, будто у мальчика была боязнь высоты.

Его положение в этом мире мешает мне испытывать к нему настоящее доверие. Но я чувствую потребность поделиться хотя бы частью того, что меня мучает.

— На снегу были следы.

Очень немногие люди умеют слушать. Либо какие-то дела отвлекают их от разговора, либо они внутри себя решают вопрос, как бы попытаться сделать ситуацию более благоприятной, или же обдумывают, каким должен быть выход, когда все замолчат и наступит их черед выходить на сцену.

Иначе себя ведет человек, который стоит передо мной. Когда я говорю, он сосредоточенно слушает меня, и ничего больше.

— Я читал протокол и видел фотографии.

— Я говорю о другом. Есть еще кое-что.

Мы приближаемся к тому, что должно быть сказано, но что невозможно объяснить.

— Это было движение с ускорением. При отталкивании от снега или льда происходит пронация голеностопного сустава. Как и в случае, если идешь босиком по песку.

Я пытаюсь ладонью изобразить это слегка направленное наружу вращательное движение.

— Если движение очень быстрое, недостаточно устойчивое, произойдет незначительное скольжение назад.

— Как и у всякого ребенка, который играет...

— Если привык играть на снегу, не будешь оставлять такие следы, потому что это движение неэкономично, как и при не правильном распределении веса при подъеме в горку на беговых лыжах.

Я сама слышу, как неубедительно это звучит. И ожидаю едкого замечания. Но Раун молчит.

Он смотрит на крышу. У него нет тика, нет привычки поправлять шляпу, или зажигать трубку,

или переминаясь с ноги на ногу. Он не достает никакого блокнота. Он просто очень маленький человек, который внимательно слушает и серьезно размышляет.

— Интересно, — говорит он, наконец. — Но и несколько... легковесно. Было бы сложно объяснить это неспециалисту. На этом трудно что-нибудь построить.

Он прав. Читать снег — это все равно, что слушать музыку. Описывать то, что прочитал — это все равно, что растолковывать музыку при помощи слов.

В первый раз это сродни тому чувству, которое возникает, когда обнаруживаешь, что ты не спишь, в то время как все вокруг спят. В равной мере одиночество и всемогущество. Мы направляемся из Квинниссута к заливу Инглфилд. Зима, дует ветер, и стоит страшный мороз. Чтобы пописать, женщинам приходится, накрывшись одеялом, разжигать примус, иначе вообще невозможно снять штаны, не получив в ту же секунду обморожения.

Уже некоторое время мы наблюдаем, как собирается туман, но когда он возникает, это происходит мгновенно, словно наступает коллективная слепота. Даже собаки съеживаются. Но для меня не существует никакого тумана. Есть только бурное, радостное возбуждение, потому что я абсолютно точно знаю, куда нам надо ехать.

Моя мать слушает меня, а остальные слушают ее. Меня сажают на первые сани, и я помню возникшее у меня ощущение, что мы едем по серебряной нити, натянутой между мной и домом в Кваанааке. За минуту до того, как фронтон дома выступает из тьмы, я чувствую, что сейчас это произойдет.

Может быть, тот раз и не был первым. Но именно так я это запомнила. Может быть, не правильно, что мы вспоминаем переломные моменты в нашей внутренней жизни как нечто, происходящее в отдельные, исключительные мгновения. Может быть, влюбленность, пронзительное осознание того, что сами мы когда-нибудь умрем, любовь к снегу, на самом деле не неожиданность, может быть, они присутствуют всегда. Может быть, они никогда и не умирают.

Я вспоминаю и другой туман, кажется, тем же летом. Я никогда много не плавала по морю. Я не знакома с подводным миром. Непонятно, почему меня взяли с собой. Но я всегда знаю, где мы находимся по отношению к ориентирам на суше.

С этого дня меня стали брать с собой почти каждый раз.

В лаборатории американской армии “Голдуотер” на острове Байлот были сотрудники, специально занимавшиеся изучением способности человека ориентироваться на местности. Там я увидела толстые книги и длинную библиографию статей о том, что по всей земле дуют ветры постоянных направлений, создающие кристаллы льда под определенным углом, так что даже при плохой видимости можно определить стороны света. О том, что другой, почти незаметный бриз, несколько выше, в тумане, дает совершенно определенное ощущение прохлады с одной стороны лица. О том, что подсознание регистрирует даже обычно не заметный свет. Существует теория, согласно которой человеческий мозг в арктических районах должен регистрировать сильную электромагнитную турбулентность северного магнитного полюса земли поблизости от Буха Феликс.

Устные доклады о том впечатлении, которое создает музыка.

Моим единственным братом по духу является Ньютон. Я была взволнована, когда в университете нам рассказали о том месте в Principia Mathematica, Книге Первой, где он,

наклонив ведро, полное воды и используя наклонную поверхность воды, доказывает, что внутри и вокруг вращающейся земли и вращающегося солнца, и танцующих звезд, не позволяющих найти какую-нибудь постоянную точку отсчета, систему координат и точку опоры в жизни, есть absolute space — Абсолютное Пространство, то, что остается неподвижным, то, за что мы можем ухватиться.

Я могла бы расцеловать Ньютона. Позднее я впала в отчаяние от критики Эрнстом Махом эксперимента с ведром, той критики, которая стала основой работ Эйнштейна. Тогда я была моложе и более впечатлительна. Сегодня я знаю, что они лишь хотели показать, что аргументация Ньютона была недостаточной. Всякое теоретическое толкование — это ограничение интуиции. Никто не смог поколебать нашу с Ньютоном уверенность в существовании Абсолютного Пространства. Никто не найдет дорогу в Кваанаак, зарывшись в труды Эйнштейна.

— А как вы сами представляете то, что случилось? Ничто так не обезоруживает, как расположение.

— Я не знаю, — говорю я. Это очень близко к истине.

— Чего вы ожидаете от нас?

Здесь при свете дня, когда снег растаял, а жизнь на Книггпельсбро продолжается, и со мной говорит вежливый человек, все мои возражения кажутся вдруг такими несерьезными. Я не нахожу, что ему ответить.

— Я, — говорит он, — снова изучу дело, с начала до конца, и рассмотрю его в свете того, что вы мне рассказали.

Мы спускаемся вниз, и это двоякого смысла спуск. Там, внизу, меня ожидает депрессия.

— Я оставил машину за углом, — говорит он. И тут он совершает большую ошибку.

— Я хочу предложить вам, пока мы пересматриваем дело, забрать назад свою жалобу. Чтобы мы могли спокойно работать. И по той же причине: если журналисты обратятся к вам, то вы должны, как мне кажется, отказаться от комментариев. И не упоминать о том, что вы мне рассказали. Переадресуйте их в полицию, скажите, что полиция по-прежнему занимается делом.

Я чувствую, что краснею. Но не от смущения. От гнева.

Я не совершенна. Мне больше нравится снег и лед, чем любовь. Мне легче интересоваться математикой, чем любить своих близких. Но у меня есть надежная опора в этой жизни, нечто незыблемое. И можно называть это способностью ориентироваться, можно называть это женской интуицией, можно называть это как угодно. Я опираюсь на фундамент, ниже которого опуститься не могу. И очень может быть, что мне не удалось так уж удачно устроить свою жизнь. Но я всегда — по меньшей мере, одним пальцем — чувствую Абсолютное Пространство.

Поэтому существует предел тому, насколько мир может расшатываться, насколько все может идти кривь и вкось, прежде чем я это обнаружу. Теперь у меня нет ни тени сомнения в том, что здесь какая-то загадка.

У меня нет водительских прав. А если ты носишь хорошую одежду, существует слишком много факторов, о которых следует помнить, если надо одновременно и ехать на велосипеде, и следить за машинами, и сохранять достоинство, и придерживать маленькую охотничью шляпку от Вауна с Эстергаде. Так что, как правило, получается так, что я иду пешком или еду на автобусе.

Сегодня я иду пешком. Вторник, 21 декабря, холодно и ясно. Сначала я иду в библиотеку Геологического Института на Эстервольгаде.

Есть один тезис, который мне очень нравится. Это постулат Дедекинда о линейном сжатии. Он гласит — в приблизительном изложении — что где угодно в числовом ряду можно внутри любого ничтожно малого интервала найти бесконечность. Когда я в библиотечном компьютере ищу Криолитовое общество “Дания”, я получаю материал для чтения на год.

Я выбираю “Белое золото”. Оказывается, что это книга, полная блеска. У рабочих в криолитовой каменоломне блеск в глазах, у владельцев этой отрасли, зарабатывающих денежки, блеск в глазах, у гренландцев-уборщиков блеск в глазах, а синие гренландские фьорды полны отблесков и солнечного света.

Потом я иду пешком мимо Эстерпорта и по Странбульвару. К дому номер 72Б, где у Криолитового общества “Дания” поблизости от конкурировавшего с ним Криолитового общества “Эресунн” когда-то было 500 сотрудников, два здания с лабораториями, цех криолита-сырца, сортировочный цех, столовая и мастерские. Теперь остались только железнодорожные пути, рабочая площадка, организованная для сноса здания, несколько сараев и навесов и большая вилла из красного кирпича. Из прочитанной мною книги я знаю, что два больших криолитовых месторождения у Саккака были окончательно выработаны в 60-х, и что компания в течение 70-х перешла к другим видам деятельности.

Сейчас здесь есть только огороженный участок, подъезд и группа рабочих в светлой рабочей одежде, которые спокойно наслаждаются рождественским пивом, готовясь к наступающему празднику.

Бодрая и предприимчивая девушка подошла бы к ним, и, поприветствовав их по-скаутски, поговорила бы с ними на их жаргоне и выкачала бы из них сведения о том, кем была фру Любинг, и что с ней случилось.

Такая прямота мне не свойственна. Мне не нравится обращаться к незнакомым людям. Мне не нравятся датские рабочие, собравшиеся в группу. Мне вообще не нравятся никакие группы мужчин.

Размышляя обо всем этом, я обхожу весь участок, и рабочие, заметив меня, машут руками, подзывая ближе, и оказываются учтивыми джентльменами, проработавшими здесь целых 30 лет, а вот теперь перед ними стоит печальная задача все ликвидировать, они знают, что фру Любинг все еще жива, и у нее квартира во Фредериксберге, и номер ее телефона можно найти в телефонной книге, а почему меня это интересует?

— Она когда-то мне очень помогла, — говорю я. — А теперь я хочу кое-что узнать у нее.

Они кивают и говорят, что фру Любинг многим людям помогала, и что у них есть дочери моего возраста, и чтобы я еще заходила.

Когда я иду по Странбульвару, я думаю о том, что глубоко внутри самой параноидальной подозрительности запрятаны человеколюбие и стремление к контакту, которые лишь ждут

возможности проявиться.

Ни один человек, живший когда-либо бок о бок с животными, обитающими на воле, не может после этого посещать зоопарк. Но однажды я веду Исайю в Зоологический музей, чтобы показать ему там залы с тюленями.

Ему кажется, что они выглядят больными. Но его привлекает чучело зубра. По пути домой мы проходим через Фэлледпаркен.

— Так сколько ему лет? — спрашивает он.

— Сорок тысяч лет.

— Тогда он, наверное, скоро умрет.

— Наверное, умрет.

— Когда ты умрешь, Смила, можно мне будет взять твою шкуру?

— Договорились, — отвечаю я.

Мы переходим Треугольник. Стоит теплая осень, туманно.

— Смила, мы можем поехать в Гренландию?

Я не вижу никаких причин щадить детей, скрывая от них правду, от которой все равно никуда не денешься. Ведь когда они вырастут, им надо будет выносить то же, что и всем нам.

— Нет, — говорю я.

— Нет так нет.

Я никогда ничего ему не обещала. Я ничего не могу ему обещать. Ни один человек ничего не может обещать другому.

— Но мы можем почитать о Гренландии.

Он говорит “мы” о чтении вслух, прекрасно понимая, что он своим присутствием вносит такой же вклад, что и я.

— В какой книге?

— В “Элементах” Евклида.

Когда я возвращаюсь домой, уже темно. Механик затаскивает свой велосипед в подвал.

Он очень большой, похож на медведя, и если бы он распрямился, он мог бы быть импозантным. Но он ходит, пригнув голову, то ли извиняясь за свой рост, то ли чтобы не удариться о притолоки этого мира.

Мне он нравится. У меня слабость к неудачникам. Инвалидам, иностранцам, самому толстому мальчику в классе, тому, с которым никто никогда не танцует. Душой я с ними. Может быть,

потому что я всю жизнь знала, что в некотором смысле всегда буду одной из них.

Исайя и механик дружили. Еще с тех времен, когда Исайя не мог говорить по-датски. Им, наверняка, не требовалось много слов. Один ремесленник узнал другого ремесленника. Двое мужчин, каждый из которых был по-своему одинок в мире.

Он тащит свой велосипед, а я иду за ним. У меня появилась одна мысль, связанная с подвалом.

Помещение ему выделили в два раза большее, чем всем, в расчете на мастерскую. Здесь цементный пол, теплый, сухой воздух и резкий, желтый электрический свет. Ограниченное пространство тесно заставлено. Вдоль двух стен — верстак. На крючках — велосипедные колеса и камеры. Коробка из молочного магазина, наполненная сломанными потенциометрами. Пластмассовая панель для гвоздей и шурупов. Доска, на которой маленькие кусачки с изолированными ручками для работы с электроникой. Доска с гаечными ключами. Девять квадратных метров фанеры, на которых, похоже, все существующие в мире инструменты. Шеренга паяльников. Четыре полки с сантехническим оборудованием, банками с краской, сломанными стереоустановками, набором торцовых ключей, сварочными электродами и целой серией электроинструментов “Метабо”. А у стены два огромных баллона для сварки в углекислом газе, и два маленьких для сварочной горелки. Кроме этого, разобранная стиральная машина. Ведра с антисептиком против домового грибка. Велосипедная рама. Велосипедный насос.

Здесь собрано так много предметов, что кажется, будто они ждут малейшего повода, чтобы создать хаос. Если бы такого человека, как я, послали сюда с поручением зажечь свет — тут же началась бы полная неразбериха, в которой даже нельзя было бы потом отыскать электрический выключатель. Но сейчас каждая вещь занимает свое место благодаря всепоглощающей, деятельной любви к порядку. Человек хочет быть уверен в том, что он сможет найти то, что ему понадобится.

Это место представляет собой двойной мир. Наверху верстак, инструменты, высокое конторское кресло. Под верстаком мир повторяется в уменьшенном в два раза размере. Маленький столик из амазонита с лобзиком, отвертка, стамеска. Маленькая скамеечка. Верстак. Маленькие тиски. Ящик из-под пива. Примерно тридцать баночек лака “Хумбольд” в коробке из-под сигар. Вещи Исайи. Я была здесь как-то раз, когда они работали. Механик на своем стуле, склонившись над лупой в штативе, Исайя на полу, в трусах, оба далекие от всего мира. В воздухе стоял запах оловянного припоя и отвердителя для эпоксидной смолы. И чувствовалось другое, более сильное — абсолютная, полная отрешенности сосредоточенность. Я простояла там минут десять. Они даже не взглянули на меня.

Исайя не был экипирован для датской зимы. Только время от времени Юлиана собиралась с силами, чтобы одеть его как следует. Когда я уже знала его полгода, у него в четвертый раз за два месяца началось серьезное воспаление среднего уха. После пенициллиновой интоксикации оказалось, что он стал плохо слышать. С тех пор я, читая ему, садилась напротив, так чтобы он мог следить за движением моих губ. Механик стал для него тем человеком, с которым можно было говорить иначе, чем при помощи языка.

Я уже несколько дней ношу кое-что в кармане, потому что я ждала этой встречи. Теперь я достаю этот предмет.

— Для чего это?

Я показываю ему приспособление с присоской, которое взяла в комнате Исайи.

— “Присоска”. Стекольщики используют их для переноски больших кусков стекла.

Я достаю вещи Исайи из пивного ящика. Несколько предметов, вырезанных из дерева. Гарпун. Топор. Лодка, сделанная из плотного, как бы покрытого крапинками дерева, может быть, грушевого дерева — *umiaq*. Она гладко отполирована снаружи, отверстие выдолблено долотом. Длительная, трудоемкая, тщательно выполненная работа. Далее автомобильчик, сделанный из согнутых и склеенных алюминиевых полосок, вырезанных из пластинки толщиной почти с фольгу. Кусочки цветного необработанного стекла, которые были расплавлены и растянуты над газовой горелкой. Несколько оправ для очков. Вокман. Крышка у него исчезла, но она искусно заменена пластинкой из плексигласа с маленькими привинченными петлями. Он убран в полиэтиленовый футляр, сшитый вручную. На всем лежит печать совместной работы ребенка и взрослого. Здесь также целая куча магнитофонных кассет.

— Где его нож?

Он пожимает плечами. Вскоре он уходит. Он друг всего мира, он весит 100 килограммов, у него приятельские отношения с дворником. У него есть ключи от подвалов, и он может ходить куда угодно и когда угодно.

Я беру маленькую скамеечку и сажусь у дверей, откуда мне видно все помещение.

Широко распространено мнение, что дети открыты, что правда об их внутреннем мире как будто струится из них. Это не так. Нет никого более скрытного, чем дети, и ни у кого нет большей потребности быть скрытным. Это своего рода реакция на мир, который постоянно пытается открыть их с помощью консервного ножа, чтобы посмотреть, что же у них там внутри и не надо ли заменить это более подходящим содержимым.

Первой потребностью, появившейся в интернате — кроме постоянного, никогда по-настоящему не удовлетворяемого голода — была потребность в покое. В общей спальне покоя не найти. Потом это желание приобретает другую форму. Оно превращается в стремление иметь тайник, потайное место.

Я пытаюсь представить себе жизнь Исайи, те места, где он бывал. Квартиру, квартал, детский сад, набережную. Места, которые никогда нельзя будет полностью обследовать. Поэтому я довольствуюсь тем, что имеется в моем распоряжении.

Я изучаю комнату. Очень внимательно. И ничего не нахожу. Ничего, кроме воспоминаний об Исайте. Потом я вызываю в памяти представление о том, как все здесь выглядело оба раза, когда я давным-давно здесь бывала.

Я уже сижу, должно быть, полчаса, когда меня осеняет. Полгода назад дом обследовали на предмет наличия грибка. Из страховой компании пришли люди с собакой, натренированной на то, чтобы искать его. Они нашли два небольших мицелия, которые уничтожили, а затем заштукатурили. Одним из тех мест, где они работали, было это помещение. Они вскрывали стену в метре от пола. Потом они опять ее заделали, но это место еще не покрыто штукатуркой, как остальная часть стены. Под верстаком, в тени, остался квадрат величиной шесть на шесть кирпичей.

И, однако, я чуть было не пропустила это место. Он, должно быть, ждал, пока рабочие закончат. Потом он пришел сюда, пока раствор еще не застыл, и продвинул один из кирпичей немного внутрь. А потом подождал минуту и снова поставил его на место. Так он делал, пока раствор не застыл. Тихо и спокойно, в течение всего вечера, с перерывами в четверть часа, он спускался в подвал, чтобы передвинуть кирпич на один сантиметр. Так я это себе представляю.

Между кирпичом и раствором нельзя засунуть лезвие ножа. Но когда я нажимаю, он начинает уходить внутрь. Сначала я не могу понять, как он смог его вынуть, потому что за него нельзя ухватиться. Потом я беру присоску и разглядываю ее. Я не могу толкнуть кирпич вперед, потому что он просто упадет в пустоту за стеной. Но когда я подношу черный резиновый кружок к поверхности, и при помощи маленькой ручки заставляю его присосаться, кирпич выходит, преодолевая сопротивление. Вытащив его, я понимаю, что создавало сопротивление. С обратной стороны забит маленький гвоздик. На него намотан тонкий нейлоновый шнур. На гвоздь и шнур капнули большую каплю клея “Аральдит”, ставшего теперь твердым, как камень. Шнур спускается в пустоту за стеной. На другом конце висит плоская коробка из-под сигар, обмотанная двумя толстыми резиновыми бинтами. Все вместе — просто поэма технической изобретательности.

Я кладу коробку в карман пальто. Потом я осторожно вставляю кирпич на место.

Рыцарский дух — это архетип. Когда я приехала в Данию, копенгагенский амт собрал класс из детей, которые должны были изучать датский в школе Ругмаркен, поблизости от жилья для иммигрантов, организованного социальной службой в Сунбю на Амагере. Я сидела за одной партой с мальчиком, которого звали Барал. Мне было семь лет, и я была коротко пострижена. На переменах я играла с мальчиками в мяч. Месяца через три был урок, на котором мы должны были называть имена друг друга.

— А кто сидит рядом с тобой, Барал? Как ее зовут?

— Его зовут Смила.

— Ее зовут Смила. Смила — девочка.

Он посмотрел на меня с немим изумлением. После того как прошел первый шок и в последующие полгода в школе, его отношение ко мне изменилось только в одном. К нему добавилось приятное, учтивое желание помочь.

И у Исайи было такое же отношение ко мне. Он мог неожиданно перейти на датский, чтобы сказать мне “вы”, как только он понял заложенное в этом слове уважение. В последние три месяца, когда саморазрушение Юлианы усилилось и стало более целенаправленным, чем раньше, случалось, что по вечерам он не хотел уходить.

— Как вы думаете, — говорил он, — я могу поспать здесь?

После мытья я ставила его на сидение унитаза и смазывала кремом. Оттуда ему в зеркале было видно его лицо, то, как он с подозрением прихихивается к розовому запаху ночного крема “Элизабет Арден”.

Днем он никогда не касался меня. Он никогда не брал меня за руку, никогда не ласкался ко мне и никогда не просил о ласке. Но бывало, что ночью он прижимался ко мне, погруженный в глубокий сон, и лежал так несколько минут. Когда он касался моей кожи, у него возникала легкая эрекция, которая то появлялась, то проходила, то появлялась, то проходила, будто выпрямлялась, а потом оседала детская игрушка на ниточках.

В эти ночи я спала некрепко. При малейшем изменении его быстрого дыхания я просыпалась. Часто я просто лежала и думала о том, что сейчас вдыхаю воздух, который он выдыхает.

Бертран Рассел писал, что чистая математика — эта та область, в которой мы не знаем, о чем мы говорим, или не знаем, насколько то, что мы говорим, является истинным или ложным.

С приготовлением пищи у меня так же.

Я ем в основном мясо. Жирное мясо. Я не могу согреться от овощей и хлеба. Я никогда не следила за тем, что я ем, какие продукты использую, какова химическая основа приготовления пищи. У меня есть только один рабочий принцип. Я всегда готовлю горячую пищу. Это очень важно, когда живешь один. Это нужно для достижения душевного здоровья. Это поддерживает.

Сегодня это, кроме всего прочего, преследует и другую цель. Это отодвигает два телефонных звонка. Я не люблю говорить по телефону. Я хочу видеть того, с кем говорю.

Я ставлю сигарную коробку Исайи на стол. Потом я делаю первый звонок.

Вообще-то я надеюсь, что уже поздно, скоро Рождество, люди должны были рано уйти домой.

Я звоню в Криолитовое общество. Директор все еще в своем кабинете. Он не представляется, он — просто голос, сухой, неумолимый, холодный, как песок, струящийся в песочных часах. Он сообщает мне, что поскольку в правлении было представлено государство и так как компания в настоящий момент находится в процессе ликвидации, а фонд в процессе реорганизации, принято решение перевести все бумаги в Государственный архив, в котором хранятся документы, содержащие решения, принятые государственными организациями, и в котором некоторые из этих бумаг — он не может сообщить мне, какие именно — попадут в категорию “общие решения”, не подлежащие разглашению в течение 50 лет, в то время как другие — он также не может, как я, должно быть, могу понять, сообщить мне, какие именно — будут рассматриваться как сведения личного характера, не подлежащие разглашению в течение 80 лет.

Я пытаюсь узнать у него, где находятся документы, документы как таковые.

Как физическая реальность все бумаги по-прежнему находятся в ведении компании, но формально они уже переданы в Государственный архив, куда мне, следовательно, и надо обратиться, и может ли он еще чем-нибудь помочь мне?

— Да, — говорю я. — Если упадете замертво.

Я разматываю резиновые бинты на коробке Исайи.

Те ножи, которые есть у меня в доме, остры настолько, что годятся только для того, чтобы разрезать ими конверты. Отрезать кусочек ржаного хлеба — это для них уже почти непосильная задача. По мне они и не должны быть острее. В противном случае в тяжелые дни я способна легко прийти к мысли о том, что можно без всяких проблем встать в ванной перед зеркалом и перерезать себе горло. В подобных случаях очень неплохо иметь дополнительные гарантии безопасности, вроде того, что сначала надо пойти к нижнему соседу и взять у него взаймы нож.

Но мне понятна любовь к сверкающему клинку. Однажды я купила Исайе нож “пума”. Он не благодарил меня. Его лицо не выразило никакого удивления. Он осторожно достал из обитой зеленым фетром коробочки короткий кинжал с широким лезвием и через пять минут ушел. Он

знал, и я знала, и он знал, что я знала — он ушел, чтобы в подвале под верстаком механика свернуться в клубочек со своим новым приобретением, и что пройдут месяцы, прежде чем он сможет осознать, что нож принадлежит ему.

Теперь нож в ножнах лежит передо мной в коробке из-под сигар. С широкой, тщательно отполированной рукояткой из оленьего рога. В коробке лежат еще четыре предмета. Наконечник гарпуна, из тех, что все гренландские дети находят на заброшенных поселениях, и которые, как они знают, положено оставлять археологам, но которые они, тем не менее, все равно подбирают и таскают с собой. Медвежий коготь, и, как обычно, меня удивляет твердость, тяжесть и острота одного такого когтя. Магнитофонная кассета без футляра, но завернутая в выцветший листок зеленой бумаги для черновиков, исписанный цифрами. Сверху печатными буквами написано слово “Нифльхейм”.

Футляр автобусной карточки. Сама карточка вынута, так что он теперь служит обложкой для фотографии. Цветной фотографии, наверняка, сделанной “инстаматиком”. Летом, должно быть в Северной Гренландии, потому что джинсы мужчины заправлены в камики. Он сидит на камне, освещенный солнцем. Он — полураздет, на левой руке — большие, черные водонепроницаемые часы. Он смеется в объектив, и в этот момент видно, что он каждым зубом и каждой морщинкой, вызванной смехом, отец Исайи.

Уже поздно. Но, похоже, это как раз то время, когда все мы, приводящие в движение государственную машину, даем ей последний толчок перед Рождеством, чтобы заслужить то дополнительное вознаграждение, которым в этом году будет замороженная утка и мимолетный поцелуй начальника в щечку.

Так что я открываю телефонную книгу. Государственная прокуратура находится на улице Йенса Кофода.

Я точно не знаю, что скажу Рауну. Может быть, мне просто надо рассказать, что меня не удалось перехитрить, что я не сдалась. Мне надо сказать ему: “Знаешь, что, мой пупсик, я слежу за тобой, ты так и знай”.

Я готова к любому ответу.

Но только не к тому, который слышу.

— Здесь, — говорит холодный женский голос, — такой не работает.

Я опускаюсь на стул. Мне не остается ничего другого, кроме как тихонько дышать в микрофон, чтобы потянуть время.

— А кто это говорит? — спрашивает она.

Я собираюсь положить трубку. Но что-то в ее голосе меня останавливает. В нем звучит какая-то косность. Узость и любопытство. Из этого любопытства вдруг рождается вдохновение.

— Смилла, — шепчу я, стараясь вложить как можно больше сладкой ваты между мной и мембраной. — Из “Сауны-клуба Смиллы”. У господина Рауна назначено время массажа, которое он хотел бы изменить...

— Этот Раун, он невысокий и худой?

— Как палка, милочка.

— Ходит в широком пальто?

— Как большая палатка.

Я слышу, как у нее учащается дыхание. Я знаю, что у нее в глазах появился блеск.

— Так он из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Теперь она счастлива. По-своему. Я подарила ей прекрасную рождественскую историю для задумчивых подруг к завтрашнему утреннему кофе с булочками.

— Ты просто спасла меня, — говорю я. — Если тебе самой нужен будет массаж...

Она кладет трубку.

Я беру чай и подхожу к окну. Дания — прекрасная страна. А полицейские особенно прекрасны. И удивительны. Они провожают королевских гвардейцев к дворцу Амалиенбург. Они помогают заблудившимся утятам перейти через улицу. А когда с крыши падает маленький мальчик, то сначала появляются сотрудники отделения по поддержанию общественного порядка. А потом уголовная полиция. И, наконец, за дело берется отдел Государственной прокуратуры, занимающийся экономическими преступлениями. Это внушает уверенность в завтрашнем дне.

Я вытаскиваю телефонную вилку из розетки. На сегодня я уже наговорила по телефону. Механик по моей просьбе сделал кое-что с проводом, так что я могу отключить и дверной звонок.

Потом я сажусь на диван. Сначала передо мной проплывают события сегодняшнего дня. Я не задерживаюсь на них. Потом появляются воспоминания из детства, то немного депрессивные, то слегка приподнятые, они также проходят. Потом наступает спокойствие. В этом состоянии я ставлю пластинку. Сажу и плачу. Я оплакиваю не кого-то и не что-то. Свою жизнь я, в какой-то мере, сама себе создала, и я не хочу ее изменить. Я плачу, оттого что есть во вселенной такая красота, как скрипичный концерт Брамса в исполнении Гидона Кремера.

9

Согласно одной научной теории можно быть абсолютно уверенным в существовании только того, что ты сам узнал на собственном опыте. В таком случае, наверное, очень немногие люди могут быть совершенно уверены в том, что Готхопсвай существует в пять часов утра. Окна, во всяком случае, темны и пусты, улицы пустынные, а в автобусе номер 2 нет никого, кроме шофера и меня.

Пять часов утра — это какое-то особенное время. Как будто сон достигает дна. Кривая цикла быстрого движения глаз меняет направление, начиная поднимать спящих навстречу сознанию, что дальше так продолжаться не может. Люди в это время беззащитны, как грудные дети. В это время выходят на охоту крупные звери, в это время полиция взимает просроченные штрафы за нарушение правил парковки автомобиля.

И в это время я сажусь на “двойку” и еду в Брёнсхой, на Каббелайе-вай, у края Уттерслев Мосе,

чтобы нанести визит судебно-медицинскому эксперту Лагерманну — с именем “как сорт лакрицы” — так он мне представился.

Он узнал мой голос по телефону еще до того, как я успела назвать себя, и быстро назначил время: “В половине седьмого, — сказал он, — сможете?”

И я прихожу около шести. Люди выстраивают свою жизнь с помощью времени. Если его немного изменить, всегда случается что-нибудь, наводящее на размышления.

Улица Каббелайевой погружена в темноту. Дома темны. Уттерслев Мосе в конце улицы тоже во тьме. Очень холодно, тротуар стал светло-серым от инея, стоящие у домов машины покрыты сверкающим, белым мехом. Интересно взглянуть на заспанное лицо судмедэксперта.

Только в одном доме окна освещены. Не просто освещены, иллюминированы, а за ними движутся фигуры, как будто здесь со вчерашнего вечера идет придворный бал, который до сих пор не закончился. Я звоню в дверь. Смила, добрая фея, последний гость перед рассветом.

Дверь открывает пять человек, и делают они это одновременно, застревая попутно в дверях. Пятеро детей самого разного размера. А внутри дома видны еще дети. Они одеты для вылазки, в лыжных ботинках и с рюкзаками, так что руки у них свободны для драки. У них молочно-белая кожа, веснушки, из-под зимних шапок выглядывают медно-рыжие волосы, они окружены аурой гиперактивного вандализма.

Среди них стоит женщина с таким же, как и у детей, цветом кожи и волос, но ее рост, плечи и спина годятся для американского футбола. За ее спиной виднеется судебно-медицинский эксперт.

Он на полметра ниже своей жены. Он полностью одет, у него покрасневшие веки и оживленный вид.

Он и бровью не повел при виде меня. Он наклоняет голову, и мы с трудом прокладываем себе дорогу через крики и через несколько комнат, которые выглядят так, будто здесь прошли переселение народов и дикая орда, которые вдобавок к этому, возвращаясь, снова сюда заглянули, потом мы идем через кухню, где приготовлены бутерброды на целый полк, и через дверь, и когда эта дверь закрывается, становится совсем тихо, сухо, очень тепло, и все окрашено неоновым светом.

Мы стоим в оранжерее, пристроенной снаружи к дому и представляющей собой своего рода зимний сад, и за исключением нескольких узких дорожек и маленькой площадки с покрашенными в белый цвет металлическими стульями и столом, пол здесь — сплошные грядки и горшочки с кактусами. Кактусами всех размеров от одного миллиметра до двух метров. Разной степени колючести. Освещенными синими оранжерейными лампами.

— Даллас, — говорит он. — Подходящее место для того, чтобы начать собирать коллекцию. А вообще-то я не знаю, можно ли рекомендовать это место, черт возьми, не знаю. В субботний вечер у нас могло быть до пятидесяти убийств. Часто приходилось работать внизу, рядом с отделением скорой помощи. Там все было оборудовано так, чтобы мы могли проводить вскрытие. Очень удобно. Узнаешь кое-что о пулевых и ножевых ранениях. Моя жена говорила, что я совсем не вижу детей. Так это, черт возьми, и было.

Рассказывая это, он пристально рассматривает меня.

— А вы рано пришли. Нам-то все равно, мы все равно уже на ногах. Моя жена отдала детей в детский сад в Аллерёде. Чтобы они немного бывали в лесу. Вы знали маленького мальчика?

— Я дружила с этой семьей. В первую очередь, с ним. Мы садимся друг против друга.

— Чего вы хотите?

— Вы дали мне свою карточку.

Этого он просто не слышит. Я понимаю, что он человек, который слишком много повидал, чтобы ходить вокруг да около. Если он собирается что-нибудь рассказать, ему нужна искренность. Поэтому я рассказываю ему о том, что Исайя боялся высоты. О следах на крыше. О моем визите к профессору Лойену. О следователе Государственной прокуратуры Рауне.

Он зажигает сигару, глядя на свои кактусы. Может быть, он не понял, что я ему рассказала. Я сама не уверена в том, что понимаю.

— У нас, — говорит он, — единственный нормальный институт. В других возятся какие-нибудь четыре человека, и они даже не в состоянии получить денег на пипетки и на белых мышей, которым они должны прививать свои клеточные культуры. У нас есть целое здание. У нас есть патологоанатомы, и химики, и генетики судебно-медицинской экспертизы. И целая куча всего в подвале. У нас есть студенты. У нас 200 сотрудников, черт побери. За год у нас 3000 дел. Тот, кто сидит в Оденсе, видел, может быть, не более 40 убийств. Здесь в Копенгагене у меня было 1500. И столько же в Германии и США. Если в Дании и есть три человека, которые могут назвать себя судебно-медицинскими экспертами, то это необходимый уровень. И двое, двое из них — это я и Лойен.

Рядом с его стулом стоит кактус, напоминающий по форме цветущий пенёк. Из зеленого, неуклюжего, безжизненного, колючего растения вырастает вспышка пурпурного и оранжевого.

— На следующее утро после того, как привезли мальчика, у нас была запарка. Пьяные за рулем, застолья на службе по случаю приближающегося Рождества. Каждый день в четыре часа полиция хочет иметь протокол, черт возьми. И в восемь я начинаю смотреть мальчика. У Вас не очень слабые нервы? У нас ведь существуют свои правила. Проводится внешний осмотр тела. Мы смотрим, нет ли клеток эпидермиса под ногтями, спермы в прямой кишке, а потом вскрываем и смотрим на внутренние органы.

— Полиция присутствует?

— Только в исключительных случаях, например, если имеются серьезные основания предполагать убийство. Не в подобном случае. Здесь все было стандартно. На нем были брюки из водоотталкивающей ткани. Я рассматриваю их и думаю про себя, что это вообще не лучшая одежда, чтобы заниматься прыжками в длину. У меня есть одна маленькая хитрость. Из тех, которые со временем появляются в каждой профессии. Я засовываю горящую электрическую лампочку в штанины. Штаны из магазина “Хелле Хансен”. Добротная вещь. Я сам такие ношу, когда работаю в саду. Но на штанине в районе бедра перфорация. Я осматриваю мальчика. Чистая рутина. И на его теле я вижу маленькое отверстие. Мне бы следовало заметить его при внешнем осмотре, я Вам честно говорю, но что уж там, все мы люди. Тут я задумываюсь.

Потому что никакого кровотечения не было, и ткани не сократились. Вы понимаете, что это значит?

— Нет, — говорю я.

— Это значит, что как бы там это отверстие ни появилось, но случилось это после того, как перестало биться его сердце. Тогда я смотрю внимательнее на одежду. По краям отверстия виден след, и тут меня осеняет. Я беру иглу для биопсии. Такая полая канюля, очень большая, которая насаживается на ручку и загоняется в ткань, чтобы взять пробу. Подобно тому, как геологи берут пробы почвы. Широко используется в институте Августа Крога, спортивными врачами. И она подходит. Чёрт побери. Ободок на одежде мог появиться, потому что кто-то торопился и загнал ее со всей силой.

Он наклоняется ко мне.

— Готов поклясться, что кто-то брал у него биопсию мышц.

— Врач скорой помощи?

— Я тоже так подумал. Это было, черт возьми, совершенно ни к чему, но кто же еще? Поэтому я звоню, чтобы узнать. Я говорю с шофером. И с врачом. И с тем из наших сотрудников, кто принимал тело. Они клянутся и божатся, что ничего подобного не делали.

— Почему Лойен не рассказал мне об этом?

В первую минуту он хочет объяснить мне это. Потом доверительность между нами исчезает.

— Это, наверное, случайность.

Он выключает лампы. Мы сидели, окруженные ночью со всех сторон. Теперь уже заметно, что несмотря ни на что появится все-таки какой-то дневной свет. В доме наступила тишина. Дом беззвучно глотает воздух, чтобы отдышаться перед следующим армагеддоном.

Я прохожу по узким дорожкам. В кактусах есть какое-то упрямство. Солнце не хочет, чтобы они росли, ветер пустыни не хочет, чтобы они росли, засуха не хочет, ночные заморозки не хотят. И все равно они пробиваются наверх. Они ошетиливаются своими колючками, прячась за своей плотной оболочкой. И не сдаются ни на миллиметр. Я чувствую к ним симпатию.

Лагерманн похож на свои растения. Может быть, именно поэтому он и собирает кактусы. Не зная истории его жизни, я догадываюсь, что ему, чтобы выбраться к свету, пришлось пробиваться через несколько кубических метров камней.

Мы стоим у грядки с зелеными морскими ежами, которые выглядят так, словно они побывали под дождем из хлопчатобумажной ваты.

— *Pilocereus Senilis*, — говорит он.

Рядом несколько горшков с более мелкими, зелеными и фиолетовыми растениями.

— Мескалин. Даже в известных местах — скажем, в Ботаническом саду в Мехико, в музее кактусов Сесар Мандрик в Лансароте — их не больше, чем у меня. Маленький кусочек мозга — и тебе более чем достаточно. Больше ничего и не надо. Я здравомыслящий человек. Рационалист. Мы обследуем мозг. Отрезаем кусочек. После этого наш ассистент ставит

черепную коробку на место и натягивает кожу головы. Ничего не заметно. Тысячу раз я видел мозг. Нет в нем ничего мистического. Все это чистая химия. Главное, чтобы было достаточно информации. Как вы думаете, почему он побежал на эту крышу?

Впервые у меня возникает желание дать честный ответ.

— Я думаю, что кто-то преследовал его. Он качает головой.

— Обычно дети так далеко не убегают. Мои садятся и начинают орать. Или же замирают.

Однажды механик починил для Исайи старый велосипед. В Гренландии он не умел ездить на велосипеде. Когда велосипед был готов, он сразу уехал. Механик нашел его на десятом километре шоссе Гаммель Кёге, он ехал с маленькими колесиками по бокам, чтобы не упасть, а на багажнике у него были бутерброды. Он ехал домой в Гренландию. Направление он знал, потому что Юлиана однажды лежала с белой горячкой в больнице Видовре.

С семи лет, когда я впервые приехала в Данию, и до тринадцати, когда я сдалась, я убегала больше раз, чем это запечатлелось в моей памяти. Два раза я добиралась до Гренландии, один раз до самого Туле. Все очень просто — надо прибиться к какой-нибудь семье, делая вид, что твоя мама сидит в пяти рядах от тебя в самолете, или же стоит немного дальше в очереди. Мир полон небылиц о пропавших попугаях, персидских котах и французских бульдогах, которые чудесным образом нашли дорогу домой к маме и папе на Фрюденсхольм Алле. Это не идет ни в какое сравнение с теми расстояниями, которое преодолевали дети в поисках нормальной жизни.

Все это я могла бы попытаться объяснить Лагерманну. Но я этого не делаю.

Мы стоим в прихожей среди сапог, чехлов от коньков, остатков провианта и других предметов, оставленных вооруженными силами.

— И что же теперь?

— Я ищу, — говорю я, — логическую связь, о которой вы говорили. Пока я не найду ее, не придет рождественское настроение.

— У вас нет какого-нибудь занятия?

Я не отвечаю. Неожиданно он спрятал все свои колючки. Когда он говорит, он уже больше не чертыхается.

— Я видел множество родственников, помешавшихся от горя. Множество самодеятельных сыщиков, которые думали, что могут сделать дело лучше, чем мы и полиция. Я видел их идеи и их настойчивость, и я говорил себе, что всему этому даю гарантию только на пять минут. С вами я не так уверен...

Я пытаюсь изобразить улыбку в ответ на его оптимизм. Но еще слишком раннее утро, даже для меня.

Вместо этого я вдруг обнаруживаю, что, повернувшись, я посылаю ему воздушный поцелуй. От одного растения пустыни другому.

Я не знаток марок автомобилей. Если бы меня спросили, я бы сказала, что все машины мира сего можно спокойно, пропустив через гидравлический пресс, запустить из стратосферы, отправив вращаться по орбите вокруг Марса. Конечно же, за исключением тех такси, которые должны быть в моем распоряжении, когда они мне потребуются.

Но я представляю себе, как выглядит “вольво 840”. Последние годы фирма “Вольво” была спонсором турнира по гольфу Euiore Tour, и компания использовала моего отца в нескольких рекламках, изображающих мужчин и женщин, добившихся международного признания. На одной фотографии он был изображен делающим удар перед террасой гольфклуба в Сёллерёде, а на другой он сидит в белом халате перед подносом с инструментами с таким выражением лица, как будто хочет сказать, что даже если вам надо сделать блокаду прямо в самом гипофизе, он в два счета вам это сделает. И на той, и на другой фотографии он заставил их сфотографировать себя именно в таком ракурсе, когда он похож на Пикассо в парике, а подпись под картинками гласила, кажется: “Люди, которые никогда не ошибаются”. В течение трех месяцев эта реклама на автобусах и станциях железной дороги напоминала мне о том, что бы я сама могла добавить к этому тексту. А в моей голове навсегда запечатлелся неуклюжий и как будто съездившийся профиль “вольво 840”.

Если перед самым восходом солнца повышается температура, как это случилось сегодня, иней тает в последнюю очередь на крыше и над дворниками. Банальный факт, на который мало кто обращает внимание. Стоящая на Кабелайевой машина, на которой нет инея, либо потому что его вытерли, либо потому что на ней недавно приехали, это синяя “вольво 840”.

Наверняка можно придумать множество объяснений тому, что кто-то поставил тут машину двадцать минут восьмого. Но в данный момент я не могу придумать ни одного. Поэтому я иду к машине, наклоняюсь над радиатором и заглядываю внутрь через тонированное переднее стекло. Сначала мне трудно дотянуться. Но, встав на колпак колеса, я оказываюсь вровень с водителем сидением. Там спит человек. Я некоторое время стою, но он сидит без движения. Поэтому я, в конце концов, спускаюсь на землю и быстро иду по направлению к Брёнской Торв.

Сон — это важная вещь. Я бы сама была не прочь поспать еще несколько часов сегодня утром. Но я бы ни за что не стала это делать в “вольво” на Каббелайевой.

— Меня зовут Смила Ясперсен.

— Заказ из магазина?

— Нет, Смила Ясперсен.

Не совсем правильным будет утверждение, что телефонные разговоры — это самый несовершенный способ общения на свете. Дверные переговорные устройства на самом деле куда хуже. Чтобы соответствовать всему дому — высокому, серебристо-серому и роскошному — оно здесь сделано из анодированного алюминия в форме раковины. К сожалению, оно также вобрало в себя шум океана, который теперь накладывается на разговор.

— Домработница?

— Нет, — говорю я. — И не педикюрша. У меня к вам несколько вопросов о Криолитовом обществе.

Эльза Любинг на некоторое время замолкает. Такое можно позволить себе, когда стоишь с надлежащей стороны переговорного устройства. Там, где тепло и где находится кнопка, открывающая дверь.

— Это право не очень вовремя. Напишите или приходите в другой раз.

Она вешает трубку.

Отступив на шаг, я задираю голову. Дом стоит на отшибе в самом конце Хайревай в “Птичьем квартале” Фредериксберга. Дом высокий. Эльза Любинг живет на седьмом этаже. На балконе под ее квартирой фигурные чугунные решетки закрыты ящиками с цветами. Из списка жильцов становится ясно, что эти любители цветов — супруги Скоу. Я коротко и решительно нажимаю на кнопку.

— Да? — Голос принадлежит человеку, которому не меньше 80-ти.

— Посыльный из цветочного магазина. У меня букет для Эльзы Любинг, живущей над вами, но ее нет дома. Вы не могли бы открыть мне дверь?

— К сожалению, у нас есть строгие инструкции не открывать дверь тем, кто пришел в другие квартиры.

Меня восхищают 80-летние люди, все еще придерживающиеся строгих инструкций.

— Фру Скоу, — говорю я. — Это орхидеи. Только что привезенные на самолете из Мадейры. Они чахнут здесь на морозе.

— Это ужасно!

— Отвратительно, — говорю я. — Но если вы легонько нажмете на маленькую кнопку, они окажутся в тепле, там, где им и надлежит быть.

Она впускает меня.

Лифт выглядит так, что возникает желание просто покататься на нем вверх и вниз раз семь-восемь, чтобы насладиться маленьким плюшевым диванчиком, полированным палисандровым деревом, золотой решеткой и матовыми купидонами на стеклах, через которые можно видеть, как трос с противовесом погружаются в ту глубину, из которой ты поднимаешься.

Дверь Эльзы Любинг закрыта. Внизу фру Скоу открыла свою дверь, чтобы послушать, не является ли рассказ об орхидеях прикрытием для быстрого рождественского изнасилования.

У меня в кармане, среди разрозненных денежных купюр и писем из второго отдела университетской библиотеки о необходимости вернуть книгу, лежит лист бумаги. Его я и бросаю через щель для писем. Потом мы с фру Скоу ждем.

Щель для писем на дверях медная, имя на табличке написано вручную, буквы белые с серым.

Дверь открывается. На пороге стоит Эльза Любинг.

Она, не торопясь, изучает меня.

— Да, — говорит она наконец, — ну и настойчивы же вы. Она отходит в сторону. Я прохожу мимо нее. В квартиру.

Ее цвета — это цвета дома. Полированное серебро и свежие сливки. Она очень высокого роста, более 1 метра 80 сантиметров, на ней длинное, простое белое платье. Ее волосы уложены в прическу, и несколько отдельных прядей падают каскадом блестящего металла на щеки.

Никакой косметики, никаких духов и никаких украшений, кроме висящего на шее серебряного крестика. Ангел. Из тех, кому можно поручить охранять что-нибудь с огненным мечом.

Она смотрит на письмо, которое я бросила через дверь. Это сообщение Юлиане о выделении ей пенсии.

— Это письмо, — говорит она, — я прекрасно помню.

На стене висит картина. С неба на землю спускается поток длиннобородых стариков, упитанных младенцев, фруктов, рогов изобилия, сердец, якорей, королевских корон, церковных канонов, а также текст, который можно прочитать, если знаешь латынь. Эта картина — единственный здесь предмет роскоши. Кроме нее, в комнате есть белые стены, паркетный пол с шерстяным ковром, дубовый стол, низкий маленький столик, несколько стульев с высокими спинками, диван, высокая книжная полка и распятие.

Больше ничего и не нужно. Потому что здесь есть нечто другое. Здесь есть вид, который можно наблюдать, только если ты летчик, и который можно выносить, только если ты не страдаешь головокружением. Кажется, что квартира состоит всего лишь из одной, очень большой и светлой комнаты. Со стороны балкона — стеклянная стена шириной во всю комнату. Через нее виден весь Фредериксберг, Беллахой и вдали Хойе Гладсаксе. Через нее проникает, такой же белый, как если бы мы были на улице, зимний утренний свет. С другой стороны большое окно. Через него за бесконечными рядами крыш видны башни Копенгагена. Стоя высоко над городом, словно в стеклянном колоколе, мы с Эльзой Любинг пытаемся оценить друг друга.

Она предлагает мне вешалку для шубы. Непроизвольно я снимаю обувь. Что-то в этой комнате говорит мне, что это надо сделать. Мы садимся на стулья с высокими спинками.

— В это время, — говорит она, — я обычно молюсь.

Она говорит это с такой естественностью, как будто речь идет о выполнении комплекса физических упражнений Общества по борьбе с болезнями сердца.

— Так что вы, сами того не зная, выбрали неподходящий момент.

— Я увидела ваше имя в письме и нашла ваш адрес в телефонной книге.

Она снова смотрит на листок бумаги. Потом она снимает узкие с толстыми стеклами очки для чтения.

— Трагическое несчастье. Особенно для ребенка. Рядом с ребенком должны быть и мать, и отец. Это одно из практических оснований святости брака.

— Господин Любинг был бы рад это слышать.

Если ее муж умер, я никого не оскорбляю такой формулировкой. Если же он жив, это изящный комплимент.

— Господина Любинга не существует, — говорит она. — Я Христова невеста.

Она говорит это одновременно серьезно и кокетливо, как будто они поженились несколько лет назад, брак их удачен и обещает быть таким и в будущем.

— Но это не означает, что я не считаю священной любовь между мужчиной и женщиной. Хотя

она ведь всего лишь этап на пути. Этап, который я позволила себе пропустить, если так можно выразиться.

В ее взгляде сквозит нечто похожее на лукавый юмор.

— Это как перепрыгнуть через класс в школе.

— Или же, — говорю я, — как стать прямо главным бухгалтером, будучи до этого простым бухгалтером в Криолитовом обществе.

Она смеется низким мужским смехом.

— Милочка моя, — говорит она, — вы замужем?

— Нет. Никогда не была.

Мы становимся ближе. Две взрослые женщины, знающие, что это такое — жить без мужчин. Похоже, что ей это удастся лучше, чем мне.

— Мальчик умер, — говорю я. — Четыре дня назад он упал с крыши. Она встает и подходит к стеклянной стене. Если бы можно было так хорошо и достойно выглядеть, то стареть было бы одно удовольствие. Я отказываюсь от этой мысли. Сколько труда уйдет хотя бы на то, чтобы вырасти на те 30 сантиметров, на которые она выше меня.

— Я видела его один раз, — говорит она. — Увидев его, начинал понимать, почему написано, что если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Я надеюсь, что бедняжка-мать найдет путь к Богу.

— Это случится, только если Бога можно встретить на дне бутылки. Она смотрит на меня без улыбки.

— Он повсюду. И там тоже.

В начале 60-х христианская миссия в Гренландии еще имела в себе что-то от живого нерва империализма. Более позднее время — и особенно авиабаза Туле — своими контейнерами порнографических журналов, виски и спросом на полупроституцию — перенесло нас с религиозных окраин в пустоту недоумения. Я перестала чувствовать, как надо общаться с верующими европейцами.

— Как вы встретились с Исайей?

— В Обществе я пыталась хотя бы немного способствовать тому, чтобы было больше общения с гренландцами. Наш карьер в Саккаке был, так же как и карьер Криолитового общества “Эресунн” в Ивиттууте, закрытым районом. Рабочая сила была датской. Единственными гренландцами, которых принимали на работу, были уборщики — “кивфакеры”. С самого открытия шахты поддерживалось строгое разделение датчан и эскимосов. В этой ситуации я попыталась обратить внимание на заповедь о любви к ближнему. Раз в несколько лет мы принимали на работу эскимосов для участия в геологических экспедициях. Именно во время одной из таких экспедиций и погиб отец Исайи. Несмотря на то, что жена бросила его и ребенка, он продолжал обеспечивать ее средствами к существованию. Когда правление назначило ей пенсию, я пригласила ее с ребенком к себе в кабинет. Так я и встретила с ним.

Что-то в слове “назначило” наводит меня на мысль.

— Почему была назначена пенсия? Были юридические обязательства? Она на минуту замолчала.

— Обязательства вряд ли были. Я не исключаю того, что прислушались к моему совету.

Я вижу еще одну черту у фрекен Любинг. Силу. Наверное, так же обстоит дело с ангелами. Они, наверное, тоже оказывают определенное давление на Господа Бога в раю.

Я пересела на стул, стоящий рядом с ней. Фредериксберг, квартал у Генфоренингсплас, Брённской, снег делает все это похожим на деревню. Хайревай — короткая и узкая улица. Она упирается в Дуэвай. На Дуэвай стоит много машин. Одна из них — синяя “вольво 840”. Продукция фирмы “Вольво” проникает повсюду. Ведь надо же им иметь средства, чтобы быть спонсором Еуроге Тур. И чтобы заплатить тот гонорар, который, как хвастается мой отец, он потребовал за то, что его сфотографировали.

— От чего умер отец Исайи?

— От пищевого отравления. Вы интересуетесь прошлым, фрекен Ясперсен?

Настал момент, когда мне надо решить, преподнести ли ей выдуманную историю или выбрать более сложный путь и рассказать правду. На низеньком столике лежит библия. Один из гренландских учителей воскресной школы миссии моравских братьев был увлечен рукописями Мертвого моря. Я вспоминаю, как он повторял: “И Иисус говорил: Не лгите”. Я принимаю это воспоминание за предостережение.

— Я думаю, что кто-то напугал его и что кто-то загнал его на ту крышу, с которой он упал.

Она ни на секунду не теряет самообладания. В последние дни я общаюсь с людьми, которые относятся с величайшим душевным спокойствием к тому, что меня больше всего удивляет.

— Дьявол имеет множество обличий.

— Одно из них я и ищу.

— Отмщение — это дело Господа.

— Осуществление этого правосудия мне представляется очень далеким.

— Мне казалось, что на первое время есть полиция.

— Они закрыли дело.

Она пристально смотрит на меня.

— Чай, — говорит она. — Я еще ничем вас не угостила. По пути в кухню она оборачивается в дверях.

— Вы знаете притчу о талантах? В ней говорится о лояльности. Есть лояльность по отношению к земному, так же как по отношению к небесному. Я была служащей в Криолитовом обществе в течение 35 лет. Понимаете?

— Раз в два или три года общество снаряжало геологическую экспедицию в Гренландию.

Мы пьем чай. Из сервиза “Транкебар” и чайника “Георг Йенсен”. Вкус Эльзы Любинг при ближайшем рассмотрении оказывается скорее изысканным, нежели скромным.

— Экспедиция летом 1991 года на Гела Альта у западного побережья стоила 1 870 747 крон и 50 эре, половина этой суммы была выплачена в датских кронах, половина в “кап-йоркских долларах”, собственной денежной единице компании, названной по имени предприятия Кнуда Расмуссена в Туле в 1910 г. Это то, что я могу Вам рассказать.

Я сижу, опасаясь сделать лишнее движение. Я заставила портниху Рорманн на Ордрупвайшить новую шелковую подкладку в мои лайковые брюки. Ей очень не хотелось этого делать. Она утверждает, что тянет в швах. Но я настояла. Моя жизнь держится на маленьких радостях. Я хочу кожей чувствовать сочетание прохлады и тепла шелка. За это я расплачиваюсь тем, что мне приходится сидеть очень осторожно. При движении вперед и назад по подкладке натягиваются швы. В этом и состоит для меня небольшая сложность этого разговора. Для Фрекен Любинг он более сложен. Есть истина, которая звучит примерно так — не скрывайте свои чувства; она это знает, и это на нее сейчас накладывает определенные обязательства.

— Я пришла в Криолитовое общество в 1947 году. Когда 17 августа фабрикант Вирл сказал мне: “Вы будете получать 240 крон в месяц, бесплатный обед, и у вас будет трехнедельный отпуск”, — я ничего не сказала. Но про себя я подумала, что, значит, все правда. Посмотрите на птиц небесных. Они не сеют. Разве Он не должен был о тебе позаботиться. В конторе “Грен и Витске”, где я до этого работала, я получала 187 крон в месяц.

Телефон стоит у входной двери. О нем можно сказать две вещи. То, что вилка выдернута из розетки, и то, что у телефона не лежит ни блокнота, ни записной книжки, ни карандаша. Я заметила это, когда вошла. Теперь я начинаю понимать, что она делает с разными телефонными номерами, которые все мы записываем на стене, или на тыльной стороне ладони или же предаем забвению. У нее замечательная память на цифры.

— С тех пор, насколько мне известно, никто не имел оснований жаловаться на отсутствие великодушия и открытости со стороны руководства. А если что и было не так, это исправили. Когда я начала работать, у нас было шесть столовых. Столовая для рабочих, столовая для конторских служащих, столовая для мастеровых, столовая для начальников отделов, главного бухгалтера и бухгалтеров, столовая для научных сотрудников, работающих в лабораторном здании, и столовая для директора и членов правления. Но все изменилось.

— Это был, наверное, результат вашего влияния? — предположила я.

— У нас в правлении было несколько политиков. В то время среди прочих был Стайнке. Поскольку то, свидетелем чего я стала, было против моей совести, я пошла к нему — 17 мая 1957 года, в 16 часов, в тот день, когда меня назначили главным бухгалтером. Я сказала: “Я ничего не знаю о социализме, господин Стайнке. Но понимаю так, что в нем есть общие черты с идеями религиозного братства первых христиан. Они отдавали то, что у них есть, бедным и жили друг с другом как братья и сестры. Как, господин Стайнке, эти идеи можно примирить с существованием шести столовых?”. Он ответил цитатой из библии. Он сказал, что Божие Богу, а кесарево кесарю. Но через несколько лет осталась одна столовая.

Наливая чай, она пользуется ситечком, чтобы в чашки не попали чайинки. Под носиком чайника кусочек хлопчатобумажной ваты, чтобы чай не проливался на стол. У нее внутри происходит нечто подобное. Ее угнетает непривычная необходимость отфильтровывать то, что не должно ко мне просочиться.

— Мы ведь есть — были — частично государственной организацией. Не наполовину государственной, как Криолитовое общество “Эресунн”. Но государство было представлено в правлении и имело 33, 33% акций. Финансовые отчеты были также всегда открыты. Со всего снимались копии на старой бумаге для копирования. — Она улыбается. — На той, которая была похожа на старую туалетную бумагу, номер 00. Часть финансовых отчетов просматривалась Ревизионным управлением, организацией, которая с 1 января 1976 года стала называться Государственная ревизионная служба. Сложности возникали при сотрудничестве с частными предприятиями: “Шведским акционерным обществом по добыче алмазов”, акционерным обществом “Греенекс”, позже с “Гренландскими Геологическими Изысканиями”. Некоторые сотрудники работали на пол — или на четверть ставки. Это затрудняло написание отчетов. И ведь была определенная иерархия. Она должна быть на любом предприятии. К некоторым разделам финансового отчета даже я не имела доступа. Мои отчеты переплетались в серый молескин, на котором были вытеснены красные буквы. Они хранятся в сейфе в архиве. Но существовал также небольшой секретный бухгалтерский отчет. Ничего удивительного в этом нет. На большом предприятии иначе быть не может.

— “Они хранятся в архиве”. Вы используете настоящее время.

— Я вышла на пенсию два года назад. С тех пор я являюсь консультантом компании по бухгалтерскому учету.

Я делаю последнюю попытку.

— Финансовый отчет об экспедиции летом 1991 года, в нем было что-нибудь особенное?

На секунду мне кажется, что я приблизилась к ней. Потом фильтры встают на место.

— Я не уверена в своей памяти.

Я последний раз пытаюсь нажать на нее. Эта попытка бестактна и заранее обречена на провал.

— Можно посмотреть архив? Она только качает головой.

Моя мать курила сделанную из старой гильзы трубку. Она никогда не лгала. Но если она хотела скрыть правду, она чистила трубку, брала в рот то, что было вычищено из трубки, говорила *maamartoq* — прекрасно, и потом делала вид, что не в состоянии говорить. Скрывать — это тоже искусство.

— Разве не трудно, — спрашиваю я, надевая туфли, — было женщине отвечать за финансы большого предприятия в 50-е годы?

— Господь был милостив.

Я думаю про себя, что Господь в лице Эльзы Любинг получил эффективный инструмент для осуществления своего милосердия.

— Что навело вас на мысль о том, что мальчика преследовали?

— Снег на крыше, откуда он упал. Я видела следы. У меня есть чувство снега.

Она устало смотрит прямо перед собой. Неожиданно становится заметна ее старость.

— Снег — это воплощение непостоянства, — говорит она. — Как в книге Иова.

Я надела шубу. Я не знаток библии. Но к клейкой поверхности нашего мозга прилипают иногда странные обрывки усвоенного в детстве.

— Да, — говорю я. — И воплощение света правды. Как в Откровении Иоанна Богослова: “Его голова и волосы были белы как снег”.

Вид у нее измученный, когда она закрывает за мной дверь. Смилла Ясперсен. Дорогая гостья. Зануда. Когда Смилла покидает вас, над вами голубое небо и у вас прекрасное расположение духа.

В тот момент, когда я выхожу из дома на Хайревай, переговорное устройство начинает скрипеть.

— Будьте так добры, вернитесь.

У нее хриплый голос. Но это, должно быть, из-за этого подводного устройства.

Итак, я еще раз еду на лифте. А она еще раз встречает меня в дверях. Но ничто не остается таким, как было прежде, как где-то говорит Иисус.

— У меня есть одна привычка, — говорит она. — Когда я сомневаюсь, я открываю наудачу библию. Чтобы получить совет. Маленькая игра между Богом и мной, если хотите.

У другого человека такая привычка была бы похожа на те мелкие спорадические функциональные расстройства, которые возникают у европейцев, когда они много бывают в одиночестве. Но не у нее. Она никогда не остается одна. Она замужем за Иисусом.

— Только что, когда вы закрыли дверь, я открыла книгу. Это оказалась первая страница Откровения Иоанна Богослова. Которое вы вспоминали. “Имею ключи ада и смерти”.

Некоторое время мы смотрим друг на друга.

— Ключи ада и смерти, — говорит она. — Как далеко вы готовы пойти?

— Испытайте меня.

Еще в течение минуты в ней происходит борьба.

— В подвале виллы на Странбульвар находятся два архива. В первом — финансовые отчеты и корреспонденция. Туда приходят сотрудники, бухгалтеры, я сама, иногда начальники отделов. Во второй архив попадают, пройдя через первый. Там хранятся отчеты по экспедициям. Некоторые минералогические пробы. Одна стена целиком занята топографическими картами. Штатив с кернами породы — пробами породы размером примерно с зуб нарвала. В принципе туда можно входить только с разрешения правления или директора.

Она поворачивается ко мне спиной.

Я понимаю всю значительность этого момента. Она собирается совершить нарушение правил — несомненно, одно из немногих за ее жизнь.

— Я, конечно, не могу сообщить вам, что все двери в здании можно открыть одним ключом. Или что вот тот ключ “аблой”, висящий на доске, открывает входную дверь.

Я медленно поворачиваю голову. За мной, на маленьком медном крючке, висят три ключа. Один из них “аблой”.

— В самом здании нет сигнализации. Ключ от архива, находящегося в подвале, висит в сейфе в офисе. В сейфе электронный замок и шестизначный код — дата, когда я стала главным бухгалтером. 17.05.57. Этот ключ подходит и к первому, и ко второму помещению.

Она поворачивается и подходит к окну. Я думаю, что вот эта близость — самое тесное ее соприкосновение с другим человеком.

— Вы веруете?

— Не знаю, в вашего ли Бога.

— Это не имеет значения. Вы веруете в божественное?

— Иногда по утрам бывает так, что я не верю даже в то, что сама существую.

Она второй раз за этот день смеется. Потом она поворачивается и отходит к своей панораме.

Когда она находится на полпути к окну, я засовываю ключ в карман. Кончиками пальцев убеждаюсь в том, что подкладка Рорманн, хотя бы в этом кармане, цела.

Потом я уйду. Вниз я спускаюсь по лестнице. Если все это божественный промысел, то, в первую очередь, хочется узнать, насколько непосредственно вмешательство. Например, сам ли Господь Бог, увидев меня на Хайревай 6, сказал “пусть свершится”, и оно свершилось. Через одного из его собственных ангелов.

Поворачивая за угол и выходя на Дуэвай, я держу в руке шариковую ручку. Мне захотелось записать на тыльной стороне ладони номер одной машины. Это уже не актуально. Когда выхожу на угол, никакой машины уже нет.

10

— “Из праха ты вышел”.

Однажды, когда мы охотились на люриков, появились кречеты. Сначала это были лишь две точки на горизонте. Потом показалось, что утес рассыпался и поднялся в небо. Когда взлетает миллион люриков, все вокруг на секунду темнеет, как будто в одно мгновение снова наступила зима.

Мать охотилась на кречетов. Кречеты пикируют со скоростью 200 километров в час. Как правило, она попадала. Она стреляла никелированными пулями небольшого калибра. Мы должны были приносить их ей. Однажды пуля прошла через один глаз и вышла через другой — мертвый кречет смотрел на нас ясным, пронизательным взглядом.

Таксидермист на базе делал для нее чучела. Охота на кречетов полностью запрещена. На черном рынке в США и Германии можно продать птенца-кречета для обучения охоте за 50000 долларов. Никто не смел даже подумать, что моя мать нарушила запрет.

Она их не продавала. Она их дарила. Моему отцу, одному этнографу, посетившему ее, потому что она была женщиной-охотником, одному из офицеров с базы.

Чучела кречетов были одновременно и страшным, и великолепным подарком. Она вручала их торжественно и на первый взгляд совершенно бескорыстно. Потом она как бы между делом говорила, что ей нужны портновские ножницы. Она намекала, что ей не хватает 75 метров нейлоновой веревки. Она давала понять, что нам, детям, не помешала бы парочка комплектов теплого белья.

Она получала то, о чем просила. Оплетая гостя паутиной жестокой, накладывающей взаимные обязательства любезности.

Этого я стыдилась, и за это я любила ее. Это был ее ответ на европейскую культуру. Она шла ей навстречу с учтивостью, полной болезненной осмотрительности. И она поглощала ее, оставляя себе то, что можно использовать. Ножницы, моток нейлоновой веревки, сперматозоиды, оставленные Морицем Ясперсеном в ее матке.

Вот почему Туле никогда не станет музеем. Этнографы окутали Северную Гренландию мечтой о девственности. Мечтой о том, что inuit всегда будет оставаться той кривоногой, танцующей под барабан, рассказывающей легенды, широко улыбающейся картинкой с выставки, которую, по мнению первых путешественников, они и увидели на рубеже веков к югу от Кваанаака. Моя мать дарила им мертвую птицу. И заставляла их покупать себе половину лавки. Она плавала на каяке, построенном так, как строили их в 17 веке, когда искусство изготовления каяков еще не исчезло из Северной Гренландии. Но она пользовалась запаянной пластмассовой канистрой в качестве буйка для снасти.

— “Прахом ты станешь”.

Я вижу, как другим что-то удается. Только сама я не могу найти удачу.

У Исаяи все должно было получиться. Он мог бы многого достичь. Он смог бы и впитать в себя Данию и трансформировать ее, мог бы стать и тем, и другим.

Я сшила ему анорак из белого шелка. Даже узор на нем прошел через руки европейцев. Моему отцу его когда-то подарил художник Гитс-Йохансен. Тому подарили рисунок в Северной Гренландии, когда он иллюстрировал большой справочник по гренландским птицам. Я надела анорак на Исаяю, причесала его и поставила его на крышку унитаза. Он увидел себя в зеркале — и тут это случилось. Тропическая ткань, гренландское преклонение перед праздничным костюмом, датская радость от предмета роскоши — все слилось воедино. Возможно, что некоторое значение имело и то, что это я ему его подарила.

Мгновение спустя ему захотелось чихнуть.

— Зажми мне нос! Я зажала ему нос.

— Почему? — спросила я его. Он имел обыкновение сморкаться в раковину.

Едва я открыла рот, его глаза стали следить за моими губами в зеркале. Я часто замечала, что он понимал смысл еще до того, как все было сказано.

— Когда на мне annoraaq qaqortoq, красивый анорак, я не хочу, чтобы у меня на пальцах были сопли.

— “И из праха ты снова воскреснешь”.

Я пытаюсь взглядом сканировать женщин вокруг Юлианы, чтобы понять, не носит ли одна из них ребенка. Ребенка, который мог бы получить имя Исайи. Мертвые продолжают жить в имени. Четырех девочек назвали именем моей матери — Ане. Я их несколько раз навещала и беседовала с ними, чтобы в сидящей передо мной женщине хоть на мгновение увидеть ту, которая покинула меня.

Из ручек по краям гроба вытаскивают веревки. На мгновение меня охватывает безумная тоска. Если бы хотя бы на секунду открыть гроб и лечь рядом с его маленьким, холодным телом, в которое кто-то воткнул иглу, которое вскрывали и фотографировали, от которого отрезали кусочки и снова зашивали, если бы мне еще хоть раз ощутить своим бедром его эрекцию — знак легкой, бесконечной эротики, удары крыльев ночных мотыльков о мою кожу, темных насекомых счастья.

На улице такой сильный мороз, что нельзя сразу закапывать могилу, поэтому, когда мы уходим, она зияет за нашей спиной. Мы с механиком идем рядом.

Его зовут Петер. Менее чем 13 часов назад я впервые назвала его по имени.

За шестнадцать часов до этого. Полночь на Калькбренеривай. Я купила 12 больших, черных полиэтиленовых пакетов для мусора, четыре рулона скотча, четыре тюбика клея, застывающего за 10 секунд, и карманный фонарик “маглайт”. Я разрежала мешки, сложила их в два раза, склеила их. Засунула их в свою сумку “Луи Витто”.

На мне высокие сапоги, красный свитер с высоким горлом, котиковая шуба из магазина “Гренландия” и юбка в складку из “Шотландского Уголка”. Мой опыт подсказывает мне, что всегда легче оправдываться, когда ты хорошо одет.

Тому, что происходит потом, в некоторой степени недостает элегантности.

Вся территория завода окружена оградой в три с половиной метра, наверху которой протянута струна колючей проволоки. По моим представлениям, сзади должна быть дверь, выходящая на Калькбренеривай и железную дорогу. Эту дверь я раньше видела.

Но я не видела табличку, которая сообщает о том, что здание охраняется Датской службой сторожевых собак-овчарок. Это совсем не обязательно должно соответствовать действительности. Ведь повсюду развешивают так много табличек с одной лишь целью — поддержать хорошее настроение. Поэтому я для пробы ударяю ногой в дверь. Не проходит и пяти секунд, как за решеткой появляется собака. Очень может быть, что это и овчарка. Она похожа на предмет, о который вытирали ноги. Возможно, этим и объясняется ее плохое расположение духа.

Есть в Гренландии люди, умеющие обращаться с собаками. Моя мать умела. До того, как в 70-е годы получили распространение нейлоновые веревки, мы для упряжи использовали ремни из тюленьей шкуры. Собаки из других упряжек съедали их. Наши собаки их не трогали. Мать наложила запрет.

А есть люди, рожденные со страхом перед собаками, который никак не могут преодолеть. К таким людям я и отношусь. Поэтому я иду назад на Странбульвар, беру такси и еду домой.

Я не поднимаюсь к себе. Я иду к Юлиане. В её холодильнике я беру полкило тресковой печени. Один ее знакомый с рыбного рынка дает ей бесплатно лопнувшую печень. У нее в ванной я высыпаю себе в карман полбаночки таблеток рохипнола. Эти таблетки ей недавно выписал врач. Она их продает. Рохипнол в ходу у наркоманов. Полученные деньги она использует себе на лекарство, то “лекарство”, которое государство облагает акцизом.

В собрании Ринка есть западно-гренландская история об одном домовом, который никак не мог заснуть и вынужден был вечно бодрствовать. Это потому, что он никогда не пробовал рохипнол. Приняв его в первый раз, можно от половинки таблетки погрузиться в глубокую кому.

Юлиана не мешает мне запастись продовольствием. Она почти от всего отказалась, в том числе и от того, чтобы задавать вопросы.

— Ты забыла обо мне! — кричит она мне вслед.

Я беру такси и еду назад на Калькбренеривай. В машине появляется рыбный запах.

Стоя в свете фонаря под виадуктом, лицом к Фрихаун, я, раздавив таблетки, засовываю их в печень. Теперь от меня тоже пахнет рыбой.

На сей раз мне не надо звать собаку. Она ждет меня, она надеялась, что я вернусь. Я перебрасываю печень через изгородь. Каких только историй ни рассказывают о тонком собачьем чутье. Я боюсь, что она унюхает таблетки. Мои переживания оказываются напрасными. Она как пылесос втягивает в себя печень.

Потом мы с собакой ждем. Она ждет, чтобы ей дали еще печени. Я же хочу посмотреть на то, чем медицинская промышленность может помочь страдающим бессонницей животным.

Тут подъезжает машина. Это фургон службы сторожевых собак. На Калькбренеривай нет места, где можно было бы стать невидимым или хотя бы незаметным. Поэтому я спокойно стою. Из автомобиля выходит человек в форме. Он оценивающе оглядывает меня, но не может найти для себя никакого убедительного объяснения. Одинокая дама в мехах в час ночи на краю Эстербро? Он открывает калитку и берет собаку на поводок. Выводит ее на тротуар. Она злобно рычит на меня. Тут у нее неожиданно начинают подгибаться лапы, и она чуть не падает. Он озабоченно смотрит на нее. Она смотрит на него печально. Он открывает заднюю дверцу. Собака сама ставит передние лапы в машину, но дальше ему приходится втаскивать ее. Он озадачен. Затем он уезжает. Предоставляя меня моим собственным размышлениям о том, как же работает датская служба сторожевых собак. В конце концов, я прихожу к выводу, что они иногда на короткое время помещают собак то в одно, то в другое место, осуществляя тем самым своего рода случайную выборку. Сейчас он направляется с собакой в новое место. Я надеюсь, что там для нее найдется какая-нибудь мягкая подстилка, на которой можно будет поспать.

Потом я вставляю ключ в замок. Но дверь не открывается. Мне становится ясно, почему. Эльза Любинг всегда приходила на работу в то время, когда сторож уже открывал дверь. Поэтому она не знает, что периферийные входы открываются другим ключом.

Есть только один выход — форсировать изгородь. Это занимает много времени. И кончается тем, что мне для начала приходится перебросить на другую сторону сапоги. Перелезая, я оставляю на изгороди клочки шубы.

Мне достаточно один раз посмотреть на карту — и передо мной встает картина местности. Я

этому не училась. Мне, конечно же, пришлось усвоить номенклатуру, систему знаков. Пунктирные горизонталы на топографических планах Геодезического института. Зеленые и красные изолинии на военных картах оледенения. Серо-белые, в форме диска снимки экрана радиолокатора. Мультиспектральные сканирования спутника “Ландсат 3”. Разноцветные как леденцы геологические карты осадочных пород. Красно-синие карты термической съемки. Но, в сущности, это было все равно, что выучить новый алфавит. Чтобы забыть его в тот момент, когда начинаешь читать. Текст про лед.

В книге Геологического института была карта Криолитового общества “Дания”. Кадастровый план, аэрофотосъемка и план здания. Стоя здесь, я знаю, как все это раньше выглядело.

Сейчас здесь устроена площадка для сноса. Черная, как дыра, с белыми пятнами там, где ветер согнал снег в сугробы.

Я попала на территорию в том месте, где когда-то была задняя стена цеха криолита-сырца. Фундамент остался — покинутое футбольное поле замерзшего бетона. Я высматриваю железнодорожные рельсы. И в тот же миг спотыкаюсь о шпалы. Это следы той железной дороги, по которой перевозили руду от причала компании. В темноте виднеется силуэт здания, где когда-то была кузница, механическая и столярная мастерские. Заваленный камнями подвал находился когда-то под столовой. Территорию завода пересекает Сванекегаде. На другой стороне улицы находится жилой квартал с множеством светящихся рождественских звезд, множеством стеариновых свечей, множеством отцов, матерей и детей. А под окнами — два вытянутых, еще не снесенных, лабораторных здания. Что это, иллюстрация отношения Дании к своей бывшей колонии — разочарование, отказ и отступление? И сохранение последней административной власти: управление внешней политикой, недрами, военными интересами?

Передо мной в свете Странбульвара стоит вилла, похожая на маленький дворец.

Здание построено в форме буквы L. Вход находится наверху веерообразной гранитной лестницы в той части здания, которая выходит на Странбульвар. На сей раз ключ подходит. За дверью — маленький, квадратный холл, выложенный черными и белыми мраморными плитками, с гулкой акустикой, как бы тихо ты ни ступал. Одна лестница ведет отсюда вниз в темноту, в архив, а другая поднимается на пять ступенек вверх на тот уровень, откуда Эльза Любинг распространяла свое влияние в течение 45 лет.

Лестница ведет к застекленной двустворчатой двери. За ней одна большая комната, протяженностью, должно быть, во все крыло. Здесь восемь письменных столов, шесть, выходящих на улицу окон с нишами, архивные шкафы, телефоны, микрокомпьютеры для обработки текста, два ксерокса, металлические полки с синими и красными папками. На одной стене — карта Гренландии. На длинном столе кофеварка и несколько кружек. В углу электрический сейф, маленькое окошечко которого в темноте светится надписью closed <Закрывается (англ)>.

Один письменный стол, чуть больше остальных размером, стоит в стороне. На столе лежит стекло. На стекле стоит маленькое распятие. Никакого отдельного кабинета для главного бухгалтера. Просто стол в общем помещении. Как в религиозном братстве первых христиан.

Я сажусь в ее кресло с высокой спинкой. Чтобы понять, что это такое — просидеть 45 лет среди банковских бумаг и стирательных резинок, в то время как часть сознания поднимается на духовную высоту, где сияет свет такой силы, которая может заставить ее пожимать плечами в

ответ на слова о земной любви. Которая для всех нас нечто среднее между домским собором в Нууке и возможностью третьей мировой войны.

Посидев немного, я встаю. Не став умнее.

На окнах жалюзи. Свет, проникающий в комнату со Странбульвара, полосатый как зебра. Я набираю ту дату, когда она стала главным бухгалтером. 17 мая 1957 года.

Шкаф жужжит, и дверь приоткрывается. Ручки нет, только широкая выемка, за которую можно ухватиться и потянуть.

На узких металлических полках стоят финансовые отчеты Криолитового общества с 1885 года, когда оно по государственной концессии отделилось от "Эресунна". Может быть, по шесть книг за каждый год. Сотни фолиантов в сером молескине с красным тиснением. Кусочек истории. О самом выгодном и значительном в политическом и экономическом отношении помещении капитала в Гренландию.

Я достаю том с надписью 1991 и листаю наугад. Там написано: "Заработная плата", "пенсия", "морские пошлины", "издержки на рабочую силу", "питание и обслуживание", "корабельный сбор", "мытье и уборка", "путевые расходы", "доходы акционеров", "заплачено в химическую лабораторию Струера".

На стенке шкафа справа друг над другом висят ряды ключей. Я нахожу тот, на котором написано "архив".

Когда я захопываю дверцу сейфа, цифры исчезают одна за другой, а когда я выхожу из комнаты, чтобы спуститься вниз в темноту, на дверце опять появляется надпись closed.

Первое помещение архива занимает целиком весь подвал под одним флигелем здания. Помещение с низким потолком и бесконечными рядами деревянных полок, бесконечными количествами гроссбухов в коричневых обложках, наполненное тем лишающим сил, сухим воздухом, колебания которого всегда чувствуются над большими бумажными пустынями.

Второе помещение расположено перпендикулярно к первому. В нем такие же полки. Но кроме них, еще и архивные шкафы с плоскими выдвижными полками для топографических карт. Архив с сотнями висящих карт, некоторые из них закреплены на латунных стержнях. Закрытая деревянная конструкция, похожая на фоб длиной в 10 метров. Должно быть, здесь дремлют колонки пород.

В комнате два высоких окна, выходящих на Странбульвар, и четыре, выходящих на территорию завода. Вот тут-то и должна пригодиться моя заготовка из черных полиэтиленовых мешков. Я решила закрыть окна, чтобы можно было зажечь свет.

Есть женщины, которые сами красят свои уютные квартиры-мансарды. Сами обивают мебель. Сами пескоструят фасады своих домов.

Я всегда вызываю мастера. Или же оставляю это до следующего года.

Это большие окна с железной решеткой изнутри. У меня уходит сорок пять минут на то, чтобы закрыть все шесть окон.

Когда все сделано, я все же не решаюсь зажечь свет, а включаю свой карманный фонарик.

В архивах должен царить неумолимый порядок. Архивы — это просто-напросто воплощенное желание держать прошлое в порядке. Так чтобы активные и деловые молодые люди могли бы влететь сюда, выбрать определенное дело, определенный образец породы и быстро выскользнуть именно с этим необходимым им кусочком прошлого.

Однако этот архив далек от совершенства. На полках нет табличек. На переплетах архивных материалов нет номеров, дат или букв. А когда я несколько раз наугад беру что-нибудь, у меня в руках оказывается: “Петрографический анализ угля в пластах из Ата (профили глубоких горизонтов), Нуксууак, Западная Гренландия”, или “Об использовании обработанного криолита-сырца при изготовлении электрических лампочек”, или “Проведение границ при разделе земли в 1862 году”.

Я поднимаюсь наверх и звоню по телефону. Телефонные звонки всегда кажутся чем-то не правильным. Особенно не правильно звонить с места преступления. Как будто я связываюсь прямо с полицейским управлением, чтобы сделать признание.

— Говорит Эльза Любинг.

— Я тут стою среди бумажных гор и пытаюсь вспомнить, где это написано о том, что даже избранные могут заблудиться.

Она некоторое время молчит, потом смеется.

— Это из Матфея. Но, может быть, к этому случаю больше подходит место из Марка, где Иисус говорит: “Вы приводитесь в заблуждение, не зная ни Писаний, ни силы Божией”.

Мы немного смеемся.

— Я снимаю с себя всякую ответственность, — говорит она. — Я в течение 35 лет просила о том, чтобы все было приведено в порядок и систематизировано.

— Мне приятно слышать, что есть кое-что, что вам не удалось осуществить.

Она молчит.

— Где? — спрашиваю я.

— Двумя полками выше скамьи — длинного деревянного ящика. Стоит в алфавитном порядке по тем минералам, которые искали. Тома, стоящие ближе всего к окну — о тех экспедициях, которые преследовали и геологическую, и историческую цели. Та, которую вы ищете, должна стоять где-то с краю.

Она собирается повесить трубку.

— Фрекен Любинг, — говорю я.

— Да.

— Вы когда-нибудь брали больничный?

— Господь всегда хранил меня.

— Я так и думала, — говорю я. — Мне почему-то так и казалось. И мы заканчиваем разговор.

Менее чем через две минуты я нахожу отчет. Он вставлен в черную папку с пружиной. В отчете 40 страниц, пронумерованных в нижнем правом углу.

Его можно легко засунуть в сумку. Потом мне надо убрать полиэтиленовое затемнение, и я исчезну с Калькбрёнеривай, как и появилась, не оставив никаких следов.

Я не могу справиться со своим любопытством. Я беру отчет, иду в самый дальний конец комнаты и сажусь на пол, прислонившись к полке. Она двигается под тяжестью моего тела. Это хрупкая деревянная полка. Никто не мог представить себе, что архив так разрастется. Что Гренландия такая на удивление неисчерпаемая. Они просто наполняли и наполняли его. Отпечатками времени этот хрупкий деревянный скелет.

"Геологическая экспедиция на Гела Альта Криолитового общества "Дания" с июля по август 1991 года" — написано на титульном листе. А потом 20 плотно исписанных страниц с отчетом об экспедиции. Я быстро пробегаю глазами первые страницы, которые начинаются с того, что целью экспедиции было "исследовать месторождение кристаллов "корнерубин" в леднике Баррен на Гела Альта". В тексте отчета есть список пяти европейцев — членов экспедиции. Среди них профессор, арктический этнолог, доктор философских наук Андреас Фаин Лихт. Это имя будит во мне какое-то воспоминание, но когда я пытаюсь прислушаться к себе, воспоминание обрывается. Я могу предположить, что его участие объясняет, почему внизу страницы написано — "экспедиция осуществлялась при поддержке Института Арктической Этнологии".

Потом следует отчет, состоящий из двух частей — на английском и датском языках. Его я тоже листаю. В нем идет речь о спасательной экспедиции из Хольстейнсборга на вертолете к глетчеру Баррен. Вертолет не смог приблизиться к месту происшествия из-за опасности возникновения лавин, вызванных шумом двигателя. Поэтому он вернулся назад, а вместо него послали "Чероки шесть 3000", что это такое, я не знаю, но написано, что он приземлился на воду, а на борту были летчик, штурман, врач и медсестра. Есть также краткий отчет спасательной команды, и заключение врача из больницы. Было пять погибших. Финн и четыре эскимоса. Одного из эскимосов звали Норсак Кристиансен.

В отчете 20 страниц приложения. Список привезенных в Данию минералогических проб. Финансовый отчет. Длинный ряд снятых с самолета черно-белых фотографий глетчера, который, разделяясь, охватывает светлую скалу, напоминающую усеченный конус.

В пластиковой папке содержатся копии двух десятков писем, связанных с транспортировкой трупов.

Все выглядит четко и правильно. Трагично, но все же не более чем несчастный случай. Ничего такого, что могло бы содержать в себе объяснение тому, что два года спустя в Копенгагене с крыши падает маленький мальчик. Появляется мысль — уж не приснилось ли мне все? Мысль, что я ошиблась. Что все это лишь плод моего воображения.

Только сейчас я чувствую, насколько тесно в этой комнате от прошлого. От вереницы дней, вереницы цифр, вереницы людей, которые каждый день, из года в год, в столовой съедали по паре бутербродов и распивали бутылочку пива на двоих с Амандой, но всегда только одну бутылочку, за исключением Рождества, когда лаборатория к рождественскому обеду выставляла четверть химической бутылки 96-градусного дезинфекционного спирта. Архив кричит мне о том, что они были довольны. То же самое было написано в той книге, которую я

читала в библиотеке, и то же самое говорила мне Эльза Любинг: “Мы были довольны. Это было хорошее место работы”.

Как уже часто бывало, я чувствую толчок в груди, прикоснувшись к чему-нибудь, приняв участие в чем-нибудь. В Туле и Сиорапалуке никогда не спрашивали, кто ты, потому что все были охотниками, все чем-то занимались. В Дании ты — наемная рабочая сила, и сознание того, что вот сейчас ты должен засучить рукава, засунуть карандаш за ухо, схватить резиновые сапоги и идти на работу, наполняет твоё существование и придает ему особый смысл. А после работы смотришь телевизор, или навещаешь друзей, или играешь в бадминтон, или же идешь на компьютерные курсы. А не ведешь подвальное существование на Странбульвар глубокой ночью накануне Рождества.

Не первый и не последний раз ко мне приходят эти мысли. Что заставляет нас по собственной воле искать погружения в депрессию?

Когда я закрываю отчет, у меня появляется одна мысль. Я снова открываю его и смотрю медицинский отчет. Там я кое-что нахожу. И тут я понимаю, что все мои старания были не напрасны.

В Гренландии я встречала женщин, которые, лишь только обнаружив, что они беременны, неожиданно становились осторожны с собой, как никогда раньше. Именно такое чувство охватывает меня сейчас. С этого момента мне надо беречь себя.

Движение на улице стихло. Я не ношу часы, но сейчас может быть около трех часов. Я выключаю фонарик.

В здании тихо. В этой тишине вдруг слышится какой-то непонятный звук. Он раздается слишком близко, чтобы иметь отношение к улице. Но он тих, как шепот. С того места, где я сижу, дверной проем выглядит слабо светящимся сероватым прямоугольником. Я вижу его, а потом он вдруг исчезает. Кто-то вошел в комнату, кто-то, кто своим телом заслоняет свет.

Наклонив голову, я могу сквозь полки следить за движением. Я снимаю сапоги. Они не годятся для того, чтобы бегать. Я встаю. Немного поменяв положение, я вижу на фоне слабо светящегося дверного проема фигуру.

Нам кажется, что у страха есть границы. Это только пока мы не встретились с неизвестным. У всех нас есть безграничный запас ужаса.

Крепко ухватившись за один из стеллажей, я опрокидываю его на вошедшего. Когда стеллаж слегка наклоняется, выпадает одна из папок. Это служит ему предупреждением и он, выставив руки, останавливает падающий стеллаж. Сначала раздается звук, как будто ломаются кости его предплечья. Потом кажется, будто на пол упало 15 тонн книг. Он не может отпустить полку. Но она всей своей тяжестью лежит на нем. И его ноги медленно начинают подгибаться.

Большая часть людей пребывает в заблуждении, что насилие всегда оборачивается в пользу физически сильного. Это не так. Исход драки — это всегда вопрос о том, кто кого опередит в первые минуты. Когда я, проведя полгода в школе Ругмаркен, переехала в школу Скоугор, я впервые всерьез столкнулась с классическим датским преследованием тех, кто не похож на других. Там, где я раньше училась, все мы были иностранцами, все были в одной лодке. В своем новом классе лишь я одна имела черные волосы и говорила на ломаном датском. Один мальчик, учившийся на несколько классов старше меня, был особенно жесток. Тогда я узнала, где он живет. Встала рано утром и стала ждать его в том месте, где он переходил

Скоуховедвай. У него было передо мной преимущество в 15 килограммов. И у него не было никаких шансов. Он так и не получил тех нескольких минут, которые были ему необходимы, чтобы прийти в боевую готовность. Я ударила его прямо в лицо и сломала ему нос. Потом ударила его ногой сначала по одной, потом по другой коленной чашечке, чтобы опустить его до более оперативной высоты. Потребовалось наложить 12 швов, чтобы поставить на место его носовую перегородку. Никто никогда так и не поверил, что такое могла сделать я.

На этот раз я тоже не стою, ковыряя в носу, в ожидании, что придет Рождество. Я снимаю со стены одну из латунных труб, на которой прикреплены 50 топографических карт, и ударяю его изо всех сил по затылку.

Он мгновенно оседает. Стеллаж падает на него. После этого я жду. Чтобы посмотреть, нет ли с ним приятелей. Или собачки. Но не слышно никаких других звуков, кроме его дыхания под 30 метрами стеллажей.

Тогда я освещаю фонариком его лицо. На нем лежит слой книжной пыли. Удар повредил наружную часть его уха. Он в черных спортивных брюках, темно-синем джемпере, черной шерстяной шапочке, темно-синих спортивных тапочках и с нечистой совестью. Это механик.

— Петер, — говорю я. — Ах ты, Петер-Растяпа.

Он ничего не может ответить из-за стеллажа. Я пытаюсь оттолкнуть его в сторону, но его невозможно сдвинуть с места.

Приходится отказаться от профессиональных мер безопасности и включить свет. Я начинаю сдвигать книги, папки, отчеты и массивные стальные книгодержатели со стеллажа. Мне надо освободить три метра. На это уходит четверть часа. После этого я могу приподнять стеллаж на сантиметр, и он сам может выбраться из-под него. И подползти к стене, где он садится и ощупывает свой череп.

Только тут у меня начинают дрожать ноги.

— Я плохо вижу. — говорит он. — Мне кажется, у меня сотрясение мозга.

— Будем надеяться, — говорю я.

Проходит четверть часа, прежде чем он может стоять на ногах. И даже тогда он, как Бэмби на льду. Еще полчаса уходит на то, чтобы поставить стеллаж. Мы должны сначала вынуть все бумаги, прежде чем удастся поднять его, а затем поставить их на место. Становится так жарко, что мне приходится снять юбку и работать в колготках. Он ходит босиком, по пояс голый, периодически его бросает в жар, начинаются приступы головокружения и он должен делать передышку. Потрясение и вопросы, на которые нет ответов, витают в воздухе вместе с пылью, которой достаточно, чтобы наполнить целую песочницу.

— Здесь пахнет рыбой, Смила.

— Тресковая печень, — говорю я. — Говорят, очень полезно.

Он молча смотрит, как я открываю электрический сейф и вешаю на место ключ. Потом мы закрываем за собой дверь. Он ведет меня к выходящей на Сванекегаде калитке в изгороди. Она открыта. Когда мы проходим через нее, он наклоняется над замком, и тот щелкает.

Его машина стоит на следующей улице. Мне приходится поддерживать его одной рукой.

Другой я держу пакет для мусора, наполненный другими пакетами для мусора. Полицейская патрульная машина медленно проезжает мимо нас. Но не останавливается. Так много всего можно увидеть на улицах в это время. Должны же люди иметь возможность проводить время так, как им нравится.

Он рассказывал мне, что пытается отдать свою машину в музей старых автомобилей. Это “моррис 1000” 61-го года. Так он мне сказал. С красными кожаными сидениями, откидным верхом и деревянной приборной доской.

— Я не могу вести машину, — говорит он.

— У меня нет прав.

— Но ты водила когда-нибудь что-нибудь?

— Гусеничные машины по полярному льду.

Такому риску он все же не хочет подвергать свой “моррис”. Поэтому он ведет машину сам. За рулем для его большого тела мало места. В крыше много щелей, и мы страшно мерзнем. Я жалею о том, что ему уже давным-давно не удалось отдать ее в музей.

Температура упала — уже не около нуля, а настоящий мороз, и когда мы едем домой, начинает идти снег. Это qanik — мелкие, похожие на порошок снежинки.

Самые опасные лавины — это лавины порошкообразного снега. Их вызывают незначительные энергетические сдвиги, например, громкий звук. Они обладают очень маленькой массой, но двигаются со скоростью 200 километров в час, оставляя за собой фатальный вакуум. Случалось, что порошкообразные снежные лавины высасывали легкие из тела человека.

В уменьшенном размере именно такие лавины начали двигаться по крутой, гладкой крыше, откуда упал Исайя и на которую я заставляю себя смотреть. Одна из тех вещей, которым учит снег — это то, что большие силы и катастрофы в уменьшенном размере всегда присутствуют в будничной жизни. Не проходило и одного дня моей сознательной жизни, чтобы я не удивлялась тому, как плохо датчане и гренландцы понимают друг друга. Конечно же, хуже всего гренландцам. Канатоходцу вряд ли пойдет на пользу, что его не понимает тот, кто держит канат. А жизнь inuit в этом веке была ходьбой по канату, который с одной стороны был прикреплен к стране, где наиболее тяжелые для проживания условия и самый суровый и неустойчивый климат в мире, а с другой стороны, к датской администрации.

Это если смотреть общим планом. А если посмотреть вблизи, то я прожила этажом выше механика полтора года, и много раз с ним говорила, и он чинил звонок на моей двери и мой велосипед, а я помогала ему проверить письмо в жилищный кооператив на предмет орфографических ошибок. Их было примерно 20 на 28 слов. Он страдает дисграфией.

Нам надо было бы помыться, смыть с себя пыль, кровь и тресковую печень. Но мы связаны тем, что произошло. Поэтому мы идем вместе в его квартиру. Где я никогда раньше не бывала.

В гостиной царит порядок. Мебель из отшлифованного и обработанного щелоком светлого дерева, с подушками и обивкой из шерстяной конской попоны. Подсвечники со стеариновыми свечами, стеллаж с книгами, доска с фотографиями и рисунками детей знакомых. “Большому Петеру от Марии, 5 лет”. В фарфоровых горшочках — кусты роз, а на них красные цветы, и похоже, что кто-то поливает их и говорит с ними, обещая им, что их никогда не пошлют на

каникулы ко мне, где по какой-то причине для зеленых растений неподходящий климат.

— К-кофе?

Кофе — это яд. Однако у меня неожиданно возникает желание вывалиться в грязи, и я соглашаюсь.

Я стою в дверях и смотрю, как он варит кофе. Кухня совершенно белая. Он находится в ее центре, словно игрок в бадминтон на площадке, так, чтобы перемещаться как можно меньше. У него маленькая электрическая мельница. В ней он мелет сначала немного светлых зерен, а потом немного маленьких, почти черных и блестящих, как стекло. Он мешает их в маленькой металлической воронке, которую он закрепляет в эспрессо-кофеварке, которую ставит на газовую горелку.

В Гренландии приобретаешь ужасные кофейные привычки. Я наливаю горячее молоко прямо в растворимый кофе. Я не поднимаюсь выше того, чтобы растворять порошок прямо в горячей воде из-под крана.

Он наливает треть сливок и две трети молока в два высоких стакана с ручками.

Кофе, который он нацеживает из кофеварки, черный и густой, как сырая нефть. С помощью трубочки паром из кофеварки он взбивает молоко.

Мы берем кофе и садимся на диван. Я вполне могу оценить, когда меня угощают чем-нибудь хорошим. В высоких стаканах напиток темный, как старый дуб, с сильным, почти парфюмерным тропическим запахом.

— Я отправился за тобой, — говорит он.

Стакан очень горячий. Кофе обжигает. Обычно горячие напитки остывают, когда их переливают. Но тут трубка для пара нагрела стакан вместе с молоком до 100 градусов.

— Дверь открыта. Так что я вхожу. Кто же мог знать, что ты будешь сидеть и ждать в темноте.

Я осторожно отхлебываю. Напиток такой крепкий, что на глазах выступают слезы, и я вдруг чувствую сердце.

— Я думал о том, что ты сказала на крыше. О следах, — заикается он совсем чуть-чуть. Иногда совсем не заикается.

— Мы ведь дружили. Он был совсем маленьким. Но мы все-таки дружили. Мы много не разговариваем друг с другом. Но нам весело. Черт возьми, как нам весело. Он корчит рожи. Закрывает лицо руками. Потом открывает его, и он похож на старую, больную обезьянку. Он прячет лицо. И снова открывает его. Теперь он похож на кролика. Еще раз — и он похож на чудище Франкенштейна. Так что я валюсь на пол от смеха и, наконец, прошу, чтобы он прекратил. Ему можно было дать кубик и стамеску. Ему можно было дать нож и кусочек стеатита. Он будет сидеть, возиться и бормотать что-то, как маленький медвежонок. Иногда он что-то говорит. Но это по-гренландски. Себе под нос. И мы сидим и работаем. Каждый по отдельности, но все-таки вместе. Я думаю о том, как хорошо, что он может быть таким прекрасным человеком при такой матери.

Он выдерживает длинную паузу в надежде, что я вступлю в разговор. Но я не прихожу ему на помощь. Мы оба знаем, что это он должен дать мне объяснение.

— И вот однажды вечером мы сидим, как обычно. И приходит Петерсен, дворник. Он хранит свои бутылки с вином на лестнице у котла. Приходит, чтобы взять свое абрикосовое вино. Вообще-то он никогда не приходит сюда в это время. А тут раздаётся его низкий голос. И на нем деревянные башмаки. Тут я смотрю на мальчика. Он сидит, съевшись. Как зверек. Зажав в руке тот нож, который ты ему подарила. Дрожит всем телом. И вид у него свирепый. Даже увидев, что это всего лишь Петерсен, он продолжает дрожать. Я беру его на колени. Впервые в жизни. Говорю с ним. Он не хочет домой. Я веду его сюда. Укладываю на диван. Думаю, не позвонить ли тебе, но что сказать? Ведь мы не так хорошо знаем друг друга. Я не сплю и сижу у дивана. Каждые пятнадцать минут он вскакивает, как пружина, дрожит и плачет.

Он не оратор. За последние пять минут он сказал мне больше, чем за прошедшие полтора года. Он так распахнул свою душу, что я не решаюсь прямо смотреть на него, а смотрю в чашку. На поверхности образовались маленькие, прозрачные пузырьки, на которые попадает свет, преломляясь красным и лиловым.

— С того дня мне стало казаться, что он чего-то боится. То, что ты говоришь о следах, никак не выходит у меня из головы. Поэтому я слежу за тобой. Ты и Барон понимаете — понимали — друг друга.

Исайя приехал в Данию за месяц до моего переезда сюда. Юлиана подарила ему лакированные туфельки. Лакированные туфли в Гренландии считаются красивыми. Они не могли засунуть его веерообразные широкие ноги в узкие туфли. Но Юлиане удалось найти пару по форме ноги. С тех пор механик называл Исайю Бароном. Если прозвище пристаёт к человеку, значит, оно затронуло глубинную суть. У Исайи это было чувство собственного достоинства. Ведь он был самодостаточным. Ему требовалось так мало от окружающего мира, чтобы чувствовать себя довольным.

— Я совершенно случайно вижу, как ты поднимаешься к Юлиане и снова уходишь. И крадусь за тобой в “моррисе”. Вижу, как ты кормишь собаку. Как ты перелезаешь через забор. И открываю другую калитку.

Вот как, оказывается, обстоит дело. Он что-то слышит, что-то замечает, он следует за мной, он открывает калитку, получает по голове, и вот мы сидим здесь. Никаких загадок, нет ничего нового и тревожного под солнцем.

Он ухмыляется мне. Я улыбаюсь ему в ответ. Так вот мы сидим, пьем кофе и улыбаемся друг другу. Мы знаем, что я знаю, что он лжет.

Я рассказываю ему об Эльзе Любинг. О Криолитовом обществе “Дания”. Об отчете, который лежит перед нами на столе в полиэтиленовом пакете.

Я рассказываю ему о Рауне. Который работает не совсем в том месте, где он работает, а в другом.

Он сидит, опустив глаза, пока я говорю. Сгорбившийся, неподвижный.

Что-то между нами недосказано, что-то лежит на грани сознания. Но мы оба чувствуем, что участвуем в бартерной сделке. Что мы в глубоком взаимном недоверии обмениваемся теми сведениями, которые мы вынуждены сообщать, чтобы получить что-нибудь взамен.

— И потом а-адвокат.

На улице, над гаванью, появляется свет, как будто он спал в каналах, под мостами, откуда он медленно поднимается на лед, который начинает светиться. В Туле свет появлялся в феврале. За несколько недель до того, как становилось видно солнце, пока оно еще было далеко за горами, и мы жили в темноте, солнечные лучи освещали Перл-Айлэнд, находившийся в море за сотни километров, и заставляли его светиться, словно осколок розового перламутра. И тогда, что бы взрослые ни говорили, я была уверена, что солнце находилось в зимней спячке в море, а теперь просыпается.

— Все начинается с того, что я замечаю машину, красный БМВ, на Странгаде.

— Вот что, — говорю я.

Мне кажется, что машины на Странгаде каждый день разные.

— Раз в месяц. Он забирает Барона. Когда он возвращался, с ним было невозможно говорить.

— Вот как, — говорю я.

Медлительным людям надо давать столько времени, сколько им потребуется.

— И вот однажды я открываю машину и заглядываю в бардачок. У меня есть инструмент. Оказывается, это адвокат. Его зовут Винг.

— Ты мог перепутать машину.

— Ц-цветы. Они словно цветы. Когда ты садовник. Я увидел машину раз или два, и все — я запомнил ее. Как у тебя со снегом. Как у тебя было на крыше.

— А вдруг я ошиблась? Он качает головой.

— Я видел, как вы с Бароном играли в ту игру с прыжками. Большая часть моего детства прошла в этой игре. Часто я продолжаю играть в нее во сне. Кто-то прыгает на гладкую снежную поверхность. Остальные ждут, повернувшись к нему спиной. Потом надо на основе следов реконструировать прыжок первого. В эту игру мы и играли с Исайей. Я часто отводила его в детский сад. Мы часто опаздывали на полчаса. Меня ругали. Говорили о том, что детский сад не сможет работать, если дети будут сползаться в течение всего дня. Но мы были счастливы.

— Он прыгал, как мешок блох, — говорит механик мечтательно. — Он ведь был хитер. Он делал полтора оборота в воздухе и приземлялся на одну ногу. И попадал в свои собственные следы.

Он смотрит на меня, качая головой.

— Но каждый раз, каждый раз ты отгадывала.

— Сколько времени они отсутствовали?

Звуки пневматического молота с Книппельсбро. Начинающееся движение машин. Чайки. Далекий низкий звук, скорее даже глубокая вибрация первой ракеты на подводных крыльях. Короткий сигнал борнхольмского парома в тот момент, когда он разворачивается перед Амалиехаун. Начинается утро.

— Может быть, несколько часов. Но его привозила другая машина. Такси. Он всегда возвращался один на такси.

Он делает нам омлет, пока я стою в дверях и рассказываю ему об Институте судебной медицины. О профессоре Лойене. О Лагерманне. О следах того, что, возможно, было мышечной биопсией, взятой у ребенка. После того, как он упал.

Он режет лук и помидоры, окунает их в масло, крепко взбивает белки, замешивает желтки, и поджаривает все с обеих сторон. Он ставит сковородку на стол. Мы пьем молоко и едим кусочки черного, сочного ржаного хлеба, пахнущего смолой.

Мы едим в молчании. В тех случаях, когда я ем с чужими людьми — как сейчас — или если я очень голодна — я задумываюсь о ритуальном значении еды. Из детства я вспоминаю, как сочеталась торжественность собрания с сильными вкусовыми ощущениями. Розоватую, слегка пенящуюся ворвань, которую едят из общего блюда. Ощущение того, что, строго говоря, все в мире существует, чтобы быть разделенным между людьми.

Я встаю.

Он стоит в дверях, как будто хочет загородить мне дорогу.

Я думаю о том, что он не все до конца рассказал мне сегодня.

Он отходит в сторону. Я прохожу мимо. Держа в руке свои сапоги и шубу.

— Я оставлю часть отчета. Это будет хорошей тренировкой при твоей дисграфии.

На его лице появляется озорное выражение.

— Смила. Как может быть, что у такой изящной и хрупкой девушки, как ты, такой грубый голос?

— Мне очень жаль, — говорю я, — если создается впечатление, что груб у меня только голос. Я изо всех сил стараюсь быть грубой во всем.

Потом я закрываю дверь.

11

Я проспала все утро и проснулась позже, чем следовало, поэтому на то, чтобы принять душ, одеться и наложить косметику перед похоронами, у меня осталось всего лишь полтора часа, а это совсем не так уж много времени — это вам может подтвердить всякий человек, который стремится произвести хорошее впечатление. Поэтому, когда мы приходим в часовню, я чувствую себя совершенно сбитой с толку, и после церемонии лучше мне не становится. Идя рядом с механиком, я чувствую себя так, как будто кто-то снял с меня крышку и прошелся вверх и вниз большим ершиком для мытья бутылок.

Что-то теплое опускается мне на плечи. Он снял свое пальто и укутал меня им. Оно доходит мне до пят.

Остановившись, мы оглядываемся на могилу и на свои следы. Его — большие, от скошенных набок подошв. По-видимому, у него чуть кривоватые ноги, хотя внешне это почти незаметно. Маленькие дырочки от моих высоких каблуков. Они похожи на следы косули. Косое, скользящее вниз движение, а на дне следа — черные точки, там, где копытца пробili снег до земли.

Женщины проходят мимо нас. Я вижу только их сапоги и туфли. Трое из них поддерживают Юлиану, носки ее туфель тащатся по земле. Край одеяния священника. Рядом — пара сапог из тисненной кожи. Над воротами, ведущими к аллее, висит фонарь. Когда я поднимаю взгляд, женщина откидывает голову, так что длинные волосы отлетают назад в темноту, и на ее лицо падает свет, бледное лицо, на котором большие глаза кажутся темными озерами. Она держит священника под руку, и что-то проникновенно говорит ему. Нечто в облике этих двух стоящих рядом людей заставляет эту картинку запечатлеться в памяти.

— Фрекен Ясперсен.

Это Раун. С друзьями. Двумя мужчинами. На них такие же большие, как и на нем, пальто, но они им ничуть не велики. Под пальто на них синие костюмы, белые рубашки и галстуки, они в солнечных очках, чтобы зимние сумерки сейчас в четыре часа дня не слепили им глаза.

— Я бы хотел переговорить с вами.

— В отделе по борьбе с экономическими преступлениями? О моих капиталовложениях?

Он и глазом не моргнул. Его лицо так много всего повидало на своем веку, что уже больше ничто не оставляет на нем следов. Он делает жест по направлению к машине.

— Я не уверена в том, что у меня сейчас есть желание говорить с вами. Он не двигается ни на миллиметр. Но его соратники незаметно подползают ближе.

— Смилла. Если ты не хочешь, то, я думаю, ты не должна идти. Это механик. Он загроживает мужчинам дорогу.

Когда животные — и почти все обычные люди — оказываются перед лицом физической опасности, их тело цепенеет. С физиологической точки зрения это неэкономично, но это — закон. Полярные медведи являются исключением. Они могут лежать в засаде, полностью расслабившись, в течение двух часов, при этом ни на секунду не ослабляя максимального тонуса готовности мускулатуры. Теперь я вижу, что и механик является исключением. Он стоит почти без всякого напряжения. Но в его сосредоточенности на стоящих перед ним мужчинах таится физическая опасность, которая еще раз мне напоминает о том, как мало я о нем знаю.

Это не производит никакого видимого впечатления на Рауна. Но заставляет двух синих мужчин сделать шаг назад, расстегивая при этом пиджаки. Возможно, им слишком жарко. Возможно, оба они имеют одинаковую нервную реакцию. Возможно, у них обоих есть по дубинке со свинцовым сердечником.

— Меня отвезут домой?

— До самой двери.

В машине я сижу на заднем сидении с Рауном. В какой-то момент я наклоняюсь вперед и снимаю с шофера солнечные очки.

— Я нема, как рыба, мой милый, — говорю я. — Мой рот запечатан семью печатями. От меня Раун не узнает ничего о том, что ты при исполнении служебных обязанностей спишь. В половине восьмого утра на Каббелайевай.

У Главного полицейского управления мы сворачиваем и едем между красными домами, где находится автоинспекция. Мы направляемся к низкому красному зданию, выходящему фасадом на гавань.

На нем нет никакой вывески. Нам никто не встречается по пути. Не стучат пишущие машинки. На дверях нет табличек с именами. Лишь тишина и покой. Как в читальном зале. Или в морге Института судебной медицины.

Два синих пажа исчезли. Мы заходим в темный кабинет. На окнах жалюзи. Через жалюзи виден электрический свет, причалы, вода, Исланд Брюгге.

Это комната, в которую днем, должно быть, проникает много света. Кроме света, в ней ничего нет. Нет ничего на стенах. Ничего на столах. Ничего на подоконниках.

Раун зажигает свет. В углу на стуле сидит человек. Он ждал нас, сидя в темноте. Жилистый, коротко стриженный, черные, почти под “ежик” волосы, холодные голубые глаза и суровые губы. Он аккуратно одет.

Раун садится за письменный стол.

— Смилла Ясперсен, — представляет он. — Капитан Теллинг. Я сажусь спиной к окнам напротив двух мужчин.

Нет сигарет, нет кофе в пластмассовых стаканчиках, нет магнитофона, нет сильного электрического света, нет обстановки допроса. Есть только атмосфера ожидания.

В этой атмосфере я замираю.

Из тишины появляется дама с подносом, на котором чай, сахар, молоко и ломтики лимона, все это на белом фарфоре. Затем пустое здание бесследно поглощает ее. Раун разливает чай.

Он достает из ящика стола папку. Она светло-розовая. Он медленно читает. Как будто пытается снова воспринять все это, как в первый раз.

— Смилла Кваавигаак Ясперсен. Родилась 16 июня 1956 года в Кваанааке. Родители: охотник Ане Кваавигаак и врач Йорген Мориц Ясперсен. Общеобразовательная школа в Гренландии и в Копенгагене. Экзамен на аттестат зрелости в государственной школе Биркерёд в 1976 году. Училась в Институте Х.К.Эрстеда и на географическом факультете Копенгагенского университета. Гляциальная морфология, статистика и фундаментальные проблемы математики. Поездки в Западную Гренландию и Туле в 1975, 1976 и 1977 гг. Размещение запасов провианта для датских и французских экспедиций в Северной Гренландии в 1978, 1979 и 1980 гг. В 1982 году принята на работу в Геодезический институт. С 1982 по 1985 в качестве научного сотрудника принимала участие в экспедициях на ледники, в Северный Ледовитый океан и Арктическую часть Северной Америки. Приложены различные отзывы. Один отзыв от майора Гульбрандсена, который возглавлял патруль “Сириус”. Он относится к 1979 году. Он жалуется на то, что вы не водите собачьи упряжки. Вы боитесь собак?

— Я осторожна с ними.

— Но он добавляет, что он бы порекомендовал любой гражданской экспедиции взять вас с собой проводником, даже если придется нести вас на спине. Потом следуют ваши научные работы. Дюжина, некоторые опубликованы за границей. С названиями, которые выше нашего с капитаном Теллингом понимания. Statistics on Glacial Graphology. Mathematical Models for Brine

Drainage from Seawater Ice <Статистика ледовой графологии. Математические модели для фильтрации соли из морского льда (англ.)>

И компендиум, написанный вами для студентов. “Основные черты гляциальной морфологии Северной Гренландии”.

Он закрывает папку.

— Есть несколько других отзывов. От преподавателей. От сотрудников лаборатории американской армии “Голдуотер” на острове, который называется Байлот. Все они единодушно утверждают, что тот, кто хочет что-нибудь узнать про лед, может с большой пользой для себя обратиться к Смилле Ясперсен.

Раун снимает пальто. Без пальто он оказывается тощим, как ершик для прочистки трубки. Я снимаю туфли и сажусь с ногами на стул, чтобы можно было помассировать пальцы ног. Они занемели от холода, к колготкам прилипли льдинки.

— Эти сведения, строго говоря, совпадают с curriculum vitae, который Вы подавали, когда просили разрешение на въезд в Северную Гренландию в связи с экспедицией Норвежского Полярного института для клеймения белых медведей. Мы тщательно проверили эти сведения. Они полностью соответствуют действительности. Если основываться на них, я думаю, может сложиться впечатление, что мы имеем дело с молодой, очень независимой женщиной, обладающей необыкновенными ресурсами, которые она честолюбиво и талантливо использует. Вам не кажется, что именно к такому выводу можно прийти?

— Вы можете прийти к любому, какому вам угодно, выводу — говорю я.

— Однако у меня есть и некоторые другие сведения. Эта папка очень тонкая, темно-зеленая.

— Этот отчет практически совпадает с тем отчетом, который отдел капитана Теллинга имел в своем распоряжении, когда они поставили штамп “Отказать” на вашем последнем ходатайстве о разрешении на въезд в Северную Гренландию. Он начинается с того, что подводит итог некоторым фактам вашей личной жизни. Ваша мать пропала без вести 12 июня 1963 года во время охоты. Очевидно, погибла. Брат кончает жизнь самоубийством в сентябре 81 года в Упернавике. Родители поженились в 1956 г., разошлись в 1958. После смерти матери родительские права перешли к отцу. Апелляция со стороны брата матери в связи с этим отклонена Министерством юстиции в мае 1964. Приехала в Данию в сентябре 1963. Пропадала, объявлялся розыск, и обнаруживалась полицией 6 раз с 1963 по 1971, два раза в Гренландии.

Датская школа для иммигрантов — 1963. Школа Скоугор в Шарлоттенлунде 1964-65. Исключена. Интернат Стинхой в Хумлебеке 1965-67. Исключена. Потом следуют короткие периоды в небольших частных школах. Экзамен по программе 9-летней школы сдан экстерном после частного обучения дома. Затем гимназия. В последнем классе оставлена на второй год. Экзамен на аттестат зрелости сдан экстерном в 1976. Зачислена в Копенгагенский университет. Отчислена в 1984, не получив диплома. Теперь политическая деятельность. Несколько раз арестована при осаде Советом Молодых Гренландцев Министерства по охране окружающей среды. Принимала активное участие в создании IA, когда распался СМГ.

Он вопросительно смотрит на Теллинга.

— Inuit Ataqtatigit. “Идущие вперед”. Агрессивно марксистский настрой.

В первый раз капитан заговорил.

— Покидает партию в том же году из-за многочисленных разногласий. С тех пор не состоит в партиях. Затем несколько незначительных нарушений закона. Три незакрытых дела о нарушении канадского территориального законодательства в проливе Пири. Почему?

— Я метила белых медведей. Медведи не могут читать карты. И значит, не уважают национальные границы.

— Несколько мелких нарушений дорожного движения. Приговор суда за клевету в связи со статьей “Гляциология и получение прибыли в Дании в связи с разработкой нефтяных месторождений в Северном Ледовитом океане”. За это исключена из Датского гляциологического общества.

Он смотрит на меня.

— Есть ли организация, из которой бы вас еще не выкинули, фрекен Ясперсен?

— Насколько я знаю, я все еще числюсь в отделе гражданской регистрации населения.

— Кроме этого, мы заглянули в дела Налогового управления и районной администрации. Вы немного зарабатываете вашими публикациями, изредка подрабатываете, получаете пособие. Но не похоже, чтобы это могло удовлетворить ваши потребности. Мы размышляем, нет ли у вас спонсора. Как вы относитесь к своему отцу?

— Тепло и с уважением.

— Это кое-что могло бы прояснить. Дело в том, что капитан Теллинг заглянул и в его декларацию о доходах.

Для меня нет ничего нового в том, что они все это знают. Со времен основания военной базы в Туле существовало ограничение на то, сколько гражданских пассажиров может находиться на борту каждого самолета, прилетающего в Гренландию. Чтобы у разведки было время проверить, все ли прошли конфирмацию, все ли происходят из хороших семей и всем ли были сделаны прививки от идущей с Востока красной лихорадки. Самое удивительное, что они мне все это сообщают.

— Эти сведения создают более противоречивую картину. Вырисовывается портрет женщины, которая никогда не закончила ни одного курса обучения. У которой нет работы. Нет семьи. Которая, где бы она ни находилась, создавала конфликты. Которая никогда не могла приспособиться к окружающей обстановке. Агрессивной. И которую бросает от одного политического полюса к другому. И тем не менее, вам удалось за 12 лет принять участие в 9 экспедициях. Я не знаю Гренландию. Но мне представляется, что если у человека не удалась жизнь, то ему легче скрывать это на полярных льдах.

Это я оставляю без комментариев. Но я заносу это в черную книжечку с его именем.

— В этих экспедициях вы каждый раз были проводником. Каждый раз использовались секретные карты, спутниковые и радарные снимки, результаты метеорологических наблюдений, предоставленные военными. Девять раз за последние 12 лет вы давали подписку о неразглашении сведений. У нас есть копии всех этих материалов.

Я начинаю понимать, куда он клонит, в чем состоит его основная мысль.

— В такой маленькой стране, как наша, вы, фрекен Ясперсен, представляете собой сложный случай. Вы много видели и много слышали. Это автоматически происходит с каждым, кто попадает в Северную Гренландию. Но вы обладаете таким прошлым и таким характером, которые — если бы вы находились в любом другом месте на датской территории — гарантировали бы то, что вам бы не дали ничего увидеть и услышать.

В моих ногах восстанавливается циркуляция крови.

— Человек, у которого есть хотя бы капля здравого смысла, сидел бы на вашем месте тише воды, ниже травы.

— Вам не нравится то, как я одета?

— Нам не нравятся ваши бесполезные и приносящие прямой вред попытки вмешаться в расследование того дела, которое, как я вам когда-то обещал, будет снова рассмотрено.

Конечно же, именно к этому мы все время шли.

— Да, — говорю я. — Я прекрасно помню, как вы это обещали. Тогда вы еще работали в другом месте.

— Фрекен Смила, — говорит он очень мягко. — Мы можем упрятать вас за решетку в любую минуту. Вы меня понимаете? Мы можем устроить вам одиночное заключение, изолированную камеру, когда захотим.. Ни один судья не сомневался бы ни минуты, познакомившись с вашим делом.

С самого начала, речь во время этой нашей беседы, должно быть, шла об аутентичности. Он хотел показать мне, на что он способен. Что он имеет доступ к тем сведениям, которые я послала в Управление по делам Гренландии и военным. Что он смог проследить за моими передвижениями. Что у него есть доступ к любым архивам. И что он всегда может вызвать офицера разведки в шесть часов вечера незадолго до Рождества. И все это он сделал, чтобы у меня не были ни тени сомнения в том, что он в состоянии в любую секунду упрятать меня за решетку.

Ему это удалось. Теперь я знаю — он может. Что все будет так, как он захочет. Так как в глубине под его угрозой скрывается пласт знаний. Которые он теперь извлекает на свет.

— Заключение, — говорит он медленно, — в маленьком, звуконепроницаемом помещении без окон, как мне говорили, особенно неприятно тем, кто вырос в Гренландии.

В нем нет никакого садизма. Лишь четкое и, возможно, слегка меланхолическое осознание имеющихся в его распоряжении способов воздействия.

В Гренландии нет тюрем. Самое большое различие между законодательством в Дании и в Нууке состоит в том, что в Гренландии гораздо чаще наказывают штрафом за те проступки, за которые в Дании назначали бы арест или тюремное заключение. Гренландский Ад — это не скалистый ландшафт геенны огненной, как у европейцев. Гренландский Ад — это закрытое пространство. Когда я вспоминаю свое детство, мне кажется, что мы никогда не бывали в помещении. Жить долгое время на одном и том же месте было невыносимо для моей матери. К своей пространственной свободе я отношусь так же, как по моим наблюдениям мужчины

относятся к своим яичкам. Я баюкаю ее, как грудного ребенка, и поклоняюсь ей, как богине.

В своем расследовании причин смерти Исайи я дошла до конца пути.

Мы встаем. Мы не притронулись к нашим чашкам. Чай остыл.

II

1

Можно разными способами пытаться преодолеть депрессию. Можно слушать органное произведение Баха в церкви Христа Спасителя. Можно с помощью бритвенного лезвия выложить на карманном зеркальце полоску хорошего настроения в виде порошка, а потом вдыхать его через трубочку для коктейля. Можно звать на помощь. Например, по телефону, так, чтобы точно знать, кто именно тебя услышит.

Это европейский путь. Надеяться, что можно, что-то предпринимая, найти выход из трудного положения.

Я выбираю гренландский путь. Он состоит в том, чтобы погрузиться в черное настроение. Положить свое поражение под микроскоп и сосредоточиться на нем.

Когда дело обстоит совсем плохо — как сейчас — я вижу перед собой черный туннель. К нему я и иду. Я снимаю свою дорожную одежду, свое нижнее белье, свой шлем безопасности, оставляю свой датский паспорт и вхожу в темноту.

Я знаю, что пойдет поезд. Обшитый свинцом паровоз, перевозящий стронций-90. Я иду ему навстречу.

Мне это по силам, потому что мне 37 лет. Я знаю, что в глубине туннеля, под колесами, между шпалами есть крошечный просвет.

Утро сочельника. На протяжении нескольких дней я одну за другой обрывала все связи с миром. Теперь я готовлюсь к окончательному падению. Которое неизбежно. Потому что я позволила Рауну сломить себя. Потому что сейчас я предаю Исайю. Потому что я не могу выкинуть из головы своего отца. Потому что я не знаю, что сказать механику. Потому что, похоже, я никогда не поумнею.

Я приготовилась, отказавшись от завтрака. Это усиливает противостояние. Я заперла дверь. Я сажусь в большое кресло. И призываю дурное настроение: Вот сидит Смилла. Голодная. В долгах. В сочельник. Когда все со своими близкими. Возлюбленными. Любимыми птичками в клетках. Когда каждый человек не одинок.

Это хорошо действует. Я уже стою перед туннелем. Стареющая. Неудачница. Всеми покинутая.

В дверь звонят. Это механик. Я слышу это по тому, как нажимают на кнопку звонка. Осторожно притрагиваясь, как будто звонок ввинчен прямо в череп старушки, которую он боится побеспокоить. Я не видела его со дня похорон. Не хотелось думать о нем.

Я выхожу в коридор и отключаю звонок. И снова сажусь.

Я вызываю в сознании воспоминания о своем втором побеге, когда Мориц забирал меня из Туле. Мы стояли на открытой бетонной платформе, по которой надо было пройти последние 20 метров до самолета. Моя тетка причитала. Я полной грудью вдыхала воздух. Мне казалось, что таким образом я смогу захватить ясный, сухой и как будто сладковатый воздух с собой в Данию.

Кто-то стучит в дверь. Это Юлиана. Встав на колени, она кричит через щель для писем.

— Смилла! Я сделала рыбный фарш!

— Оставь меня в покое. Она обижается.

— Я вывалю его тебе через эту дырку.

В последний момент перед тем, как мы стали подниматься в самолет, тетка подарила мне пару домашних камиков. На одну только вышивку бисером у нее ушел месяц.

Звонит телефон.

— Мне нужно с вами кое о чем поговорить. Голос Эльзы Любинг.

— Мне очень жаль, — говорю я. — Поговорите об этом с кем-нибудь другим. Не разбрасывайте бисер перед свиньями.

Я выдергиваю телефонную вилку из розетки. Я чувствую, что временами мысль об одиночной камере Рауна становится все более привлекательной. В такой день нельзя поручиться, что в следующий момент кто-нибудь не постучит в твоё окно. На пятом этаже.

В стекло раздается стук. Снаружи стоит зеленый человек. Я открываю окно.

— Я — мойщик стекол. Просто предупреждаю вас. Чтобы вы случайно не вздумали раздеваться.

Он улыбается во весь рот. Как будто он во время мытья окон засовывает в рот по целой раме.

— Что это вы, черт возьми, имеете в виду? Вы намекаете, что не хотите видеть меня голой?

Его улыбка гаснет. Он нажимает на кнопку, и та платформа, на которой он стоит, уносит его за пределы досягаемости.

— Мне не надо мыть окна, — кричу я вслед ему. — В моем возрасте уже все равно из них ничего не увидеть.

Первые годы в Дании я не разговаривала с Морицем. Ужинали мы вместе. Он так требовал. Не произнося ни слова, мы сидели с каменными лицами, в то время как сменявшие друг друга экономки подавали сменяющиеся блюда. Фру Миккельсен, Дагни, фрекен Хольм, Бо-Линь Сю. Пироги с мясом, заяц в сливочном соусе, японские овощи, венгерские спагетти. Не говоря друг другу ни слова.

Когда слышу о том, что дети быстро забывают, что они быстро прощают, что они чувствительны, у меня это влетает в одно ухо и вылетает из другого. Дети умеют помнить, скрывать и убивать холодом тех, кто им не нравится.

Мне было, наверное, около 12, когда я стала немного понимать, почему он забрал меня в Данию.

Я убежала из Шарлоттенлунда. Поехала автостопом на запад. Я слышала, что если поехать на запад, приедешь в Ютландию. В Ютландии был Фредериксхаун. Оттуда можно было попасть в Осло. Из Осло в Нуук регулярно ходили торговые суда.

Неподалеку от Соре, поздно вечером, меня подобрал лесник. Он довез меня до своего дома, дал мне молока и бутербродов, и попросил минутку подождать. Пока он звонил в полицию, я подслушивала, прижав ухо к дверям.

У гаража я нашла мопед его сына. Я поехала через вспаханное поле. Лесник бросился за мной в тапочках, но завяз в грязи.

Была зима. На повороте у озера меня занесло, и я слетела с мопеда, разорвала куртку и разбила руку. Потом большую часть ночи шла пешком. Устроившись под навесом автобусной остановки, я задремала. Когда я проснулась, оказалось, что я сижу на кухонном столе, а какая-то женщина спиртом дезинфицирует мои царапины на боку. Было такое ощущение, будто меня бьют свайным молотом.

В больнице из раны извлекли асфальтовую крошку и наложили гипс на сломанное запястье. Потом за мной приехал Мориц.

Он был очень зол. Когда я шла рядом с ним по больничному коридору, он весь трясся.

Он держал меня за руку. Собираясь достать ключи от машины, он выпустил меня, и я побежала. Мне ведь надо было в Осло. Но я была не в самой лучшей форме, а он всегда был проворным. Игроки в гольф тренируются в беге, чтобы выдержать дистанцию, часто составляющую два раза по 25 километров, если им надо пройти 72 лунки за два дня. Он почти сразу же поймал меня.

У меня для него был сюрприз. Хирургический скальпель, который я в травматологическом пункте спрятала в своем капюшоне. Такой скальпель проходит сквозь кожу, словно сквозь масло, постоявшее на солнце. Но поскольку моя правая рука была в гипсе, получился только разрез на одной ладони.

Он взглянул на руку и замахнулся, чтобы ударить меня. Но я немного отклонилась назад, и тут мы стали кружить прямо по автостоянке. Если физическое насилие долгое время таилось в отношениях между людьми, то иногда можно почувствовать облегчение, выплеснув его наружу.

Неожиданно он выпрямился.

— Ты похожа на свою мать, — сказал он. И заплакал.

В это мгновение мне удалось заглянуть ему внутрь. Когда моя мать утонула, она, должно быть, унесла с собой какую-то часть Морица. Или еще хуже: какая-то часть его материального мира, наверное, пошла на дно вместе с ней. Там, на стоянке, ранним зимним утром, пока мы стояли, глядя друг на друга, а его кровь капала, прожигая маленький красный туннель в снегу, я кое-что о нем вспомнила. Я вспомнила, каким он был в Гренландии, когда мать еще была жива. Я вспомнила, что посреди таившихся в нем непредсказуемых смен настроения случалась веселость, которая была проявлением жизнерадостности, возможно даже своего рода теплом. Эту часть его мира мать взяла с собой. Мать исчезла вместе со всеми красками. С тех пор он

был заточен в мире, в котором было лишь черное и белое.

В Данию он забрал меня, поскольку я была единственным напоминанием о том, что он потерял. Влюбленные люди поклоняются фотокарточке. Они стоят на коленях перед платком. Они отправляются в путешествие, чтобы взглянуть на стену дома. Что угодно — лишь бы раздуть те угольки, которые одновременно и согревают, и обжигают их.

С Морицем дело обстояло хуже. Он был безнадежно влюблен в ту, чьи молекулы поглотила безбрежная пустота. Его любовь потеряла надежду. Но она цеплялась за воспоминание. Я была тем воспоминанием. С большими трудностями он забрал меня и год из года выносил бесконечную череду отказов в пустыне неприязни с тем только, чтобы иногда, посмотрев на меня, на мгновение задержаться на тех чертах, которыми я напоминала женщину, бывшую моей матерью.

Мы оба выпрямились. Я отшвырнула скальпель в кусты. Мы пошли назад в травматологический пункт, где ему сделали перевязку.

Это была моя последняя попытка убежать. Не скажу, что я простила его. Я всегда буду с неодобрением относиться к тому, что взрослые переносят напряжение любви, которой они не находят выхода, на маленьких детей. Но я хочу сказать, что в какой-то степени смогла понять его.

Из кресла, где я сижу, мне видна щель для писем. Это последний вход, через который еще не попытался протиснуться окружающий мир. Теперь через нее просовывается длинная полоска серой бумаги. На ней что-то написано. Некоторое время я не трогаю ее. Но трудно не реагировать на сообщение длиной в один метр.

"Все, что угодно, лучше самоубийства", — написано на ней. Ему удалось засунуть две-три орфографические ошибки в этот короткий текст.

Его дверь открыта. Я знаю, что он никогда не закрывает ее. Постучав, я вхожу.

Я слегка ополоснула лицо холодной водой. Не исключено, что и причесалась.

Он сидит в гостиной и читает. Первый раз я вижу его в очках.

Снаружи работает мойщик стекол. Заметив меня, он принимает решение продолжить этажом ниже.

У механика все еще скобка на ухе. Но, похоже, что ухо подживает. Под глазами у него темные круги. Но он свежевыбрит.

— Была еще одна экспедиция.

Он постукивает по лежащим перед ним бумагам.

— Вот карта.

Я сажусь рядом с ним. От него пахнет шампунем и чесноком.

— На ней кто-то сделал заметки.

Я впервые внимательно разглядываю крупномасштабную карту глетчера. Это фотокопия. На полях было что-то написано карандашом. Копирование сделало текст более четкими. Написано

на смеси английского и датского. “Исправлено по данным экспедиции фонда Карлсберг в 1966 году”.

Он смотрит на меня выжидающе.

— Тогда я говорю с-себе, что, значит, была другая экспедиция. И думаю, не пойти ли мне опять в архив.

— Без ключа?

— У меня есть кое-какие инструменты.

Нет никаких оснований сомневаться в этом. У него есть инструменты, при помощи которых можно было бы вскрыть подвалы Национального банка.

— Но мне приходит в голову мысль позвонить на завод Карлсберг. Оказывается, это с-сложно. Меня соединяют. Оказывается, мне надо звонить в фонд Карлсберг. Там сообщили, что они финансировали экспедицию в 1966. Но никто из них тогда там не работал. И у них нет отчета. Но у них оказалось кое-что другое.

Это его козырная карта.

— У них оказался финансовый отчет и список тех участников экспедиции и сотрудников, которым они выплачивали зарплату. Знаешь, как я им объяснил, откуда я звоню? Из налогового управления. Они тут же мне все сообщили. И знаешь, что? Там обнаружилось знакомое имя.

Он кладет передо мной лист бумаги. На нем печатными буквами написан ряд имен, из которых мне знакомы два. Он показывает на одно из них.

— Странное имя, правда? Услышишь такое один раз — не забудешь. Он участвовал в обеих экспедициях.

“Андреас Фаин Лихт”, — написано на листке. “600 КЙД 12.09”.

— Что такое КЙД?

— Кап-йоркские доллары. Собственная денежная единица Криолитового общества в Гренландии.

— Я позвонил в отдел гражданской регистрации. Им нужны были имена, номера гражданской регистрации и адреса последнего известного местожительства. Поэтому пришлось снова звонить в фонд. Короче, я их нашел. Здесь десять имен, так? Трое были гренландцами. Из оставшихся семи в живых только двое. 1966 — оказывается, это уже д-давно. Один из них Лихт. Другой — женщина. В фонде Карлсберг сказали, что она получила деньги за какой-то перевод. Они не могли сказать, какой. Ее зовут Бенедикта Глан.

— Есть еще один человек. Он с недоумением смотрит на меня.

Я кладу перед ним медицинский отчет и показываю ему подпись под ним. Он медленно читает ее.

— Лойен. Потом кивает.

— Он был и в 66-м.

Он готовит нам еду.

Обычно бывает так, что в домах, где чувствуешь себя хорошо, оказываешься в конце концов на кухне. В Кваанааке жили на кухне. Здесь я довольствуюсь тем, что стою в дверях. Кухня достаточно просторная. Но места хватает только ему одному.

Есть женщины, которые могут приготовить суфле. У которых наготове оказывается засунутый в спортивный бюстгальтер рецепт приготовления шоколадного десерта. Которые могут одной рукой соорудить торт к своей собственной свадьбе, а другой приготовить бифштекс с перцем «Nossi Be».

Всем нам следует радоваться этому. Если только это не значит, что мы должны испытывать угрызения совести от того, что еще не перешли на “ты” со своим электрическим тостером.

Перед ним гора рыбы и гора овощей. Лосось, скумбрия, треска, разные плоские рыбины. Два больших краба. Хвосты, головы, плавники. Кроме этого, морковь, лук, порей, корень петрушки, фенхель, топинамбур.

Он чистит и варит овощи.

Я рассказываю о Рауне и капитане Теллинге.

Он ставит вариться рис. С кардамоном и анисом.

Я рассказываю о том, что давала подписку о неразглашении полученных сведений.

О тех отчетах, которые есть у Рауна.

Он сливает воду из овощей и варит куски рыбы.

Я рассказываю об угрозах. О том, что они в любой момент могут арестовать меня.

Один за другим он достает куски рыбы. Я знаю это по Гренландии. С тех времен, когда мы готовили еду, не торопясь. Разую рыбу надо варить разное время. Треска сразу же становится мягкой. Скумбрия позже, лосось еще позже.

— Я боюсь оказаться за решеткой, — говорю я.

Крабов он кладет в последнюю очередь. Он кипятит их самое большее пять минут.

В каком-то смысле я испытываю облегчение от того, что он ничего не говорит, что он не ругает меня. Кроме меня, он единственный человек, которому известно, как много мы знаем. Как много нам теперь надо забыть.

Я чувствую потребность растолковать ему про мою клаустрофобию.

— Знаешь, что лежит в основе математики, — говорю я. — В основе математики лежат числа. Если бы кто-нибудь спросил меня, что делает меня по-настоящему счастливой, я бы ответила: числа. Снег, и лед, и числа. И знаешь, почему?

Он раскалывает клешни щипцами для орехов и изогнутым пинцетом достает мясо.

— Потому что система чисел подобна человеческой жизни. Сначала натуральные числа. Это целые и положительные. Числа маленького ребенка. Но человеческое сознание расширяется. Ребенок открывает для себя тоску, а знаешь, что является математическим выражением тоски?

Он наливает в суп сливки и добавляет несколько капель апельсинового сока.

— Это отрицательные числа. Формализация ощущения, что тебе чего-то не хватает. А сознание продолжает расширяться и расти, и ребенок открывает для себя промежутки. Между камнями, между лишайниками на камнях, между людьми. И между цифрами. И знаешь, к чему это приводит? Это приводит к дробям. Целые числа плюс дроби дают рациональные числа. Но сознание на этом не останавливается. Оно стремится перешагнуть за грань здравого смысла. Оно добавляет такую абсурдную операцию, как извлечение корня. И получает иррациональные числа.

Он подогревает в духовке длинный батон и насыпает в ручную мельницу перец.

— Это своего рода безумие. Потому что иррациональные числа бесконечны. Их нельзя записать. Они вытесняют сознание в область безграничного. А объединив иррациональные числа с рациональными, мы получаем действительные числа.

Я вышла на середину кухни, чтобы было больше места. Редко получаешь возможность выговориться перед своим ближним. Как правило, надо бороться за то, чтобы получить слово. А для меня это важно.

— Это не прекращается. Это никогда не прекращается. Потому что теперь мы сразу же присоединяем к действительным числам мнимые — квадратные корни из отрицательных чисел. Это числа, которые мы не можем представить себе, числа, которые не может вместить в себя нормальное сознание. А если мы к действительным числам прибавим мнимые, то получим систему комплексных чисел. Первую систему счисления, в пределах которой можно удовлетворительно объяснить формирование кристаллов льда. Это как большой, открытый ландшафт. Горизонты. Ты идешь к ним, а они все отодвигаются. Это Гренландия, это то, без чего я не могу! Вот поэтому я не хочу, чтобы меня посадили за решетку. Я останавливаюсь перед ним.

— Смила, — говорит он. — Можно я тебя поцелую?

У всех нас есть определенное представление о себе. Я всегда казалась самой себе такой бой-бабой, которая за словом в карман не лезет. Но тут я не знаю, что сказать. Я чувствую, что он меня предал. Слушал не так, как должен был слушать. Что он обманул меня. С другой стороны, он ничего особенного не делает. Он мне не мешает. Он всего лишь стоит перед дымящейся кастрюлей и смотрит на меня.

Я не нахожу, что сказать. Я просто стою, совершенно не представляя, как мне себя вести, и это мгновение тянется, но потом оно, к счастью, проходит.

— С-счастливого Рождества.

Мы поели, не обменявшись ни словом. Отчасти потому, что невысказанное прежде все еще висит в воздухе. Но в основном потому, что этого требует суп. За этим супом невозможно

беседовать. Он взывает из тарелки, требуя от нас безраздельного внимания.

Так же было и с Исайей. Случалось, что когда я читала ему вслух или слушала с ним сказку “Петя и волк”, мое внимание что-нибудь отвлекало, и мыслями я уносилась далеко. Спустя какое-то время раздавалось покашливание. Дружелюбное, направляющее, выразительное покашливание. Оно значило примерно следующее: Смилла, ты гредишь навяу.

Точно так же с супом. Я ем из глубокой тарелки. Механик — из большой чашки. У супа вкус рыбы. Вкус глубокого Атлантического океана, айсбергов, водорослей. Рис напоминает о тропиках, о гребенчатых листьях банановой пальмы. О пребывающих в постоянном движении рынках пряностей в Бирме. Мое воображение уносит меня далеко.

Мы пьем минеральную воду. Он знает, что я не пью спиртное. Он не спрашивал, почему. Он вообще никогда не задавал мне никаких вопросов. За исключением того вопроса несколько минут назад.

Он откладывает ложку.

— Тот корабль, — говорит он. — Модель корабля в комнате Барона. По виду он очень дорогой.

Он кладет передо мной напечатанную брошюру.

— Тот ящик у него в комнате, в котором он сделал дырки, это коробка от корабля. Там я и нашел ее.

Почему я сама ее не заметила?

На обложке написано: “Арктический музей. Теплоход Криолитового общества «Дания» Йоханнес Томсен”. Масштаб 1:50.

— Что такое Арктический Музей? — спрашиваю я. Он не знает.

— Но на коробке был какой-то адрес.

Он вырезал его оттуда ножом. Наверняка, чтобы избежать орфографических ошибок. Теперь он кладет его передо мной.

“Адвокатская контора Хаммер и Винг”. И ее адрес на Эстергаде, прямо у Конгенс Нюторв.

— Это он забирал Барона на своей машине.

— Что говорит Юлиана?

— Она так напугана, что трясется от страха.

Он варит кофе. Из двух сортов зерен, при помощи мельницы, воронки и кофеварки, и с той же неторопливой аккуратностью. Мы пьем его в молчании. Сегодня сочельник. Тишина обычно является моим союзником. Сегодня она слегка давит на мой слух.

— У вас была ёлка, когда ты был маленьким? — спрашиваю я. Внешне вполне невинный вопрос. Но я задаю его, чтобы узнать, кто он.

— Каждый год. Пока мне не исполнилось п-пятнадцать. Тогда на неё прыгнула кошка. И шерсть на ней загорелась.

— И что ты сделал?

Только задав вопрос, я понимаю: мне казалось само собой разумеющимся, что он должен был что-то предпринять.

— Снял рубашку и накинул ее на кошку. И так потушил огонь.

Я представляю себе его без рубашки. В свете лампы. В свете рождественских свечей. В свете горящей кошки. Я прогоняю от себя эту мысль. Она снова возвращается. На некоторых мыслях есть клей.

— Спокойной ночи, — говорю я, поднимаясь. Он провожает меня к дверям.

— Мне н-наверняка сегодня будут сниться сны.

В этом замечании есть что-то лукавое. Я изучаю его лицо, чтобы увидеть какой-нибудь намек на то, что он смеется надо мной, но оно серьезно.

— Спасибо за сегодняшний вечер.

Одним из признаков сумятицы в вашей жизни, которую пора приводить в порядок, является тот факт, что ваша мебель постепенно начинает состоять из вещей, давным-давно одолженных вами на время. Теперь слишком поздно их возвращать, и вы лучше обреете себя наголо, чем предстанете перед их настоящим хозяином, перед этим пугалом.

На моем кассетном магнитофоне выбито “Геодезический институт”. В нем встроенные динамики, встроенное искажение на 70%, встроенная прочность, так что даже невозможно найти оправдание для покупки нового.

Передо мной на столе коробка из-под сигар, принадлежавшая Исайе. Я по очереди взвешиваю на ладони все предметы. Нахожу в энциклопедии Биркет-Смита “Эскимосы” раздел о наконечнике гарпуна. Это наконечник времен культуры Дорсет — 700-900 гг. нашей эры. В книге высказывается предположение, что найдено по меньшей мере 5000 таких наконечников. На побережье протяженностью 3 000 километров.

Я достаю кассету из коробочки. Это Макселл XLI-S. Дорогая пленка. Для тех, кто хочет записывать музыку.

На пленке нет музыки. На ней записан голос человека. Гренландца.

На острове Диско в 1981 году я принимала участие в исследовании влияния морского тумана на коррозию карабинов, которые используются для страховки при переходах по глетчеру. Мы просто-напросто развешивали их на веревочке, и возвращались через три месяца. Они по-прежнему выглядели надежно. Слегка поврежденными, но все же надежными. Завод указывал, что предельная нагрузка на них составляет 4 000 кг. Оказалось же, что мы можем раскрошить их на кусочки ногтем. Попав в чужой климат, они подверглись разрушению.

Такие же процессы разрушения происходят, когда теряешь свой язык.

Когда нас перевели из сельской школы в Кваанаак, у нас появились учителя, которые не могли ни слова сказать на эскимосском, и даже и не думали учить его. Они рассказали нам, что тем из нас, кто сможет стать лучше других, откроется дорога в Данию, возможность сдать экзамен и избавиться от арктической нищеты. Это золотое восхождение должно было осуществляться с

помощью датского языка. Это было в то время, когда закладывалась основа политики 60-х. Которая привела к тому, что Гренландия официально стала “самым северным датским амтом”, а inuit официально должны были называться “северными датчанами” и согласно высказыванию нашего общего премьер-министра должны были “быть подготовлены к восприятию тех самых прав, какими обладают все остальные датчане”.

Так закладывается основа. Потом приезжаешь в Данию, проходит полгода, и тебе кажется, что ты никогда не забудешь родной язык. Ведь на нем думаешь, вспоминаешь свое прошлое. Но однажды встречаешь на улице гренландца. Обмениваешься с ним несколькими фразами. И вдруг оказывается, что надо подбирать самые простые слова. Проходит еще полгода. Подруга приглашает тебя в “Дом Гренландцев” на Лёвстрэде. Там и обнаруживаешь, что твой собственный эскимосский можно раскрошить на кусочки ногтем.

Позже, возвращаясь, я пыталась снова его выучить. Как и во многом другом, тут я не то, чтобы очень преуспела, но и не потерпела поражение. Так примерно и обстоит дело с моим родным языком — как будто мне 16-17 лет.

К тому же в Гренландии не один язык. Их три. Человек на пленке Исайи говорит на восточно-эскимосском.

Его тон, как мне кажется, свидетельствует о том, что он с кем-то говорит. Но его не перебивают. Похоже, что он говорит в кухне или в столовой, потому что иногда раздаются звуки, похожие на стук ножей и вилок. Иногда слышен шум двигателя. Может быть, это генератор. Или шум записывающего устройства.

Он объясняет что-то важное для него. Его объяснение длинное, жаркое, обстоятельное, но случаются и долгие паузы. Во время пауз слышится шум — то ли музыка, то ли звук какого-то духового инструмента. Остатки старой записи, недостаточно хорошо стертой.

Я оставляю попытки понять, что говорят, и погружаюсь в раздумья. Говорящий не может быть отцом Исайи, тот говорил на другом диалекте.

Заканчивается фраза, и голос пропадает. Должно быть, использовалась кнопка паузы, потому что не слышно треска. Голос то появляется, то сменяется ровным шумом. А где-то на заднем плане отголоски далекой музыки.

Я оставляю магнитофон включенным и кладу ноги на стол.

Иногда я давала Исайе послушать музыку. Я ставила динамики к дивану, близко к его плохо слышащим ушам, и увеличивала громкость. Он откидывался назад и закрывал глаза. Часто он засыпал. Очень тихо он падал на бок, не просыпаясь. Тогда я поднимала его и несла вниз. Если там было очень шумно, я снова несла его наверх и укладывала на кровать. В то мгновение, когда я его укладывала, он всегда просыпался. И казалось, что в этом полусонном состоянии он, хриловато бормоча, пытался пропеть несколько так-тов того, что он слышал.

Я закрыла глаза. Ночь. Последние рождественские гости откатали уже свои полные подарков трейлеры домой. Теперь они, лежа в постели, с нетерпением ждут послезавтрашнего дня, когда они смогут пойти в магазин и обменять свои подарки или же получить за них деньги.

Пора выпить мятного чая. Пора посмотреть на город. Я поворачиваюсь к окну. Всегда остается надежда, что пока ты сидел, повернувшись к нему спиной, пошел снег.

В этот момент раздается смех.

Я вскакиваю на ноги, выставив вперед руки. Это не нежный девичий смех. Это фантом в опере. Я просто так не сдамся.

Слышатся четыре легких удара, и начинается музыка. Это джаз. На переднем плане звучит, постепенно заполняя все, звук большой трубы. Этот звук с пленки Исайи.

Я выключаю магнитофон. Мне требуется изрядное время, чтобы снова спуститься на землю. Впасть в состояние сильной паники можно за считанные секунды. Для того чтобы прийти в себя, требуется иногда целый вечер.

Я перематываю назад и снова проигрываю последнюю часть пленки. Снова использовалась кнопка паузы. Нет никакого предупреждения, вдруг смех. Глубокий, торжествующий, звучный. Потом удары, отсчитывающие ритм. Потом музыка. Это джаз и все-таки не джаз. В музыке есть что-то эйфорическое, несвязанное. Как будто это четыре инструмента помешались. Но это иллюзия. Потому что слышна и удивительная точность. Как в номере клоунов на манеже. То, что требует самой большой точности, должно быть похоже на полный хаос.

Номер продолжается, должно быть, минут семь. Потом пленка кончается, и звуки резко обрываются.

В музыке была энергия. Неожиданный подъем, после пережитого страха, в сочельник, в три часа ночи.

Я пела в церковном хоре в Кваанааке. Волхвов я представляла себе в снегоступах, едущими на собачьей упряжке по льду. С устремленным к звезде взором. Я знала, что они чувствуют внутри себя. Им было понятно абсолютное пространство. Они знали, что находятся на правильном пути. К энергетическому феномену. Вот чем был для меня младенец Иисус, когда я стояла, делая вид, что читаю ноты, которые на самом деле никогда не понимала, а просто все учила со слуха.

Так и сейчас, в “Белом Сечении”, когда прожито больше половины жизни. И наплевать, что самой так и не довелось родить ребенка. Я получаю наслаждение от моря и льда, не чувствуя себя постоянно обманутой Творцом. Новорожденный — это то, за чем следует идти, то, что следует искать — северное сияние, столб энергии во вселенной. А умерший ребенок — это жестокость.

Я встаю, спускаюсь вниз по лестнице и звоню в дверь.

Он выходит в пижаме. Нетвердо стоящий на ногах от сна.

— Петер, — говорю я. — Мне страшно. Но все-таки я пойду на это. Он улыбается, наполовину проснувшийся, наполовину сонный.

— Я так и думал, — говорит он. — Я так и думал.

2

— 30 — библейское число, — говорит Эльза Любинг. — Иуда получил 30 сребреников. Иисусу было 30 лет, когда он крестился. В новом году будет 30 лет, как в Криолитовом обществе был

введен машинный бухгалтерский учет.

Третий день Рождества. Мы сидим в тех же самых креслах. Тот же чайник стоит на столе, те же подставки под чашками. Тот же вызывающий головокружение вид из окна, тот же белый зимний свет. Можно подумать, что время стояло на месте. Как будто мы неподвижно просидели здесь всю прошлую неделю, а теперь кто-то нажал на кнопку, и мы продолжаем с того места, где прервались. Если бы только не одно обстоятельство. Похоже, что она приняла какое-то решение. В ней чувствуется некая определенность.

Ее глаза глубоко запали, и она бледнее, чем в прошлый раз, как будто путь к этому решению стоил ей бессонных ночей.

Или все это мне только кажется. Возможно, она так выглядит, потому что встречала Рождество постом, бдением и повторением молитв по 700 раз дважды в день.

— С одной стороны, эти 30 лет изменили все. С другой стороны, все осталось по-прежнему. Директором тогда — в 50-х и в начале 60-х — был тайный советник Эбель. У него и у его жены было по специально сконструированному роллс-ройсу. Иногда один из автомобилей стоял перед входом, за рулем ждал шофер в ливрее. Тогда мы понимали, что или он, или его жена посещают завод. Их самих мы никогда не видели. У нее был личный салон-вагон, стоявший в Гамбурге, несколько раз в году его прицепляли к поезду, и они отправлялись на Ривьеру. Текущие вопросы управления решались финансовым директором, начальником отдела сбыта и главным инженером Оттесеном. Оттесен был всегда в лаборатории или на карьере в Саккаке. Его мы никогда не видели. Начальник отдела сбыта всегда разъезжал. Иногда он появлялся, рассыпая вокруг себя улыбки, подарки и фривольные анекдоты. Я помню, что первый раз, вернувшись из Парижа, после войны, он привез с собой шелковые чулки.

Она смеется при мысли о том, что когда-то могла радоваться шелковым чулкам.

— Я обратила внимание на то, что вы тоже равнодушны к одежде. С годами это проходит. Последние 30 лет я носила только белое. Если ограничить земное, можно спокойно обратиться мыслями к духовному.

Я ничего не отвечаю, но это замечание заношу себе в память. Чтобы вспомнить его, когда я в следующий раз буду шить брюки у портного Твиллинга на Хайнесгаде. Он собирает такого рода перлы.

— Это был аппарат размером 165 см на 100 и на 120. Он работал при помощи двух рычагов. Один для континентальной десятичной монетной системы, другой для английских фунтов и пенсов. Необходимые сведения содержались в своего рода коде из отверстий в карточке, помещавшейся в машину. Таким образом, сведения становились менее доступными. Когда цифры загоняют на перфокарту и переводят в код, становится труднее понимать их. Это централизация. Так объяснил директор. Централизация всегда связана с определенными издержками.

В некотором смысле ориентироваться в современном мире стало легче. Всякое явление стало интернациональным. Гренландская Торговая Компания закрыла — это было частью процесса централизации — свое отделение на острове Макселл в 1979 году. Мой брат был там охотником в течение 10 лет. Королем острова, неприкосновенным, как самец-бабуин. Закрытие магазина заставило его перебраться в Упернавик. Когда я работала на метеорологической станции, он подметал набережные в гавани. Год спустя он повесился. Это было в тот год, когда процент самоубийств в Гренландии стал самым высоким в мире. Гренландское министерство писало в

«Atuagagdliutit», что, похоже, трудно будет совместить необходимую централизацию и охотничий промысел. Они не написали, что, наверняка, дальше будет еще больше самоубийств. Но это подразумевалось.

— Попробуйте печенье, — говорит она. — “Спекулас”, я его сама испекла. Я всю жизнь училась печь его так, чтобы оно отставало от формы, и при этом сохранялся рисунок.

Печенье плоское, темно-коричневое, с вдавленными снизу кусочками подгоревшего миндаля. Человек, проживший всю жизнь в одиночестве, может позволить себе оттачивать свое мастерство в самых неожиданных областях. Например, добиваться того, чтобы печенье отставало от формы.

— Я немного жульничаю, — говорит она. — Возьмите, к примеру, вот это. На форме — супружеская пара. На самом деле, очень трудно сделать так, чтобы получились глаза. Так всегда, когда печешь из очень сухого слоеного теста. Поэтому я беру спицу, когда печенье уже вынуто из духовки и лежит на столе. Получается не совсем такой рисунок, но очень похожий. Что-то похожее происходит и на предприятии. Там это называется “хорошая практика ведения бухгалтерского учета”. Это эластичное понятие для обозначения того, что могут одобрить ревизоры. Вы знаете, как распределяется ответственность в зарегистрированных на фондовой бирже предприятиях?

Я качаю головой. Масло и пряности в печенье находятся в такой пропорции, что можно съесть сотню, и только потом, когда уже слишком поздно, обнаружить, насколько тебе плохо.

— Дирекция, естественно, в финансовом отношении подотчетна правлению, и в конечном итоге общему собранию акционеров. Финансовый директор был “работающим председателем правления”. Это может быть очень рациональным распределением власти. Но оно требует полного доверия. Оттеснен был всегда на карьере. Начальник отдела сбыта всегда разъезжал. Я думаю, можно без всякого преувеличения сказать, что на протяжении многих лет финансовый директор принимал все серьезные решения в Обществе. Конечно же, не было никаких причин усомниться в его честности. Целиком и полностью достойный принимать решения человек. И юрист, и ревизор. Бывший раньше членом городского совета. От социал-демократов. Он занимал и до сих пор занимает несколько постов в разных правлениях. В жилищных кооперативах и сберегательных банках.

Она протягивает мне вазочку. Датчане выражают свои самые сильные чувства в связи с тем, что имеет отношение к еде. Я поняла это, когда вместе с Морицем впервые была в гостях. Когда я в третий раз взяла печенье, он пристально посмотрел на меня.

— Бери, пока не станет стыдно, — сказал он.

Я не очень уверенно чувствовала себя в датском, но смысл я поняла. Я взяла еще три раза. Не отрывая от него взгляда. Комнаты не существовало, тех, у кого мы были в гостях, не существовало, я не чувствовала вкуса печенья. Существовал только Мориц.

— Мне все еще не стыдно, — сказала я.

Я взяла еще три раза. Тогда он схватил блюдо и поставил его вне пределов моей досягаемости. Я победила. Первая из длинного ряда маленьких, важных побед над ним и над датским воспитанием.

Печенье Эльзы Любинг другого рода. Оно должно сделать меня одновременно и ее доверенным лицом, и ее сообщницей.

— Ревизоров выбирает собрание акционеров. Но ведь акции Общества — кроме принадлежащих финансовому директору и государству — находятся на руках у многих людей. Ими владеют все наследники тех восьми компаньонов, которые получили первые концессии в прошлом веке. Никогда не удавалось собрать их всех на общее собрание акционеров. Это означает, что директор имел исключительно большое влияние. Примечательно, что все решения по поводу самой важной в экономическом отношении части недр Гренландии принимал один единственный человек, не правда ли?

— Очень мило.

— Кроме того, есть в этом и деловой аспект. Общество было очень крупным клиентом. Ревизор, выступивший против директора, должен был быть готов к тому, чтобы потерять этого клиента. И, наконец, тот факт, что одни и те же люди играли в Обществе разные роли. Человек, который был ревизором общества в 60-е, стал позже коллегой директора, открыв адвокатскую контору. 7 января 1967 года я делала баланс финансового отчета за полгода. В нем была запись, которая не была разбита по позициям. На 115 000 крон. Тогда это была очень большая сумма. Может быть, человека непосвященного это бы не удивило. Правление наверняка бы этого не заметило. При общем обороте 50 миллионов. Но для меня, занимавшейся текущими счетами, это было неприемлемо. Поэтому я стала искать в картотеке соответствующую перфокарту. Ее не оказалось. Карточки были пронумерованы. Она должна была находиться там. Но ее не было. Поэтому я пошла в кабинет к директору. Я проработала под его руководством 20 лет. Он выслушал меня, посмотрел в свои бумаги и сказал: “Фрекен Любинг, эту статью я одобрил. По техническим бухгалтерским соображениям было очень трудно сделать ее спецификацию. Наш ревизор считает, что данная запись является хорошей практикой ведения бухгалтерского учета. Остальное же находится за пределами вашей компетенции”.

— И что вы сделали? — спрашиваю я.

— Я пошла назад и внесла цифры в отчет. Как мне сказали. Тем самым я сделал себя соучастницей. В чем-то, чего я не понимала, и так никогда и не поняла. Я плохо распорядилась талантами. Оказалась недостойной доверия.

Я понимаю ее. Дело не в том, что, скрыв от нее информацию, поставили под сомнение ее компетентность. И не в том, что ей грубо ответили. Дело в том, что поколебались ее идеалы порядочности.

— Я расскажу вам, в каком месте отчета встретилась эта сумма.

— Позвольте мне отгадать, — говорю я. — Она встретилась в отчете о геологической экспедиции общества на глетчер Баррен на Гела Альта у западного побережья Гренландии летом 1966 года.

Она смотрит на меня, прищурившись.

— В отчете за 91-й год была ссылка на более раннюю экспедицию, — объясняю я. — Просто-напросто.

— Тогда тоже случилось несчастье, — говорит она. — Авария с взрывчатыми веществами. Двое из восьми участников погибли.

Я начинаю понимать, почему она позвала меня. Она видит во мне своего рода ревизора. Человека, который, возможно, будет в состоянии помочь ей и Господу Богу проверить не

закрытый до конца финансовый отчет от 7 января 1967 года.

— О чем вы думаете? — спрашивает она.

Что мне ей ответить? Мои мысли находятся в хаосе.

— Я думаю, — говорю я, — что глетчер Баррен, судя по всему, нездоровое место для посещения.

Мы просидели какое-то время в молчании, попивая чай с печеньем и глядя в окно на лежащий у наших ног заснеженный и будничный мир.

Да еще к тому же с полоской солнечного света, пересекающей Сольсортевай и футбольное поле у школы Дуэвайен. Но я все время осознаю, что ей есть еще, что сказать.

— Тайный советник умер в 64-м году, — говорит она. — Все говорят, что вместе с ним умерла целая эпоха в датской финансовой жизни. В своем завещании он потребовал, чтобы его роллс-ройс был затоплен в Северной Атлантике. И чтобы при этом шведский актер Йёста Экман на палубе судна читал монолог Гамлета.

Я вижу перед собой эту сцену. И думаю о том, что эти похороны можно было бы считать символом политической смерти и возрождения. Со старой, неприкрашенной колониальной политикой в Гренландии было в этот момент покончено. Чтобы начать политику 60-х — подготовку северных датчан “к восприятию тех самых прав, какими обладают все остальные датчане”.

— Общество было реорганизовано. Для нас это означало появление нового начальника отдела и двух новых сотрудниц в бухгалтерии. Но наибольшие изменения коснулись научно-исследовательского отдела. Ведь запасы криолита истощались. Им все время приходилось разрабатывать новые методы добычи и сортировки, поскольку качество руды становилось все хуже и хуже. Но все мы знали, куда идет дело. Иногда, во время обеда в столовой, проносился слух о новом месторождении. Это было как внезапная лихорадка. Через несколько дней этот слух всегда опровергался. Раньше в лаборатории было только пять сотрудников. Теперь их стало больше. В какой-то момент их было двадцать. Раньше на временную работу набирали дополнительный штат геологов. Это часто бывали финны. Но теперь создали постоянную научно-исследовательскую группу. В 1967 создали Консультативную научно-исследовательскую комиссию. Это делало будничную работу более таинственной. Нам сообщали совсем немного. Но комиссия была создана для поиска новых месторождений. Она состояла из представителей некоторых крупных предприятий и организаций, с которыми сотрудничало общество. “Шведский концерн по добыче алмазов”, АО “Датские недра”, Геологический институт, “Гренландские Геологические Исследования”. Это затрудняло финансовый отчет. Делало его более сложным из-за множества новых гонораров, множества расходов на экспедиции. И все это время передо мной стоял невыясненный вопрос о тех 115 000 крон.

Я задумываюсь о том, каково же ей было, с таким преувеличенным чутьем на цифры и верой в порядочность, каждый день работать рядом с человеком, которого подозреваешь в том, что он скрыл нарушение.

Она сама отвечает на этот вопрос.

— Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Марка, глава 4, стих 22.

Уверенность в высшей справедливости давала ей терпение.

— В 1977 у нас появились компьютеры. Мне так и не удалось понять их. По моей просьбе отчеты по-прежнему велись от руки. В 92-м я вышла на пенсию. За три недели до моего последнего рабочего дня мы сверяли отчет. Финансовый директор предложил, чтобы я передала этот балансовый отчет заместителю начальника отдела. Я настояла на том, чтобы сделать его самой. 7 января — ровно через 25 лет после события, о котором шла речь — я сидела перед отчетом об экспедиции, состоявшейся предыдущим летом на Гела Альта. Это было как знак свыше. Я нашла старый отчет. Пункт за пунктом сравнила их. Конечно, это оказалось трудным делом. Экспедиция 91-го года финансировалась, как это теперь принято, через Научную комиссию. Однако мне удалось их сравнить. Самой большой статьей расхода в 91-м году была сумма в 450 000 крон. Я позвонила в Комиссию и попросила спецификацию.

Она останавливается, овладевая своим негодованием.

— Позже я получила письмо, в котором, если изложить коротко, было написано, что мне не следовало обращаться к ним с таким вопросом, минуя свое непосредственное начальство. Но тогда было уже поздно. Потому что в тот день, когда я позвонила им, мне дали ответ. Те 450 000 крон пошли на то, чтобы зафрахтовать судно.

Она видит, что я ничего не понимаю.

— Судно, — говорит она, — каботажное судно для перевозки восьми человек в Гренландию, чтобы забрать несколько килограммов проб драгоценных камней. Это абсурд. Несколько раз мы фрахтовали “Диско” Гренландской Торговой компании. Это требовалось для перевозки криолита. Но целое судно для маленькой экспедиции — это немыслимо. Вы помните свои сны, Фрекен Смилла?

— Иногда.

— За последнее время мне несколько раз снилось, что вы посланы Провидением.

— Вы бы послушали, что обо мне говорит полиция.

Как у многих стариков, у нее развился избирательный слух. Она игнорирует то, что я сказала, и продолжает свое.

— Может быть, вы думаете, что я стара. Вы, возможно, размышляете, уж не в маразме ли я. Но вспомните Деяния Апостолов. “Старцы ваши сновидениями вразумляемы будут”.

Ее взгляд проходит сквозь меня, сквозь стену. Он устремлен в прошлое.

— Мне кажется, что те 115 000 крон были израсходованы на то, чтобы зафрахтовать судно. Я думаю, что кто-то под прикрытием Криолитового общества организовал две экспедиции к Западному побережью.

Я затаила дыхание. Принимая во внимание искренность и нарушение многолетней лояльности, это деликатный момент.

— Можно представить себе только одно объяснение этому. Во всяком случае, я, проработав в компании 45 лет, не могу представить себе другого объяснения. В Данию хотели что-то перевезти, что-то настолько тяжелое, что потребовалось судно.

Я надеваю свою накидку. Черную, с капюшоном, делающую меня похожей на монахиню, накидку, которая, как мне казалось, подходит к случаю.

— Фонд Карлсберг финансировал часть экспедиции в 91-м году. В их отчетах фигурирует гонорар некой Бенедикте Глан, — говорю я.

Она отрешенно смотрит прямо перед собой, перелистывая внутри себя свои исчерпывающие, не содержащие ошибок бухгалтерские книги.

— Ив 66-м, — говорит она медленно. — 267 крон в оплату перевода. Это был также один из тех пунктов, которые мне не разъяснили. Но я ее помню. Она была знакомой директора. Жила когда-то в Германии. У меня сложилось впечатление, что они познакомились в Берлине в 1946 году. Сразу же после окончания войны союзники вели в Берлине переговоры о разделе алюминиевых месторождений. Несколько человек из общества там часто бывали в те годы.

— Кто, например?

— Оттесен там бывал. Начальник отдела сбыта. И тайный советник.

— Еще кто-нибудь?

Она в заторможенном состоянии после того, как столько проговорила и после того как излила свою душу в то место, которое может оказаться сточной канавой. Она напряженно думает.

— Я не помню других имен. Это важно?

Я не знаю. Ее руки сжимают мои плечи. Она вполне могла бы оторвать меня от земли.

— Смерть маленького мальчика. Что вы хотите предпринять? Дания — иерархическое общество. Она находит ошибку и жалуется своему начальнику. Ее не слушают. Она жалуется в правление. Ее не слушают. Но над правлением сидит Господь Бог. К нему она и обратилась с молитвой. Теперь она хочет, чтобы я оказалась одним из посланных им сотрудников.

— То судно. Оно вернулось с тем грузом, за которым отправилось? Она качает головой.

— Это трудно сказать. После аварии оставшиеся в живых вместе с оборудованием были перевезены на самолете в Готхоп, а оттуда в Данию. Это я точно знаю, потому что бухгалтерия оплачивала перевозку груза и авиабилеты.

Она провожает меня до самого лифта. Внезапно я чувствую прилив нежности к ней. Нечто вроде материнского чувства, хотя она в два раза старше меня и в три раза сильнее.

Приезжает лифт.

— Пусть вам не снятся дурные сны из-за вашей честности, — говорю я.

— Я стала слишком старой, чтобы жалеть о чем-нибудь.

И я еду вниз. Проходя через ворота, я кое-что вспоминаю. Когда я зову ее через посеребренную раковину, она отвечает так, как будто стояла и ждала этого звонка.

— Фрекен Любинг.

Никогда и в голову не могло бы прийти назвать ее по имени.

— Финансовый директор. Кто он?

— Он уходит на пенсию в следующем году. У него своя собственная адвокатская контора. Его зовут Дэвид Винг. Контора называется Хаммер и Винг. Она находится где-то на Эстергаде.

Я благодарю ее.

— Храни вас Господь, — говорит она.

Такого никогда никто мне раньше не говорил, иначе как в церкви. Может быть, я раньше так в этом и не нуждалась.

— У меня был п-приятель, который работал уборщиком на автоматической телефонной станции на Нёррегаде.

Мы сидим в гостиной механика.

— Он рассказывал, что они просто звонят и говорят, что у них есть судебное распоряжение. И тогда на реле вешают разъем, и, сидя в Полицейском управлении, можно через телефонную сеть прослушивать все звонки по определенному номеру и с него.

— Мне никогда не нравились телефоны.

У него в руках большой рулон широкой изоляционной ленты, на столе лежат маленькие ножницы. Он отрезает длинную полоску и прочно приклеивает ею телефонную трубку.

— У себя наверху сделай то же самое. С этого момента каждый раз, когда ты кому-нибудь звонишь, и каждый раз, когда кто-нибудь звонит тебе, ты должна будешь с-начала снять ленту. Это будет напоминать тебе, что где-то на линии у тебя могут быть слушатели. Про телефоны всегда забываешь, что они могут быть и не личными. Лента будет напоминать тебе о том, что надо быть осторожной. Если ты, например, захочешь объясниться кому-нибудь в любви.

Если я и захочу кому-нибудь объясниться в любви, я уж во всяком случае не буду делать это по телефону. Но я ничего не говорю.

Я ничего о нем не знаю. За последние десять дней я увидела маленькие частички его прошлого. Они не соответствуют друг другу. Вот и сейчас, например, его осведомленность о том, как происходит прослушивание телефонов.

Чай, который он нам делает, это еще одна такая приводящая меня в удивление частичка, но я не хочу о ней спрашивать.

Он кипятит молоко со свежим имбирем, четвертью палочки ванили и чаем настолько темным и состоящим из таких мелких листьев, что он похож на черную пыль. Он процеживает его через ситечко и кладет нам обоим в чай тростниковый сахар. В чае есть что-то эйфорически возбуждающее и одновременно насыщающее. У него такой вкус, какой, по моим представлениям, должен быть у Востока.

Я рассказываю ему о моем посещении Эльзы Любинг. Он знает теперь все, что знаю я. За исключением некоторых деталей, таких как, например, коробка из-под сигар Исайи и ее содержимое, где среди прочего есть пленка, на которой смеется человек.

— Кто, кроме Карлсберга, финансировал экспедицию в 91 — м году? Она это знает? Кто вел переговоры о судне?

Мне досадно, что я не спросила именно об этом. Я тянусь за телефонной трубкой. Она крепко приклеена.

— В-вот поэтому и нужна лента, — говорит он. — С телефоном всегда так — пройдет пять минут — и ты уже забыл об этом.

Мы вместе идем в телефонную будку на площади. Его шаги в полтора раза больше моих. И все-таки идти рядом с ним совсем нетрудно. Он идет точь-в-точь так же медленно, как и я.

Когда моя мать не вернулась домой, я впервые задумалась над тем, что любое мгновение может стать последним. Нельзя, чтобы ты шел просто ради того, чтобы переместиться из одного места в другое. Во время каждой прогулки надо идти так, словно это последнее, что у тебя осталось.

Такое требование можно выдвинуть самому себе в качестве недостижимого идеала. Потом надо напоминать о нем каждый раз, когда в чем-нибудь халтуришь. У меня это случается по двести пятьдесят раз на день.

Она сразу же берет трубку. Меня удивляет то, какая уверенность звучит в её голосе.

— Да?

Я не представляюсь.

— Те четыреста пятьдесят тысяч. Кто их заплатил?

Она ни о чем не спрашивает. Может быть, ей также открылось, что телефонная сеть может быть населена людьми. Она молчит, погрузившись на минуту в размышления.

— “Геоинформ”, — говорит она, подумав. — Так называлась компания. У них было два представителя в Научной комиссии. Они владеют пакетом акций. Пять процентов, если я не ошибаюсь. Достаточно, чтобы быть зарегистрированными в Комитете по регистрации промышленных предприятий и компаний. Владелец компании — женщина.

Механик вошел вслед за мной в телефонную будку. Это рождает у меня три мысли. Первая — что он заполняет собой все пространство. Как будто, если он распрямится, он мог бы выдавить дно и двинуться вместе со мной и телефонной будкой.

Вторая — что его руки, прижатые к стеклу передо мной, гладкие и чистые. Привыкшие к работе, но гладкие и чистые. Время от времени он работает в мастерской у площади Тофтегор. Как, задаюсь я вопросом, можно весь день возиться со смазками и гаечными ключами, и при этом иметь такие гладкие пальцы?

И третья мысль — мне хватает честности признать, что стоять вот так рядом с ним довольно приятно. Я вынуждена сделать над собой усилие, чтобы не продлить разговор только по этой причине.

— Я подумала об одной вещи, о которой вы спрашивали. О Берлине после войны. Был еще один сотрудник. Тогда он не работал у нас. Он стал работать позже. Не на карьере, а здесь, в Копенгагене. В роли медицинского консультанта. Доктор Лойен. Йоханнес Лойен. Он делал

какую-то работу для американцев. Мне кажется, он был судебно-медицинским экспертом.

— Как становятся профессором, Смила?

На листке бумаги мы написали список имен. Адвокат Верховного суда и имеющий государственную лицензию ревизор Дэвид Винг. Человек, который кое-что понимает в кораблях. Может, например, покрывать расходы на их фрахт. И посылать их в подарок на Рождество гренландским детишкам.

Бенедикта Глан. Ее имя механик нашел в телефонной книге. Если это, конечно, она. Оказывается, она живет в 200 метрах от того места, где мы сидим. В одном из перестроенных пакгаузов на Странгаде. В которых находятся самые дорогие датские частные квартиры. Три миллиона за 84 квадратных метра. Но зато там есть кирпичные стены в полтора метра толщиной, чтобы биться о них головой, когда рассчитаешь цену одного квадратного метра. И балки из померанской сосны, чтобы повеситься, если битье головой о стену не поможет. Напротив ее имени он записал номер телефона.

И есть два профессора. Йоханнес Лойен и Андреас Файн Лихт. Два человека, о которых мы не так уж много знаем. Только то, что их имена связаны с обеими экспедициями на Гела Альта. Двумя экспедициями, о которых мы, собственно говоря, тоже ничего не знаем.

— Мой отец, — говорю я, — когда-то был профессором. Теперь, когда он уже больше не профессор, он говорит, что чаще всего профессорами становятся люди талантливые, но при этом в меру талантливые.

— А что происходит с теми, кто чрезмерно талантлив?

Я ненавижу цитировать Морица. Что делать с людьми, слова которых не хочешь повторять, но которые, тем не менее, своими высказываниями попадают в самую точку.

— Он говорит, что они либо возносятся к звездам, либо идут на дно.

— Что произошло с твоим отцом — первое или второе? Я задумываюсь, прежде чем ответить.

— Он, скорее всего, раскололся на две половинки, — говорю я.

Мы в молчании слушаем звуки города. Машины, переезжающие через мост. Звук пневматического инструмента в одном из сухих доков Хольмена, где идут ночные работы. Колокольный звон церкви Христа Спасителя. Говорят, что туда пускают играть кого угодно. Если судить по тому, что звучит, то так оно и есть. Иногда это напоминает Горовица. Иногда — как будто взяли первого попавшегося пьяницу из кафе “Хёулен”.

— Комитет по регистрации промышленных предприятий и компаний, — говорю я. — Любинг сказала, что если хочешь узнать о том, кто контролирует компанию или кто сидит в правлении, то можно обратиться в Комитет по регистрации промышленных предприятий и компаний. У них должны быть финансовые отчеты всех зарегистрированных на бирже датских компаний.

— Это находится на Кампмансгаде.

— Откуда ты это знаешь? — спрашиваю я. Он смотрит в окно.

— Когда я учился в школе, я не отвлекался на уроках.

Бывают дни, когда по утрам пробиваешься на поверхность, словно сквозь толщу грязи. Как будто к ногам привязан якорь. Когда знаешь, что ночью ты испустил дух. И радоваться нечему, кроме того, что умер ты своей смертью, так что они не смогут трансплантировать твои мертвые органы.

Такими бывают каждые шесть из семи дней.

Седьмое утро сегодня. Я просыпаюсь с ощущением кристальной ясности. Поднимаюсь с постели так, будто мне есть ради чего вставать.

Я делаю те четыре йоговских упражнения, которые успела выучить до того, как получила из библиотеки сорок седьмое напоминание о необходимости вернуть книгу, и мне прислали посыльного, и пришлось заплатить настолько большой штраф, что с таким же успехом можно было бы купить книгу.

Я принимаю ледяной душ. Надеваю лосины, большой свитер, серые сапоги и меховую шляпу от Джейн Эберлайн. Она сшита в стиле, напоминающем гренландский.

Я имею обыкновение говорить себе, что свою культурную принадлежность я утратила навсегда. И когда я повторю это себе достаточно много раз, я вдруг просыпаюсь как сейчас утром с четким осознанием себя самой. Смила Ясперсен — изнеженная гренландка.

Семь часов утра. Я направляюсь к гавани и выхожу на лед.

Лед в копенгагенской гавани — не то место, куда можно порекомендовать родителям отправлять играть маленьких детей, пусть и в такой сильный мороз, как сегодня. Даже я должна быть здесь осторожна.

Пройдя метров сорок, я останавливаюсь. Здесь поверхность льда становится немного темнее. Еще один шаг — и я провалюсь. Я стою, покачиваясь на носках. Морской лед пористый и эластичный, вода проникает через него, образуя вокруг моих сапог две зеркальные поверхности, отражающие рассеянные в темноте огни.

На причале стоит человек. Черный силуэт на фоне белых стен домов. Страх нарастает во мне вибрирующим звуком. Смертельная опасность, подстерегающая тюленя, лежащего на льду. Такой ранимый, такой заметный, такой неуклюжий. Но тут звук стихает. Это механик, сгорбленный, прямоугольный, как огромный валун. Я не видела его два дня. Может быть, даже избегала его.

Так привыкаешь видеть город под определенными углами зрения, что отсюда он кажется незнакомой, никогда прежде невиданной столицей. Как Венеция. Или Атлантида. Город, окутанный снегом и ночью, мог бы быть построен из мрамора. Я возвращаюсь к причалу.

Он мог бы быть другим. Я могла бы быть другой. Мы могли бы быть молодыми влюбленными. А не заикой, страдающим дисграфией, и озлобленной мегерой, которые рассказывают друг другу полуправду, следуя вместе по сомнительному пути.

Когда я оказываюсь перед ним, он берет меня за плечи.

— Это очень опасно!

Если бы я не знала, что это невозможно, я могла бы поклясться, что в его голосе слышны почти умоляющие нотки. Я отстраняю его от себя.

— У меня хорошие отношения со льдом.

Когда мы распустили Совет Молодых Гренландцев, чтобы создать IA, и должны были определить свою линию по отношению к социал-демократам в партии SIUMUT и реакционному гренландскому высшему классу в ATASSUT, мы читали “Капитал” Карла Маркса. Эту книгу я очень любила. За ее трепетное, женское сочувствие и ее страстное негодование. Я не знаю другой книги, в которой бы выражалась такая сильная вера в то, что можно добиться очень многого, если только есть стремление к переменам.

К сожалению, сама я не настолько уверена в себе. Мне многое было дано, и я ко многому стремилась. Но в конечном итоге у меня не так уж много осталось, и я не очень хорошо знаю, чего хочу. Я получила основы образования. Я путешествовала. Иногда мне кажется, что я делала то, что хотела. И, однако, меня вели. Какая-то невидимая рука держала меня за загривок, и всякий раз, когда я думала, что вот сейчас сделаю решительный шаг навстречу свету, она заталкивала меня глубоко в сеть канализационных труб, проходящих под ландшафтом, который мне так никогда и не довелось увидеть. Как будто мне суждено было проглотить определенное количество кубометров сточных вод, прежде чем мне предоставят дыхательное отверстие.

Обычно я плыву против течения. Но иногда, по утрам, как, например, сегодня, у меня есть излишек сил, чтобы сдаться. Сейчас, шагая рядом с механиком, я странно, необъяснимо счастлива.

Мне приходит в голову мысль, что мы могли бы позавтракать вместе. Не знаю уж, когда я завтракала в последний раз с другим человеком. Так я сама для себя решила. Я чувствительна по утрам. Я хочу, чтобы было время умыться холодной водой, подвести глаза и выпить стакан сока, до того, как мне придется общаться с людьми. Но в это утро все произошло само собой. Мы встретились, а теперь идем бок о бок. Я уже собираюсь предложить это.

И тут я воспаряю.

Он поднял меня и прижал к лесам. Я думаю, что это шутка, и собираюсь что-то сказать. Но тут я вижу то, что заметил он, и ничего не говорю.

В подъезде темно на всех этажах. Но одна дверь приоткрывается. Она выпускает полоску желтого света в темноту. И две фигуры. Юлиану и какого-то мужчину. Он говорит ей что-то. Она пошатывается. То, что он говорит, падает как удары. Она опускается на колени. Потом дверь закрывается. Человек уходит по наружной лестнице.

Друзья Юлианы не уходят в семь часов утра. И до дома они еще не добрались к этому времени. А если они и уходят, то не с проворной легкостью, как этот человек. Тогда они ползут к лифту.

Мы стоим, скрытые лесами. Ему нас не видно. На нем длинное пальто из ткани “бэрберри” и шляпа.

У фасада здания, выходящего на Кристиансхаун, механик сжимает мой локоть, и я продолжаю идти одна. Шляпа передо мной залезает в машину. Когда он отъезжает от тротуара, рядом со мной останавливается маленький “моррис”. Сидения холодные и такие низкие, что мне надо вытягиваться, чтобы смотреть в переднее стекло. Оно заледенело, так что мы видим только украшение на капоте, да красные габаритные огни перед нами.

Мы переезжаем через мост. Поворачиваем направо перед церковью Хольмен, проезжаем мимо Национального Банка, через Конгенс Нюторв. Может быть, есть и другие машины, может быть, мы одни на дороге. Через окна этого не видно.

Он ставит машину у сквера Кринсен. Мы проезжаем мимо и останавливаемся напротив французского посольства. Он не оглядывается.

Он проходит мимо гостиницы “Англетер”, и поворачивает на Стройет. Мы следуем за ним на расстоянии 25 метров. Вокруг нас теперь люди. Он подходит к воротам, открывает дверь ключом и входит.

Если бы я была одна, я бы сейчас остановилась. Мне не надо подходить к воротам, чтобы сказать, что написано на вывеске. Я знаю, кто тот человек, за которым мы шли, я знаю это с такой уверенностью, как если бы он показал мне свою лицензию. Если бы я была одна, я бы пошла домой, погрузившись в свои размышления.

Но сегодня нас двое. Впервые за долгое время нас двое.

Только что он стоял рядом со мной, но в следующую секунду он уже оказался у ворот и засунул руку в щель, пока дверь не успела закрыться.

Я иду за ним. Когда играешь в мяч или в другую игру, случается иногда мгновение такого вот спонтанного, взаимного понимания без слов. Мы попадаем в проход под аркой с белым и золотисто-бронзовым сводчатым потолком, мраморными панелями, мягким, желтым светом и стеклянной дверью с медной ручкой. Проход ведет во внутренний садик, где растут вечнозеленые кустарники, маленькие японские деревца-гинкго и находится фонтан. Все это покрыто двухнедельным снегом, который один раз подтаивал, так что на поверхности его образовалась тоненькая смерзшаяся корочка. Откуда-то сверху, словно пыль, проникает первый дневной свет. В подъезде лежит электрический провод. Он тянется за угол. Оттуда доносится звук пылесоса. Перед нами стоит тележка уборщицы. На ней два ведра, швабра, щетка для пола и несколько валиков для отжимания тряпок. Механик хватается тележку.

Перед нами ступеньки. Мягкие ступеньки, приглушающие шаги голубой дорожкой, которая по всей ширине лестницы крепится медными скобками. Мы чувствуем приятный запах. Запах, который мне знаком, но я не могу определить, что это.

Мы на третьем этаже в тот момент, когда за ним захлопывается дверь. Механик двигается, зажав тележку под мышкой, так, как будто у него в руках ничего нет.

На стенах и на дверях здесь повторяется та же позолота с кремовыми вкраплениями, что и в воротах. Повсюду висят медные таблички с выгравированными именами. Табличка, перед которой мы останавливаемся, прикреплена над щелью для писем, которая размером вдвое больше обычного. Чтобы могли пролезть даже самые большие чеки. “Адвокатская контора”, — написано на ней. Конечно же. “Адвокатская контора Хаммер и Винг”. Дверь не заперта, и мы заходим. Мы и тележка.

Мы оказываемся в просторной прихожей. Открытая дверь ведет в анфиладу кабинетов, которые находятся один за другим, как приемные в Амалиенборге на фотографиях. Да и фотографии королевы и принца здесь тоже есть, и зеркальные паркетные полы, и картины в золоченых рамах, и самая изысканная офисная мебель, какую я когда-либо видела. И здесь тот же запах, что и на лестнице, и теперь я его опознаю. Это запах денег.

Здесь нет ни души. Я беру тряпку, отжимаю ее, а механик берет большую швабру.

В конце анфилады находится закрытая двойная дверь. В нее я и стучу. У него, должно быть, есть панель управления, потому что, когда дверь открывается, он сидит в противоположном конце комнаты, в кабинете, окна которого выходят во двор.

Он сидит за письменным столом из темного красного дерева, стоящим на четырех львиных лапах, который выглядит так, что нельзя не задуматься, как же его сюда втащили. На стене позади него висят три безрадостные картины в тяжелых рамах с изображением Мраморного моста.

Трудно определить его возраст. От Эльзы Любинг я знаю, что ему должно быть за семьдесят. Но он кажется здоровым и спортивным. Как будто он каждое утро идет босиком по своему участку пляжа, спускается к морю, где продельывает отверстие во льду и принимает освежающую ванну, а затем бежит назад и съедает маленькую мисочку гладиаторских мюсли с обезжиренным молоком.

Это помогло ему сохранить кожу гладкой и румяной. Но это не способствовало росту волос. Голова его гладкая, как яйцо.

На нем очки в золоченой оправе, и они так сильно блестят, что никак не удастся разглядеть его глаза.

— Доброе утро, — говорю я. — Это контроль качества. Мы проверяем утреннюю уборку помещений.

Он ничего не отвечает, просто смотрит на нас. Явственно, будто он говорит сейчас, я помню его голос — сухой и корректный — по одному телефонному разговору когда-то давным-давно.

Механик удаляется в угол и начинает подметать. Я выбираю тот подоконник, который ближе всего к письменному столу.

Он смотрит в свои бумаги. Я вытираю подоконник тряпкой. Она оставляет полосатый след грязной воды.

Скоро он начнет удивляться.

— Да, приятно, когда сделана по-настоящему хорошая уборка, — говорю я.

Он делает недовольную гримасу, теперь уже слегка раздраженный. Рядом с подоконником висит картина с изображением парусного судна.

Я снимаю ее со стены и тряпкой стираю пыль с обратной стороны.

— Какая прекрасная картинка, — говорю я. — Я, видите ли, сама интересуюсь кораблями. Когда я возвращаюсь домой после долгого рабочего дня, проведенного среди резиновых перчаток и дезинфектантов, я вытягиваю ноги и листаю хорошую книгу о кораблях.

Теперь он размышляет, в своем ли я уме.

— У всех нас есть свои любимцы. Мне больше всего нравятся корабли, которые плавали в Гренландию. А тут, случай — вижу ваше имя на красивой дощечке у дверей и говорю себе: Бог ты мой, Смила, — говорю я — Винг! Этот милый господин однажды подарил одному из твоих

друзей на Рождество модель кораблика. Прекрасного корабля “Йоханнес Томсен”. Маленькому гренландскому мальчику.

Я вешаю картину на место. Вода ей не пошла на пользу. За любую уборку надо платить. Я вспоминаю Юлиану на коленях перед ним, в дверном проеме.

— О чем мне тоже никогда не надоедает читать — так это о судах, зафрахтованных для гренландских экспедиций.

Теперь он сидит совершенно тихо. Лишь отражения в стеклах очков слабо играют.

— Взять, например, те два судна, которые были зафрахтованы в 66-м и 91 — м годах. Для экспедиций на Гела Альта.

Я подхожу к тележке и выжимаю тряпку.

— Я думаю, что теперь вы будете довольны, — говорю я. — Нам надо идти. Работа зовет.

Когда мы выходим, нам через длинный ряд комнат виден его кабинет. Он неподвижно сидит за письменным столом.

Внизу лестницы стоит дама средних лет в белом халате. Она стоит, с печальным видом похлопывая свой пылесос, как будто она разговаривала с ним о том, как же им двоим прожить в этом огромном мире без тележки с ведрами.

Механик ставит тележку перед ней. Он не в особенном восторге оттого, что ему пришлось взять чужой инструмент. Ему хочется сказать несколько слов. Как ремесленник ремесленнику. Но ему не удастся ничего придумать.

— Мы из компании, — говорю я. — Проверяли вашу работу. Мы очень, очень довольны.

Я нахожу в кармане одну из новых, хрустящих стокроновых купюр Морица и пристраиваю ее на краю ведра.

— Примите, пожалуйста, это дополнительное вознаграждение. В такое прекрасное утро. Чтобы купить булочку к кофе.

Она меланхолично смотрит на меня.

— Это я директор, — говорит она. — Здесь работаю только я и четверо сотрудников.

Мы некоторое время стоим и смотрим друг на друга.

— Ну и что, — говорю я. — Ведь даже директор пьет кофе с булочками.

Мы садимся в машину и какое-то время сидим, глядя на Конгенс Нюторв. Уже слишком поздно, чтобы завтракать вместе. Мы договариваемся встретиться позже. Теперь, когда напряжение спало, мы говорим друг с другом, как чужие. Когда я выхожу из машины, он опускает стекло.

— Смила. Надо ли было это делать?

— Это было спонтанно, — говорю я. — И к тому же: ты когда-нибудь охотился?

— Немного.

— Когда охотишься на пугливых животных, на оленей, например, иногда специально даешь им себя увидеть. Встаешь и машешь стволом ружья. У всех живых существ страх и любопытство соседствуют. Животное подходит ближе. Оно знает, что это опасно. Но оно должно подойти и посмотреть, что это там так движется.

— И что же ты делала, когда оно подходило совсем близко?

— Ничего, — признаюсь я. — Я никогда не могла заставить себя выстрелить. Но вдруг повезет и рядом окажется кто-нибудь, кто знает, что надо делать.

Я иду пешком по Книппельсбро. Восемь часов, день едва начался. У меня возникает ощущение, что я сделала очень большое дело, например, разнесла по квартирам множество газет.

Меня ждет письмо. Продолговатый конверт из плотной бумаги, сделанной вручную. Оно от моего отца. Двухслойный конверт, изготовленный "Объединенной бумажной компанией" с его тисненными инициалами. Его почерк выглядит так, как будто он ходил на курсы, чтобы проявить себя в области каллиграфии. Да он и на самом деле ходил на курсы. Это было, пока я жила с ним. После двух вечеров на курсах, он забыл свой старый почерк. Но еще не выучил новый. В течение трех месяцев он писал, как ребенок. Я вынуждена была подделывать его подпись на тех счетах, которые он рассылал. Он боялся, что у пациентов случится рецидив болезни, когда они увидят неровную подпись великого врача.

С тех пор его почерк стал более контролируемым. Мир им восхищается. Мне же он кажется высокомерным.

Но письмо вполне любезно. Оно состоит из одной строчки на листке бумаги с водяными знаками, которая, как мне известно, стоит пять крон за лист. И еще в конверте пачка фотокопий газетных вырезок, соединенных скрепкой.

"Дорогая Смилла", — написано в письме. "Вот то, что есть в архиве "Берлинские Тидне" о Лойене и Гренландии".

И еще листок.

"Полный список его научных публикаций", — написано почерком Морица. Список напечатан.

Внизу написано, что сведения взяты из чего-то, что называется Index Medicus, и получены через базу данных в Стокгольме. Есть статьи на четырех иностранных языках, один из которых русский. Большая часть — на английском. В половине случаев мне непонятны даже названия. Но Мориц написал на полях краткие объяснения. Есть статьи об увечьях при авариях. О токсикологии. Статья, написанная в соавторстве, о нарушении усвоения витамина В-12 в желудке, как осложнении после огнестрельного ранения. Это статьи 40-х и 50-х годов. С 60-х начинаются статьи об арктической медицине. Трихиноз, обморожения.

Книга об эпидемиях гриппа в районе Баренцева моря. Целый ряд коротких статей о паразитах. Несколько об использовании рентгена. Он работал во многих областях.

Похоже, что он несколько раз занимался историческими исследованиями. Есть статья об исследовании найденных в датских болотах останков людей каменного века. И три названия, которые я помечаю крестиком. В них речь идет о рентгеновских исследованиях мумий. Одно исследование проводилось в Берлине в 70-е годы в музее Пергамон, мумий из гробницы

Тутанхамона. Вторая статья о бальзамировании в Малайзии и Таиланде в добуддистскую эпоху, она опубликована музеем в Сингапуре. Третья посвящена гренландским мумиям Квилакитсок.

Внизу на листке я пишу “С благодарностью. Смилла”, кладу его в конверт, на котором пишу адрес отца. Потом я просматриваю вырезки.

Их 18, и они лежат в хронологическом порядке. Я начинаю сверху. Это октябрьская статья, сообщающая о том, что подготовка к созданию гренландской судебно-медицинской инстанции уже почти закончена под руководством профессора, доктора медицины Йоханнеса Лойена. Следующая статья старше на год. Это фотография с короткой подписью. “Совет по этике на конференции в Готхопе”. Все одеты в камики и меховые шапки. Лойен — второй слева. Он возвышается так, что оказывается одного роста с теми, кто стоит за ним несколькими ступеньками выше. Следующая вырезка относится к его семидесятилетию годом раньше. В заметке написано, что в виде исключения был продлен срок его пребывания в должности в связи с работой по созданию гренландского государственного центра аутопсии. Так статьи и идут — обратно во времени. “Поздравляем профессора Лойена с 60-летием”, “Профессор Лойен читает лекцию в только что открывшемся Гренландском университете”, “Представители Управления Здравоохранения в Гренландии, слева главный врач Копенгагена, рядом заведующий отделением, директор недавно созданного Института Арктической медицины”. И так далее назад через 70-е и 60-е. Экспедиции 91-го и 66-го не упоминаются.

Предпоследняя вырезка относится к 1949 году. Это маленький образец газетной проституции. Восторженное описание новых вагонеток Криолитового общества “Дания”, которые облегчили доставку руды из глубины шахты на поверхность. Сердечная благодарность директору и тайному советнику Эбелю и его супруге, которые видны на переднем плане. За ними стоят главный инженер, доктор технических наук Вильгельм Оттесен и медицинский консультант компании, доктор Йоханнес Лойен. Фотография сделана у шахты в Саккаке, в ту минуту, когда новая машина подняла первый груз на поверхность.

После этой фотографии десятилетний перерыв. Последняя вырезка относится к маю 1939-го.

Это фотография и подпись к ней. Фотография сделана в порту. На заднем плане темное судно. Перед ним стоит десяток людей. Мужчины в светлых костюмах, дамы в длинных юбках и легких накидках. Общий вид производит впечатление инсценировки. Подпись совсем короткая. “Отважная и полная энтузиазма компания со студии “Фрейя Фильм” при отъезде в Гренландию”. После этого идет список отважной и полной энтузиазма компании. Она состоит из актеров и режиссера. И врача киносъемочной группы и его ассистента. Врача зовут Роусинг. Ассистент не назван. В консервативной прессе в 30-е годы у ассистентов не было имен. Но его дальнейшая судьба и сохранила эту фотографию в архиве, и заставила кого-то приписать его имя шариковой ручкой. Он выделяется на фотографии. Выше всех остальных. И, несмотря на его молодость, его подчиненное положение, на то, что он стоит позади людей, кокетничающих перед камерой, в нем уже тогда сквозит его высокомерие. Это Лойен. Я складываю вырезку.

После завтрака я надеваю длинное замшевое пальто и меховую шапку от Джейн Эберлайн. В пальто глубокие внутренние карманы. В них я кладу последнюю сложенную вырезку, пачку денег, кассету Исаяи и письмо отцу. Затем я выхожу из дома. День начался.

В магазине “Пронтапринт” на Торвегаде я делаю копию кассеты. Я заглядываю также в их телефонную книгу. Институт ксисмологии находится на Фиольстрэде. Я звоню туда из

телефонной будки на площади. Меня соединяют с преподавателем, речь которого свидетельствует о его гренландском происхождении. Я объясняю, что у меня есть запись, на восточно-эскимосском, которую мне не разобрать. Он спрашивает, почему бы мне не обратиться в “Дом Гренландцев”.

— Мне нужен эксперт. Речь идет не просто о том, чтобы понять, что говорить. Я хочу попробовать идентифицировать того, кто говорит. Я ищу человека, который мог бы послушать пленку и сказать, что у говорящего огненно-рыжие волосы и что в пятилетнем возрасте, когда он сидел на горшке, его шлепали, а его гласные свидетельствуют о том, что это происходило в Акунааке в 1947 году.

Он начинает пофыркивать от смеха.

— У вас есть деньги, фру?

— Деньги? А у вас? И это не фру. А фрекен.

— Свайербрюгген. Это в Южной гавани. Место стоянки 126. Спросите смотрителя.

Он все еще фыркает, опуская трубку.

Я еду на поезде до станции Энгхаве. Оттуда я пойду пешком. Я посмотрела карту Крака в библиотеке на Торвегаде. В моем сознании запечатлелся лабиринт извилистых улочек.

На станции холодно. На противоположном перроне стоит человек. Он с тоской высматривает поезд, который должен увезти его отсюда в центр города, к другим людям. Он последний человек, встретившийся на моем пути.

Центр города сейчас представляет собой муравейник. Люди в этот момент заполняют универмаги. Они готовят театральные премьеры. Они стоят в очереди перед винным погребком Вида.

Южная Гавань — это город призраков. Над ним нависло серое небо. Воздух пахнет дымом от сжигаемого угля и химическими веществами.

Тот, кто боится, что машины скоро захватят власть, должен воздержаться от прогулок по Южной Гавани. Здесь не убран снег. Тротуары непроходимы. По узкому, покрытому грязью железнодорожному полотну время от времени проносятся сверхъестественно огромные товарные поезда с большими окнами без единого признака жизни. Над мыловаренным заводом висит облако зеленого дыма. Кафетерий рекламирует жареную картошку с колбасой. За стеклами на одиноких обжарочных аппаратах в покинутой кухне светятся красные и желтые контрольные лампочки. Над занесенной снегом грудой угля взад и вперед по рельсам без всякой цели движется неугомонный кран. Из щелей в закрытых воротах гаражей проникает голубоватый тусклый свет и доносится треск электрической сварки и позвякивание незаконно зарабатываемых денег, но не слышно голосов людей.

Потом дорога выходит к художественной открытке. Большая акватория порта, окруженная низкими, желтыми пакгаузами. Вода замерзла, и пока я прихожу в себя, созерцая этот вид, появляется солнце, низкое, светло-желтое, неожиданное, и освещает лед, словно подземная электрическая лампочка за матовым стеклом. У причала стоят маленькие рыболовецкие суда, корпуса которых такого же голубого цвета, как в том месте, где море встречается с горизонтом. На краю портового бассейна, в самой гавани, стоит большой трехмачтовый парусник. Набережная эта и есть Свайербрюгген.

На стоянке 126 — парусное судно. По пути туда мне никто не встречается. Звуки всех механизмов позади меня пропали. Повсюду тишина.

На причале стоит столб с белым почтовым ящиком. Над ним прикреплена большая вывеска, еще закрытая белым полиэтиленом.

На корме золотыми буквами написано название судна — “Северное сияние”. На носу судна фигура, изображающая человека с факелом, длина черного сверкающего корпуса судна, по меньшей мере, 30 метров, мачты устремляются в небо, создавая впечатление, что стоишь перед церковью, пахнет смолой и опилками. Кто-то недавно потратил целое состояние, чтобы привести его в порядок.

Я поднимаюсь на борт по трапу с толстой дорожкой из кокосового волокна и перилами, украшенными полированными бронзовыми шишками. Вся палуба заставлена большими, закрытыми деревянными ящиками с надписью “осторожно” и грудями досок и банок с краской. Весь такелаж аккуратно свернут, все дерево сверкает глубоким, темно-коричневым блеском, возникающим после покрытия несколькими слоями дорогого корабельного лака. Белая эмаль сверкает, как стекло. Воздух вибрирует от запаха чистящих средств, двухкомпонентного эпоксидного клея и шпаклевки. Если не обращать внимания на эту вибрацию, то судно кажется вымершим.

Узкая тропинка между коробками ведет к лакированной двойной двери, которая не заперта. За ней в темноту спускается лестница.

Внизу у лестницы стоит человек. Он облокотился на копьё, он неподвижен. Даже когда я подхожу к нему вплотную.

В помещении, должно быть, есть несколько верхних окошек, которые еще прикрыты. Но по краям просачиваются узкие полосы белого света.

Достаточно для того, чтобы увидеть, что это зал. Все переборки снесены, и получилось помещение длиной примерно 25 метров и шириной во все судно.

Теперь достаточно светло, и я могу разглядеть, что стоящий передо мной человек — эскимос. Облокотился он на длинный гарпун. В левой руке он держит приспособление для метания копья. Он только наполовину одет, на нем высокие камики и костюм из птичьих шкур с перьями. Он немногим выше меня. Я хлопаю его по щеке. Он отлит из полого стеклопластика и искусно раскрашен. У него внимательное лицо.

— Как будто живой, правда?

Голос доносится откуда-то из-за ширмы. Направляясь туда, я должна обойти наполовину распакованный каяк и стеклянную витрину, лежащую на полу, словно опустошенный аквариум на три тысячи литров. Ширма представляет собой шкуру, натянутую между двумя полосами китового уса. За ней стоит письменный стол. За письменным столом сидит человек. Он встает, и я пожимаю протянутую мне руку. Он как две капли воды похож на манекен. Но он на 30 лет старше. У него жесткие, подстриженные под пажа волосы, но седые. Он происходит оттуда же, откуда и я. В нем есть гренландские черты.

— Смотритель...

— Это я.

По-датски он говорит без акцента. Он показывает рукой.

— Мы делаем экспозицию. Это стоит целое состояние. Я кладу перед ним пленку. Он осторожно ощупывает ее.

— Я пытаюсь идентифицировать того человека, голос которого записан на пленке. Меня направили сюда, когда я позвонила в Институт кисмологии.

Он удовлетворенно улыбается.

— Устная рекомендация — это лучшая реклама. И самая дешевая. Вы знаете, сколько стоит дать объявление?

— Только объявление о знакомстве.

— Это дорого?

Он искренне заинтересован. Юмор на него потрачен напрасно.

— Очень. Он кивает.

— Это ужасно. Вас разрывают на куски. Дневные газеты. Налоговое управление, таможня...

Мне кажется, что я его раньше где-то видела. Это чувство все чаще и чаще вызывают у меня лица и места. Я не знаю, связано ли это с тем, что я так много повидала и мир начал повторяться, или же это объясняется преждевременным износом умственного аппарата.

Перед ним на столе стоит плоский, матово-черный, квадратный кассетный магнитофон. Он ставит пленку. Звук доносится из расположенных на дальней стене комнаты динамиков. Теперь, когда мои глаза уже привыкают к темноте, я могу догадываться, как изгибаются стены там, где они повторяют форму борта судна.

Он слушает полминуты, закрыв лицо руками. Потом он останавливает пленку.

— Около 45 лет. Вырос в районе Ангмагссалика. Очень недолгое школьное образование. На восточно-эскимосской основе слышны следы более северных диалектов. Но они так неустойчивы, что трудно сказать, каких именно. Он, очевидно, никогда не бывал подолгу за пределами Гренландии.

Он смотрит на меня светло-серыми, почти молочными глазами, так, как будто чего-то ждет. Неожиданно я понимаю, чего именно. Аплодисментов после первого акта.

— Впечатляюще, — говорю я. — Можно сказать еще что-нибудь?

— Он описывает путешествие. По льду. На санях, запряженных собаками. Он, очевидно, охотник, потому что использует ряд профессиональных выражений, как, например anut о постромках для собак. По-видимому, он говорит с европейцем. Он использует английские названия местности. И ему кажется, что некоторые вещи он должен повторять.

Он слушал пленку совсем не долго. Я думаю, уж не держит ли он меня за дурочку.

— Вы мне не верите, — холодно говорит он.

— Я просто удивляюсь тому, что можно сделать так много выводов из малого.

— Язык — это голограмма.

Он говорит это медленно и отчетливо.

— В каждом из высказываний человека заключена сумма его языкового прошлого. Вот вы сами... Вам около 35 лет. Выросли в Туле или севернее. Один из родителей или оба inuit. Вы приехали в Данию, когда вы уже усвоили всю эскимосскую языковую основу, но до того, как вы потеряли свойственный ребенку талант в совершенстве изучить иностранный язык. Ну, скажем, вам было от семи до одиннадцати лет. Потом становится труднее. Есть следы нескольких социолектов. Вы жили или ходили в школу в северных предместьях: Гентофте или Шарлоттенлунде. Есть также кое-что действительно северо-зеландское. И, как это ни удивительно, более поздний намек на западно-эскимосский.

Я не делаю попытки скрыть восхищение.

— Это правда, — говорю я. — В общих чертах все так. Он довольно причмокивает.

— Есть ли возможность узнать, где происходит беседа?

— Вы действительно не понимаете этого?

Я снова это чувствую. Полная уверенность в себе и триумф по поводу своего умения.

Он перематывает пленку назад. Нажимая на кнопки, он не смотрит на магнитофон. Он проигрывает секунд 10 для меня.

— Что вы слышите?

Я слышу только неразборчивые голоса.

— На фоне голоса. Другой звук.

Он снова проигрывает. И тут я слышу это. Слабый, усиливающийся шум двигателя, словно генератор, который начинает работать, а потом снова выключается.

— Самолет с пропеллером, — говорит он. — Большой самолет с пропеллером.

Он перематывает. Снова включает. То место, где слышится слабое позвякивание фарфора.

— Большое помещение. С низким потолком. Накрывают столы. Что-то вроде ресторана.

Я вижу, что он знает ответ. Но он получает удовольствие, медленно доставая ответ из своей высокой шляпы.

— На заднем плане голос.

Он несколько раз проигрывает одно и то же место. Теперь я четко слышу его.

— Женщина, — говорю я.

— Мужчина, говорящий как женщина. Он ругается. По-датски и по-американски. Датский — его родной язык. По-видимому, он делает выговор тому, кто накрывает на стол. Это наверняка администратор ресторана.

В последний раз я задумываюсь над тем, не просто ли он гадает. Но я знаю, что он прав. Что у него ненормально точный и тренированный слух и языковое чутье.

Пленка звучит снова.

— Снова самолет с пропеллером, — делаю я предположение. Он качает головой.

— Реактивный. Небольшой реактивный самолет. Очень скоро после предыдущего. Оживленный аэропорт.

Он откидывается на спинку кресла.

— В какой же части света восточно-эскимосский охотник может сидеть, рассказывая что-то в ресторане, столы которого накрывают, где датчанин ругается по-американски, и где на заднем плане слышен аэродром?

Теперь я тоже знаю это, но я даю ему возможность сказать это. Маленьким детям не надо мешать. Даже если эти маленькие дети взрослые.

— Только в одном месте. На военно-воздушной базе Туле.

Место отдыха на базе называется “Северная звезда”. Ресторан, состоящий из двух частей, с помещением для концертов. Он снова включает пленку.

— Странно. Я молчу.

— Музыка... на фоне голоса... следы старой записи. Это, конечно же, поп. “Юритмикс” «There must be an angel». Но труба...

Он поднимает голову.

— Пианино, это вы, конечно, слышите, Ямаха Гранд? Я вообще не слышу пианино.

— Большой, тяжелый, великолепный звук. Несколько неуклюжий бас. Иногда немного фальшивый. Никогда не станет Бёсендорфером... Но меня удивляет труба.

— В конце пленки сохранился отрывок музыки, — говорю я.

Он перематывает вперед. Когда он нажимает на кнопку, мы попадаем куда-то прямо после начала музыки.

— “М-р П.Ч.!” — говорит он. Потом его лицо становится непроницаемым, задумчивым.

Он проигрывает ее до конца. Когда он останавливает пленку, у него отсутствующий вид. Я даю ему время вернуться назад. Он вытирает глаза.

— Джаз, — говорит он тихо. — Моя страсть...

Это было минутное обнажение чувств. Когда он приходит в себя, он снова похож на петуха. Три четверти политиков и чиновников, стоящих во главе гренландского самоуправления, принадлежат к его поколению. Они были первыми гренландцами, получившими университетское образование. Некоторые из них выжили и сумели сохранить самих себя. Другие — как, например, смотритель — со своей хрупкой, но раздутой до невероятных

размеров самоуверенностью — стали настоящими, интеллектуальными северными датчанами.

— На самом деле очень трудно опознать музыканта по звуку. Кого можно идентифицировать таким образом? Стэна Гетса, когда он играет в латиноамериканском стиле. Майлса Дэвиса по его обнаженным, точным, лишенным вибрации звукам. Армстронга по его тщательной кристаллизации новоорлеанского джаза. И этого музыканта.

Он выжидающе и укоризненно смотрит на меня.

— Большой джаз — это синоним квартета Джона Колтрейна. Мак-Кой Тайнер — пианино, Джимми Гаррисон — бас, Элвин Джоунс — ударные. А в те периоды, когда Джоунс был в тюрьме — Рой Хэйнс. Только эта четверка. За исключением четырех случаев. Четырех концертов Нью-йоркского Независимого клуба. Там к ним присоединился Рой Любер, игравший на трубе. Он перенял чувство европейской гармонизации и свой монотонный африканский нерв от самого Колтрейна.

Некоторое время мы размышляем об этом.

— Алкоголь, — говорит он неожиданно, — никогда ничего не сделал для музыки. Считают, что гашиш — это здорово. Но алкоголь — это тикающая бомба, заложенная под джаз.

Мы некоторое время сидим, прислушиваясь к тикающей бомбе.

— С тех самых пор, с 64-го года, Любер пытался спиться насмерть.

Падая все ниже и ниже, и как человек, и как музыкант, он однажды проездом оказался в Скандинавии. Здесь и остался.

Теперь я вспоминаю имя на концертных афишах. В некоторых скандальных газетных заголовках. Один из них звучал так: “Знаменитый джазист в пьяном виде пытается опрокинуть городской автобус”.

— Он, должно быть, играл в ресторане. Та же акустика. На заднем плане едят люди. Кто-то воспользовался возможностью сделать пиратскую запись.

Он улыбается, полностью одобряя эту идею.

— Таким образом, в общем-то, бесплатную “живую” запись. С маленьким вокменом можно сэкономить большую сумму денег. Если не боишься.

— Что ему было делать в Туле?

— Деньги, конечно же. Джазисты живут так называемыми “дерьмовыми работами”. Подумайте только, сколько стоит...

— Что стоит?

— Спиваться насмерть. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько вы экономите, не будучи алкоголиком?

— Нет, — говорю я.

— 5000 крон, — говорит он.

— Простите, что?

— Этот наш разговор стоит 5000 крон. И примерно 10 000, если вы хотите получить завизированную запись содержания.

На его лице нет ни тени улыбки. Он абсолютно серьезен.

— Можно мне получить квитанцию?

— Тогда мне придется посчитать с учетом налога.

— Хорошо, — говорю я. — Конечно же, считайте с налогом. Собственно говоря, мне эта квитанция совершенно ни к чему. Но я повешу ее дома на стенку. В качестве напоминания о том, во что может превратиться знаменитое гренландское великодушие и равнодушие к деньгам.

Он печатает на машинке, на листке формата А4.

— Мне надо, минимум, неделю. Позвоните мне, пожалуйста, через пять-шесть дней после Нового года.

Я достаю пять новеньких, хрустящих тысячекроновых банкнот из пачки. Он закрывает глаза и слушает, как я их пересчитываю. У него есть, по меньшей мере, одна страсть более пламенная, чем модальный джаз. Это вожделенный хруст денежных знаков, переходящих из рук в руки, причем он при этом должен быть принимающей стороной.

Уже встав, я подумала о том, что мне надо задать ему один вопрос.

— Как учатся слышать так много? Он сияет, как солнце.

— Я по образованию теолог. Занятие, которое предоставляет исключительную возможность слушать людей.

Именно потому, что одеяние священника является почти полной маскировкой, мне потребовалось так много времени, чтобы узнать его. Хотя прошло меньше десяти дней с того дня, когда я видела, как он хоронит Исаяю.

— Я иногда все еще выступаю в этой роли. Помогаю пастору Хемницу, когда много дел. Но в последние 40 лет я в основном занимался языками. В свое время моим учителем в университете был Луи Ельмслев. Он был профессором, специалистом в области компаративной лингвистики. Обладал хорошим знанием 40-50 языков. При этом он столько же выучил и забыл. В то время я был молод и так же поражен, как и вы. Когда я спросил его, как он выучил так много языков, он ответил — тут он изображает человека с выступающими вперед верхними зубами — на первые 13-14 языков уходит много времени. Потом дело идет гораздо быстрее.

Он оглушительно хохочет. Он в прекрасном настроении. Он блеснул своими способностями и заработал на этом деньги. Мне вдруг приходит на ум, что он, наверное, первый встретившийся мне гренландец, говоривший мне “вы”, и ожидавший, что я также буду говорить ему “вы”.

— Есть еще одно обстоятельство, — говорит он. — С 12-ти лет я полностью слеп.

Он наслаждается моим замешательством.

— Я поворачиваю голову вслед за вашим голосом. Но я ничего не вижу. В некоторых случаях слепота обостряет слух.

Я пожимаю протянутую мне руку. Мне бы следовало сдержаться. Ведь действительно очень нехорошо обижать слепого человека. К тому же соотечественника. Но для меня в настоящей, неприкрытой жадности всегда было что-то загадочное и провоцирующее.

— Господин смотритель, — шепчу я. — Вам бы следовало быть осторожным. В вашем возрасте. В окружении всех этих ценностей. На судне, которое кричит, словно открытый сейф. Южная гавань насквозь пронизана криминальными элементами. Вы знаете, насколько этот мир наполнен людьми, которые, не будучи сдерживаемы ничем, стремятся завладеть собственностью своих ближних.

Он пытается проглотить свое адамово яблоко.

— До свидания, — говорю я. — Если бы я была на вашем месте, я бы забаррикадировала дверь после моего ухода.

Последние желтые солнечные лучи улеглись на плоских камнях причала. Через несколько минут они исчезнут. За собой они оставят промозглую, сырую прохладу.

Вокруг ни души. Ключом я отдираю белый полиэтилен от вывески. Всего лишь полоску, чуть-чуть, чтобы можно было заглянуть внутрь. Вывеска изготовлена мастером. Черные буквы на белом фоне. “На этом месте Копенгагенский университет, Полярный центр и Министерство культуры создают Арктический музей”. Потом идет список тех фондов, которые платят за это удовольствие. Его я не читаю. Я иду вдоль набережной.

Арктический музей. Там был куплен кораблик для Исайи. Я достаю из глубокого кармана квитанцию смотрителя. Она безупречно составлена, что является еще одним чудом, принимая во внимание то, что он слеп. Внизу — подпись. Разобрать ее невозможно. Но он поставил штамп. То, что на штампе, можно прочитать.

На нем написано: “Андреас Фаин Лихт. Доктор философии. Профессор в области эскимосских языков и культуры”.

Я застываю на месте, пока не пройдет шок. Потом я думаю, не пойти ли назад.

В конце концов я продолжаю свой путь. Пленка — копия. А когда охотишься, иногда может быть полезно обнаружить себя, остановиться и помахать стволом ружья.

4

Я прихожу почти вовремя. Маленький синий “моррис” припаркован на бульваре Андерсену, возле Тиволи.

Механик похож на человека, который ждал, а за время долгого ожидания передумал слишком много тяжелых мыслей.

Я сажусь в машину рядом с ним. В машине холодно. Он на меня не смотрит. На его лице как в открытой книге я читаю боль. Мы сидим, глядя прямо перед собой. Я не работаю в полиции. У меня нет никакой необходимости добиваться признания.

— Барон, — говорит он в конце концов, — он помнил. Он не забывал. Я сама думала о том же.

— Б-бывало, он по три недели не появлялся в подвале. Когда я был маленьким, то за три недели в летнем детском садике почти совсем забывал своих родителей. Но Барон делал разные мелочи. Если я возвращаюсь домой, а он играет на площадке, он останавливается. И бежит ко мне. И просто проходит немного рядом со мной. Как будто чтобы показать, что мы знаем друг друга. Только до двери. Там он останавливается. И кивает мне. Чтобы показать, что он не забыл меня. Другие дети забывают. Они любят кого угодно и забывают кого угодно.

Он закусывает губу. Мне нечего добавить. Слова — слабое утешение в горе. Но что еще есть в нашем распоряжении?

— Поехали в кондитерскую, — говорю я.

Пока мы едем по городу, я не рассказываю ему о своем посещении стоянки 126. Но я рассказываю ему о последовавшем за этим визитом звонке Бенедикте Глан из телефона-автомата.

Кондитерская La Brioches d'Or находится на Стройет, поблизости от Амагерторв, на первом этаже, через несколько домов от магазина Королевского фарфорового завода.

Уже при входе в подворотне нас встречают фотографии с изображением рогов изобилия диаметром в метр, которые доставлялись к королевскому двору при помощи подъемного крана. На лестнице находится выставка самых незабываемых пирожных со взбитыми сливками, которые выглядят так, будто их покрыли лаком для волос, и теперь они могут стоять так до скончания веков. Входную дверь охраняет фигура боксера Айюба Калуде из темного шоколада в натуральную величину, сделанная, когда он стал чемпионом Европы, а за дверями длинный стол, на котором стоят такие прекрасные пирожные, что, кажется, они могут все, ну разве что не могут летать.

Потолок украшен взбитыми сливками штукатурки, под потолком — люстры, а на полу — ковер, толстый и мягкий, того же самого цвета, что и низ слоеного торта, пропитанный шерри. За маленькими столиками, покрытыми белыми скатертями, сидят изящные дамы и запивают второй кусок Sachertorte пол-литровыми чашками горячего какао. Чтобы успокоить посетителя, ожидающего счет, и несколько смягчить страх его встречи с напольными весами в ванной, на возвышении сидит пианист в парике, с отсутствующим видом играющий попури из Моцарта, которое становится откровенно неряшливым, когда он одновременно пытается подмигнуть механику.

В одном из углов, в одиночестве, сидит Бенедикта Глан.

Некоторые люди, кажется, не имеют ничего общего со своими голосами. Я хорошо помню, как сильно была удивлена, когда я впервые оказалась лицом к лицу с Уллорианнгуаком Кристиансеном, который в течение 20 лет читал новости по гренландскому радио. Слушая его голос, можно было рассчитывать на встречу с богом. Он же оказался обыкновенным человеком лишь немного выше меня ростом.

У других людей голос и внешность так точно соответствуют друг другу, что, услышав раз, как они говорят, узнаешь их, увидев. Я проговорила минуту с Бенедиктой Глан по телефону и знаю, что это она. На ней синий уличный костюм, она не сняла шляпу, она пьет минеральную воду и она красивая, нервная и непредсказуемая, как породистая лошадь.

Ей около 65-ти, у нее длинные, каштановые волосы, частично убранные под шляпу. Она

держится прямо, она бледна, у нее агрессивный подбородок и трепещущие ноздри. Если я когда-либо и встречала сложного человека, то это она.

Время, которое требуется для того, чтобы пересечь зал, это все, что есть в моем распоряжении для принятия некоторых окончательных решений.

За несколько часов до этого я звоню ей из телефонной будки у станции Энгхаве. Голос у нее глубокий, хриловатый, почти ленивый. Но где-то под этим спокойствием, как мне кажется, я слышу кузнечные меха. Или же это фата-моргана. После часа, проведенного на стоянке 126, я уже больше не доверяю своему слуху.

Когда я сообщаю ей, что меня интересует ее работа в Берлине в 46-м году, она совершенно определенно отказывается от встречи.

— Об этом даже не может быть и речи. Это совершенно исключено. Ведь речь идет о военных секретах. И вообще, это было в Гамбурге.

Она говорит так уверенно. Но вместе с тем чувствуется легкий оттенок жестко сдерживаемого любопытства.

— Вас беспокоят из военного городка Сванемёлле, — говорю я. — Мы готовим публикацию об участии Дании во Второй Мировой войне.

Она резко меняет тон.

— В самом деле? Значит, вы звоните из Сванемёлле? Вы, наверное, из женского корпуса?

— Я по образованию историк. Я редактирую эту публикацию для исторического архива вооруженных сил.

— Неужели! Женщина! Это очень приятно. Я думаю, что я должна сначала поговорить об этом с моим отцом. Вы знаете моего отца?

Не имею чести. И если я хочу успеть познакомиться с ним, я должна поторопиться. По моим подсчетам ему должно быть около 90 лет. Но вслух я этого не говорю.

— Генерал Август Глан, — говорит она.

— Мы бы очень хотели, чтобы это издание стало сюрпризом. Она это прекрасно понимает.

— Когда вы могли бы найти возможность поговорить со мной?

— Это будет сложно, — говорит она. — Мне надо посмотреть в мой еженедельник.

Я жду. Мне видно мое отражение в стальной стенке автомата. Я вижу меховую шапку. Из-под нее выглядывают темные волосы. В обрамлении волос — глупая улыбка.

— Может быть, у меня будет время во второй половине дня.

Я вспоминаю это, проходя по залу кондитерской, глядя на нее. Дочь генерала. Подруга военных. Но хриловатый голос. То, как она смотрит на механика. Вспыльчивый человек. Я принимаю решение.

— Смила Ясперсен, — говорю я. — А это капитан и доктор философии Петер Фойл.

Механик замирает.

Бенедикта Глан лучезарно улыбается ему.

— Как интересно. Вы тоже историк?

— Один из самых замечательных военных историков Северной Европы, — говорю я.

Его правый глаз подергивается. Я заказываю кофе и малиновое пирожное ему и себе.

Бенедикта Глан опять заказывает себе минеральную воду. Она не хочет пирожного. Она хочет полностью владеть вниманием доктора философии Петера Фойла.

— Можно многое вспомнить. Я ведь не знаю, что именно вас интересует?

Тут я делаю решительный шаг.

— Ваше сотрудничество с Йоханнесом Лойеном. Она кивает.

— Вы с ним говорили?

— Капитан Фойл — его близкий друг.

Она лукаво улыбается. Ну, еще бы! Один неотразимый мужчина знает другого неотразимого мужчину.

— Это было так давно.

Кофе приносят в большом стеклянном кофейнике. Он горячий и ароматный. Это встреча с механиком привела меня к движению по наклонной плоскости вредоносных опьяняющих напитков.

Он не трогает свою чашку. Он еще не свыкся со своим академическим званием. Он сидит, разглядывая свои руки.

— Это было в марте 1946 года. Британские королевские военно-воздушные силы после немцев разместились в доме Дагмары на Ратушной площади. Я узнала, что они ищут молодых датчан и датчанок, знающих немецкий и английский. Моя мать была из Швейцарии. Я училась в школе в Гриндельвальде. Я двуязычна. Я была слишком молода для участия в сопротивлении. Но в этом я увидела возможность сделать все-таки что-нибудь для Дании.

Она обращается ко мне. Но все адресовано механику. И вообще, кажется, большая часть ее жизни была обращена к мужчинам. Она хрипловато смеется.

— Если уж быть совсем честной, то у меня был друг, младший лейтенант, который отправился туда за полгода до этого. Я хотела быть там, где он. Женщинам должно было исполниться 21 в течение первых трех месяцев после начала работы там. Мне было 18. И я хотела уехать тут же. Поэтому я прибавила себе три года.

Может быть, думаю я про себя, ты тем самым также получила легальную возможность убежать от папы генерала.

— Я попала на собеседование к полковнику в сине-серой форме Королевских военно-воздушных сил. Мне пришлось также сдавать экзамен по английскому и по немецкому. И по немецкому готическому шрифту. Они сказали, что наведут справки о моем поведении во время войны. Наверное, они этого не сделали. Потому что иначе бы они обнаружили, что я солгала им про возраст.

Малиновое пирожное сделано из миндального теста. В нем вкус фруктов, жженого миндаля и жирных сливок. В сочетании с тем, что вокруг, это для меня символ среднего и высшего класса западной цивилизации. Соединение изысканных утонченных высших достижений и напряженного безудержного чрезмерного потребления.

— Мы поехали специальным поездом в Гамбург. Германия ведь была поделена между союзниками. Гамбург был английским. Мы работали и жили в больших казармах гитлерюгенда. В казармах графа Гольтца в Ральштедте.

Будучи совершенно бездарными слушателями, большинство датчан лишают самих себя возможности стать свидетелями захватывающего закона природы. Того закона, действие которого можно сейчас наблюдать, глядя на Бенедикту Глан. Преображение рассказчика в тот момент, когда его захватывает собственное повествование.

— Нас поместили в двухместных комнатах в здании напротив того места, где мы работали. Работали мы в большом зале. За каждым столом нас было по двенадцать человек. Мы носили полевую форму цвета хаки, состоящую из юбки, туфель, чулок и накидки. У нас было звание сержантов английской армии. За каждым столом сидел Tischsortierer¹. За нашим столом им была женщина-капитан, англичанка.

Она задумывается. Пианист углубился во Фрэнка Синатру. Она его не слышит.

— Ликер “Лиловый Больс”, — говорит она. — Я впервые в своей жизни была пьяна. Мы могли делать покупки в том магазинчике, который был при казармах. На черном рынке мы за блок сигарет “Кэпстэн” могли выручить сумму, на которую немецкая семья жила месяц. Начальником был полковник Оттини. Англичанин, несмотря на имя. Около 35 лет. Обаятельный. С лицом доброго бульдога. Мы читали все письма за границу и из-за границы. Письма и конверты выглядели так же, как и сегодня. Но бумага была хуже. Мы вскрывали конверт, читали письмо, ставили штамп “Цензор” и заклеивали его. Все фотографии и рисунки надо было вынимать и уничтожать. Обо всех письмах, в которых говорилось о нацистах, занимающих посты в послевоенной Германии, надо было докладывать. Если, например, было написано, что “надо же, он был когда-то штурмбанфюрером СС, а сейчас работает директором” и так далее. Это встречалось довольно часто. Но больше всего их интересовала немецкая подпольная организация “Эдельвейс”. Вы знаете, что немцы ведь сожгли большую часть своих архивов во время отступления. Союзникам отчаянно не хватало информации. Должно быть, поэтому они взяли нас на работу. Нас было 600 датчан. И это только в Гамбурге. Если в письме встречалось слово “эдельвейс”, если в него был вложен засушенный цветок, если слово, из букв которого можно было сложить слово “эдельвейс”, было подчеркнуто, то на это письмо надо было поставить штамп — у всех нас был свой личный резиновый штамп — и передать его Tischsortierer. <Главный сортировщик>

Как будто благодаря телепатии пианист играет «Lili Marlen». В ритме марша, так, как один из куплетов пела Марлен Дитрих. Бенедикта Глан закрывает глаза. Ее настроение меняется.

— Та песня, — говорит она.

Мы ждем, пока мелодия не кончится. Она переходит в «Ich hab' noch einen Koffer in Berlin».

— Самым страшным был голод, — говорит она. — Голод и разрушения. Было что-то вроде метро, и на нем можно было за 20 минут добраться из Ральштедта до центра Гамбурга. Мы ведь не работали в субботу после обеда и по воскресеньям. А в сержантской форме мы могли посещать офицерские клубы-столовые. Мы могли пить шампанское, есть икру, шатоб-риан, мороженое. Когда мы оказывались на расстоянии пятнадцати минут езды от центра, в районе Вандсбека, начинались груды камней. Вы даже и представить себе этого не можете. Камни, куда хватает глаз. До самого горизонта. Поле руин. И немцы. Они голодали. Они проходили мимо тебя по улице, бледные, изможденные, изголодавшиеся. Я была там шесть месяцев. Никогда, ни разу я не видела, чтобы немец куда-нибудь спешил.

В ее голосе слышны слезы. Она забыла, где она находится. Она крепко хватается за руку.

— Война ужасна!

Посмотрев на нас, она вспоминает о том, что мы представители вооруженных сил, и на какую-то минуту внутри нее сталкиваются разные уровни сознания. Потом она возвращается назад в настоящее, веселая и чувственная. Она улыбается механику.

— Мой младший лейтенант уехал домой. Я была готова последовать за ним. Но однажды меня вызывают в кабинет Оттини. Он обращается ко мне с предложением. На следующий день меня переводят в Бланкенезе, на берегу Эльбы. Здесь англичане заняли все большие виллы. В одной из них мы и работали. Нас было 40 человек. Большинство англичане и американцы. 20 человек работали на верхнем этаже, прослушивая телефонные разговоры. Внизу несколькими группами работали мы. Мы, конечно, никогда не знали, чем занимаются другие. В Ральштедте мы тоже давали подписку о неразглашении. Но там мы все-таки беседовали друг с другом. Мы показывали друг другу забавные письма. В Бланкенезе все было совсем по-другому. Там я и познакомилась с Йоханнесом Лойеном. Вначале была лишь я одна и еще двое. Английский математик и бельгийский учитель записи танцевальных движений с помощью знаков. Мы занимались шифрованными письмами и телефонными разговорами. В основном, письмами.

Она смеется.

— Мне кажется, что на первых порах они нас проверяли. Давали нам то, что было не очень важно. Часто мы разгадывали по два письма в день. Как правило, это были любовные письма. Я попала туда в июле. Начиная с августа, что-то изменилось. Письма изменились. Некоторые из них были написаны одними и теми же людьми. И еще к нам прикрепили нового цензора — немца, который работал у фон Гелена. Я так и не смогла этого понять. То, что американцы и англичане приняли к себе на службу часть немецкого разведывательного аппарата. Но он был мягким и доброжелательным человеком. Не всегда видно по человеку, какой он, не так ли? Говорили ведь, что Гиммлер играл на скрипке. Его звали Хольтцер. Почему-то он особенно много знал о том деле, над которым мы работали. Это я постепенно стала понимать. То, что это отдельное дело. Другие трое знали это. Они никогда ничего не говорили. Но они постоянно расспрашивали меня об определенных выражениях. И постепенно начала вырисовываться картина.

Она снова забыла о нас. Она находится в Гамбурге, у Эльбы, в августе 46-го.

— Было одно слово, которым они все время интересовались. Это слово было «Нифльхейм». В один прекрасный день я посмотрела в словарь. Это означает «Мир туманов». Это крайняя часть царства мертвых «Хель». В конце августа они, должно быть, сузили то поле, в котором искали,

потому что с тех пор нам давали только письма, которыми обменивались одни и те же четыре человека. Конверты к нам никогда не попадали. Мы знали только имена, но не адреса. Сначала у нас было восемь писем. Каждую неделю приходило в среднем два новых. Шифр был довольно небрежным. Как будто создан в спешке. Но, тем не менее, разгадывать его было сложно, потому что он строился не на обычном языке, а на целом ряде условленных метафор. Казалось, что речь идет о транспорте и продаже товаров. Именно в это время к группе присоединили Йоханнеса — доктора Лойе-на. Он был в Германии в качестве судебно-медицинского эксперта, для участия в ликвидации концентрационных лагерей.

Она прищуривается и становится похожей на школьницу.

— Очень красивый мужчина. И очень тщеславный. Передайте ему от меня привет и расскажите, что я так сказала.

Механик кивает, комкая в руках салфетку.

— Ему было досадно, что не он, а судебные одонтологи прославились при проведении опознания, в том числе и в связи с Нюрнбергским процессом. У нас он должен был работать консультантом по медицинским вопросам. Этого не потребовалось. В это время я обнаружила, что “Нифльхейм” — это, должно быть, экспедиция в Гренландию. Лойен знал кое-что о Гренландии. Возможно, он бывал там. Он никогда этого не рассказывал. Но он хорошо говорил по-немецки. Он стал работать наравне со всеми нами. В конце сентября наши усилия увенчались успехом. Это я разгадала шифр. В одном письме в качестве прогноза давались цены на бобы на текущей неделе. Цифры, растущие понемногу каждый день, достигали максимума в пятницу. Я нашла эту неделю в своем дорожном еженедельнике, который мне прислала мама. В пятницу была полная луна. Я несколько раз плавала по Английскому каналу во время проведения соревнований на адмиральский кубок на большом судне отца “Колин Арчер”. Мне показалось, что цифры похожи на таблицу приливов и отливов. Мы посмотрели в альманахи английского флота. В Эльбе были приливы и отливы. После этого стало очень просто. У нас ушло три недели на то, чтобы расшифровать все предыдущие письма. Речь в них шла о фрахтовке судна. И плавании в Гренландию. Операция “Нифльхейм”.

— С какой целью? Она качает головой.

— Я так этого и не узнала. Думаю, что и другие не знали. В письмах шла речь о переговорах по поводу судна, которые были очень затруднены из-за чрезвычайного положения. О возможности плавания до Киля, а затем по датским территориальным водам. О том, где находятся пройденные минными тральщиками маршруты. Об охране англичанами Эльбы и Кильского канала. Но все, писавшие эти письма, знали, о чем идет речь. Поэтому они никогда не упоминали этого.

Мы все втроем одновременно откидываемся назад. Мы возвращаемся назад в кондитерскую “Золотая Бриошь”, назад к запаху кофе, к настоящему времени, к «Satin Doll».

— Я бы хотела пирожное, — говорит Бенедикта Глан.

Она это заслужила. Его приносят, и оно напоминает о лете. Со взбитыми сливками, такими свежими, мягкими и желтовато-белыми, как будто здесь, прямо в глубине пекарни, держат корову.

Я жду, пока она его попробует. Люди с трудом могут сохранять бдительность, когда испытывают приятные ощущения.

— Вы рассказывали кому-нибудь об этом?

Она собирается с негодованием это отвергнуть. Затем всколыхнувшиеся в ней воспоминания, доверие к нам, а может быть, и вкус малинового пирожного что-то меняют в ней.

— С самого детства соблюдение секретности было само собой разумеющимся для меня, — говорит она.

Мы понимающе киваем.

— Может быть, мы с Йоханнесом Лойеном говорили об этом раз или два. Но это было более 20 лет назад.

— Это могло быть в 66-м году?

Она с удивлением смотрит на меня. На секунду я оказываюсь в опасной зоне. Потом она приходит к выводу, что мы, конечно же, знаем это от самого Лойена.

— Йоханнес выполнял работу для компании, которая должна была организовать плавание в Гренландию. Он хотел, чтобы мы с ним вместе попробовали реконструировать некоторые сведения, содержащиеся в письмах 46-го года. Это были в основном описания маршрутов. Особенно о возможностях якорных стоянок. Нам это не удалось. Хотя мы потратили на это много времени. Мне кажется, что я даже получила за это гонорар.

— И потом снова в 90-м или в 91-м? Она закусывает губу.

— Хелен, его жена, очень ревнива, — говорит она.

— Почему ему это было нужно?

— Он ведь никогда ничего не рассказывал. А вы сами пробовали узнать у него?

— У нас не было возможности, — говорю я. — Но обязательно спросим.

Что-то в моем объяснении настораживает ее. Я пытаюсь придумать, как бы ее успокоить и отвлечь. Она сама приходит мне на помощь. Она переводит взгляд с меня на механика и потом опять на меня.

— Вы женаты?

Тут происходит странная вещь — он краснеет. Сначала краснеет шея, потом краска поднимается выше, это похоже на аллергическую реакцию на ракообразных. Плающий, незащитный румянец.

Я чувствую краткий прилив тепла между ног. Такой, что мне на секунду кажется, будто мне на колени положили что-то горячее. Но там ничего нет.

— Нет, — говорю я. — Трудно целиком отдавать себя Архиву вооруженных сил и одновременно иметь семью.

Она понимающе кивает. Она прекрасно понимает, как можно разрываться между войной и любовью.

— Два человека встречаются, — говорю я, — возможно, в Берлине. Лойен и Винг. Лойен кое-

что знает о чем-то, что стоит вывезти из Гренландии. У Винга есть организация, под прикрытием которой они могут это сделать, потому что он директор “Криолитового общества” и его реальный руководитель. И есть Андреас Лихт. О нем нам известно только, что он знаком с жизнью в Гренландии.

Я не собираюсь рассказывать ему о стоянке 126.

— В 66-м году они организуют экспедицию под эгидой общества. Что-то идет не так, как задумано. Возможно, дело в аварии с взрывчатыми веществами. Во всяком случае, экспедиция срывается. Потом они ждут 25 лет. И делают новую попытку. Но на этот раз что-то изменилось. Транспорт оплачивается какими-то деньгами извне. Похоже, что им кто-то помогает. Что они объединились с кем-то. Но снова что-то не получается. Гибнут четыре человека. Среди них отец Исайи.

Я сижу на диване у механика, укрывшись шерстяным пледом. Он стоит посреди комнаты и собирается открывать бутылку шампанского. Дорогое вино в этой комнате как-то сбивает меня с толку. Он отставляет бутылку, не открыв ее.

— Сегодня днем я разговаривал с Юлианой. — говорит он.

Я еще в кондитерской, а потом по пути домой, заметила — что-то не так.

— Барона раз в месяц обследовали в больнице. Каждый раз ей давали 1 500 крон. Всегда в первый вторник каждого месяца. За ним приезжали. Она никогда с ним не ездила. Барон ничего не рассказывал.

Он садится и смотрит на холодную бутылку. Я знаю, о чем он думает. Он размышляет о том, не убрать ли ее.

Он поставил перед нами высокие, хрупкие стаканы. Сначала он вымыл их в теплой воде без мыла, а затем протирал их чистым сухим полотенцем, пока они не стали совсем прозрачными. В его больших руках они кажутся тонкими, как целлофан.

Очередь на получение жилья в Нууке 11 лет. Через 11 лет можно получить комнатуху, сарай, хибару. Все деньги в Гренландии оседают поблизости от датского языка и датской культуры. Те, кто владеет датским, получают прибыльные должности. Остальные могут гнить на рыбокомбинатах и в очередях на биржу труда. В стране, где процент смертности такой, как будто идет война.

То, что я выросла в Гренландии, навсегда испортило мое отношение к благосостоянию. Я знаю, что оно существует. Но я никогда не могла стремиться к нему. Или всерьез уважать его. Или смотреть на него, как на цель.

Я часто чувствую себя чем-то вроде помойного ведра. В мою жизнь мир сбросил достижения технологической культуры: дифференциальные уравнения, меховую шляпу. И вот сейчас — бутылку вина, охлажденного до нуля градусов. Со временем мне становится все труднее спокойно пить его. Если бы все это через секунду у меня отняли, я бы нисколько не пожалела.

Я больше не пытаюсь дистанцироваться от Европы или Дании. Но я и не прошу их присутствия. Они по-своему являются частью моей судьбы. Они проходят через мою жизнь. Я отказалась от мысли как-то повлиять на это.

Ночь. Последние дни были такими длинными, что я с нетерпением ждала того, как лягу в

постель, ждала, как меня полностью, как в детстве, поглотит сон. Скоро, лишь пригубив вино, я встану и уйду.

Он почти беззвучно открывает бутылку. Разливает вино, медленно и осторожно, пока стаканы не наполнятся чуть более чем наполовину. Они мгновенно покрываются матовой дымкой. От невидимых глазу неровностей на внутренних, изогнутых сторонах поднимаются вверх на поверхность тонкие цепочки жемчужных пузырьков.

Он ставит локти на колени и смотрит на пузырьки. Его лицо сосредоточенно, поглощено зрелищем и в это мгновение невинно, как лицо младенца. Такое лицо, какое часто бывало у Исаяи, когда он смотрел на мир. Не притронувшись к своему стакану, я сажусь перед ним на низенький столик. Наши лица оказываются на одном уровне.

— Петер, — говорю я. — Ты знаешь такое оправдание: был пьян и не отвечал за свои поступки.

Он кивает.

— Поэтому я сделаю это перед тем, как выпью.

Затем я целую его. Я не знаю, сколько проходит времени. Но пока это продолжается, вся я — один лишь рот.

Потом я ухожу. Я могла бы остаться, но я ухожу. Это не ради него и не ради меня. Я ухожу из уважения к тому, что появилось во мне, к тому, чего не было долгие годы, к тому, что, как мне казалось, мне уже незнакомо и совершенно чуждо.

Я долго не могу заснуть. Но это в основном потому, что я не могу решиться расстаться с ночью и тишиной, с тем напряженным, гиперобостренным сознанием того, что он лежит где-то там внизу.

Когда, наконец, приходит сон, мне кажется, что я в Сиорапалуке. Мы, несколько человек детей, лежим на нарах. Мы рассказывали друг другу истории, и все остальные уже уснули. Остался только мой голос. Я слышу его извне, и он борется со сном. Но, в конце концов, он дрогнул, закачался, упал на колени, раскрыл руки и позволил сети снов подхватить себя.

5

Комитет по регистрации промышленных предприятий и компаний находится на Кампмансгаде, в доме номер 1, и производит впечатление находящегося в хорошем состоянии, свежевыкрашенного, деятельного, надежного, доброжелательного и изысканного, не будучи при этом претенциозным.

Человек, который помогает мне, совсем мальчик. Ему самое большее 23 года, на нем двубортный, сшитый на заказ костюм из тонкого твида “хarris” с белым шелковым галстуком, у него белые зубы и широкая улыбка.

— Где же мы раньше встречались? — говорит он.

Бумаги вставлены в папку со спиралью, их так много, как будто это библия с иллюстрациями, на ней написано: Отчет за 1991 финансовый год по акционерной компании Криолитовое общество “Дания”.

— Как можно узнать, кто контролирует общество? Его руки касаются моих, когда он листает книгу.

— Так сразу это не сказать. Но согласно положению об акционерных компаниях на первой странице должны быть перечислены все пакеты акций, большие, чем 5 процентов. А может быть, это было на вечеринке в Высшем торговом училище?

В списке 14 пунктов, чередуются отдельные имена и названия предприятий. В списке есть Винг. И Национальный банк. И “Геоинформ”.

— “Геоинформ”, можно посмотреть их финансовые отчеты?

Он садится перед клавиатурой. Пока мы ждем, как включается компьютер, он мне улыбается.

— Я обязательно вспомню, где это было, — говорит он. — Вы не учились на юридическом, а?

Перед моим приходом он изучал французскую газету. Он следит за моим взглядом.

— Я подал заявление в Министерство иностранных дел, — говорит он. — Поэтому важно следить за тем, что происходит. У нас ничего нет на “Геоинформ”. Это, должно быть, не акционерное общество.

— Можно узнать, кто входит в правление?

Он приносит том толщиной в две телефонные книги, который называется “Датские фонды”. Он находит то, что мне нужно. Правление “Геоин-форма” состоит из трех человек. Я записываю их имена.

— Можно угостить вас обедом?

— Я собираюсь прогуляться по Дюрехавен, — говорю я.

— Мы могли бы прогуляться вместе. Я показываю на его кожаные ботинки.

— Там лежит слой снега в 75 сантиметров.

— Я бы мог купить пару резиновых сапог по пути.

— Вы на работе, — говорю я. — На пути в дипломатию. Он уныло кивает.

— Может быть, когда растает снег, — говорит он. — Весной.

— Если мы доживем до этого, — говорю я.

Я отправляюсь в Дюрехавен. Ночью шел снег. Я взяла с собой камики. Отойдя подальше от ворот, я надеваю их. Подошвы камиков очень мало снашиваются. В детстве нам никогда не разрешали танцевать в них, если на полу был песок. Можно было стоптать их за одну ночь. Но на снегу и на льду, где другое трение, их прочность очень велика. Свежевыпавший снег легкий и холоден. Я отхожу как можно дальше от тропинок. Целый день я медленно, тяжело переступая, брожу между черными, сверкающими снегом ветками. Я иду по петляющему следу косули, пока не начинаю понимать его ритм. Резкие прыжки животного в сторону каждые 100 метров, привычку оставлять мочу маленькими порциями, чуть правее своих следов. Регулярность, с которой оно разгребает участок в форме сердечка, добираясь до темной земли, чтобы найти листья.

Через три часа я встречаю ее. Косулю. Белую, настороженную, любопытную.

В ресторанчике “Питер Лип” я нахожу столик в стороне от остальных и заказываю горячий шоколад. Потом я кладу перед собой листок с тремя фамилиями.

Катя Клаусен

Ральф Сайденфаден

Тёрк Вид

Я достаю конверт Морица с газетными вырезками. Мне нужна одна конкретная.

Помещение заполняет группа детей и взрослых. Они оставили лыжи и санки снаружи. Они переговариваются громкими и полными радости голосами. Полными таинственного снежного тепла.

Вырезка из английской газеты. Может быть, именно поэтому я обратила на нее внимание. Ее неаккуратно вырезали, и поэтому исчезла часть заголовка. Он был потом дописан от руки, зеленой шариковой ручкой. Газета от 19 марта 1992 года. “Первый копенгагенский семинар по неока-тастрофизму. Профессор, доктор медицины Йоханнес Лойен, член Датской Королевской Академии наук, читает доклад на открытии”.

Лойен стоит на сцене, явно без текста доклада и без трибуны. Помещение большое. Позади него за изгибающимся дугой столом сидят три человека.

“За ним Рубен Гидденс, Ове Натан и Тёрк Вид...”.

Текст обрезан, продолжение строчки не поместилось. Они не могли набрать датскую букву “о” в его имени. Это и бросилось в глаза. Поэтому я и запомнила его.

Когда я отправляюсь домой, садится пылающее солнце. У меня бьется сердце.

В тот самый момент, когда я вхожу в дверь, звонит телефон.

У меня уходит целая вечность на то, чтобы отодрать красный скотч. Я чувствую, что это должен быть механик. Что он, наверное, множество раз пытался дозвониться.

— Это Андреас Лихт.

Голос едва звучит, как будто он простужен.

— Я хочу предложить вам немедленно приехать ко мне.

Я чувствую вспышку раздражения. Я не из тех, кто может привыкнуть к приказам.

— Это обязательно сегодня?

Раздается сдавленный звук, как будто он сдерживает смех.

— Вы заинтересовались, не так ли... Трубку вешают.

Я стою, не сняв пальто. В темноте, потому что не успела зажечь свет. Откуда у него мой номер

телефона?

Я не люблю суетиться. У меня на сегодня другие планы.

Я оставляю камики и снова иду в копенгагенскую ночь.

Спускаясь вниз по лестнице мимо двери механика, я останавливаюсь. Я чувствую искушение взять его с собой. Но я называю это чувство слабостью.

В кармане у меня лежит фломастер, но нет бумаги. На пятидесятикрановой купюре я пишу: "Южная гавань, Свайербрюгген, стоянка 126. Буду позже. Смилла".

Эта записка является компромиссом между моей потребностью в защите и моей уверенностью в том, что планы, которые удастся сохранить в тайне, лучше всего осуществляются.

Я беру такси до электростанции Южной гавани. Должно быть, паранойя механика из-за телефонов начинает распространяться и на меня, но мне бы не хотелось оставлять заметные следы.

От электростанции надо идти минут пятнадцать.

Теперь даже машины спят. Кажется, что город совсем далеко. Но на пустынных улицах, по которым я иду, виден, однако, отсвет его огней. Время от времени на иссиня-черном небе рассеянные ракеты прожигают полосы света и взрываются. Звук отдаленного взрыва не сразу доносится до меня. Сегодня новогодний вечер.

Улица не освещена. На фоне более светлого неба подъемные краны — застывшие силуэты. Все закрыто, погашено, брошено.

Свайербрюгген — это белая поверхность в темноте. Свежевыпавший, лежащий на льду снег матово сияет, концентрируя тот слабый свет, который есть в пространстве. Здесь до меня проехала только одна машина, я иду по ее следу.

Дощечка на планке все еще закрыта полиэтиленом. С маленькой надорванной мной полоской. Набережная, трап и часть палубы очищены от снега. Несколько ящиков переставлено, чтобы освободить место для поддона с красными канистрами. Если не считать снега, канистр и темноты, все так, как вчера.

На борту нет света.

Поднимаясь по трапу, я вспоминаю следы машины. В снегу внутри отпечатков протектора был легкий скос назад. Те следы, по которым я шла, вели к гавани. Следов в обратном направлении не было. Другого пути, чем тот, по которому я шла, от Свайербрюгген нет. Но машины нигде не видно.

Лакированная дверь закрыта, но не заперта. Внутри слабый свет.

Я знаю, что там есть эскимос из стеклопластика. Свет проникает откуда-то из-за ширмы.

На столе стоит маленькая лампа для чтения. За столом, склонив голову набок, сидит профессор и смотритель музея Андреас Лихт и широко мне улыбается.

Когда я обхожу письменный стол, улыбка не покидает его лица.

Он ухватился обеими руками за сидение стула. Как будто для того, чтобы сидеть прямо.

Вблизи я вижу, что его губы растянуты в гримасе. И за стул он вовсе не держится. Его руки привязаны тонкой медной проволокой. Я дотрагиваюсь до него. Он теплый. Я касаюсь пальцами его шеи. Пульса нет. Сердце также не бьется. Во всяком случае, я этого не слышу.

В том ухе, которое с моей стороны, у него вата. Как у маленьких детей с воспалением среднего уха. Я обхожу вокруг, в другом ухе — тоже вата.

Тут мое любопытство иссякает. Я хочу домой.

В это мгновение люк над лестницей закрывается. Это происходит совершенно неожиданно, не было слышно никаких шагов. Он просто тихо и спокойно закрывается. А потом его запирают снаружи.

Потом гаснет свет.

Только сейчас я понимаю, почему в комнате было так мало света. Слепым свет ни к чему. Бессмысленно думать об этом именно теперь. Но это моя первая мысль в темноте.

Я встаю на колени и залезаю под письменный стол. Может быть, это и неразумно. Может быть, это поведение страуса. Но у меня нет никакого желания стоять, возвышаясь в темноте. Внизу я касаюсь лодыжек зрителя. Они тоже теплые. И они тоже привязаны к стулу металлической проволокой.

На палубе над моей головой какое-то движение. Что-то перетаскивают. Я шарю в темноте и нащупываю телефонный провод. Я веду по нему рукой, и вдруг чувствую его конец. Он вырван из телефонной трубки.

Тут заводится двигатель яхты — медленное пробуждение большого дизельного двигателя. Он работает на холостом ходу.

Тогда я выбегаю в темноту. Я когда-то, 24 часа назад, изучила комнату. Так что я знаю, где есть дверь. Я утыкаюсь в переборку прямо рядом с ней. Дверь не заперта. Когда я вхожу, звук двигателя становится слышнее.

В комнате маленькие, высоко расположенные иллюминаторы, выходящие на причал. Через них проникает слабый свет. Эта комната объясняет, как зритель решал проблему транспорта. Он оставался на борту. Здесь для него оборудована спальня. Кровать, ночной столик, встроенный шкаф.

За дальней стенкой должно находиться машинное отделение. Оно изолировано, но все равно слышен приглушенный стук двигателя. В тот момент, когда я пытаюсь посмотреть в иллюминатор, шум превращается в рев. Судно медленно отходит от причала. Включилась передача. Людей не видно. Только удаляющийся черный контур мола.

На берегу загорается огонек. Всего лишь точка света, как будто кто-то зажег сигарету. Огонек становится все ярче и, описывая дугу, летит в мою сторону. За собой он рассыпает хвост искр. Это петарда.

Где-то над моей головой раздается приглушенный взрыв. В следующую секунду я ослеплена. Ужасный, белый отсвет ударяет мне в лицо со стороны мола и воды. В тот же миг огонь забирает весь кислород из воздуха, и я бросаюсь на пол. Мне кажется, что в глаза попал песок,

как будто я дышу в полиэтиленовом пакете, на который кто-то направил фен. Ну, конечно же, это бензиновые канистры. Они залили яхту бензином.

Я ползком добираюсь до двери в то помещение, из которого я сюда попала, и открываю ее. Теперь комната так освещена, что светлее и не бывает. Щиты, закрывавшие верхние окна, сгорели, и комната как будто освещена гигантской лампой дневного света.

На палубе раздается несколько сильных взрывов, и свет снаружи вспыхивает синим, а затем желтым цветом. Воздух наполняется запахом горящей краски на эпоксидной основе.

Я ползу назад в спальню. В ней теперь жарко, как в сауне. На фоне светлых иллюминаторов я вижу, как внутрь начинает проникать дым. Напротив одного из иллюминаторов огонь на минуту исчезает. Башня боевой фабрики светится, как на закате солнца, окна вдоль Исландс Брюгге горят, как расплавленное стекло. Это отсветы того пламени, которое окружает меня.

Затем паутина трещин, возникших от жара, расплзается по стеклу, и больше мне ничего не видно.

Я успеваю подумать о том, горит ли дизельное топливо. Вспоминаю, что это, кажется, зависит от того, насколько велика температура. В тот же миг взлетает на воздух бак с дизельным топливом.

Это не грохот, скорее свист, переходящий в рев, который нарастает и становится самым оглушительным звуком, который когда-либо звучал на земле. Я прижимаю голову к полу. Когда я поднимаю ее, кровати нет. Стена, отделявшая комнату от машинного отделения, исчезла, передо мной — море огня. Посреди этого моря темнеет четырехугольник двигателя с рельефным переплетением труб. Потом он начинает тонуть. Он отламывается от судна. Когда двигатель достигает поверхности воды, он вызывает бурное кипение. Потом он исчезает. Над водой языки горящего топлива плетут ковер из огня.

Корма судна теперь представляет собой открытый выход в сторону Исландс Брюгге. Пока я стою, глядя наружу, все судно медленно разворачивается в сторону от горящего пятна.

Корпус яхты накренился. Вода проникает снизу и наклоняет его назад. Я стою по колено в воде.

Дверь за моей спиной распаивается, и появляется профессор. Крен привел к тому, что кресло на колесиках поехало. Он ударяется в шпангоут поблизости от меня. Потом он проезжает через то, что когда-то было его спальней, и падает в воду.

Я стаскиваю с себя одежду. Замшевое пальто, свитер, туфли, брюки, рубашку, трусы и, наконец, носки. Я пытаюсь нащупать свою шляпу. На голове у меня остался только меховой веночек. Вспышка от двигателя, должно быть, сожгла ее. На руках у меня кровь. На макушке сгорели все волосы.

До набережной Свайербрюгген метров 200. Выбора нет. С противоположной стороны — огонь. Поэтому я прыгаю.

Шок от холода заставляет меня открыть глаза, пока я еще под водой. Все сверкает зеленым и красным цветами, освещенное пламенем. Я не оглядываюсь. В воде, температура которой ниже 6 градусов Цельсия, можно прожить лишь несколько минут. Сколько минут — зависит от тренировки. Пловцы через Ла-Манш были в очень хорошей форме. Они могли проплыть много.

Я нахожусь в очень плохой форме.

Я плыву почти вертикально, так что только губы находятся над водой. Наибольшая сложность — это тяжесть находящейся над водой части тела. Через несколько секунд начинает трясти. Когда температура тела падает с 38 до 36 градусов, вас начинает трясти. Потом дрожь исчезает. Это пока температура падает до 30 градусов. 30 градусов — это критическая точка. В этот момент появляется равнодушие. Тут и замерзают насмерть.

Проплыв 100 метров, я больше не могу выпрямить руки. Я вспоминаю свое прошлое. Это не помогает. Я думаю об Исае. Это не помогает. Вдруг мне начинает казаться, что я больше не плыву, а просто стою на откосе, поддерживаемая сильным встречным ветром, и с таким же успехом можно ничего не предпринимать.

Вода вокруг меня — мозаика из кусочков золота. Я вспоминаю, что кто-то пытался убить меня. Что они стоят сейчас где-то на берегу и поздравляют самих себя. Ну, что, попалась, Смила. Чучело эскимосское.

Эта мысль поддерживает меня на последнем отрезке. Я принимаю решение сделать еще десять гребков. На восьмом я ударяюсь головой в одну из тех тракторных шин, которые служили кранцами у “Северного сияния”.

Я знаю, что мне осталось лишь несколько секунд сознания. Рядом с шиной прямо над водой находится платформа. В отчаянии я как бы пытаюсь криком вытянуть себя на нее. Но не могу издать ни звука. Но я все же вылезаю наверх.

В Гренландии, если человек побывал в воде, он бежит, чтобы не было обморожения. Но там воздух холоден. Здесь же он удивительно мягок, как летом. Сначала я не могу понять, почему. Потом я вижу, что это из-за пожара. Я лежу на платформе. “Северное сияние” теперь находится у входа в гавань — угольно-черный деревянный остов в белом облаке огня.

Я взбираюсь по лестнице, на четвереньках. Причал пуст. Нет никаких следов людей.

Мне хочется остановиться, передохнуть в тепле от горящего судна. Я вижу, как ярко светится моя собственная обнаженная кожа. Вижу маленькие волоски, сожженные дочерна и завивающиеся. Потом я иду. Начинаются галлюцинации, обрывочные, несвязные. Из детства. Цветок, который я нашла, спорыш, с бутончиками. Отчаянное беспокойство о том, есть ли у Эберлайн парча того вида, из которого была сделана моя шляпа. Ощущение того, что ты больна и намочила постель.

Фары автомобиля, но мне все равно. Машина останавливается, и мне это безразлично. Меня во что-то закутывают. Ничто не может меня интересовать меньше. Я ложусь. Я узнаю дырки в крыше. Это маленький “моррис”. Это затылок механика. Он ведет машину.

— Смила, — говорит он. — Смила, черт возьми...

— Замолчи, — говорю я.

У себя дома он укутывает меня шерстяными одеялами и массирует меня, пока не становится совсем больно. Потом он заставляет меня пить чай с молоком, чашку за чашкой. Холод как будто не хочет уходить. Как будто он проник в скелет. В какой-то момент я соглашаюсь на стакан спиртного.

Я немного плачу. Среди прочего от сострадания к самой себе. Я рассказываю ему о тайнике

Исайи. О кассете. О профессоре. О звонке. О пожаре. Мне кажется, что просто мой рот работает, а я сама наблюдаю за всем, стоя где-то в стороне.

Он ничего не говорит.

В какой-то момент он наполняет для меня ванну. Я засыпаю в ванне. Он будит меня. Мы лежим рядом в его постели, погружаясь время от времени в сон. На несколько часов. По-настоящему я согреваюсь только перед самым рассветом.

Уже наступил день, когда наши тела сливаются в объятии. Это, кажется, и не я вовсе.

III

1

Я два раза меняю такси, и выхожу у Фарумвай. Оттуда я иду через Уттерслев Мосе, и сто раз оглядываюсь. Я звоню с Туборгвай.

— Что такое “неокатастрофизм”?

— Почему ты всегда звонишь из этих невыносимых телефонов-автоматов, Смила? У тебя что, нет денег? У тебя отключили телефон? Мне его снова подключить?

Для Морица новогодняя ночь — это праздник всех праздников. Он страдает периодически возобновляющимся самообманом, что можно все начать сначала, что можно на благих намерениях построить новую жизнь. В первый день нового года у него так раскалывается голова, что это слышно по телефону. Даже по телефону-автомату.

— В Копенгагене был семинар по этой теме, в марте 92-го, — говорю я.

Он приглушенно постанывает, пытаясь заставить работать мозг. В действие его мозг приводит только то, что, оказывается, этот вопрос имеет отношение к нему самому.

— Меня приглашали, — говорит он.

— Почему ты отказался?

— Надо было так много всего прочитать.

Он уже много лет говорит, что перестал читать. Во-первых, это ложь. Во-вторых, таким совершенно невыносимым образом он дает понять, что стал настолько умным, что окружающий мир более не может его ничему научить.

— “Неокатастрофизм” — это собирательное понятие. Термин впервые использован Шиндевольфом, в 60-е годы. Он был палеонтологом. Но в обсуждении этой темы принимали участие самые разные естественники. Все они разделяют ту точку зрения, что земной шар — и особенно его биология — развивались не плавно, а скачками. Которые были вызваны огромными природными катастрофами, создавшими благоприятные условия для выживания определенных видов. Падение метеоритов, прохождение комет, вулканические извержения, спонтанные химические катастрофы. Главным пунктом дискуссий всегда был вопрос о том,

происходили ли эти катастрофы регулярно, через определенные промежутки времени. И если они являются регулярными, то что определяет частоту? Была создана международная ассоциация. Их первый семинар состоялся в Копенгагене, в центре “Фальконер”. Открывала королева. Они не скупилась на затраты. Они со всех сторон получают деньги. Профсоюзы дают им деньги, потому что думают, что ведутся исследования катастроф в окружающей среде. Промышленный совет дает им деньги, потому что думает, что уж, во всяком случае, речь не идет о катастрофах в окружающей среде. Исследовательские советы дают деньги, потому что в ассоциации есть несколько имен, которыми надо щегольнуть.

— Фамилия Вид говорит тебе что-нибудь в связи с этим? Тёрк Вид.

— Был композитор, которого, кажется, звали Вид.

— Непохоже, чтобы это был он.

— Ты же знаешь, Смила, я не запоминаю имена.

Это правда. Он помнит тела. Звания. Он может воспроизвести в памяти каждый удар в каждом сыгранном им крупном турнире. Но он постоянно забывает имя своего собственного секретаря. Это симптоматично. Для по-настоящему эгоцентричного человека окружающий мир бледнеет и становится безымянным.

— Почему ты не пошел на этот семинар?

— Для меня это было уж слишком, Смила. Все эти противоборствующие интересы. Вся эта политика. Ты же знаешь, я избегаю политики. Они даже не решились использовать слово “катастрофа”, когда дошло до дела. Они называли это “Центр эволюционных исследований”.

— Ты можешь разузнать, кто такой Вид?

Он делает глубокий вдох, почувствовав внезапно обретенную власть.

— Тогда приезжай ко мне завтра, — говорит он.

Я собираюсь возразить, сказав, что он может послать мне эти сведения по почте. Но испытываю слабость и странную уступчивость. Он это слышит.

— Ты можешь встретиться со мной и Беней завтра в “Саварине”. Это звучит, как приказ, но на самом деле это мгновенно найденный компромисс.

Дверь открывает одна из девочек.

Я буду первым человеком, который согласится с тем, что холодный климат непредсказуем. И, тем не менее, я на мгновение испытываю удивление. На улице пять часов вечера. На безоблачном темно-синем небе проступили первые звезды. Но в доме, вокруг ребенка, идет снег. Тонкий слой снега лежит на рыжих волосах, на плечах, лице, на голых руках.

Я иду за ней. В гостиной повсюду мука. Трое детишек сидят, замешивая тесто прямо на паркетном полу. В кухне стоит их мать и смазывает противни. На кухонном столе сидит маленькая девочка и месит что-то похожее на слоеное тесто. Она пытается добавить в него яичный желток. Пользуясь при этом и руками, и ногами.

— В гостиной разорвался мешок с мукой.

— Понятно, — говорю я. — Пол будет идеально чистым.

— Он в оранжерее. Я запретила ему здесь курить.

В ней есть авторитетная сила, которой обладал по моим детским представлениям Господь Бог. И невозмутимая мягкость, как у Деда Мороза в диснеевском мультфильме. Если захочешь узнать, кто является настоящими героями в мировой истории, посмотри на матерей. В кухнях, с противнями. Пока мужчины в туалете. В гамаке. В оранжерее.

Он стирает пыль с кактусов. В воздухе стоит густой сигарный дым. В руках у него маленькая метелочка, узкая как зубная щетка, но с длинной щетиной, изогнутая, сантиметров 30 в длину.

— Это чтобы не забивались поры. А то они не смогут дышать.

— Если принять во внимание здешние условия, — говорю я, — это, быть может, было бы к лучшему.

У него виноватый вид.

— Моя жена запрещает мне курить поблизости от детей. Он показывает мне окурочек сигары.

— “Ромео и Джульетта”. Классическая гаванская сигара. И вкус у нее чертовски хороший. Особенно последние сантиметры. Когда почти обжигаешь губы. В этом месте она вся пропитана никотином.

Я вешаю свой желтый пуховик на один из белых металлических стульев. Потом снимаю с головы платок. Под ним у меня кусочек марли. Ее я тоже снимаю. Механик промыл рану и смазал ее хлоргексидиновой мазью. Я наклоняю голову, чтобы ему было видно.

Когда я снова поднимаю ее, взгляд его становится суровым.

— Ожог, — говорит он задумчиво. — Вы, наверное, оказались поблизости?

— Я была на борту.

Он моет руки в глубокой стальной раковине.

— Как вам удалось остаться в живых?

— Я выплыла.

Он вытирает руки и возвращается. Трогает рану. Возникает ощущение, что он засовывает руки в мой мозг.

— Она поверхностная, — говорит он. — Вы вряд ли облысеете.

В тот день я позвонила ему в Государственную больницу. Я не представляюсь, да этого и не требуется.

— То судно, которое горело в гавани, — говорю я. — На борту был человек.

Радио сообщало об этом как о самом важном событии. В газетах о нём писали на первой

странице. Фотография была сделана ночью, в свете прожекторов пожарных. Посреди гавани из воды торчат три обуглившиеся мачты. Такелаж и реи исчезли. Но не было никаких сообщений о погибших.

Он говорит медленно, растягивая слова.

— Это правда?

— Мне нужны результаты вскрытия. Он долго молчит.

— Черт побери, — говорит он. — У меня семья, которую я должен кормить.

На это мне нечего сказать.

— Сегодня вечером. После четырех.

Он садится напротив меня и снимает целлофан и поясок с сигары. У него коробка с очень длинными спичками. Одной из них он проделывает отверстие в конической закрытой части сигары. Потом медленно и тщательно зажигает ее.

Раскурив сигару, он упирает в меня свой взгляд.

— А случайно, — говорит он, — не вы убили его?

— Нет, — отвечаю я.

Продолжая говорить, он смотрит на меня так, как будто стремится испытать мою совесть.

— Когда человек тонет, происходит следующее: сначала он пытается задержать дыхание. Когда это становится уже невозможно, он делает несколько сильных и отчаянных вдохов. Тем самым накачивая воду в легкие. При этом в носу и гортани образуются беловатые протеиновые вещества, подобно взбиваемому яичному белку. Это называется пенный грибок. У этого человека — имя которого я, конечно, не должен называть, особенно тому, кто, возможно, замешан в преступлении — у этого человека не было следов такой пены. Во всяком случае, причина смерти не в том, что он утонул.

Он осторожно стряхивает пепел с сигары.

— Он был уже мертв, когда я оказалась на яхте.

Он едва слушает меня. Мыслями он еще находится при вскрытии, сегодня утром.

— Сначала они связали его. Обрывками медной проволоки. Он дьявольски сопротивлялся, но, наконец, они его все-таки связали. Их, видимо, было несколько человек. Он был сильным мужчиной. Пожилым, но сильным. Потом они наклонили его голову набок. Вы знаете едкий натр? Сильно разъедающая щелочь. Один из них держал его за волосы. Вырвано несколько прядей. А потом они в правое ухо накапали едкий натр. Будь я проклят, этак запросто взяли и налили.

Он задумчиво рассматривает сигару.

— В моей профессии неизбежно иногда сталкиваешься с истязаниями. Это сложная тема. Черт побери. Кстати, юридически истязания определяются как действия, совершаемые группой.

Палачу важно найти слабое место жертвы. А этот человек был слеп. Я этого не понял. Мы узнали об этом, только посмотрев его историю болезни. Но им это было известно. Поэтому они сосредоточились на его слухе. Тут, черт возьми, изобретательность, этого у них не отнимешь. Это патология. Но с элементом творчества. Не перестаешь задавать себе вопрос, что же им было нужно.

Я вспоминаю голос зрителя по телефону, то, что мне показалось сдавленным смешком. К этому времени его уже сломали.

— У него в ушах были ватные тампоны.

— Приятно слышать. Их не было, когда его выловили. Но я предполагал, что они должны были быть. Когда обнаружил маленькие ожоги. Дело в том, что в какой-то момент они уже больше не могли получить от него ничего. Уж не знаю, что им там было нужно. И тогда они сделали одну хитрую штуку. Они намочили парочку ватных тампонов, положим, едким натром — он ведь был под рукой. Потом они расщепили провод и присоединили по полюсу к каждому уху. А потом воткнули вилку в розетку. И спокойно включили электричество. Мгновенная смерть. Быстро, дешево, чисто.

Он качает головой. Он врач, а не психолог. Он не может понять того мира, в котором мы живем.

— Несколько настоящих мастеров своего дела, черт бы их побрал. Но если бы новогодние пожелания сбывались, то я бы пожелал: пусть они заплатят за это.

Я открываю глаза около часа ночи. Я то сплю, то просыпаюсь.

Он лежит рядом со мной. На животе, вытянув руки вдоль тела. Во сне одна сторона лица прижата к простыне. Рот и нос слабо подрагивают, как будто он вдыхает запах цветка. Или собирается поцеловать ребенка.

Я тихо лежу, глядя на него так, как раньше никогда не смотрела. Он шатен, в его волосах несколько седых прядей. Волосы густые, как ворс швабры. Когда погружаешь в них пальцы — как будто держишься за гриву лошади.

Там, в постели, ко мне приходит счастье. Не как что-то, принадлежащее мне. А как огненное колесо, катящееся через пространство и мир.

На мгновение мне кажется, что я могу избавиться от этого, что можно просто лежать, ощущая то, что у меня есть, и не желать большего.

В следующую минуту я хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Он должен лежать рядом со мной и завтра. Это мой шанс. Мой единственный, мой последний.

Я сбрасываю ноги на пол. Теперь я в панике.

Именно этого я 37 лет старалась избежать. Я систематически упражнялась в том единственном, чему в этом мире следует учиться — в умении отказываться. Я перестала надеяться на что бы то ни было. Когда упражнения в смирении станут олимпийским видом спорта, я попаду в национальную сборную.

Я никогда не могла быть снисходительной к чужим любовным страданиям. Я ненавижу их слабость. Я вижу, как они находят мужчину под радугой. Я вижу, как у них появляются дети,

как они покупают детскую коляску “Силвер Кросс Роял Блю”, как они ходят гулять по набережной в лучах весеннего солнца, как они снисходительно смеются надо мной и думают: бедняжка Смила, она не знает, чего она лишена, она не знает, какова жизнь у нас, имеющих грудных детей и закрепленное на бумаге право друг на друга.

Четыре месяца спустя собирается на вечеринку их старая группа по подготовке к родам, и у ее дорогого Фердинанда случается рецидив, и он раскладывает несколько полосочек на зеркальце, и она находит его в ванной, где он валяется в обнимку с одной из других счастливых матерей и она за наносекунду превращается из большой, гордой, независимой и неуязвимой мамы в духовного карлика. Одним махом она опускается до моего уровня и ниже его и становится насекомым, дождевым червем, сколопендрой.

И тут меня извлекают на свет белый, стряхивая с меня пыль. И я должна слушать, как тяжело быть разведенной матерью-одиночкой, как они подрались, когда делили стереоустановку, как всю ее молодость высасывает из нее ребенок, который превратился теперь в машину, использующую ее и ничего не дающую взамен.

Я никогда не хотела этого слушать. Что это вы, черт возьми, вообразили себе? — говорила я. Вы что, думаете, я редактор отдела писем в женском журнале? Вы думаете, я дневник? Автоответчик?

Есть одна вещь, которая запрещена во время санных переездов, это — хныкать. Нытье — это вирус, смертельная, инфекционная, распространяющаяся как эпидемия болезнь. Я не хочу его слышать. Я не хочу обременять себя этими безудержными проявлениями эмоциональной ограниченности.

Именно поэтому мне сейчас становится страшно. Здесь, в его комнате, рядом с его кроватью, я кое-что слышу. Это идет изнутри меня, и это хныканье. Это страх потерять то, что мне дано. Это отголосок всех тех любовных историй, которые я никогда не хотела слушать. Теперь кажется, будто они все внутри меня.

Но меня еще можно спасти. Я могу собрать всю свою одежду и взять ее под мышку. Мне даже не надо тратить время на то, чтобы одеться. Я могу просто выйти и взбежать вверх по лестнице. В своей квартире я уложу самое необходимое, или могу даже и этого не делать, позвоню в фирму, которая занимается перевозками, сделаю заказ, чтобы мои вещи перевезли, упаковав их, а потом положу деньги в один карман, пленку Исаяи в другой и перееду в гостиницу, так что меня не будет, когда он проснется, и мне никогда больше не придется смотреть в его глаза.

Он открывает глаза и смотрит на меня. Он лежит совсем неподвижно и пытается понять, где он. Потом он улыбается мне.

Я вспоминаю, что я голая. Я поворачиваюсь спиной к нему и боком иду к моей одежде. Он сложил ее для меня так, как ее никогда не складывали с тех пор, как она была куплена. Я надеваю нижнее белье. Стыдливость — это часть человеческого естества. Меня тошнит от представления европейцев о том, что они могут решить проблемы своих собственных выдуманных сексуальных неврозов, выставляя мясо на показ и рассматривая его под микроскопом.

Я иду в гостиную. Я не представляю, что мне с собой делать.

Он приходит через минуту. На нем боксерские шорты. Они белые, доходят до колен, и

громадные, как будто сшиты из пододеяльника. Он похож на полуодетого игрока в крикет.

Я вижу сейчас и вспоминаю, что видела это вчера — вокруг запястий и лодыжек у него узкие, темные полосы. Это шрамы. Я не хочу его ни о чем спрашивать.

Он подходит и целует меня. Хотя мы ни одной секунды не были пьяными, можно смело сказать, что это наше первое трезвое объятие.

Только сейчас я вспоминаю вчерашний день. Но так отчетливо, будто отсветы пожара сейчас, прямо сейчас, видны на стенах квартиры.

Мы вместе накрываем на стол. У него есть центрифуга для отжимания сока. Он отжимает яблочный и грушевый сок в высокие стаканы. Яблочный сок зеленый с красноватым оттенком, грушевый — желтоватый. В первые минуты. Потом они начинают менять вкус и цвет.

Мы почти ничего не едим. Мы выпиваем немного сока и смотрим на фарфор и масло, и сыр, и поджаренный хлеб, и варенье, и изюм, и сахар.

В гавани тихо, на мосту почти нет машин. Сегодня выходной день.

Он в нескольких метрах от меня, но мне кажется, что он так близко, как будто наши тела все еще сплетены.

Я целую его на прощание и поднимаюсь к себе, в одном белье, взяв под мышку свою одежду, и мы за все утро так и не обменялись ни словом.

У себя я не иду в ванную. Можно найти множество причин, чтобы не мыться. В Кваанааке одна мать не мыла левую щеку своего ребенка в течение трех лет, потому что ее поцеловала королева Ингрид.

Я одеваюсь и иду в автомат на площади. Оттуда я звоню в Государственный центр аутопсии Института судебной медицины при Государственной больнице и спрашиваю, могу ли я поговорить с доктором Лагерманном.

Он проветрил в оранжерее. Оказывается, это для того, чтобы было достаточно кислорода для следующей сигары. Но на короткий миг появляется свежий воздух и прохлада.

— Ваши кактусы переносят свежий воздух?

Ирония не приносит особенных дивидендов при общении с Лагерманном.

— В Сахаре, в низинах у Нигера, по ночам бывает минус семь градусов. Днем на солнце температура доходит до 50 градусов. Это самый большой суточный перепад температуры на Земле. Случается, что пять лет подряд нет дождя.

— Но дышит ли там кто-нибудь на них через сигару? Он вздыхает.

— В доме мне нельзя курить из-за семейства. Здесь меня обижают гости.

Он кладет сигару назад в коробку. Плоскую деревянную коробку, на которой изображен Ромео, целующий Джульетту на балконе.

— А теперь, — говорит он, — мне, черт побери, хотелось бы получить объяснение.

Надо собраться с мыслями. Но они вертятся вокруг поцелуя на коробке.

— Вы знакомы с “Элементами” Эвклида? — спрашиваю я.

И все подробно ему рассказываю. О смерти Исайи. О полиции. О Кри-олитовом обществе “Дания”. Об Арктическом музее. Кое-что о механике. Об Андреасе Лихте.

Как только я начинаю, он забывается и достает сигару из коробки.

На мой рассказ уходит две сигары.

Когда я кончаю говорить, он отходит, как будто для того, чтобы создать дистанцию между нами. Медленно бродит он по узеньким коротким дорожкам между растениями. У него есть привычка выкуривать последние миллиметры сигары, так что он, в конце концов, держит огонек между пальцами. Потом он роняет последние крошки табака в клумбы.

Он подходит ко мне.

— Я нарушил обещание хранить врачебную тайну. Я совершу уголовно наказуемый поступок, если я скрою от полиции то, что вы мне рассказали. Я оказываюсь против одного из самых влиятельных ученых Дании, следователей прокуратуры, начальника полиции. Людей увольняли за то, что они только подумали о половине того, что я уже сделал. А мне надо кормить семью.

— А кактусы надо поливать, — говорю я.

— Но на кой хрен детям такой отец, который позволит откусить кусок своей задницы, лишь бы его не лишили работы.

Я молчу.

— Есть же и другие достойные способы зарабатывать деньги, не обязательно быть врачом. Моя бабушка была еврейкой. Я бы мог убирать туалеты на Еврейском кладбище.

Он размышляет вслух. Но он уже принял решение.

В кухне он останавливается.

— Когда проводились экспедиции? Сколько они продолжались? Я сообщаю ему эти сведения.

— Наверное, можно было бы что-нибудь узнать из судебно-медицинских заключений тех лет.

Первые булки достают из духовки. Одна из них сделана в виде голой женщины. Они выложили из изюминок соски и треугольник волос.

— Смотри, — говорит мне маленький мальчик, — это ты.

— Да, — говорит другой, — разденься, чтобы мы посмотрели, похоже или нет.

— Замолчите, — говорит Лагерманн. Он помогает мне надеть пальто.

— Моя жена считает, что ни при каких обстоятельствах нельзя давать детям затрещины.

— В Гренландии, — говорю я, — тоже никогда не бьют детей. У него разочарованный вид.

— Но ведь, черт возьми, всякий человек может почувствовать искушение.

Механик стоит перед домом. Мужчины пожимают друг другу руки. Пытаясь приблизиться друг к другу, судмедэксперт устремляется вверх, а механик прижимается к земле. Они встречаются где-то посередине — сцена из немого фильма, исполненная неловкости и замешательства. Опять напрашивается извечный вопрос, почему мужчины столь негармоничны, как получается, что они у стола при вскрытии тела, на кухне, в собачьей упряжке, могут быть виртуозными эквилибристами, и в то же время впадают в инфантильную беспомощность, когда надо подать руку незнакомому человеку.

— Лойен, — говорит Лагерманн.

Он поворачивается боком к механику, как бы с тем, чтобы не вовлекать его в разговор. Последняя, неудачная попытка сохранить профессиональный такт и не поставить под удар коллегу.

— Он пришел рано утром. Он может приходить, когда пожелает. Но его видел вахтер. Я проверил по рабочему плану — у него не было никаких других оснований, чтобы приходить. Он взял ту биопсию. Не смог удержаться, черт возьми. Вахтер говорит, что одновременно там были уборщицы. Может быть, поэтому он был так неаккуратен.

— Как он узнал о смерти мальчика? Он пожимает плечами.

— В инг.

Это механик. Лагерманн неприязненно смотрит на него.

— В-винг. Юлиана позвонила ему. А тот, наверное, позвонил Лойену.

Его маленький “моррис” стоит на улице. Мы сидим молча. Когда он начинает говорить, он страшно заикается.

— Я поехал за тобой сюда. Остановился у Туборгвай и увидел, как ты пошла через Уттерслев Мосе.

Незачем спрашивать, почему. В каком-то смысле мы с ним одинаково напуганы.

Я расстегиваю одежду, сажусь верхом на него, и принимаю его в себя. Мы долго сидим так.

Он наклеивает скотч на мою входную дверь. У него есть такая белая, матовая лента, которой пользуются художники-графики. Он ножницами вырезает две тоненькие полосочки и приклеивает их у верхней и нижней дверных петель. Они не заметны. И только если знать, где они должны быть, их хорошо видно.

— Хотя бы на эти дни. Каждый раз, прежде чем войти, проверяй, на месте ли они. Если они отстали, жди, пока я не подойду. Но лучше ходить сюда поменьше.

Он старается не смотреть на меня.

— Если ты ничего не имеешь против, ты могла бы пока что пожить у меня.

Так и не становится ясно, что же скрывается за этим “пока что”.

В университете было распространено множество забавных этнологических клише. Одно из них состояло в том, что европейская математика в большом долгу перед древними культурами, возьмите хотя бы пирамиды, геометрия которых вызывает уважение и восхищение.

Это, конечно же, идиотизм в виде похлопывания по плечу в знак одобрения. В той действительности, границы которой устанавливает технологическая культура, она суверенна. Семь-восемь элементарных правил египетских землемеров — это все равно, что счеты по сравнению с интегральным исчислением.

Жан Малори пишет в книге “Последние короли Туле”, что серьезным аргументом в пользу изучения этих интересных полярных эскимосов является то, что таким образом можно кое-что узнать о переходе человека от стадии неандертальца к человеку каменного века.

Все это написано с некоторой любовью. Но это исследование — пособие по изучению завуалированных предрассудков.

Любой народ, если его оценить по шкале, установленной европейскими естественными науками, будет представлять собой культуру высших обезьян.

Выставление оценок бессмысленно. Любая попытка противопоставить друг другу культуры, с целью определить, какая из них является более развитой, всегда будет оставаться всего лишь еще одним дерьмовым отражением ненависти западной культуры к своим теням.

Существует единственный способ понять другую культуру. Жить в ней. Переехать в нее, попросить, чтобы тебя терпели в качестве гостя, выучить язык. В какой-то момент, возможно, придет понимание. Это всегда будет понимание без слов. Когда удастся понять чужое, исчезает потребность объяснять его. Объяснить явление — значит отдалиться от него. Когда я начинаю говорить о Кваанааке, самой себе или другим, я снова теряю то, что на самом деле никогда мне и не принадлежало.

То же самое происходит и сейчас, когда я сижу на его диване, и у меня возникает желание рассказать ему, из-за чего я привязана к эскимосам. Это из-за их способности понимать, без тени сомнения, что жизнь наполнена смыслом. Из-за того, как они в своем сознании, не разрушая себя и не пытаясь найти упрощенное решение, мирятся с напряжением от несовместимых противоречий. Из-за их короткого, очень короткого пути к экстазу. Потому что они могут, встретив своего ближнего, воспринимать его таким, каков он есть, не пытаясь оценивать его, а их ясность не отягощена предрассудками.

Я чувствую потребность сказать ему все это. Эта потребность растет во мне. Я чувствую, как она давит мне на сердце, на шею, на лоб. Я знаю — это потому, что я в это мгновение счастлива. Ничто не развращает больше, чем счастье. Оно заставляет нас думать, что если у нас сейчас может быть все это, то и наше прошлое может стать общим. Если у него достаточно сил, чтобы принять меня нынешнюю, он может вместить в себя и мое детство.

Я гоню это чувство прочь. Оно давит. Но вот оно поднимается и исчезает сквозь потолок, и он никогда не заподозрит, что оно существовало.

Он жарит бананы. Держит их в духовке, пока кожура не почернеет. За это время поджаривает лесные орехи. На ростере. Он уверяет меня в том, что т-так они р-равномернее об-бжариваются.

Не возникает никакого желания смеяться. Он торжественен, как священник. Он надрезает бананы. Они желтые и вязкие. В разрез он наливает вересковый мед и несколько капель ликера.

Для меня мир мог бы застыть в этот момент. Никто ничего не должен больше говорить.

Он вытирает губы салфеткой. Чувственные губы и большой рот. Немного полная верхняя губа.

— Они отправляются туда в 66-ом. Потом перерыв в 25 лет. Потом они снова едут туда. Потом они сидят тихо полтора года. Потом погибает Барон. Потом вмешивается полиция. Потом горит музей.

Каждый из нас хочет, чтобы другой закончил эту мысль.

— Все как бы приходит в движение, Смила.

— Да, — говорю я.

— Они снова собираются туда. Зима — подходящее время для подготовки. Так, чтобы можно было отплыть ранней весной.

Именно об этом я и сама думала.

— Но к-как они это сделают? Они не могут организовать поездку, судно и оборудование через “Криолитовое общество”. Потому что оно почти ликвидировано.

Я хочу посмотреть на звездное небо, поэтому я выключаю свет. Проникающие снаружи отблески здесь немного другие, чем в моей квартире.

— Лойен, Лихт, Винг, — говорю я. — Они обнаружили это. Что бы это ни было. Возможно, еще в Гамбурге. Они организовали первые поездки. Но сейчас они постарели. Им бы это было не под силу. И кто-то убил Лихта. За этими тремя скрывается что-то другое, что-то большее, что-то более жестокое.

Он подходит ко мне и обнимает меня. Я могу прислониться своим затылком к его подмышке.

— Им нужно судно, — говорит он задумчиво. — У меня есть друг, который кое-что знает о судах.

Мне хочется задать ему вопрос, чтобы узнать что-нибудь из того, чего я о нем не знаю. Но я этого не делаю.

— Я была в Комитете по регистрации промышленных предприятий и компаний. У “Геоинформ” три человека в правлении.

Я называю три имени. Он качает головой. За окном сейчас как раз видно созвездие Плеяды. Я показываю на него.

— Плеяды. На моем языке они называются qiluttuusat.

Он произносит это медленно и старательно. Так, как он готовит еду. В его дыхании ароматы и пряности. От него пахнет орехами, поджаренными в ростере.

Стоя на полу в спальне, мы снимаем друг с друга одежду.

В нем есть легкая, неуклюжая грубость, которая несколько раз заставляет меня подумать, что сейчас это будет стоить мне рассудка. В нашей рождающейся близости я побуждаю его открыть маленькую щель в головке члена, так что я могу ввести туда клитор и трахнуть его.

2

Сначала мы оказываемся в кают-компании. Иллюминаторы сделаны из латуни, стены и потолок — из красного дерева. На креслах — подушки из светлой кожи, кресла привинчены к полу латунными шурупами и снабжены прикрепленными при помощи карданного подвеса бронзовыми держателями для стаканов с виски, и к тому же настолько глубоки, что и во время арктического тайфуна в них можно было бы сидеть, наслаждаясь звоном кубиков льда в тройном “лафруа”.

Следующее помещение — это 25-метровый променад в направлении хода, снова мимо красного дерева и полированных иллюминаторов, мимо корабельных часов и крепко привинченных к полу массивных столов, где десяток человек работают так, как будто все должно быть свернуто через 30 секунд. Женщины набирают что-то на компьютерах, мужчины говорят сразу по трем телефонам, а потолка не видно за облаком сигаретного дыма и суеты.

Следующее помещение — кабинет секретаря. Там сидит дама средних лет, подкрашенная, в блузке с кружевами, сшитом на заказ пиджаке и такими руками, как будто ее наняли на работу кузнецом. Она могла бы испугать меня, если бы со мной не было механика.

Он ее знает. Они здороваются за руку, и со стороны это выглядит так, будто они собираются помериться силой. Мы идем дальше в каюту капитана. По пути мы проходим мимо стендов с моделями танкеров, из тех, где команда, пока переберется с носа на корму, должна трижды разбивать лагерь.

Иллюминаторы здесь размером с крышку колодца и находятся ниже, так что видны кусты в маленьком скверике на Санкт-Анне-Плас. Это напоминает нам о том, что, будучи самым отвратительным примером экстравагантности внутренней отделки, с которым я когда-либо сталкивалась, все это морское надувательство находится на третьем этаже дворца, задний фасад которого смотрит на Амалиенбург.

За письменным столом, по краю которого сделан бордюр, чтобы позолоченные шариковые ручки не скатывались на пол во время воображаемого морского волнения, сидит мальчик, которому на вид не больше четырнадцати лет, недавно прошедший обряд конфирмации, с приглаженными волосами песчаного цвета и веснушками на носу.

Когда он начинает говорить, у него оказывается тонкий, светлый альт, полный достоинства.

— Я хорошо знаю, что ты хочешь сказать, дорогая моя, ты хочешь сказать: “Где твой папа, дружок, потому что это с ним мы пришли поговорить”. Но ты ошибаешься. В следующем месяце мне исполняется 33 года. Если меня по ошибке убьет какой-нибудь маньяк — охотник за детишками, то моей жене и моим троим детям останется 25 миллионов, когда будет продана эта лавочка.

И он подмигивает мне.

Его зовут Бирго Ландер. Он друг механика. Он владелец и директор своей собственной судоходной компании. Его воспитание проходило во всех датских воспитательных учреждениях, он сирота, богат, свободен от угрызений совести, страдает дисграфией в еще большей степени, чем механик, он пьет, имеет пристрастие к азартным играм, у него такая внешность, что он мог бы в транспорте ездить по детскому билету, если бы это не было излишним, так как у него есть сделанный по индивидуальному заказу “ягуар”.

Кое-что из этого я и вся Дания знаем из журналов и газет. Остальное мне по пути сюда рассказал механик.

Он обеими руками берет руку механика. Он ничего не говорит, но смотрит на него так, как будто вновь обрел давным-давно пропавшего старшего брата. Потом мы садимся. Механик отодвигает свой стул немного назад, выходя из разговора. Объяснять должна я.

— Если я хочу нанять судно водоизмещением примерно 4 000 тонн, чтобы перевезти груз, о котором я не хочу никому ничего говорить, в место, о котором я тоже не хочу ничего сообщать, как мне себя вести? И если я уже нахожусь в процессе поисков нужного корабля, может ли кто-нибудь посторонний отследить мои попытки?

Он встает. На нем ковбойские сапоги с высокими каблуками. Они не особенно прибавляют ему роста. Из шкафа на стене он достает литровую бутылку прозрачной фруктовой водки. Мы с механиком отказываемся. Он наливает себе водку в высокий, цилиндрический стакан для воды.

По всей комнате распространяется запах свежих груш. Он отпивает. Семь раз подряд. Потом смотрит на меня, чтобы проверить, произвело ли это на меня впечатление.

— Я пьян с десяти утра, — говорит он. — И у меня есть на это деньги. Глаза у него мутные, но голос ясный.

— Если бы ты попыталась найти судно, то посторонний мог бы тебя обнаружить. Но только если бы он дружил с судовым маклером. Ты, милая моя, теперь дружишь.

В каком-то смысле мне он уже нравится. Брошенный ребенок, который никогда не умел вести себя и у которого вообще-то и не было никакого желания научиться этому.

В ящике стола он находит тысячекроновую бумажку и кладет её на стол.

— Во всем есть лицевая сторона и обратная. Обычно они одинакового размера.

Он ласково поворачивает купюру.

— Но в судоходном деле все так хитро устроено, что обратная сторона гораздо больше лицевой.

Он резко взмахивает рукой.

— Лицевая сторона — это контора в дорогом районе. Это все то красное дерево и те анфилады комнат, через которые вы прошли по пути сюда.

Он постукивает себя по голове, на которой растут редкие волосы.

— Обратная сторона, она здесь. Судно не “нанимают”, моя милая. Судно “фрахтуют”. У судовладельца. Это делается при помощи контракта. В таком контракте есть лицевая сторона,

которая — если что-то будет не в порядке — могла бы быть представлена в Морском торговом суде. На этой лицевой стороне написано, куда плывет судно и что оно везет.

Он отхлебывает водку.

— Но ведь ты ничего не хочешь сообщать о месте назначения и грузе. Поэтому ты просишь сделать контракт, где вместо пункта назначения будет написано — “По всему миру”, а вместо характеристики груза — “Без описания”. Это желание огорчит любого судовладельца. Корабли — это все равно, что дети. Хочется знать, где они играют. Хочется, чтобы они не попадали в дурную компанию. Но нет такого горя, от которого нельзя было бы откупиться. Поэтому ты предлагаешь, чтобы было разработано так называемое sideletter — дополнение к контракту. В датском судоходстве множество дополнений к контрактам. Почти все датские судоходные компании в последние 15 лет возили уголь из Южной Африки и амуницию на Ближний Восток. Хотя это и противоречит законодательству. Это требует метровых дополнений к контрактам. И их не надо представлять в Морской торговый суд. Они так же чувствительны к свету, как и непроявленная фотопленка. Такое дополнение ты и просишь составить. Там написано, что ты выплатишь судоходной компании своего рода премию за то, чтобы она смогла продолжать быть деликатной и ничего не разглашающей барышней. Давай сыграем в игру. Предположим, что я судовладелец, у которого ты хочешь зафрахтовать судно. 98 процентов всех сделок в этой сфере проходят с глазу на глаз. И сейчас ты расскажешь дяде Бирго, с глазу на глаз, куда же на самом деле должен отправиться твой кораблик.

— К западному побережью Гренландии.

— Это осложнит ситуацию для того, кто хочет зафрахтовать судно, и облегчит задачу тому, кто хочет проследить за этим делом. Чтобы совершать рейсы в Гренландию, судно должно быть ледового класса. Корабельный надзор в Дании требует, чтобы все суда проходили проверку соответствия классу раз в четыре года в отношении корпуса и раз в год на предмет оборудования и машин. Если судно не пройдет проверку, то оно вообще не выйдет в море. С прошлого года установлены требования, что для плавания в Гренландию судно должно иметь двойное дно и двойные борта.

— А команда?

— Обычно судно фрахтуют с командой. В противном случае обращаются к одной из международных фирм, которые ничем другим не занимаются — только укомплектовывают суда командой. Но в этом конкретном случае, скорее всего, выберут bare boat charter. То есть будет нанято судно и ничего другого. Тогда сначала находят капитана. Это должен быть особенный человек, которого можно отвести в сторону и, наполнив бокалы, рассказать ему, что его зарплата в этом случае будет несколько выше обычной. В обмен на это потребуется весь его такт и деликатность. Вместе с ним находят остальную команду. Для судна водоизмещением в 4 000 тонн она будет состоять из 11-12 человек.

Тут я вынуждена обратиться к нему с просьбой. Просить всегда трудно.

— Если бы какой-нибудь клиент пытался зондировать почву, чтобы найти такое судно и такого капитана, мог бы ты это узнать, дядя Ландер?

Он печально смотрит на меня.

— Заголовок наверху, на первой странице, отражающий все, что происходит в этой отрасли,

гласит All negotiations what so ever to be kept strictly private and confidential. <Любые переговоры должны носить частный характер при соблюдении полной конфиденциальности (англ)> Судходство — одна из самых конфиденциальных отраслей в мире.

Он торжественно поднимает свой стакан. И подмигивает мне.

— Но для тебя, мой пусик, я пойду на крайности. Он смотрит на механика, а затем на меня.

— Если я могу тебя так называть?

— Ты можешь, — говорю я, — называть меня так, как это придет тебе в твою сморщенную головку.

Он моргает. Он настолько отвык получать отпор, что забыл, какие ощущения возникают при этом.

На мгновение он закрывает лицо руками, чтобы собраться с мыслями.

— Этот бизнес не очень хорошо выглядит на поверхности. Но с обратной стороны он полон того, что называют этикой. И два основных правила таковы: Никогда не обманывают клиента. Никогда не обманывают другого посредника.

Он сглатывает. Нам открывается его жизненная философия.

— Можно надрать государство и власти, если представится такая возможность. С невозмутимой улыбкой нарушают валютное законодательство Оле Есперсена, едут в Кейптаун с чемоданом, где лежит миллион наличными, чтобы подкупить какого-нибудь бушмена — начальника порта, который задерживает танкер водоизмещением в 500 000 тонн на рейде под предлогом карантина. Покупают пять компаний в год в Панаме по 1 000 долларов штука, чтобы избежать плавания под датским флагом и по датскому законодательству. Груз, у которого аллергия на таможенную, направляют в испанский порт, где купили местного таможенника, чтобы он заново выписал счет-фактуру на ваши ящики. Но клиента не обманывают. Потому что клиенты возвращаются. И в первую очередь не обманывают посредника. Мы, маклеры, держимся вместе. Ведь все происходит таким образом: у меня есть клиент, у которого есть судно, у тебя есть клиент, у которого есть груз, и мы их сводим. В следующий раз все наоборот. Судовой маклер живет благодаря другим маклерам, которые живут благодаря другим маклерам...

Он растроган.

— Это большое братство, милая моя.

Сделав глоток, он выжидает, пока голос не начнет его слушаться.

— Это означает, что у нас есть своя сеть. Мы знаем всех маклеров от Гваделупы до Огненной Земли, от Рангуна до Гебридов. И мы общаемся друг с другом. Короткие разговоры, и когда проговоришь несколько лет, и если имеешь нюх, то можно, наконец, зарабатывать по 100 000 крон каждый раз, когда хватаешь телефонную трубку и открываешь рот. В каждом крупном порту у Ллойда и других крупных компаний есть наблюдатель, который сообщает о прибытиях и отплытиях. И ведь постепенно узнаешь наблюдателей. Если кто-то попытался нанять судно ледового класса водоизмещением 4000 тонн, чтобы перевезти тайный груз в тайное место, и если тебя интересует, кто и как, то ты обратилась по адресу, моя милая. Потому что дядя

Бирго выяснит это для тебя.

Мы встаем. Он протягивает руку над столом.

— Приятно было познакомиться, моя милая. Он действительно так думает.

Мы проходим мимо кружевной блузки. В следующем помещении я останавливаюсь.

— Я кое-что забыла.

Он сидит за письменным столом. Он все еще хихикает себе под нос. Я подхожу к нему и целую его в щеку.

— Что скажет Фойл? — спрашивает он. Я подмигиваю ему.

— All negotiations what so ever to be kept strictly private and confidential.

Раз в два дня Мориц забирает Бенью после дневных репетиций, и они вместе обедают в “Саварине” в Ньюхауне.

Мориц ходит туда из-за их кухни, и потому что цены стимулируют его чувство собственного достоинства, и потому что ему нравится то, что через стеклянные окна высотой во весь фасад здания хорошо видно людей на улице. Бенья ходит с ним, потому что она знает, что через те же самые окна она хорошо видна людям на улице.

У них постоянный столик у окна, и постоянный официант, и они всегда едят одно и то же. Мориц заказывает бараньи почки, а Бенья — вазочку с таким кормом, который обычно дают кроликам. Неподалеку от них сегодня сидит семейство, которому удалось незаметно протащить с собой маленького ребенка в этот вообще-то защищенный от детей уголок. Мориц смотрит на ребенка.

— Ты так и не подарила мне внуков, — говорит он мне.

— Маленькие дети пахнут мочой, — говорит Бенья. Мориц смотрит на нее с удивлением.

— Бараньи почки тоже пахнут мочой, — говорит он. Я думаю о механике, который ждет меня в машине.

— Ты не хочешь присесть, Смила?

— Меня ждет один человек.

Через окна Бенье видно “моррис”, но не видно того, кто в нем сидит.

— Похоже, что этот человек твоего же возраста, — говорит она. — Ему где-то за сорок. Если судить по его шикарному автомобилю.

Если я отвечу, это заденет Морица. Поэтому я пропускаю это мимо ушей.

Я прислоняюсь к столу. Так было всегда. Бенья и Мориц уютно сидят, откинувшись в креслах. Они здесь, как дома. Я стою в верхней одежде и чувствую себя так, будто пришла с улицы, чтобы продать им что-нибудь.

У Морица в руках два конверта. Один из них серый, и на нем пятна, похожие на красное вино.

Мы оба молчим, и он пытается с помощью конвертов заставить меня сесть за стол. Ему это не удается.

— Мне это неприятно, — говорит он. Я не понимаю, что он имеет в виду.

— Вид — это не совсем простое имя. Был такой композитор, Йонатан Вид. Я позвонил Виктору Халькенваду.

Беня поднимает голову. Это имя даже она слышала.

— Я не знала, что он еще жив.

— Да я тоже не уверен в том, что это жизнь.

Он протягивает мне конверт. Я подношу его к носу. Пятно от красного вина. Мориц засовывает палец за край свитера и проводит им вдоль воротника.

— Это было неприятно. Он очень сдал. В какой-то момент он швырнул трубку. Я не успел закончить фразу. Но он все-таки написал мне.

Очень редко появляется возможность увидеть Морица смущенным. Сейчас как раз такой редкий случай. Только в машине я понимаю, в чем тут дело.

Он догоняет меня в дверях.

— Ты забыла вот это. Это другой конверт.

— Одна вырезка о Тёрке Виде. Из “Датского пресс-бюро”.

Эта фирма, клиентом которой он является, собирает вырезки из газет. Они собирают упоминания в печати о нем самом.

Он хочет дотронуться до меня. И не решается. Хочет что-то сказать. И не может.

В машине я читаю письмо вслух. Почерк с трудом можно разобрать. “Йорген, жалкий подмастерье цирюльника”. Механик выглядит озадаченным.

— Первое имя моего отца Йорген, — говорю я. — А Виктор всегда был раздражителен.

Последний раз я видела его, должно быть, лет 15 назад. Оперный театр выделил ему за заслуги квартиру на Сторе Канникестрэде. Он сидел в кресле, стоящем у рояля. Он был в халате, в другой одежде я его никогда не видела. У него были голые опухшие ноги. Я не знаю, мог ли он еще ходить. Он, должно быть, весил больше 150 килограммов. Все с него свисало. Смотрел он на меня, а не на Морица. Под глазами у него были не то что мешки — это были настоящие гамаки.

— Я не люблю женщин, — сказал он. — Сядь-ка подальше. Я отсела дальше.

— Ты была такой милой в детстве, — сказал он. — Это время прошло. Он подписал конверт от пластинки и протянул ее Морицу.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал он. — Ты думаешь, что вот, этот старый идиот записал еще одну пластинку.

Это была «Gurrelieder». У меня все еще хранится та пластинка. Запись эту по-прежнему невозможно забыть. Иногда я думаю, что тело, само наше физическое существование ставит предел тому, насколько сильную боль может вынести душа. И что Виктор Халькенвад на этой пластинке подходит к этому пределу. Так что все мы теперь можем, слушая, почувствовать это вместе с ним, и при этом нам самим не надо проделывать тот же путь.

Даже если вы, как и я, ничего не знаете об истории европейской культуры, вы можете ощутить, что в этой музыке, на этой пластинке наступает конец света. Вопрос — пришло ли что-нибудь ему на смену. Виктор полагал, что нет.

"Я посмотрел в своем дневнике. Это все, что осталось от моей памяти. Последний раз ты навещал меня десять лет назад. Позволь сообщить тебе, что у меня болезнь Альцгеймера. Даже такой дорогой врач, как ты, должен знать, что это значит. Каждый день уничтожает кусочек моего мозга. Скоро, я, слава Богу, даже не смогу вспомнить всех вас, предавших меня и самих себя".

Его пение воздействовало именно своим равнодушием. Когда звучал его голос, трепетный, готовый разорваться, невыносимо наполненный романтикой и ее ощущениями, была в нем какая-то отстраненность, что-то, посылавшее все к чертовой матери.

"Мы с Йонатаном вместе учились в Консерватории. Мы поступили в 33-м году. В тот год, когда Шёнберг обратился в иудаизм. В год, когда горел Рейхстаг. Это было вполне в духе Йонатана — он всегда хреново выбирал время. Он сочинил произведение для восьми поперечных флейт и назвал его "Серебряные полипы". Прямо в разгар идиотских послевоенных предрассудков в Дании, когда сам Карл Нильсен считался чересчур вызывающим. Он написал гениальный концерт для фортепьяно с оркестром. В рояле предполагалось положить на струны старые железные кухонные конфорки, потому что это давало совершенно уникальный звук. Это произведение так и не было исполнено. Никогда, ни единого раза. Он женился на женщине, о которой даже я не мог сказать дурного слова. Ей было чуть больше двадцати, когда у них родился мальчик. Они жили в Брёнсхойе, квартале, которого уже больше нет. Садовые сараюшки, покрытые рифленным железом. Я бывал у них там. Йонатан не зарабатывал ни гроша. Мальчишка был заброшен. Драная одежда, покрасневшие глаза, велосипед ему так никогда и не смогли купить, его колотили в местной пролетарской школе, потому что он был слишком слаб от голода, чтобы защищаться. А все потому, что Йонатан должен был быть великим художником. Все вы предали своих детей. И такой старый хрен как я, должен вам это объяснять".

Механик остановил машину у тротуара, чтобы слушать.

— Сараи в Брёнсхойе, — говорит он. — Я их помню. Они были за кинотеатром.

"Он порвал все контакты со мной. Я слышал, что они в какой-то момент оказались в Гренландии. Она поехала туда работать учительницей. Кормила семью, пока Йонатан сочинял для белых медведей. После их возвращения я один раз навестил их. Сына я тоже видел. Красив, как Бог. Какой-то ученый. Холоден. Мы говорили о музыке. Он все время спрашивал о деньгах. Неизлечимая болезнь. Как и у тебя, Мориц. Десять лет ты не был у меня. Чтоб ты задохнулся в своем богатстве. В мальчике тоже было какое-то упрямство. Как в Шёнберге. Додекафоническая музыка. Чистое упрямство. Но Шёнберг не был холоден. Мальчик был из льда. Я устал. Я начал мочиться в постель. Ты можешь это слушать, Мориц? Твой черед тоже когда-нибудь придет".

Подпись он не поставил.

Вырезка во втором конверте — это просто газетная заметка. Полиция в Сингапуре 7 октября 1991 года задержала датчанина Тёрка Вида. Консульство от имени Министерства иностранных дел принесло протест. Это мне ничего не говорит. Но это напоминает мне о том, что и Лойен когда-то был в Сингапуре. Чтобы фотографировать мумии.

Мы едем в Северную Гавань. Проезжая мимо Криолитового Общества “Дания”, он снижает скорость, и мы смотрим друг на друга.

Мы оставляем машину у электростанции Сванемёлле и идем к гавани по Сункросгаде.

Дует сухой ветер, с едва различимыми, кружащимися ледяными кристаллами, обжигающими лицо.

Иногда мы держимся за руки. Иногда останавливаемся и целуемся холодными губами и горячим ртом, иногда идем порознь. Мы в сапогах, на тротуаре намело сугробы. И возникает ощущение, что мы танцоры, которые скользят, то сливаясь в объятии, то разжимая его, с подхватами и поддержками. Он не сдерживает меня. Он не тянет меня к земле, не принуждает меня двигаться вперед. Он то идет рядом со мной, то немного позади меня.

В торговой гавани есть какая-то честность. Здесь нет королевских яхт-клубов, нет променадов, не тратится энергия для освещения фасадов. Здесь хранилища кормов и удобрений, склады, береговые краны.

За открытыми воротами — стальной корпус судна. Мы поднимаемся по деревянному трапу и выходим на палубу. Усевшись на кокпите, мы смотрим на белую палубу. Я кладу голову ему на плечо. Мы плывем. Лето. Мы плывем на север. Может быть, вдоль побережья Норвегии. Не очень далеко от берега, потому что я боюсь открытого моря. Мимо выходов из больших фьордов. Светит солнце. Море синее, ясное, глубокое. Как будто у нас под килем множество жидких кристаллов. Светит полуночное полярное солнце. Красноватый, как будто дрожащий светящийся диск. Слабое пение ветра в снастях.

Мы выходим на причал. Люди в комбинезонах, проезжая мимо на велосипедах, оборачиваются нам вслед, и мы улыбаемся им, зная, что излучаем сияние.

Мы бродим по тихим набережным, пока не коченеет от холода. Мы ужинаем в маленьком ресторанчике, примыкающем к коптильне. Облака на небе на некоторое время подчиняются красному, редко наблюдаемому закату солнца, превращающему светло-голубые корпуса рыбацких катеров в розовые и фиолетовые.

Он рассказывает мне о своих родителях. Об отце, плотнике, который никогда ничего не говорит и который один из последних в Дании людей, умеющих сделать винтовую лестницу, поднимающуюся к небу идеальной деревянной спиралью. О своей матери, которая для кулинарных страниц дамских журналов печет торты, которые сама не может попробовать, потому что у нее диабет.

Когда я спрашиваю его, откуда он знает Бирго Ландера, он качает головой и замолкает. Я через стол поглаживаю одну сторону его подбородка и изумляюсь тому, как это жизнь может заставить нас неожиданно испытать счастье и экстаз с совершенно чужим человеком.

На улице стемнело.

Даже зимой, даже в темноте, богатый район Хеллеруп находится в другом измерении по сравнению с Копенгагеном. Мы остановили машину на тихой, спокойной улице. Вдоль поребрика и у высоких стен, окружающих виллы, белеет снег. В садах вечнозеленые деревья и кустарники выделяются плотными, черными плоскостями, словно опушки леса или участки на склоне горы на фоне белого снежного покрова.

Здесь нет фонарей на улицах. И все же нам видно дом. Белая, высокая вилла, стоящая в том месте, где улица, на которой мы остановились, выходит к аллее.

Вокруг дома нет ограды или изгороди. С тротуара можно выйти прямо на лужайку. Наверху, на третьем этаже, в окне горит свет. Дом в хорошем состоянии, недавно покрашен, выглядит дорогим и не бросается в глаза.

На некотором расстоянии от тротуара на лужайке — освещенная табличка. На табличке написано “Геоинформ”.

Мы просто хотели проехать мимо, чтобы посмотреть на здание. Но простояли здесь уже час.

Это никак не связано с домом. Мы могли бы стоять где угодно. Сколько угодно.

Рядом с нами останавливается полицейская машина. Она уже два раза проезжала мимо нас. Теперь они хотят выяснить, почему мы тут остановились.

Полицейский, не обращая на меня внимания, обращается к механику.

— В чем дело, шеф?

Я высовываю голову из окна прямо в патрульную машину.

— Мы живем в однокомнатной, господин комиссар. Снимаем квартиру в подвале на Йегерсборггаде. У нас трое детей и собака. Но иногда хочется немного личной жизни. И лучше — бесплатно. Поэтому мы едем сюда.

— О'кей, фру, — говорит он. — Но поезжайте в другое место со своей личной жизнью. Это дипломатический квартал.

Они уезжают. Механик заводит машину и трогается с места.

Тут свет в доме перед нами гаснет. Он притормаживает. Мы ползем в сторону аллеи с выключенными фарами. На лестнице появляются три фигуры. Две из них — это лишь темные точки в ночи. Третья инстинктивно стремится к свету. меховая шуба и светлое лицо притягивают свет. Это женщина, которую я видела говорящей с Андреасом Лихтом на похоронах Исайи. Она делает движение головой, отбрасывая темные волосы в ночь. Теперь, когда я вижу это движение еще раз, мне понятно, что оно выражает не тщеславие, а самоуверенность. Открывается дверь гаража. В потоке света появляется машина. Фары освещают нас, и она уезжает. Двери за ней медленно закрываются.

Мы едем следом за машиной. Не очень близко к ней, потому что аллея пуста, но и не слишком далеко.

Если ехать по Копенгагену в темноте и позволить всему окружающему выскользнуть из фокуса

и расплыться, то проступает новый рисунок, невидимый настроенному на резкость глазу. Город, словно движущееся светящееся поле, словно белая и красная паутина, надетая на сетчатку.

Механик ведет машину без всякого напряжения, почти целиком погрузившись в самого себя, как будто он находится на грани сна. Он не делает резких движений, нет неожиданных резких торможений, ускорения, а лишь плавное скольжение по улицам среди машин. Где-то впереди нас широким, низким силуэтом все время маячит ведущая нас машина.

Машины попадают все реже, и, наконец, они совсем пропадают. Мы направляемся к Кальвебод Брюгге.

Мы выезжаем на набережную очень медленно, выключив фары. В нескольких сотнях метров впереди нас, на самом причале, гаснут два красных задних огня. Механик останавливается у темного дощатого забора.

Более теплое, чем воздух, море создает дымку, которая поглощает весь свет вокруг. Видимость приблизительно 100 метров. Противоположная сторона гавани исчезла во тьме. Слышно протяжное хлюпанье волн о причал.

И вдруг — какое-то движение. Не звук, а постепенно проступающая черная точка в ночи. Черное пятно, которое методично двигается от одного автомобиля к другому. В 25 метрах от нас движение прекращается. На фоне светлого рефрижератора стоит человек. Воздух над его фигурой светится, как будто это светлая шляпа или нимб. Человек долго стоит неподвижно. Дымка становится плотнее. Когда она рассеивается, человека нет.

— Он трогал капоты автомобилей. Чтобы проверить, не теплые ли они.

Он шепчет, как будто его голос может быть услышан в ночи.

— Осторожный ч-человек.

Мы сидим тихо, и время проходит сквозь нас. Несмотря на то, что мы сидим в этом месте, несмотря на то неизвестное, чего мы ждем, для меня это время — словно река счастья.

По его часам прошло, должно быть, полчаса.

Мы не слышим машину. Она появляется из тумана с потушенными фарами и проезжает мимо нас, звук ее двигателя похож на шепот. Стекла у нее темные.

Мы выходим из машины и идем к причалу. Два больших силуэта, которые угадывались в темноте, это корабли. Ближайший из них — это парусное судно. Трап убран, и на корабле темно. Белая дощечка наверху на палубе сообщает на немецком языке, что это польское учебное судно.

Следующее судно — это черный, высокий корпус. Алюминиевый трап установлен в середине судна, но все кажется пустынным и заброшенным. Судно называется “Кронос”. Оно, наверное, около 125 метров в длину.

Мы возвращаемся к машине.

— Может быть, надо было подняться на борт, — говорит он.

Это мне надо принять решение. На мгновение я чувствую искушение. Потом возникает страх и воспоминание о горящем силуэте “Северного сияния” на фоне Исландс Брюгге. Я качаю головой. Сейчас, именно сейчас, жизнь представляет для меня особенную ценность.

Мы звоним Ландеру из телефонной будки. Он все еще в своем кабинете.

— А если судно называется “Кронос”? — говорю я.

Он отходит от телефона и снова возвращается. Проходит какое-то время, пока он листает страницы.

— В “Регистре судов Ллойда” их пять: танкер для перевозки химических веществ, приписанный к Фредерикстаду, песчаная драга в Оденсе, буксирное судно в Гданьске и два, относящихся к группе “генеральный груз”, одно в Пирее, а другое в Панаме.

— Два последних.

— У греческого водоизмещение 1 200 тонн, у второго 4 000 тонн. Я протягиваю механику шариковую ручку. Он качает головой.

— С цифрами у меня тоже проблемы, — шепчет он.

— Есть фотография?

— У Ллойда нет. Но есть несколько цифр. 127 метров в длину, построено в Гамбурге в 57-м году. Ледового класса.

— Владельцы?

Он снова отходит от телефона. Я смотрю на механика. Его лицо в темноте, иногда фары машин высвечивают его — белое, озабоченное, чувственное. И под чувственностью нечто непреклонное.

— В “Морском справочнике Ллойда” судовая компания называется “Плеяда”, зарегистрирована в Панаме. Но имя по виду датское. Какая-то Катя Клаусен. Никогда о ней не слышал.

— А я слыхала, — говорю я. — “Кронос” — это то, что мы ищем, Ландер.

3

Мы сидим на кровати, прислонившись спиной к стене. Шрамы вокруг его запястий и лодыжек в этом освещении кажутся черными, металлическими браслетами на фоне его белого обнаженного тела.

— Как ты думаешь, Смила, мы сами все определяем в своей жизни?

— Только детали, — говорю я. — Серьезные вещи происходят сами по себе.

Звонит телефон.

Он снимает скотч и выслушивает короткое сообщение. Потом кладет трубку.

— Может быть, тебе стоит поискать туфли на высоком каблуке. Бирго хочет сегодня вечером встретиться с нами.

— Где?

Он загадочно улыбается.

— В сомнительном месте, Смила. Но оденься красиво.

Он несет меня на руках вверх по лестнице. Я пытаюсь вырваться из его объятий, и мы приглушенно смеемся, чтобы не привлечь к себе внимание. В Кваанааке, в моем детстве, жених в ночь после свадьбы нес невесту к саням, и они уезжали, а вслед за ними с гиканьем гнались гости. Иногда и сейчас так делают. Тот час, который мне теперь предстоит провести в одиночестве, чтобы переодеться, мне заранее кажется долгим. Мне хочется попросить его остаться, чтобы все время можно было его видеть. Он еще не вполне утвердился в моем мире. Его грубоватая мягкость, его массивность и неуклюжая вежливость все еще как сон наяву. Но всего лишь как сон. Я вытягиваюсь, хватаюсь за дверной косяк и сопротивляюсь, когда он хочет опустить меня на пол. Я провожу пальцами вдоль верхней петли. Два кусочка скотча оторваны, и краешки щекочут кончики моих пальцев.

Я беру его руки и провожу ими по скотчу. Его лицо становится очень серьезным. Он прижимает губами к моему уху.

— Тихо уходим...

Я качаю головой. Мое жилье неприкосновенно. Можно что угодно отнять у меня. Но тихий угол — без него мне никак не обойтись.

Я берусь за ручку двери. Она не заперта. Я вхожу. Ему приходится идти за мной. Но он не в восторге от этого.

В квартире холодно. Оттого что я всегда закрываю краны на батареях, когда ухожу. Мне жалко энергии. Я заделываю окна. Я закрываю двери. Это еще со времен Туле. Когда было разумное понимание того, как дорог керосин и как его мало.

И поэтому я, само собой разумеется, уходя, везде гашу свет. И вообще жгу его как можно меньше. А тут из комнаты в прихожую проникает свет, которого я не зажигала.

Вращающийся стул отодвинут от стола к окну. На спинке его висит пальто с очень широкими плечами. Прямо на плечах покоится шляпа. На подоконнике — пара черных, начищенных ботинок.

Мне кажется, что мы вошли очень тихо. И все же ботинки убирают с подоконника, и стул медленно поворачивается к нам.

— Добрый вечер, фрекен Смила, — говорит сидящий человек, — и господин Фойл.

Это Раун.

Лицо у него пепельно-серое от усталости, и на щеках видна щетина, которая, как мне кажется, не понравилась бы начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Говорит

он невнятно, как человек, который долго не спал.

— Вы знаете, каково первое условие для того, чтобы сделать карьеру в Министерстве Юстиции? — спрашивает он.

Я оглядываюсь по сторонам. Но похоже, что он один.

— Первое условие — это лояльность. Высокий средний балл по всем экзаменам тоже необходим. И желание внести необыкновенно большой вклад в дело. Но в конечном итоге решающим становится, лоялен ли ты. Здравый смысл, напротив, совсем необязателен. И более того, может служить препятствием.

Я опускаюсь на стул. Механик прислоняется к письменному столу.

— В какой-то момент необходимо было сделать выбор. Одни стали помощниками судей, а потом и судьями. Они часто обладали врожденной верой в справедливость, в систему. Верой в возможность излечения и восстановления. Другие, такие, как я, стали помощниками начальника полиции, полицейскими следователями, а потом и сотрудниками Государственной прокуратуры. Со временем, возможно, даже следователями Государственной прокуратуры. Мы были недоверчивы. Мы считали, что заявление, признание, событие редко являются тем, чем они кажутся на первый взгляд. Это недоверие было для нас прекрасным орудием. Пока объектом его не становилась наша работа или само министерство. Ни при каких обстоятельствах чиновник обвинительной инстанции не должен сомневаться в том, что он прав. Прессу с любым бестактным вопросом ему следует отсылать к высшим инстанциям. Любая опубликованная статья, содержащая хотя бы намек на критику — да, собственно говоря, всякая статья — будет истолкована как проявление нелояльности по отношению к министерству. В некотором смысле в Министерстве юстиции не существуешь более как индивид. Большинство подчиняются этому требованию. Я могу вам сообщить, что многие в глубине души считают благом то, что государство освобождает их от необходимости быть самостоятельными людьми. От тех, кто не может вписаться в систему, избавляются на более раннем этапе.

Я встречала подобное во время длинных переходов. Когда человек вконец измучен, он неожиданно в глубине себя обнаруживает бездну веселого цинизма.

— И все же иногда случается, что какая-нибудь темная личность остается в системе. Человек, которому удастся скрывать свою подлинную сущность до тех пор, пока не становится слишком поздно. Пока он не сделает себя настолько незаменимым, что министерство с трудом может отказаться от него. Такой человек никогда не достигнет вершины. Но он может достичь известных высот. Может даже стать следователем Государственной прокуратуры. К этому моменту он становится слишком старым — и, возможно, в своей области слишком компетентным — чтобы без него можно было обойтись. Но он причиняет чересчур сильное беспокойство, чтобы можно было продвигать его вверх. Такой человек всегда будет камешком в ботинке министерства. Он не причиняет особенно болезненных ощущений, но он раздражает. Такого человека со временем попытаются поместить в какую-нибудь нишу. Где можно использовать его упорство и память, но где его держат подальше от общественности. Возможно, он, в конце концов, начнет выполнять особые поручения. Например, расследования, сама природа которых такова, что ему приходится держаться в тени. К нему может, в конце концов, попасть жалоба на ход следствия по делу о смерти маленького мальчика. Если к тому же окажется, что в этом деле уже имеется какая-то докладная записка.

Он не смотрит в нашу сторону. Он говорит, глядя прямо перед собой.

— Бывает так, что сверху спускают указание, что того, кто жалуется, надо успокоить. “Надавить на него”, как говорят на Слотсхольмене. В таких делах накоплен определенный опыт. Но на сей раз дело сложнее. Смерть ребенка. Фотографии его следов на крыше. Это легко может стать вопросом совести. И я высказываю предположение, что в смерти мальчика есть что-то непонятное. Но я не получаю никакой поддержки, ни от полиции, ни из министерства.

Он с трудом поднимается со стула.

— Потом происходит этот инцидент с пожаром. К сожалению, это тоже как-то связано с Гренландией. И погибший господин назван в вышеупомянутой докладной записке. Вчера утром у меня забрали дело. “Вследствие сложного характера” и так далее.

Он поправляет шляпу и подходит к письменному столу. Слегка постукивает по красному кресту из скотча на телефоне.

— Хорошо придумано, — говорит он. — Нет конца тем несчастьям, которые эти аппараты приносят невиновным гражданам. Но было бы лучше вообще не отвечать на звонки и никому не давать свой номер телефона. Судно сгорело практически дотла. Но телефон был, очевидно, сделан из материала, который плохо горит. К тому же он лежал на полу. В нем была встроенная память, в которой запоминается последний набранный номер. Последним набирался ваш номер. Я предполагаю, что вас очень скоро пригласят на беседу.

— Как вы рискнули прийти сюда? — спрашиваю я. В руке у него ключ.

— Мы брали ключ у дворника во время предварительного расследования. Я позволил себе сделать дубликат. Поэтому я прошел через подвал. Я решил, что буду возвращаться тем же потайным путем.

На короткий миг с ним что-то происходит. Его лицо освещается, как будто за застывшей лавой вспыхивает щепотка юмора и человечности. Окаменелое воспоминание пемзы о том времени, когда все было горячим и движущимся. Именно этот свет позволяет мне задать вопрос.

— Кто такой Тёрк Вид?

Свет гаснет, его лицо становится невыразительным, как будто душа покинула тело.

— А такой существует?

Я беру его пальто и помогаю ему надеть его. Он немного ниже меня. Я смахиваю пылинку с его плеча. Он смотрит на меня.

— Мой домашний телефон есть в телефонной книге. Подумайте, не позвонить ли мне, фрекен Смила. Но, будьте любезны, из телефона-автомата.

— Спасибо, — говорю я. Но он уже ушел.

Бьют куранты церкви Христа Спасителя. Я смотрю на механика. Руки у меня за спиной. Комната полна тем, что принес и оставил здесь Раун — искренностью, горечью, намеками, каким-то человеческим теплом. И чем-то еще.

— Он солгал, — говорю я. — Под конец он солгал. Он знает, кто такой Тёрк Вид.

Мы смотрим друг другу в глаза. Я вижу — что-то не в порядке.

— Я ненавижу вранье, — говорю я. — Если уж без него не обойтись, то я готова взять это на себя.

— Ну и сказала бы ему об этом. Вместо того чтобы так откровенно трогать его.

Я не верю своим ушам, но вижу, что не ошиблась. В его глазах светится чистая, неподдельная, идиотская ревность.

— Я его не трогала, — говорю я. — Я помогла ему надеть пальто. По трем причинам. Во-первых, потому что это любезность, которую надо оказать сублильному пожилому господину. Во-вторых, потому что он, очевидно, рисковал своим положением и своей пенсией, придя сюда.

— И, в-третьих?

— В третьих, — говорю я, — потому что я в результате смогла украсть его бумажник.

Я выкладываю на стол, под лампу, туда, где когда-то стояла коробка из-под сигар Исайи, толстый бумажник из грубой коричневой телячьей кожи.

Механик пристально смотрит на меня.

— Мелкая кража, — говорю я. — В уголовном кодексе это квалифицируется как незначительное преступление.

Я вынимаю содержимое на стол. Кредитные карточки, купюры. Пластиковый чехол с белой карточкой, на которой под черными контурами короны указано, что Раун имеет право ставить машину на министерскую стоянку для машин на Слотсхольмене. Счет из ателье “Братья Андерсен”. На 8 000 крон. Маленький кусочек серого шерстяного материала скрепкой прикреплен к бумаге. “Мужское пальто, твид “льюис”, выдано 27 октября 1993 года”. До этого момента я считала, что все его пальто — недоразумение. Партия товаров, купленная им в комиссионном магазине. Теперь я вижу, что он носит их не случайно. Из своей скромной зарплаты чиновника он покупает за сумасшедшие деньги жалкую иллюзию того, что он на полметра шире в плечах. Почему-то это примиряет меня с ним.

В бумажнике есть отделение для мелочи. Я высыпаю ее. Среди монет лежит зуб. Механик наклоняется надо мной. Я прислоняюсь к нему спиной и закрываю глаза.

— Молочный зуб, — говорит он.

В глубине лежит пачка фотографий. Я раскладываю их, как карты в пасьянсе. На серванте из красного дерева стоит самовар. Рядом с сервантом — книжная полка. Среди датских слов, которые я никогда не считала ничем иным, как резиновыми дубинками, чтобы оглушать других людей, имеется слово “интеллигентный”. Но, пожалуй, его можно было бы употребить в отношении женщины на переднем плане. У нее седые волосы, очки без оправы, белый шерстяной костюм. Ей, должно быть, около 65-ти. На других фотография она сидит в окружении детей. Внуков. Это объясняет происхождение молочного зуба. Она качает ребенка в колыбели, разрезает торт, стоя у стола в саду, берет грудного ребенка из рук молодой женщины, у которой ее подбородок и худоба Рауна.

Эти фотографии цветные. Следующая черно-белая. Она кажется передержанной.

— Это следы Исаяи на снегу, — говорю я.

— Почему они так выглядят?

— Потому что полицейские не умеют фотографировать снег. Если использовать вспышку или лампы под углом более чем в 45 градусов, все теряется в отраженном свете. Фотографировать надо с помощью поляризационных фильтров и ламп, которые находятся на уровне снега.

На следующей фотографии женщина на тротуаре. Эта женщина — я, тротуар — перед домом Эльзы Любинг. Фотография смазанная, сделана из окна машины, часть двери попала в объектив.

С механиком им больше повезло. Волосы кажутся слишком короткими, но вообще сходство есть. Фотография и в профиль, и анфас.

— Из армии, — говорит он. — Они нашли старые фотографии с армейских времен.

Следующая фотография опять цветная, она похожа на сделанную в отпуске среди солнца и зелени.

— 3-зачем наши фотографии?

Раун ничего не записывает, ему не нужны были бы фотографии для подкрепления памяти.

— Чтобы показывать, — говорю я, — другим людям.

Я кладу на место бумаги, зуб и монеты. Я все кладу на место. Кроме последней фотографии. Пальмы под наверняка нестерпимо палящим солнцем. Влажность воздуха без сомнения около 100 процентов. И, однако, на человеке, стоящем на первом плане, рубашка и галстук под медицинским халатом. Он выглядит невозмутимым и довольным. Это Тёрк Вид.

4

Я остановилась на смокинге с широкими лацканами из зеленого шелка. Черных брюках чуть ниже колен, зеленых чулках, маленьких зеленых туфлях-лодочках и маленькой бархатной феске, чтобы прикрыть выжженное место.

Если женщина надевает смокинг, всегда возникает проблема — что же надеть поверх него. Я накинула на плечи тонкое пальто “бэрберри”. Но при этом сказала механику, что он должен подъехать к самому входу.

Мы едем по Эстерброгаде, а потом по Странвайен. Он тоже в смокинге. Будь я в другом настроении, я бы возможно обратила внимание на то, что его смокинг самого большого размера, который только можно купить, и уже поэтому на пять размеров меньше, чем нужно, и вообще похож на вещь, полученную от Армии Спасения, и скорее портит его, чем украшает. Но теперь мы стали слишком близки. Даже сейчас — зажатый в своем смокинге — он для меня как выбирающийся из кокона мотылек.

Он не смотрит на меня. Он смотрит в зеркало заднего вида. Он ведет машину все так же плавно и без напряжения. Но его глаза следят за всеми машинами позади и впереди нас.

Мы поворачиваем на Сунвэнгет — одну из маленьких улочек, ведущих от Странвайен к Эресунну. Когда-то она вела к калитке, через которую можно было попасть на пляж. Теперь она упирается в высокую желтую стену с белым шлагбаумом и стеклянной будкой, из которой человек в форме протягивает руку за нашими паспортами, вводит наши имена в компьютер, потом открывает шлагбаум, и мы проезжаем до следующего контрольного пункта, где женщина в такой же форменной одежде, взяв с нас по 250 крон, пропускает автомобиль на стоянку, а там мы платим служителю 75 крон за оскорбительно-снисходительный взгляд на “моррис”, который оставляем на его попечение, и вот теперь мы можем, миновав вращающуюся дверь в мраморном фасаде, подняться в гардероб и выложить по пятьдесят крон только за то, чтобы блондинка с таким гордым подъемом головы, что можно заглянуть ей в ноздри, взяла нашу одежду.

Перед зеркалом, заполняющим всю стену, я подправляю помадой некоторые мелкие дефекты, радуясь при этом, что сходила в туалет дома, и, во всяком случае, в первый же момент мне не надо выяснять, сколько стоит здесь возможность пописать.

Рядом со мной стоит механик, разглядывая собственное отражение, которое принадлежит не знакомому ему человеку. Мы находимся в вестибюле казино “Эресунн” — двенадцатого в Дании, самого нового и престижного. Места, о котором я слышала, но никогда бы не подумала, что в нем окажусь.

Именно здесь Бирго Ландер назначил нам свидание, и вот он идет нам навстречу. В белых ботинках, белых брюках в светло-голубую полоску, темно-синем блейзере, сером свитере с высоким воротом, с шелковым платком, на котором вышиты маленькие якоря, и в маленькой, белой, форменной фуражке. Взгляд у него тусклый, он слегка пошатывается и сияет, как солнце. Обеими руками он с осторожностью поправляет мою бабочку.

— Ты удивительно аппетитно выглядишь сегодня вечером, моя милая.

— Ты тоже неплохо. Это у тебя форма бойскаутов-моряков?

Он на секунду замирает. Прошло всего двенадцать часов с тех пор, как мы виделись. Но он уже забыл это ощущение. Он улыбается механику.

— Для нее в моем сердце неограниченный кредит.

Они пожимают друг другу руки, и снова я замечаю почти незаметную перемену, происходящую в бизнесмене. На мгновение, пока он держит руку механика, его опьянение, его напускная и тщательно культивируемая вульгарность уступают место благодарности, граничащей с преклонением. Потом он ведет нас внутрь.

Я никогда не научусь чувствовать себя уютно в фешенебельных местах. Каждый шаг я делаю с чувством, что ко мне в любую минуту могут подойти и сказать, что я не имею никакого права здесь находиться. Механику не намного лучше. Он крадется в нескольких метрах позади нас, пытаясь втянуть голову в плечи. Бирго Ландер шествует так, словно он тут хозяин.

— Ты знаешь, что мне принадлежит кусочек этого пирога? Ты разве не читаешь газет? Вместе с “Унибанком” — который финансировал “Мариенлюст” — и казино “Австрия”, к которому относится казино в гостинице “Скандинавия”, а также казино в Орхусе и Оденсе. Я стал владельцем, чтобы самому не играть. Владельцы не имеют права играть в своих собственных казино. То же самое касается крупье. “Австрия” издает книгу с их фотографиями, и никто из них не имеет права играть в других казино компании.

Он ведет нас через ресторан. Это большое, круглое помещение, в центре которого танцевальная площадка. В глубине — длинный, слабо освещенный бар. На возвышении играет джазовый квартет, мягко и ненавязчиво. Скатерти светло-желтые, стены кремовые, стойка бара сделана из нержавеющей стали. Все стены украшены заклепками, дверные коробки толщиной в метр снабжены засовами. Все сделано так, чтобы напоминать сейф, все вокруг прочно, дорого и угнетающе холодно и отчужденно, как будто на торжественном балу по случаю окончания сезона, проходящем в банковском хранилище ценностей. Часть одной стены выходит окнами на Эресунн. Видны огни Швеции и продолжение казино — помещения для игры, которые нависают над водой освещенными стеклянными клетками. Под окнами на замерзшем побережье видны серые льдины.

Механик отстает. Ландер берет меня под руку. Мимо нас скользят декольтированные дамы, господа в парадных костюмах, господа в лиловых рубашках и белых смокингах, господа в замшевых рубашках с часами “Ролекс” и выгоревшими на солнце прическами яхтсменов.

Помещение представляет собой овал, одна половина которого — это стеклянная стена, обращенная к морю. Она совершенно черная, единственный свет в помещении — это смягченный свет ламп над игорными столами. Четыре овальных стола “Блэк Джек”, и два больших стола с рулеткой. Натянутый между столами шнур образует ограждение. За ним сидят три главных крупье, один у карточных столов, два других на высоких стульях в конце столов с французской и американской рулеткой. У каждой пары столов стоит инспектор, за каждым столом сидит крупье.

В зале так много людей, что столов не видно. Единственные звуки — это голоса крупье и мягкое позвякивание складываемых жетонов.

Игроки исключительно мужчины. Несколько женщин азиатского происхождения сидят за столами. Несколько европейских женщин, стоя, наблюдают, не принимая участия в игре. В помещении все вибрирует от глубокой напряженности. На лицах игроков бледность, сосредоточенность, возбуждение.

Время от времени какая-нибудь фигура отрывается от стола и исчезает, проходя мимо нас. Кто-то, опустив голову, кто-то с сияющими глазами, но большинство безучастные, погруженные в себя. Некоторые из них здороваются с Ландером, меня никто не замечает.

— Они меня не видят, — говорю я. Он сжимает мой локоть.

— Ты училась в школе, детка, ты помнишь, как мужчина выглядит изнутри. Сердце, мозг, печень, почки, желудок, яички. Когда входят сюда, происходит превращение. В тот момент, когда ты покупаешь жетоны, маленькое животное, маленький паразит начинает занимать все место внутри тебя. Наконец не остается ничего, кроме попытки вспомнить, какие карты ушли, попытки определить, где остановится шарик, вероятностей комбинации карт и воспоминаний о том, что проиграно.

Мы смотрим на лица людей вокруг того стола, к которому он меня подвел. Они похожи на черепа. В этот момент едва ли можно представить себе, что у них есть какая-нибудь жизнь за пределами этой комнаты. Может быть, ее и нет.

— Этот паразит — это птица игры, моя милая. Один из самых голодных хищников в мире. И я знаю, о чем я говорю. Я несколько раз терял все. Но я выкарабкался. Именно поэтому мне пришлось купить часть этого дела. Теперь, когда я являюсь совладельцем, когда я увидел обратную сторону этого, все стало иначе.

Между спинами открывается просвет, и становится видно зеленое сукно. Крупье — молодая, светловолосая девушка с длинными красными ногтями, говорящая слегка в нос на прекрасном английском.

— Buying in? 45000 goes down. One, two, three... <Берете прикуп? 45 000 принято. Раз, два. три...(англ.) (Примеч. перев.)>

Перед некоторыми игроками стоит минеральная вода. Никто не пьет алкогольные напитки.

— Эта птичка, моя милая, бывает разного размера. Для некоторых это канарейка. Для меня это жирная утка. Вот для него, например, это страус...

Он говорит шепотом и ни на кого не показывает, но у меня нет сомнений. Тот, о ком он говорит, сидит к нам боком. У него правильное, славянское лицо, как у одного из эмигрировавших в 70-х балетных танцовщиков. Высокие скулы, темные жесткие волосы. Его руки лежат на столбиках цветных жетонов. Лицо абсолютно неподвижно. Внимание направлено на колоду карт рядом с крупье, как будто он сейчас сосредоточил всю свою энергию на том, чтобы повлиять на исход игры.

— Thirteen, Black Jack, insurance, Sir? Sixteen. Do you want to split, Sir? Seventeen, too many, nineteen... <Тринадцать, Блэк Джэк, гарантия, сэр? Шестнадцать. Вы хотите снять, сэр? Семнадцать, перебор, девятнадцать...(англ.) (Примеч. перев.)>

— Страус, который сожрал его изнутри, теперь стал больше, чем он сам. Он приходит сюда каждый вечер и сидит, пока все не проиграет. Потом он полгода работает. И снова приходит сюда и все проигрывает.

Он приближает свои губы к моему уху.

— Капитан Сигмунд Лукас. На прошлой неделе он проиграл последнее. Ему пришлось взять у меня в долг на пачку сигарет и на такси до дома.

Возраст его трудно определить. Ему могло бы быть около 35-ти, около 45-ти. Может быть, ему 50. Пока я смотрю на него, он выигрывает и сгребает к себе высокую стопку жетонов.

— Каждый жетон — это 5 000 крон. Мы изготовили их в прошлом месяце. За каждым столом разные тарифы. Это дорогой стол. Минимальная ставка 1 000 крон, максимальная 20 000. Принимая во внимание право удваивать и то, что в среднем одна партия длится полторы минуты, получается, что можно выиграть или проиграть 100 000 за пять минут.

— Если он без гроша, то на чьи же деньги он сегодня играет?

— Сегодня он играет на деньги дядюшки Ландера, детка.

Он ведет меня за собой. Мы становимся спиной к бару. Рядом с ним ставят высокий, матовый стакан. Он побывал в морозильнике, поэтому покрыт тонким слоем льда, который теперь, оттаивая, начинает соскальзывать. Стакан наполнен прозрачной жидкостью янтарного цвета.

— Bullshot, детка. Водка пополам с говяжьим бульоном. Он что-то обдумывает.

— Посмотри-ка на наших клиентов. Это очень разные люди. Сюда приходит адвокаты. Владельцы строительных фирм. Кое-кто из мальчиков, которым дома дают большие карманные деньги. Тяжелая артиллерия датской мафии. Они ведь могут пойти и купить сколько угодно

жетонов. Мы ведь не пошли на соглашение с полицией, занимающейся финансовыми преступлениями, и не разрешили им записывать номера банкнот. Вот почему эта лавочка — один из самых главных центров отмыwania денег, заработанных на наркотиках. Здесь есть маленькие желтые дамы, стоящие во главе организованной проституции и использующие тайландских и бирманских девушек. Есть предприниматели, есть врачи. Есть люди, которые разъезжают по свету и играют. На прошлой неделе у нас был один норвежский судовой маклер. Сегодня он, может быть, в Травемюнде. На следующей неделе — в Монте-Карло. Однажды он выиграл четыре с половиной миллиона. В газетах писали об этом.

Допив свой стакан, он ставит его на стойку. Ему снова ставят полный.

— Такие разные люди. Но в одном они похожи. Они проигрывают, Смила. В конце концов все они проигрывают. В этой лавочке выигрывают двое. Мы — владельцы — и государство. У нас здесь постоянно два сотрудника налоговой инспекции. Они меняются — как и наши крупье — на дневных и вечерних сменах и, наконец, на смене “подсчета”, когда с трех часов и до утра подсчитывается выручка. Кроме этого, есть полицейские в штатском и проверяющие из налогового управления, которые вместе с нашей собственной службой безопасности следят за тем, чтобы крупье не мошенничали, не метили карты, не подыгрывали одному из посетителей. Мы платим налог с оборота по одному из самых жестких в мире налоговых законодательств для азартных игр. И, однако, только в игорных залах казино у нас 290 служащих — менеджеры, крупье, главные крупье, служба безопасности, технический персонал и инспекторы. В ресторане и ночном клубе еще 250 — повара, официанты, бармены, администраторы, вышибалы, гардеробщики, шоу-менеджеры, инспекторы и постоянные проститутки, которых мы тоже контролируем. Знаешь, почему мы в состоянии всем им платить зарплату? Мы можем это, потому что мы, между нами говоря, заколачиваем совершенно сумасшедшие деньги на тех, кто играет. Для государства эта клоака — самая большая дойная корова с тех самых времен, когда оно в средние века придумало брать пошлину за проход через Эресунн. На следующий день тот норвежский маклер проиграл все, что он выиграл. Но об этом мы газетчикам не проболтались. Одна владелица тайландского борделя на прошлой неделе трижды проиграла по 500 000. Она приходит каждый вечер. Каждый раз, встречая меня, она умоляет закрыть это заведение. Пока оно есть, у нее не будет покоя. Ей необходимо приходить сюда. До нас были, конечно же, нелегальные притоны. Но это все же было не то. Это был, в основном, покер, который все-таки затяжной и требует знаний комбинаторики. Легализация все изменила. Это как заразная болезнь, распространение которой было ограничено, но теперь она вырвалась на свободу. Сюда приходит молодой человек, который сколотил малярную фирму. Он никогда раньше не играл, пока кто-то не привел его сюда. Теперь он проигрывает все. Чтобы построить и отделать все это, потребовалось 100 миллионов. Но это позолоченное дерьмо.

— Но у тебя в это вложены деньги, — говорю я.

— Я и сам, должно быть, насквозь протух.

Меня всегда очаровывало то, с каким печальным бесстыдством датчане признают огромное расстояние, разделяющее их убеждения и их поступки.

— Такое заведение, как это, создает прецедент вроде Лукаса. Очень, очень хороший моряк. Многие годы плавал на своем маленьком каботажном судне в Гренландии. Потом руководил созданием рыболовного флота у Мбенгано в Индийском океане, поблизости от берегов Танзании — это был самый крупный скандинавский проект за границей. Никогда не пьет. Знает север Атлантики, как никто другой. Некоторые говорят, что даже любит его. Но он

играет. Птичка опустошила его изнутри. У него больше нет семьи, нет дома. А раз он попал сюда, его можно купить. Лишь бы цена была достаточно высока.

Мы встаем у стола. Рядом с капитаном Лукасом сидит человек, похожий на мясника. Мы стоим минут десять. За это время он проигрывает 120000.

Новый крупье встает за девушкой с красными ногтями и легонько постукивает пальцами по ее плечу. Не оборачиваясь, она заканчивает игру. Сигмунд Лукас выиграл. Насколько я могу судить, примерно 30 000. Мясник проигрывает последние жетоны, лежавшие перед ним. Он встает, не изменившись в лице.

Красные ногти представляет своего преемника. Молодого человека с таким же поверхностным обаянием и вежливостью, как и у нее самой.

— Ladies and Gentlemen. Have a new dealer. Thank you. <Леди и джентельмены. Представляю вам нового крупье. Благодарю вас. (англ.)>

— Хочешь поиграть, детка?

Между большим и указательным пальцами он держит стопку жетонов.

Я думаю о тех 120 000, которые проиграл мясник. Годовая зарплата среднего датчанина после вычета всех налогов. Пять годовых зарплат полярного эскимоса. Никогда в своей жизни я не видела такого неуважения к деньгам.

— Можешь спустить их в унитаз, — говорю я. — Там можно хотя бы порадоваться шипению воды.

Он пожимает плечами. Капитан Лукас впервые поднимает свои кошачьи глаза от сукна и смотрит на нас. Он сгребает свои жетоны, поднимается и уходит.

Мы медленно идем за ним.

— Ты делаешь это ради меня? — спрашиваю я Ландера. Он берет меня под руку, и его лицо становится серьезным.

— Ты мне нравишься, детка. Но я люблю свою жену. Все это я делаю ради Фойла.

Он задумывается.

— Обо мне не скажешь много хорошего. Я слишком много пью. Я слишком много курю. Я слишком много работаю. Я забываю о своей семье. Вчера, когда я лежал в ванной, вошел старший сын, постоял, посмотрел на меня и спросил: “Папа, где ты живешь?”. Моя жизнь мало чего стоит. Но тем, что в ней имеет ценность, я обязан малышу Фойлу.

Капитан Лукас ждет на маленькой застекленной веранде, выступающей над морем. Я опускаюсь на скамью у стола напротив него, механик материализуется из воздуха и проскальзывает рядом со мной. Ландер стоит, прислонившись к столу. Служащая казино закрывает за ним раздвижную дверь. Мы одни в стеклянной коробке, которая, кажется, плывет по Эресунну. Лукас сидит, отвернувшись от нас. Перед ним стоит чашка черной жидкости, насыщенно пахнущей кофе. Он непрерывно курит. Ни разу не взглянув на нас, он мучительно, с трудом выдавливая из себя слова, словно сок из незрелого плода лайма. У него легкий акцент. Мне кажется, что польский.

— Они приходят ко мне сюда, ночью, зимой, может быть, в конце ноября. Мужчина и женщина. Они спрашивают, как я отношусь к морю севернее Готхопа в марте. Как и любой другой, чертовски плохо, — говорю я. И мы расстаемся. На прошлой неделе они опять приходят. Теперь мои обстоятельства изменились. Они снова спрашивают меня. Я пытаюсь рассказать про паковый лед. Про “Кладбище айсбергов”. Про фарватер вдоль побережья, забитый дрейфующими льдами и обломками айсбергов, про ледяные лавины, спускающиеся в море прямо с ледников, так что даже американский атомный ледокол “Нортвинд” с базы Туле решается проходить там только каждую третью или четвертую зиму. Они не слушают. Они и так все знают. А как я думаю, на что я способен? — спрашивают они. А на что способна ваша чековая книжка? — говорю я.

— Называлось ли какое-нибудь имя, какая-нибудь фирма?

— Только судно. Каботажное судно. 4 000 тонн. “Кронос”. Стоит в Южной гавани. Они купили его и перестроили. Оно только что с верфи.

— Команда?

— Десять человек, которых нанимаю я.

— Груз?

Он смотрит на Ландера. Судовой маклер не двигается. Ситуация непонятна. До настоящего момента я думала, что он рассказывает мне это, потому что Ландер надавил на него. Теперь, когда я наблюдаю его вблизи, я отказываюсь от этой мысли. Лукас не подчиняется ничьим приказам. Разве что приказам сидящей внутри него птицы.

— Мне ничего не известно о грузе.

Горечь, граничащая с ненавистью к самому себе, на минуту заставляет его начать раскачиваться из стороны в сторону. — Оснащение?

Это неожиданно заговорил механик. Он долго не отвечает.

— МДБ, — говорит он. — Я купил для них списанный с флота. Он гасит свой окурок в кофе.

— На верфи судно оснастили большими грузовыми стрелами и краном. Дополнительно укрепили передний трюм.

Он встает. Я поднимаюсь за ним. Я хочу поговорить с ним так, чтобы никто не слышал, но стеклянная клетка так мала, что мы мгновенно оказываемся у стены. Мы стоим так близко к стеклу, что наше дыхание оставляет на нем белые, быстро исчезающие круги.

— Можно мне попасть на борт?

Он задумывается. Когда он отвечает, я понимаю, что он не правильно понял мой вопрос.

— У меня все еще нет горничной.

Раздвижная дверь открывается. В проеме стоит широкоплечий человек в сером пальто — посетителя, имеющего меньший авторитет, заставили бы раздеться в гардеробе.

Это Раун.

— Фрекен Смила. Можно вас на минутку?

Все остальные смотрят на него, и он выдерживает их взгляды так, как он, по-видимому, выдерживает все — с каменным самообладанием.

Я иду в нескольких шагах позади него. Никто бы не мог сказать, что мы знакомы. Он ведет меня по широкому проходу мимо растений и многочисленных кожаных диванов. В конце прохода — зал с игровыми автоматами. Все они заняты.

Молодой человек предоставляет нам свой автомат. Он отходит на некоторое расстояние и останавливается.

Раун достает из кармана стопку двадцатикроновых монет, завернутую в бумагу.

— Мне хотелось бы получить назад мой бумажник. Стоя спиной ко мне, он играет.

— У меня здесь дежурство раз в две недели, — говорит он. Его голос едва слышен мне из-за шума автомата.

— За нами следили по пути сюда? Он отвечает не сразу.

— На вас объявлен розыск. Сообщение об этом было пятнадцать минут назад.

Теперь пришел мой черед ничего не говорить.

— Здесь всегда дежурит десяток служащих в штатском. Плюс наши собственные сотрудники. Если вы останетесь здесь, вам удастся провести на свободе лишь несколько минут. Если же вы уйдете сию минуту, я, возможно, смогу несколько задержать развитие событий.

Я протягиваю руку так, что перед ним оказываются бумажник и два листка бумаги — фотография и вырезка из газеты. Он берет их, не отрываясь от автомата, опускает бумажник в карман и подносит листки к глазам. Когда он, не оборачиваясь, протягивает мне вырезку, фотографии в его руке нет. Он качает головой.

— Я сделал все, что в моих силах, — говорит он. — А то, что вы не получили, вы взяли сами. Теперь довольно.

— Я хочу знать, — говорю я. — Я готова на все. Даже продать вас Ногтю.

— Ногтю?

— Плоскому, суровому полицейскому, который все время попадает на моем пути.

Он впервые смеется. Потом улыбка пропадает, как будто её никогда и не было. Его отражение в стекле перед ним — тусклое изображение на фоне ярких, бешено вращающихся колесиков автомата. Но когда он начинает говорить, я понимаю, что чего-то достигла.

— Чианграй на границе между Лаосом, Бирмой и Таиландом. В этом районе властвуют феодальные князья. Самый крупный из них Кум На. Постоянная армия в 6 000 человек. Конторы во всех странах Востока и в крупных западных городах. Контролирует всю мировую торговлю героином. Тёрк Вид работал в Чианграе.

— Чем он занимался?

— Он микробиолог, специалист по радиоактивным мутациям. Вся предварительная обработка опиумного мака находится в этом районе. Говорят, что у них самые современные в мире лаборатории подобного типа. Посреди джунглей. Вид занимался облучением маковых зерен с целью улучшения качества продукции. Ходили слухи, что он создал новый сорт, майам, который в первом, проваренном, но еще не кристаллизованном состоянии в два раза сильнее, чем какой-либо из известных героинов.

— Какое это имеет отношение к вам, Раун? Отдел полиции по экономическим преступлениям интересуется наркотиками?

Он не отвечает.

— Катя Клаусен?

— Раньше занималась торговлей антиквариатом. В 90-м и 91-м годах было обнаружено, что в 80-е годы большая часть героина провозилась в США и Европу в предметах старины.

— Сайденфаден?

— Транспорт. Инженер, специализирующийся на решении транспортных задач. Устраивал для разных фирм перевозку предметов старины с Востока. В течение какого-то времени он обеспечивал настоящий воздушный мост из Сингапура через Японию в Швейцарию, Германию и Копенгаген. Чтобы избежать опасного воздушного пространства над Ближним Востоком.

— Почему они не в тюрьме?

— Великих, одаренных редко наказывают. Теперь вам надо идти, фрекен Смила.

Я не уйду.

— А "Фрейя Фильм"?

Его рука замирает на хромированной ручке. Потом он устало кивает.

— Кинокомпания, прикрывавшая немецкую разведывательную деятельность до и после оккупации. Под предлогом съемок фильма для подтверждения теории Туле, выдвинутой Хёрбингером, они организовали две экспедиции в Гренландию. Их истинной целью было изучить возможности оккупации, особенно исследовать криолитовые разработки в двух местах, чтобы обеспечить себе производство алюминия, которое было так важно для выпуска самолетов. Они также произвели измерения, необходимые для организации авиабаз, которые могли бы служить опорными пунктами в случае вторжения туда США. — Лойен был нацистом?

— Лойена интересовала и до сих пор интересует слава. А не политика.

— Что он нашел в Гренландии, Раун? Он качает головой.

— Этого никто не знает. Выбросите это из головы. Он смотрит на меня.

— Поезжайте к хорошей подруге. Найдите правдоподобное объяснение тому, что вы были на том судне. Потом сами обратитесь в полицию. Подыщите хорошего адвоката. Тогда вы на следующий же день будете свободны. Об остальном забудьте.

Не оборачиваясь, он протягивает руку. На ладони лежит кассета. В это мгновение он выигрывает. Автомат изрыгает из себя металлический поток монет, отплевываясь со звоном,

который продолжает звучать за моей спиной.

Я беру в гардеробе свое пальто. В висках стучит. Мне кажется, что все смотрят на меня. Я оглядываюсь в поисках механика. В надежде, что он может что-нибудь придумать. Ведь большинство мужчин хорошо знают, как надо увилить, избегать чего-нибудь, удирать. Но вестибюль пуст. Кроме меня и гардеробщицы, которая выглядит более серьезной, чем ей следовало бы быть, принимая во внимание, что она могла бы радоваться тому факту, что всякий раз, вешая пальто на вешалку, она получает 50 крон.

В это мгновение раздается смех. Громкий, душераздирающий, звучный. Он переходит в звук трубы, дикое, резкое мычание, которое тотчас же стихает до уровня, более соответствующего этому месту. Но я уже успела узнать звук.

У меня так мало времени. Я пробираюсь между столиками и пересекаю пустую танцевальную площадку. На трех белых музыкантах, стоящих позади него, светло-желтые смокинги, их лица белы, как клеточки. Он во фраке. Он страшно толстый, лицо его словно черный, лоснящийся от пота шар, белки его больших глаз налились кровью, они выпучены так, словно пытаются исторгнуть из себя находящиеся за ними в черепе губительные алкогольные промилле. Его внешность соответствует тому, что он есть на самом деле — колосс на пьедестале, который уже рассыпался и исчез.

Но музыка осталось той же. Даже сейчас, когда он играет вполсилы, это удивительно насыщенный, золотистый и теплый звук, и даже в этой бесцветной мелодии интонации его осторожны, глубоки, насмешливы. Я встаю прямо у низкого края сцены.

Когда они заканчивают, я поднимаюсь на возвышение. Он улыбается мне. Но это улыбка без тепла, это просто пьяная поза по отношению к окружающему миру, которая, видимо, не покидает его, даже когда он спит. Если он когда-нибудь спит. Я беру его микрофон и поворачиваю его в сторону от нас. Люди, сидящие позади нас, перестают есть. Официанты застывают на месте.

— Рой Любер, — говорю я.

Его улыбка становится шире. Он пьет из большого стакана, стоящего рядом с ним.

— Туле. Вы когда-то играли в Туле. — Туле...

Он произносит это осторожно, оценивающе, так, будто слышит впервые.

— В Гренландии.

— Туле, — повторяет он.

— На американской базе. В “Северной Звезде”. В каком это было году? Он улыбается мне, автоматически покачивая своей трубой. У меня так мало времени. Я хватаю его за лацканы фрака и притягиваю к себе большое лицо.

— “Мистер П.Ч.” Вы играли “Мистер П.Ч.”

— Они умерли, darling. <Дорогая (англ.) (Примеч. перев.)>

Его датский так неразборчив, что звучит почти по-американски.

— Давным-давно. Их больше нет. Мистер П.Ч. Пауль Чамберс.

— В каком году? В каком году?

Взгляд его, пьяный и отстраненный, словно остекленел.

— Их больше нет. И меня нет, darling. Скоро не будет. Any time. <В любой момент (англ.) (Примеч. перев.)>

Он улыбается. Я отпускаю его. Он выпрямляется и вытряхивает слюну из трубы. Тут меня осторожно снимают со сцены. Позади меня стоит механик.

— Уходи, Смилла.

Я ухожу. Он снова исчезает. Я продолжаю идти. Передо мной дверь в вестибюль.

— Смилла Ясперсен!

Мы запоминаем людей по их одежде и по тем местам, где мы с ними встречались, так что я не сразу узнаю его. Темно-синий костюм и шелковый галстук не сочетаются с лицом. Потом я понимаю, что это Ноготь. В нем нет ничего привлекающего внимание, голос его тих и требователен. Через несколько минут они так же сдержанно и неотвратно поведут меня к машине. Я ускоряю шаг и отключаю мозг. Со всех сторон ко мне приближаются такие же, как он, уверенные в себе и настойчивые люди.

Я выхожу в вестибюль. За мной захлопывается дверь. Это большая дверь, она тоже сделана, как дверца банковского сейфа, такая высокая и тяжелая, что кажется, она не может служить ничем иным, кроме украшения. Теперь она захлопывается, словно крышка коробки для сигар. Механик стоит, небрежно прислонившись к ней. Все звуки остаются за дверью. Доносится только легкое постукивание, когда кто-то с той стороны пытается нажать плечом.

— Беги, Смилла, — говорит он. — Беги же. Ландер ждет тебя на дороге.

Я оглядываюсь по сторонам. В вестибюле никого нет. За выставленными в киоске журналами и сигаретами сладко зевает продавец. В справочном окошке девушка засыпает за своим компьютером. За моей спиной стоит человек, ростом два метра, лениво прислонившись к стальной двери, которая слегка подрагивает. В казино “Эресунн” все тихо и спокойно. Заведение высокого класса. Со своим стилем и интеллектуальным накалом и возможностью отдохнуть у зеленого сукна. Место, где можно приобрести новых друзей и встретиться со старыми.

И я бегу. Я начинаю задыхаться уже на автомобильной стоянке.

— Ваша машина, фру.

Это тот же охранник, который встречал нас.

— Я решила отдать ее на слом. После того взгляда, которым вы ее удостоили.

Пешеходной дорожки нет. Не предусмотрена возможность, что посетители казино могут прийти пешком. Поэтому я цокаю по дороге, пролезаю под двумя белыми шлагбаумами и выбегаю на Сунвенгет. В 100 метрах стоит красный “ягуар” с включенными габаритными огнями.

Ландер не смотрит на меня, когда я сажусь в машину. Его бледное лицо полно напряжения.

Ночь и сильный мороз. Я не припомню, чтобы я когда-нибудь раньше видела большой город в объятиях такого мороза. Копенгаген становится каким-то беззащитным и слабым, как будто приближается новый ледник.

— Что такое МДБ?

Он ведет машину неуклюже и медленно, непривычный к белой, кристаллической пленке, которой мороз покрыл асфальт.

— Малый десантный бот. Плоскодонный десантный катер. Того типа, который использовался во время высадки в Нормандии.

Я прошу его отвезти меня на Хаунегаде. Он ставит машину между причалом для судов на подводных крыльях и старой пристанью, откуда когда-то отправлялись суда на Борнхольм. Я прошу у него его ботинки и фуражку. Он снимает их, ни о чем не спрашивая.

— Жди меня час, — говорю я. — Но не больше.

Лед в ночи цвета темного бутылочного стекла, он покрыт тонким слоем снега, который, должно быть, выпал ночью. Я спускаюсь по вертикальной деревянной лестнице, прикрепленной к причалу. На самой ледяной глади очень холодно. Мое “бэрберри” становится жестким. Ботинки Лан-дера кажутся тонкими, как яичные скорлупки. Но они белые. Вместе с пальто и фуражкой они позволяют мне слиться со льдом. На случай, если у “Белого Сечения” кто-то поджидает меня.

У причала образовались небольшие торосы, по моим предположениям толщина льда более 10 сантиметров. Достаточно для того, чтобы руководство порта могло открыть здесь каток. Если бы только не темная, густая шуга на самом фарватере.

В Северной Гренландии живут очень скученно. Спят по несколько человек в каждой комнате. Постоянно слышат и видят всех остальных. Община так мала. В последний раз, когда я была дома, 600 человек были рассредоточены по 12 поселениям.

Противоположность этому составляет природа. Каждого охотника, каждого ребенка охватывает безумная горячка, когда он отходит или отъезжает от поселения. В первый момент это ощущение — взрыв энергии, граничащий с сумасшествием. После этого приходит необыкновенно ясное понимание всего.

Я знаю, что это смешно. Но здесь, в копенгагенской гавани, в два часа ночи, ко мне, как это ни странно, приходит такое же чувство понимания. Как будто оно каким-то образом исходит ото льда и ночного неба и пространства, слишком открытого по городским масштабам.

Я думаю об;о всем, что случилось со мной, с тех пор как умер Исайя.

Я представляю себе Данию в виде длинной ледяной косы. Она дрейфует, но, закованная в ледяной массив, закрепляет нас всех в определенном положении по отношению друг к другу.

Смерть Исайи — это отклонение от нормы, взрыв, вызвавший появление трещины. Эта трещина освободила меня. Мне самой непонятно, каким образом, но за короткое время я пришла в движение, стала скользящим по льду инородным телом.

И вот я скользну сейчас по копенгагенской гавани, одетая в клоунскую шляпу и взятые взаймы ботинки.

Отсюда становится видна другая Дания. Дания, состоящая из тех, кто тоже частично откололся ото льда.

Лойен и Андреас Лихт, движимые каждый своей алчностью.

Эльза Любинг, Лагерманн, Раун — чиновники, сила и слабость которых состоят в их верности государственному аппарату, предприятию, врачебному сословию. Но которые из-за сострадания, своих странностей или по непонятным причинам поступились своей лояльностью, чтобы помочь мне.

Ландер, бизнесмен, состоятельный человек, движимый желанием испытать острые ощущения и загадочной благодарностью.

Здесь начинается социальное сечение Дании. Механик — ремесленник, рабочий. Юлиана — отбросы. А я — кто есть я? Ученый? Наблюдатель? Или я человек, получивший возможность взглянуть на жизнь отчасти со стороны? С обзорной точки, состоящей из равных частей одиночества и просветления?

Или все это лишь пафос?

На фарватере ледяная каша связана тонкой, темной, без блеска коркой льда, подтаивающей и крошащейся снизу, которая называется “гнилой лед”. Я иду вдоль темного края в сторону “Белого Сечения”, пока не нахожу достаточно толстую льдину. Я ступаю на нее, а с нее на следующую. Чувствуется легкое движение по течению к выходу из гавани, может быть, в полузла, убаюкивающее, смертельное. Последний отрезок я прыгаю со льдины на льдину. Я даже не промочила ноги.

Окна в “Белом сечении” темны. Весь комплекс, кажется, погрузился в сон, который охватил и стены, и игровую площадку, и лестницы, и голые стволы деревьев. От набережной я медленно и осторожно иду за велосипедные сараи. Там я останавливаюсь.

Я смотрю на стоящие у дома автомобили. На темные двери. Ничто не шелохнется. Потом я смотрю на снег. Тонкий легкий слой свежеснеженного снега.

Луны нет, так что проходит какое-то время, прежде чем я замечаю их — ряд следов. Он перешел через мост и обошел здание сзади. На этой стороне игровой площадки следы становятся заметны. Вибрамовская подошва под большим человеком. Следы ведут к навесу передо мной и назад не возвращаются.

И тут я чувствую, что он где-то рядом. Нет звука, нет запаха, ничего не видно. Но следы заставили меня остро почувствовать присутствие постороннего, осознать нависшую опасность.

Мы ждем 20 минут. Когда холод заставляет меня задрожать, я отодвигаюсь от стены, чтобы не было случайных звуков. Может быть, мне сдаться и пойти назад тем же путем, которым я пришла. Но я остаюсь. Мне отвратителен страх. Я ненавижу испытывать страх. Есть только один путь к бесстрашию. Это путь, ведущий к таинственному центру страха.

В течение 20 минут — только безмолвное ожидание. На тринадцатиградусном морозе. Так могла ждать моя мать. Это с легкостью удастся большинству гренландских охотников. На это я

и сама иногда способна. Для большинства европейцев это было бы немыслимо. Они бы стали переминаться с ноги на ногу, покашливать, шуршать одеждой.

Он, чье присутствие я чувствую менее чем в метре от себя, должно быть, уверен в том, что он один, и никто не может видеть или слышать его. Однако он так тих, как будто его и не существует вовсе.

И все же у меня ни на секунду не возникает искушения пошевелиться, уступить холоду. Я чувствую, как длинная, протяжная нота внутри подсказывает мне, что тут кто-то ждет. И что он ждет меня.

Я даже не слышу, как он уходит. На минуту я закрыла глаза, потому что от холода они стали слезиться. Когда я их открываю, от навеса отрывается тень, она удаляется. Высокий человек, быстрая, плавная походка. А на голове, словно ореол или корона, что-то белое, наверное, шляпа.

Есть два способа метить белых медведей. Обычно их усыпляют с вертолета. Машина опускается прямо над медведем, высовываешься из кабины, и в тот момент, когда воздушная волна от винта достигает его, он прижимается к земле, а ты стреляешь.

И есть другой способ, который мы использовали на Свальбарде. С мотосаней — “способ викингов”. Стреляешь из специального духового ружья, изготовленного Ниендаммом в Южной Ютландии. Для этого требуется, чтобы ты был на расстоянии не более 50 метров. Еще лучше — менее 25. В тот момент, когда медведь останавливается и смотрит на тебя, ты видишь его таким, какой он есть на самом деле. Не живую тушу, которой вас увеселяют в зоопарке, а белого медведя, того, который изображен на гербе Гренландии, огромного, три четверти тонны мышц, костей и зубов — колоссальная, смертельная, взрывоопасная энергия. Хищник, который существует всего лишь 20 000 лет и для которого все это время существовало только два вида млекопитающих — его собственный вид и добыча, пища.

Я никогда не промахивалась. Мы стреляли пулями, которые с помощью газового механизма впрыскивали большую порцию золатила. Он падал почти мгновенно. Но мне ни разу не удалось избежать панического страха, от которого волосы вставали дыбом у меня на голове.

Так и сейчас. То, что удаляется от меня, это только тень, незнакомец, человек, который не замечает моего присутствия. Но на моей бесчувственной от холода коже, словно иголки ежа, топорщатся волоски.

Я выхожу к лестнице через подвал. Квартира механика заперта, и скотч на месте.

Дверь в квартиру Юлианы открыта. Когда я прохожу мимо, она выходит на лестницу.

— Ты уезжаешь, Смила?

Вид у нее беспомощный и измученный. Все равно я ее ненавижу. — Почему ты не рассказала мне о Винге? — говорю я. — О том, что он приезжал за Исайей. Она начинает рыдать.

— Квартира. Он дал нам квартиру. Он какая-то шишка в жилищном кооперативе. Он бы мог отнять ее у нас. Он сам так сказал. Ты не вернешься?

— Вернусь, — говорю я.

Это правда. Мне придется вернуться. Она — единственное, что осталось от Исайи. Как и я для

Морица — единственная связь с моей матерью.

Я поднимаюсь на свой этаж. Скотч не тронут. Я открываю дверь. Все лежит так, как я и оставила. Я собираю самое необходимое. Получается два чемодана, и они весят столько, что мне пришлось бы вызывать грузчиков. Я пытаюсь все уложить снова. Это трудно, потому что я не решаюсь зажигать свет — мне приходится складывать все в отраженном снежном свете города, проникающем через окно. В конце концов, я ограничиваюсь большой спортивной сумкой. Но не без душераздирающих жертв.

Стоя посреди комнаты, я оглядываюсь в последний раз по сторонам. Потом я достаю из ящика коробку Исаяи и кладу ее в сумку. Мысленно я быстро прощаюсь со своим домом.

В этот момент звонит телефон.

И пусть себе звонит на здоровье. Ведь я же не говорила механику, что пойду сюда. С полицией мне вряд ли захочется говорить. Все остальное может подождать. Мне просто не надо брать трубку. Я рискую потерять все, выигрывать же мне нечего.

Я снимаю скотч и беру трубку.

— Смилла...

Говорит он медленно, почти рассеянно. Но вместе с тем бархатным, звучным, как в рекламном ролике, голосом. Я его прежде не слышала. Волосы у меня на затылке встают дыбом. Я знаю, что этот голос принадлежит человеку, от которого я только что стояла на расстоянии менее метра. Я знаю это наверняка.

— Смилла... Я знаю, что ты там.

Я слышу его дыхание. Глубокое, спокойное.

— Смилла...

Я кладу трубку, не на рычаг, а на стол. Мне приходится взять ее двумя руками, чтобы не уронить. Вешаю сумку на плечо. Я не трачу времени на то, чтобы переодеть обувь. Я просто вылетаю из дверей, бегу вниз по темной лестнице, на улицу и по Странгаде, через мост и по Хаунегаде. Невозможно каждую секунду в жизни держать себя в руках. У каждого из нас бывает минута, когда паника побеждает.

Ландер сидит в машине с работающим двигателем. Я бросаюсь на сидение рядом с ним и прижимаюсь к нему.

— Неплохо для начала, — говорит он.

Проходит какое-то время, прежде чем мне удастся отдышаться.

— В порядке исключения это было выражение симпатии, — говорю я. — Не воображай себе очень много.

Я не возражаю против того, чтобы он подвез меня прямо к дому. Во всяком случае на сегодняшний вечер я потеряла всякое желание быть одной в темноте. И я не знаю другого места, куда я могла бы отправиться. Дверь открывает сам Мориц. В белом махровом халате, белых шелковых шортах, с всклокоченными волосами и заспанными глазами.

Он смотрит на меня. Он смотрит на Ландера, который держит мою сумку. Он смотрит на “ягуар”. В его полусонном мозгу бродят, борясь друг с другом, удивление, ревность, давняя злость, раздражительность, любопытство и вежливое негодование. Потом он трет щетину на лице.

— Ты зайдешь? — говорит он. — Или мне просто просунуть тебе деньги через щель для газет?

5

Ребра — это замкнутые эллиптические орбиты планет, с фокусами в sternum — груди, белом центре снимка. Легкие — это сероватые тени млечного пути на фоне черного свинцового небесного экрана. Темные контуры сердца — это облако пепла от сгоревшего солнца. Туманные гиперболы внутренностей — это одинокие астероиды, бродяги вселенной, случайная космическая пыль.

Мы стоим в приемной Морица, вокруг экрана, на котором висят три рентгеновских снимка. Уменьшение с помощью техники фотонной фотографии со всей ясностью показывает, что человек — это целый мир, солнечная система, увиденная из другой галактики. И все-таки этот человек мертв. В вечной мерзлоте Хольстейнсборга кто-то пневматическим буром выдолбил ему могилу и завалил сверху камнями, а потом залил цементом, чтобы к этому месту не сбегались песцы.

— Мариус Хёг, умер на глетчере Баррен. Гела Альта, июль 1966. Мориц, судебно-медицинский эксперт Лагерманн и я стоим у экрана.

В плетеном кресле сидит Бенья, посасывая большой палец.

Пол здесь из желтого мрамора, стены оклеены светло-коричневой материей. Плетеные кресла, кушетка для осмотра больных, покрашенная в цвет зеленого авокадо и обтянутая натурального цвета воловьей кожей. На стене висит подлинный Дали. Даже рентгеновский аппарат выглядит так, будто испытывает удовольствие от этой попытки сделать передовую технологию уютной.

Именно здесь Мориц обычно зарабатывает ту часть денег, которые помогают ему позолотить закат его жизни, но в настоящий момент он работает бесплатно. Он рассматривает рентгеновские снимки, которые Лагерманн, нарушив шесть пунктов закона, вынес из архива Института судебной медицины.

— Отчета об экспедиции 66-го года нет. Его просто изъяли. Черт возьми.

Я рассказала Морицу, что на меня объявлен розыск и что я не собираюсь являться в полицию. Нарушения закона вызывает у него отвращение, но он покоряется, потому что, с разрешения полиции или без разрешения, все равно лучше, что я здесь, чем если меня здесь нет.

Я рассказала ему, что ко мне придет один знакомый и что нам понадобится экран в его клинике. Клиника — это для него святая святых, наряду с его капиталами и его счетами в Швейцарии, но он покоряется.

Я сказала, что не хочу ему ничего объяснять. Он покоряется. Он пытается выплачивать свой долг мне. Этому долгу 30 лет, и он беспрделен.

И вот, когда пришел Лагерманн, достал снимки и прикрепил их маленькими прищепками,

дверь все-таки открывается, и, ссутулившись, входит Мориц.

Перед нами оказывается человек, единый в трех лицах.

Он — мой отец, по-прежнему любящий мою мать и, возможно, и меня тоже, а теперь он вне себя от беспокойства, с которым не в силах совладать.

Он — крупный врач и доктор медицинских наук, и международная знаменитость по части инъекций, от которого никогда ничего не скрывали и который всегда раньше других узнавал, что и как.

И он — маленький мальчик, которого выставили за дверь, а внутри происходит нечто, в чем он страстно хочет принять участие.

Именно этому последнему я по неожиданной прихоти позволяю войти и представляю его Лагерманну.

Конечно же, тот знает моего отца, он пожимает ему руку и широко ему улыбается, он встречался с ним до этого два-три раза. Мне следовало бы предусмотреть то, что сейчас происходит, а именно то, что Лагерманн тянет его к экрану.

— Взгляните-ка сюда, — говорит он, — потому что тут, черт возьми, есть кое-что, что вас удивит.

Дверь открывается, и медленно входит Беня. В своих шерстяных гольфах на вывернутых носками наружу ногах примадонны, и со своими претензиями на безграничное внимание.

Оба мужчины прилипли к прозрачной звездной карте на экране. Они говорят и объясняют мне. Но обращаются они друг к другу.

— В Гренландии очень мало опасных бактерий.

Лагерманн не знает, что мы с Морицем успели забыть о Гренландии больше, чем он когда-либо узнает. Но мы не перебиваем его.

— Там слишком холодно. И слишком сухо. Поэтому отравления испорченными продуктами питания бывают крайне редко. За исключением только одной формы. Ботулизма, анаэробных бактерий, вызывающих очень опасную форму отравления мясом.

— Я лактовегетарианка, — говорит Беня.

— Медицинское заключение находится в Готхопе, но копия есть в Копенгагене. В нем говорится, что было найдено пять человек в один день, 7 августа 1991 года. Здоровые, молодые люди. Ботулизм. *Clostridium Botulinum* — анаэроб, как и *Tetanus*, бактерия, вызывающая столбняк. Сам по себе микроб ботулизма не представляет опасности. Но продукты его жизнедеятельности крайне токсичны. Они поражают периферийную нервную систему, нервы, возбуждающие мышечные ткани. Парализуют дыхание. Перед самым наступлением смерти все это, конечно, ярко выражено. Чертовское кислородное голодание, *acidose*. Лица людей становятся совершенно синими. Но когда все заканчивается, не остается никаких следов. Понятно, что *livores* немного темнее, но это ведь, черт возьми, бывает и при сердечном приступе.

— Так что по внешнему виду ничего не определить? — спрашиваю я. Он качает головой.

— Ничего. Ботулизм определяют в процессе исключения других возможностей. Это предположение, к которому приходят, потом) что не могут найти других причин смерти. Берут анализ крови. Пробы тех продуктов питания, которые находятся под подозрением. Их посылают в Институт вакцины. В больнице королевы Ингрид в Готхопе есть, конечно же, медицинская лаборатория. Но нет оборудования, необходимого для обнаружения самых редких токсинов. Поэтому анализы крови были посланы в Копенгаген. В анализах был обнаружен яд микроба ботулизма.

Он достает одну из своих больших спичек для сигар. Брови Морица взлетают на лоб. В клинике под страхом смерти запрещено курить. Курильщикам предлагают пройти в курительную, то есть прогуляться по саду. И даже там он это не очень приветствует. Он считает, что вид курящего человека, даже на расстоянии, может нарушить точность его удара при игре в гольф. Одной из немногих крупных, удивительных его побед над моей матерью было то, что в Кваанааке он заставил ее курить на улице. Одним из его бесчисленных поражений было то, что она курила в летней палатке в Сиорапалуке.

Тем концом спички, на котором нет головки, Лагерманн показывает на микроскопические цифры на нижнем крае снимка.

— Рентген стоит целую кучу денег. Мы используем его, только когда ищем попавшие в тело людей металлические предметы. В 91 году не делали снимков. Посчитали, что в этом нет необходимости.

Он достает из нагрудного кармана сигару в целлофане.

— Здесь нельзя курить, — говорит Бенья.

Он рассеянно разглядывает ее. Потом осторожно постукивает сигарой по снимку.

— Но в 66-м, тогда они были вынуждены сделать снимки. Не было уверенности при опознании. Тела ведь были сильно повреждены взрывом. Не оставалось ничего другого, кроме как сделать рентген. Чтобы поискать старые переломы и всякое такое. Снимки должны были быть разосланы всем гренландским врачам. Как и полный снимок того, что осталось от их зубов.

Только сейчас я замечаю, что на снимке под тазом отсутствуют бедренные кости.

Лагерманн осторожно прикрепляет еще два снимка рядом с первым. На одном из них изображен целиком почти неповрежденный позвоночник. Другой представляет собой хаос кусочков костей и затемнений — разорванную на куски вселенную.

— Тут встает целый ряд профессиональных вопросов. Например, о положении тела по отношению к центру взрыва. Похоже, что они сидели прямо на самой взрывчатке. Что она не была — как обычно бывает в случае использования пластичных взрывчатых веществ в горах или на льду — помещена в пробуренный шурф или же в кумулятивное устройство, которое фокусирует взрыв в определенном направлении. Что она, если так можно выразиться, взлетела на воздух прямо им в задницу. Что случается крайне редко, когда работают профессионалы.

— Я ухожу, — говорит Бенья. Но она продолжает сидеть.

— Все это, конечно, домыслы, основанные на очень слабых доказательствах. Но иначе вот с этим.

Он вешает два более крупных снимка под первыми.

— Увеличение, сделанное с негатива этих участков. Он показывает сигарой.

— Видны остатки печени, нижний oesofagus и желудок. Здесь застряло нижнее ребро, прямо над vertebra lumbalis, который находится здесь. Это сердце. Здесь повреждено, здесь нет. Вы видите что-нибудь?

Для меня это хаос серых и черных оттенков. Мориц наклоняется вперед. Любопытство побеждает тщеславие. Из своего внутреннего кармана он достает те очки, в которых видели его только мы, близкие ему женщины. Потом он касается ногтем каждого снимка.

— Здесь.

Лагерманн выпрямляется.

— Да, — говорит он. — Именно здесь. Но что это за чертовщина? Мориц берет увеличительное стекло с алюминиевого подноса. Даже когда он показывает мне это, я ничего не вижу. И только когда он показывает мне на другом снимке, я могу рассмотреть. Как в гляциологии. Один раз — это только случайность. Повторение создает структуру.

Это беловатый, толщиной с иголку след, неровный, извилистый. Он движется вдоль разбитых позвонков, исчезает у ребер, появляется у одного края легкого, исчезает, и потом возникает у сердца, вне его и частично в нем, в большом желудочке, словно белая ниточка света.

Лагерманн показывает на другую фотографию. След идет через печень, в левую почку.

Они смотрят через лупу.

Потом Мориц поворачивается. С письменного стола он берет глянцевый, толстый журнал.

— «Nature», — говорит он. — Специальный выпуск 1979 года. На который ты, Смила, обратила мое внимание.

Справа фотография. Рентгеновский снимок, но снятый при помощи специальной техники, так что видны и ткани, а тело совершенно незаметно переходит в скелет.

— Это, — говорит Мориц, — житель Ганы.

Он проводит авторучкой вдоль левой стороны снимка. Виден светлый, извилистый след, идущий от бедра вверх через брюшную полость.

— Dracunculus, — говорит он. — Гвинейский червь. Переносится ракообразными Cyclops, в питьевой воде. Может также проникать через кожу. Очень неприятный паразит. Достигает одного метра в длину. Двигается по телу со скоростью до одного сантиметра в сутки. Высовывает, наконец, голову на бедре. Тут его и ловят африканцы и наматывают на палочку. Каждый день они вытягивают несколько сантиметров. На то, чтобы вытащить его, уходит месяц. Этот месяц и все предшествующие — это период непрекращающихся страданий.

— Какая гадость. — говорит Беня.

Мы все втроем склонились над снимками.

— Я так и думал, — говорит Лагерманн, — я так и думал, что это должен быть какой-то червь.

— Статья в «Nature», — говорит Мориц, — посвящена диагностированию таких паразитов при помощи рентгена. Это очень сложно, если нет обызвествления ткани вокруг них. Поскольку сердце больше не бьется, очень трудно заставить контрастное вещество распространиться по телу.

— Но здесь речь идет о Гренландии, — говорю я. — А не о тропиках. Мориц кивает.

— Но ты подчеркнула название статьи на листке. Ее написал Лойен. Это одно из основных направлений его исследований.

Лагерманн постукивает по снимку.

— Я ничего не знаю о тропических болезнях. Я судебно-медицинский эксперт. Но в этих двух людей что-то внедрилось. Нечто, возможно, похожее на червя, возможно, на что-нибудь другое. Оно оставило канал, длиной 40 сантиметров, и, по меньшей мере, 2 миллиметра в диаметре. Проходящий прямо через диафрагму и мягкие ткани. Попадающий в области, разрушенные в результате этого воспалительным процессом. Этим двум господам было наплевать на тротил. Они умерли еще до взрыва. Умерли, потому что нечто — уж черт его знает, что это было — просунуло голову соответственно в сердце и печень.

Мы стоим, в растерянности глядя на снимки.

— Самым подходящим человеком для решения этой проблемы, — говорит Мориц, — был бы, наверное, Лойен.

Лагерманн смотрит на него, прищурившись.

— Да, — говорит он. — Было бы интересно послушать, что он может сказать. Но, по-видимому, чтобы быть уверенными в искренности его ответов, нам бы пришлось привязать его к стулу, дать ему пентотал натрия и присоединить его к детектору лжи.

6

Я очень хочу понять Бенью. И в эту минуту более, чем когда бы то ни было.

Так было не всегда. Не всегда мне обязательно надо было понять. Во всяком случае, я говорю себе, что так было не всегда. Когда я впервые приехала в Данию, я лишь воспринимала явления. В их ужасе, или красоте, или глубокой печали. Но при этом не чувствуя особой потребности объяснить себе их.

Часто, когда Исая приходил домой, ему нечего было есть. За столом сидела Юлиана со своими друзьями в табачном дыму, и был смех, и слезы, и чудовищное пьянство, но не было даже пяти крон, чтобы спуститься и купить жареной картошки. Он никогда не жаловался. Он никогда не ругал свою мать. Он не дулся. Терпеливо, молча, осторожно он уворачивался от протянутых к нему рук и уходил. Чтобы, если это возможно, найти иной выход. Иногда бывал дома механик, иногда — я. Он мог просидеть в моей гостиной час или больше, не говоря, что он голоден. Твердо придерживаясь правил доходящей до глупости гренландской вежливости.

Когда я готовила ему еду, когда варила скумбрию весом в полтора килограмма, и давала ему ее

целиком на полу на газете, потому что именно там ему больше всего нравилось есть, и он, обеими руками, не говоря ни слова, с методичной основательностью расправлялся с целой рыбиной, съедал глаза и высасывал мозг, обсасывал хребет и грыз плавники — вот в такую минуту у меня иногда возникало желание объяснить. Попытаться понять разницу между детством в Дании и детством в Гренландии. Чтобы постичь унижительные, утомительные, однообразные эмоциональные драмы, которые связывают европейских детей и родителей взаимной ненавистью и зависимостью. И чтобы понять Исайю.

В глубине души я знаю, что стремление постичь ведет к слепоте, что желание понять несет в себе жестокость, которая затмевает то, к чему стремится понимание. Только восприятие обладает чуткостью. В таком случае, я, наверное, и слаба, и жестока. Мне никогда не удавалось отказаться от этих попыток.

На первый взгляд, у Беньи есть все. Я знакома с ее родителями. Это подтянутые и сдержанные люди, они играют на рояле, говорят на иностранных языках, а каждое лето, когда балетная школа Королевского Театра закрывалась, они, уезжая на юг в дом у Коста Смеральда, брали с собой лучшего французского балетного педагога, чтобы тот каждое утро на террасе среди пальм гонял Бенью, потому что так она сама пожелала.

Можно было бы подумать, что человек, который никогда не страдал или не испытывал нужды в чем-нибудь достойном внимания, найдет спокойствие внутри себя. Долгое время я неверно оценивала ее. Когда она расхаживала по комнатам перед нами с Морицем, одетая только в свои маленькие трусики, и закрывала лампы красными шелковыми платками, потому что свет режет ей глаза, и все время договаривалась о чем-то с Морицем, а потом отказывалась, потому что, как она говорила, сегодня ей нужно встретиться со своими сверстниками, мне казалось, что это у них такая игра. Что она на непостижимой волне самоуверенности испытывала свою молодость, красоту и притягательную силу на Морице, который почти на 50 лет старше ее.

Однажды я стала свидетелем того, как она потребовала переставить мебель, чтобы у нее было место танцевать, а он не согласился.

Сначала она не поверила. Ее красивое личико, чуть раскосые миндалевидные глаза и прямой лобик под кудряшками заранее светились уверенностью в победе. Потом она поняла, что он не сдастся. Возможно, это было впервые в их отношениях. Сначала она побледнела от гнева, а потом ее лицо искривилось гримасой. В глазах появились отчаяние, пустота, одиночество, губы сжались в подавленном, инфантильном, отчаянном рыдании, которое, однако, никак не могло вырваться наружу.

Тогда я поняла, что она любит его. Что за вызывающим кокетством скрывается похожая на боевые действия любовь, которая вынесет все и будет сражаться во всех необходимых танковых баталиях, и взамен этого потребует все. Тогда же я подумала, что она, наверное, всегда будет ненавидеть меня. И что она заранее проиграла. Где-то в душе Морица есть область, куда она никогда не сможет проникнуть. Обитель его чувств к моей матери.

Или, может быть, я все-таки ошибаюсь. В это мгновение, именно сейчас, мне приходит в голову, что она, может быть, все же выиграла. Если это так, то я признаю, что она потрудилась. И не ограничиваясь только тем, чтобы вертеть своей маленькой попкой. И не довольствуясь только тем, чтобы бросать на Морица, сидящего в первом ряду партера, томные взгляды, надеясь, что это окупится в будущем. И не надеясь на свое влияние дома и в лоне семьи. Если бы я раньше и не понимала этого, то в этот момент понимаю. Понимаю, что в Бенье есть природная сила.

Я стою в снегу, прижавшись к стене дома, и заглядываю в окно буфетной. Бенья наливает молоко в стакан. Обворожительная, гибкая Бенья. И протягивает его человеку, который появляется в поле моего зрения. Этот человек Ноготь.

Я иду по Странвайен, со стороны станции Клампенборг, и чудо, что я его замечаю, потому что у меня был тяжелый день.

В это утро я больше не в силах с этим бороться, и, встав, убираю под лыжную шапочку волосы и повязку, которая теперь представляет собой лишь кусочек пластыря, закрывающий рану, надеваю темные очки и пальто и еду на поезде на Центральный вокзал, откуда звоню механику домой, но никто не берет трубку.

Потом я проплываюсь вдоль набережной от Толькайен до Лангели-ниэ, чтобы собраться с мыслями. У станции Норхаун я делаю ряд покупок, мне упаковывают коробку, которую я прошу доставить на виллу Морица, и звоню из телефона-автомата, и этот звонок — это мне ясно — является одним из самых важных поступков в моей жизни.

И все же, это значит удивительно мало. В некоторых случаях роковые решения в жизни, возможно, даже вопрос жизни и смерти, даются с почти беззаботной легкостью. Но мелочи, например, то, как цепляешься за все равно ушедшее, оказываются такими важными. В этот день необходимо снова увидеть Книппельсбро, где мы ехали с ним. и “Белое Сечение”, где мы спали с ним. и “Криолитовое общество”, и Скудехаунсвай, где мы гуляли под руку. Из автомата на станции Норхаун я снова звоню ему. Трубку берет какой-то человек. Но это не он. Это сдержанный, анонимный голос. — Да?

Я молча слушаю. Потом вешаю трубку.

Я листаю телефонную книгу. Не могу найти его автомастерскую. Я беру такси до площади Тофтегор и иду по аллее Вигерслев. Тут нет никакой мастерской. Из автомата я звоню в отделение профсоюза. Человек, который говорит со мной, любезен и терпелив. Но на аллее Вигерслев никогда не была зарегистрирована никакая мастерская.

Никогда до этого я не обращала внимания на то, как открыты для наблюдения телефонные будки. Звонить из них — все равно что выставять себя для моментального опознания.

В телефонной книге два адреса Центра эволюционных исследований: один в институте Августа Крога, а другой в Датском техническом университете на Лундтофлеслеттен. По последнему адресу находится также библиотека и секретариат центра.

Я беру такси до Кампманнсгаде, до Комитета по регистрации промышленных предприятий и компаний. Улыбка, галстук и простодушие юноши все те же.

— Хорошо, что вы пришли, — говорит он. Я показываю ему вырезку из газеты.

— Вы читаете иностранные газеты. Вы помните этот случай?

— Самоубийство, — говорит он. — Все это помнят. Секретарь консульства бросилась с крыши. Тот, кого задержали по подозрению, пытался отговорить ее от этого. Дело вызвало обсуждение принципиальных вопросов правовой защиты датчан за границей.

— Вы не помните имя секретаря? В глазах у него появляются слезы.

— Я изучал международное право на одном курсе с ней. Прекрасная девушка. Ее звали Раун.

Натали Раун. Она собиралась пойти работать в Министерство юстиции. Поговаривали — в узких кругах — что она может стать первой женщиной-начальником полиции.

— Нет более “узкого круга”, — говорю я. — Если что-нибудь происходит в Гренландии, оно оказывается связанным с чем-то другим в Сингапуре.

Он печально смотрит на меня, ничего не понимая.

— Вы пришли не для того, чтобы встретиться со мной, — говорит он. — Вы пришла из-за этого.

— Я не заслуживаю того, чтобы со мной знакомиться ближе, — говорю я, не кривя душой.

— Она была похожа на вас. Таинственная. Ее тоже нельзя было представить себе работающей в кабинете. Я так и не понял, почему она вдруг стала секретарем в Сингапуре. Это ведь другое министерство.

Я еду на поезде до станции Люнгбю, а оттуда на автобусе. В каком-то смысле все так же, как и когда-то в 17 лет. Кажется, что отчаяние полностью парализует тебя, но нет — этого не происходит, оно концентрируется в темной точке где-то внутри тебя, заставляя остальную систему функционировать, заставляя тебя делать конкретные дела, которые, может быть, и не так уж важны, но которые держат тебя в тонусе, гарантируя, что ты все-таки каким-то образом живешь.

Между зданиями лежит снег толщиной в метр, расчищены только узкие дорожки.

Центр эволюционных исследований еще не полностью оборудован. В приемной установлена конторская стойка, но она закрыта сверху, потому что красят потолок. Я объясняю, что именно я разыскиваю. Одна из женщин спрашивает, заказано ли у меня компьютерное время. Я отвечаю, что нет. Она качает головой, библиотека еще не открыта, а архив находится в UNIC — Датском вычислительном центре науки и образования, компьютерной сети высших учебных заведений, закрытой для внешнего пользования.

Какое-то время я брожу между зданиями. Когда я училась в университете, я несколько раз бывала в этом месте. У нас здесь проводились занятия по топографической съемке. За это время все изменилось. Стало более суровым и чужим, чем я это помню. Или же дело в холоде. Или во мне самой.

Я прохожу мимо здания вычислительного центра. Дверь закрыта, но когда выходит группа студентов, мне удастся войти. В центральном зале стоит около полусотни терминалов. Некоторое время я жду. В зал входит пожилой человек, и я иду вслед за ним. Он садится, а я встаю за его спиной и внимательно наблюдаю. Он меня не замечает. Просидев час, он уходит. Я сажусь за свободный терминал и нажимаю на клавишу. Компьютер спрашивает: Logon userID? Я набираю LTH3, как это делал пожилой человек. Компьютер отвечает Welcome to: “Лаборатория технической гигиены”. Your password? Я набираю ИПБ. Как и пожилой господин. Компьютер отвечает: Welcome Mr. Йене Петер Брамслев.

Когда я набираю “Центр эволюционных исследований”, компьютер предлагает мне меню. Один из пунктов “Библиотека”. Я набираю имя Тёрк Вид. Есть название только одной работы. “Гипотеза об истреблении подводной жизни в полярных морях в связи с инцидентом Альвареса”.

Статья на 100 страницах. Я пролистываю их. Хронологические таблицы. Фотографии окаменелостей. Ни они, ни текст под картинками не понятны из-за низкого разрешения

экрана. Различные кривые. Несколько геологических карт-схем современного Девисова пролива в разные моменты его становления. Все кажется одинаково непонятным. Я нажимаю на клавишу, чтобы попасть в конец.

После длинного списка литературы, идет очень короткое резюме статьи.

"В основу статьи положен тезис, выдвинутый в 70-е годы физиком и лауреатом Нобелевской премии Луи Альваресом, о том, что содержание иридия в глинистом слое между отложениями мелового и третичного периодов у Губбио в Северных Апеннинах и у Стивнс Клинт в Дании, слишком велико, чтобы объясняться чем-нибудь иным, кроме как падением очень большого метеорита.

Альварес исходит из того, что падение произошло 65 миллионов лет назад, что метеорит был от 6 до 14 километров в диаметре и что он взорвался при падении, высвободив энергию, равную 100 000 000 мегатонн тротила. Образовавшееся в результате облако пыли полностью закрывало солнечный свет по меньшей мере в течение нескольких суток. В это время нарушилось несколько пищевых цепей. В результате большая часть морской и подводной жизни погибла, что в свою очередь имело последствия для крупных плотоядных и травоядных животных. В статье — на основе сделанных автором находок в Баренцевом море и в Девисовом проливе — рассматривается возможность того, что возникшим в результате взрыва радиоактивным излучением можно объяснить ряд мутаций среди морских паразитов в период раннего палеоцена. Рассматривается также вопрос о том, могут ли эти мутации объяснить массовое вымирание крупных морских животных".

Я снова листаю назад. Язык четкий, стиль ясный, почти прозрачный. И все же кажется, что 65 миллионов лет — это очень давно.

Уже стемнело, когда я сажусь на поезд, чтобы ехать назад. Ветер несет с собой легкий снежок — pirhuk. Я регистрирую это, как будто нахожусь в состоянии анестезии.

В большом городе начинаешь особым образом смотреть на окружающий тебя мир. Сфокусированный, случайно избирательный взгляд. Если разглядываешь пустыню или ледяную поверхность, то смотришь иначе. Детали ускользают из фокуса ради целого. Такой взгляд видит другую реальность. Если таким образом смотреть налицо, оно начинает растворяться в сменяющемся ряде масок.

Для такого взгляда облако пара от дыхания человека, та пелена охлажденных капель, которая при температуре ниже восьми градусов Цельсия образуется в выдыхаемом воздухе, не просто наблюдаемое на расстоянии до 50 сантиметров от рта явление. Это нечто более сложное — изменение структуры пространства вокруг теплокровного существа, аура незначительных, но очевидных температурных сдвигов. Я видела, как охотники стреляют зайцев-беляков зимней беззвездной ночью на расстоянии 250 метров, прицелившись только в облачко вокруг них.

Я не охотник. И внутри себя я погружена в сон. Может быть, я близка к тому, чтобы сдаться. Но я чувствую его на расстоянии 50 метров, до того, как он может >слышать меня. Он ждет между двумя мраморными колоннами, которые стоят с обеих сторон ворот, ведущих от Странвайен к лестнице дома.

В районе Нёрребро люди могут стоять на углу улицы и в подворотнях, там это не имеет никакого значения. На Странвайен это знаменательно. К тому же я стала сверхчувствительной. И я стряхиваю с себя желание сдаться, делаю несколько шагов назад и оказываюсь в саду соседей.

Я нахожу дыру в изгороди, как я много раз делала в детстве, пролезаю внутрь и жду. Через несколько минут я вижу второго. Он разместился возле угла домика привратника, там, где подъезд к дому делает поворот.

Я иду назад, к тому месту, откуда могу подойти к дверям кухни под таким углом, когда я незаметна им обоим. В темноте уже почти ничего не видно. Черная земля между розами тверда как камень. Бассейн для птиц окружен большим сугробом.

Двигаясь вдоль стены дома, я вдруг неожиданно понимаю, что мне, которой раньше так часто мерещилось преследование, может быть, до этого момента и не на что было особенно жаловаться.

Мориц сидит один в гостиной, я вижу его через окно. Он сидит в низком дубовом кресле, сжимая его ручки. Я иду дальше, вокруг дома, мимо главного входа, вдоль боковой стены дома, до выступающей ее части. В буфетной светло. Там я и вижу Бенью, наливающую стакан холодного молока. Молоко подкрепляет силы в такой вечер, когда надо наблюдать и ждать. Я поднимаюсь по пожарной лестнице. Она ведет к балкону перед той комнатой, которая когда-то была моей. Я забираюсь внутрь и ощупью пробираюсь дальше. Коробку доставили — она стоит на полу.

Дверь в коридор открыта. Внизу, в прихожей. Бенья провожает Ногтя.

Я вижу, как он темной тенью идет по дорожке. По направлению к гаражу, потом заходит в маленькую дверь.

Конечно же, они поставили машину в гараж. Мориц слегка передвинул машину, которой он пользуется каждый день, чтобы освободить им место. Граждане обязаны оказывать всяческую помощь полиции.

Я на цыпочках спускаюсь по лестнице. Мне она хорошо знакома, так что я не произвожу никакого шума. Спускаюсь в холл, прохожу мимо гардероба и захожу в маленькую гостиную. Там стоит Бенья. Она меня не видит. Она стоит, глядя на Эресунн. На огни в гавани Туборг, на Швецию и форт Флак. Она напевает. Не очень-то радостно и спокойно. Скорее напряженно. Сегодня ночью, думает она, схватят Смиллу. Эту эскимосскую дурочку.

— Бенья, — говорю я.

Она молниеносно, словно в танце, оборачивается. Но тотчас замирает.

Я ничего не говорю, просто показываю на дверь, и, опустив голову, она идет впереди меня в гостиную.

Я стою в дверях, где из-за длинных штор меня не видно снаружи.

Мориц поднимает голову и видит меня. Выражение его лица не меняется. Но лицо становится более несчастным, более измученным.

— Это я.

Бенья встает рядом с ним. Он принадлежит ей.

— Это я им позвонила, — говорит она.

Он скребет рукой подбородок. Сегодня вечером он не брит. Щетина черная, местами с проседью. Говорит он тихо и покорно.

— Я никогда не говорил, что я безупречен, Смила.

Это я уже слышала множество раз, но не решаюсь напомнить ему об этом. Впервые в жизни я вижу, что он стар. Что он когда-нибудь, может быть, очень скоро, умрет. Мгновение я борюсь с собой, потом сдаюсь, и меня охватывает сострадание. В этот злополучный момент.

— Они ждут тебя на улице, — говорит Бенья. — Они заберут тебя. Тебе здесь нечего делать.

Я не могу не восхищаться ею. Что-то похожее на это бешенство можно наблюдать у защищающих своих детенышей самок белых медведей. Мориц как будто не слышит ее. Голос его по-прежнему тих, сосредоточен. Как будто он скорее обращается к самому себе.

— Мне ведь так хотелось покоя. Мне так хотелось, чтобы вокруг меня была семья. Но у меня это не получилось. Это никогда не получалось. Все выходит из-под моего контроля. Когда я увидел ту коробку, которую принесли сегодня вечером, я понял, что ты снова уезжаешь. Как и много раз прежде. Я стал слишком стар, чтобы возвращать тебя домой. Может быть, не надо было этого тогда делать.

Его глаза наливаются кровью, когда он смотрит на меня.

— Я не хочу отпускать тебя, Смила.

В жизни каждого человека существует возможность достичь определенности. Он эту возможность потерял. Те конфликты, которые сейчас прижимают его к креслу, были у него, и когда ему было тридцать, когда я узнала его, когда он стал моим отцом. Прошедшие годы лишь подорвали силы, необходимые ему при столкновении с ними.

Бенья облизывает губы. — Ты сама выйдешь к ним, — говорит она, — или мне их позвать?

Всю свою жизнь, сколько я себя помню, я пыталась покинуть этот дом, эту страну. Каждый раз судьба использовала Морица в качестве своего покорного орудия, чтобы призвать меня назад. В это мгновение становится так ясно, как не было ясно с самого моего детства, что свобода выбора — это иллюзия, что жизнь ведет нас через целый ряд горьких, нелепых, повторяющихся столкновений с теми проблемами, которых мы не разрешили. В какой-то другой момент меня бы позабавила эта мысль. Теперь же я слишком устала. Поэтому я покоряюсь и готовлюсь сдаться.

Тут Мориц встает.

— Бенья, — говорит он, — ты останешься здесь. Она изумленно смотрит на него.

— Смила, — говорит он, — что я должен сделать?

Мы, прищурившись, смотрим друг на друга оценивающим взглядом. В нем что-то сдвинулось.

— Машина. — говорю я. — Подкати машину к заднему входу. Поближе, чтобы ты незаметно от них мог вынести коробку. И чтобы я могла выйти и лечь на пол между сидениями.

Когда он выходит из комнаты, Бенья садится в его кресло. Ее лицо отстраненное, невыразительное. Мы слышим, как заводится машина, как она выезжает из гаража, слышим

скрип колес на гравии перед дверями. Звук открываемой двери. Осторожные шаги Морица, с напряжением несущего коробку вниз.

Когда он заходит в комнату, на нем резиновые сапоги, непромокаемое пальто и шапка. Он останавливается на минуту в дверях. Потом поворачивается спиной и уходит.

Когда я встаю, Бенья медленно идет за мной. Я захожу в маленькую гостиную, где стоит телефон, и набираю номер. Трубку сразу же снимают.

— Я еду, — говорю я. И вешаю трубку.

Когда я оборачиваюсь, передо мной стоит Бенья.

— Когда вы уедете, я выйду к ним и отправлю их за вами.

Я подхожу вплотную к ней. Большим и указательным пальцами я хватаю через трикотажные брюки ее венерин бугорок и сжимаю его. Когда она открывает рот, я другой рукой хватаю ее за горло и надавливаю на трахею. Ее глаза становятся большими, и в них появляется страх. Она опускается на колени, и я вслед за ней, пока мы не оказываемся на полу друг перед другом. Она больше и тяжелее меня, но ее сила и злоба реализуются по-другому. В Королевском Театре не учат находить своему гневу физическое выражение.

— Бенья, — шепчу я, — не мешай мне.

Я надавливаю сильнее. На ее верхней губе выступают капельки пота.

Потом я ее отпускаю. Она не произносит ни звука. Ее лицо застыло от страха.

Дверь из холла открыта. Машина стоит прямо у самого входа. Я заползаю внутрь. На заднем сидении стоит моя коробка. Меня прикрывают пледом. Мориц садится на переднее сидение.

У гаража машина останавливается. Стекло опускается. — Большое вам спасибо за помощь, — говорит Ноготь.

И мы уезжаем.

В клубе воднолыжников “Скоуховед” широкий деревянный скат спускается с высокого пирса в море. Там ждет Ландер. На нем водонепроницаемый комбинезон, составляющий единое целое с сапогами. Комбинезон черного цвета.

Черного цвета и тот брезент, которым закрыта крыша его машины. Это не “ягуар”, а “лендровер” с высоким кузовом.

Черного цвета и лежащая под брезентом резиновая лодка — “зодиак” из плотной прорезиненной ткани с деревянным дном. Мориц хочет помочь, но не успевает. Легким рывком маленький человечек снимает лодку с машины, переворачивая ее себе на голову, а потом плавным движением опускает вниз.

Из багажника он достает подвесной мотор, помещает его в лодку и закрепляет на корме.

Мы поднимаем лодку все втроем, чтобы спустить ее на воду. Из своей коробки я достаю резиновые сапоги, вязанный шлем, оставляющий открытым только лицо, теплые перчатки и зюйдвестку, которую я надеваю поверх свитера.

Мориц не выходит с нами на скат, а остается стоять за ограждением.

— Я могу что-нибудь для тебя сделать, Смила?

Отвечает ему Ландер.

— Вы можете поскорее отсюда уехать.

Потом он отталкивается и заводит мотор. Невидимая рука поднимает лодку снизу и уводит нас от берега. Падающий снег становится густым. Через несколько секунд фигура Морица исчезает. Как раз в тот момент, когда он поворачивается и идет к машине.

На левом запястье Ландера закреплен компас. В коридоре видимости, на мгновение возникшем в снежной пелене, показывается шведский берег. Огни Торбэка. И словно зыбкие, светлые пятна в темноте, два судна, стоящие на якоре между берегом и центральным фарватером. К северо-западу от форта Флак.

— Справа по борту “Кронос”.

Мне странно видеть Ландера без его кабинета, его спиртного, его высоких каблуков, его элегантной одежды. Меня удивляет та неожиданная уверенность, с которой он управляет лодкой посреди волн, все более усиливающихся по мере того, как мы отходим от берега.

Я пытаюсь сориентироваться. До фарватера одна морская миля. Два буйка по пути. Маяки при входе в гавань Туборг, гавань Скоуховед. Огни на холмах над Странвайен. Идущий на юг контейнеровоз.

Когда все это пропадает в снежной пелене, я два раза поправляю его курс. Он с недоумением смотрит на меня, но подчиняется. Я ничего не пытаюсь ему объяснить. Что я могу сказать?

Поднимается ветерок. Он бросает нам в лицо холодные, резкие брызги соленой воды. Мы прижимаемся ко дну лодки и прижимаем друг к другу. Тяжелый “зодиак” пляшет на стоячей волне. Он прижимает губы к моему вязаному шлему, который я закатала наверх.

— Мы с Фойлом служили вместе во флоте. В отряде аквалангистов специального назначения. Нам было немногим больше двадцати. Разумный человек только в таком возрасте и может мириться с подобным дерьмом. В течение полугода мы вставали в пять часов утра, и плавали по километру в ледяной воде, и бегали по полтора часа. У нас были ночные прыжки в воду, в пяти километрах от побережья Шотландии, а я страдаю куриной слепотой. Мы таскали эту чертову резиновую лодку по датским лесам, а офицерам было насрать на нас, они пытались переделать нашу психику, чтобы из нас вышли солдаты.

Я кладу ладонь на его руку, которая держит рукоятку управления, и выправляю курс. В 500 метрах впереди зеленый огонь по правому борту и три высоко расположенных ходовых огня контейнеровоза пересекают наш курс.

— Обычно самыми выносливыми были невысокие люди. Моего роста. Мы могли терпеть долго. Большие могли сделать однократное усилие, и были готовы. Нам приходилось класть их в резиновую лодку и нести с собой. Но Фойл — другое дело. Фойл был крупным. Но быстрым, как невысокий. Его невозможно было вымотать. Они не могли расколоть его на занятиях по ведению допросов. Он просто дружелюбно смотрел на них, ты знаешь, как. И не отступал ни на миллиметр. Однажды мы ныряли под лед. Зимой. Море замерзло. Нам пришлось пробить

прорубь во льду. В тот день было сильное течение. Опускаясь вниз, я прошел через холодный поток. Такое бывает. Конденсированная вода от выдыхаемого воздуха превращается в лед и блокирует маленькие клапаны в дыхательном аппарате. К этому моменту я не успел прикрепить страховочный трос, по которому можно вернуться к проруби. Это делают, когда ныряют под лед. Если удаляешься от проруби на два метра, она становится темной полоской. На расстоянии пять метров ее уже вообще не видно. Так что меня охватывает паника. Я теряю трос. Мне кажется, что я вообще больше не вижу проруби. Все подо льдом зеленоватое, сверкающее, будто освещенное неоновой лампой. Мне кажется, что меня уносит в царство мертвых. Я чувствую, как течение подхватывает меня и тянет вниз и в сторону. Мне рассказали, что Фойл увидел это. Тогда он схватил свинцовый пояс и прыгнул в воду без кислородных баллонов. Только с тросом в руке. Потому что времени было в обрез. И он опускается ко мне. Хватает меня на глубине 12 метров. Но он нырнул в костюме, не приспособленном для глубины. Это означает, что давление прижимает резину костюма к телу, увеличиваясь на одну атмосферу каждые десять метров. Примерно на глубине десять метров резиновые края врезались в его кожу на запястьях и лодыжках. Когда мы поднимались на поверхность, я помню только облака крови.

Я вспоминаю шрамы на запястьях и лодыжках, темные, как металлические браслеты.

— Это он выкачивал воду из моих легких. И делал мне искусственное дыхание. Нам пришлось долго ждать. У них был только маленький газотурбинный вертолет, а погода была плохой. Пока мы летели, он все время делал мне массаж сердца и давал кислород.

— Летели куда?

— В Скоресбюсунд. У нас были ученья в Гренландии. Было холодно. Но ему все было нипочем.

Снег смыкается вокруг нас беспорядочной решеткой, диким хаосом косых линий.

— Он исчез, — говорю я. — Я пыталась дозвониться до него. Кто-то незнакомый берет трубку. Может быть, он арестован.

За минуту до появления судна я уже чувствую, что оно рядом. Натягивающиеся якорные цепи, медленное движение всей массивной, колеблющейся громадины.

— Забудь его, детка. Нам всем пришлось забыть.

С левого борта — маленький бон у подножия крутого трапа, освещаемого одиноким желтым огоньком. Он не выключает мотор, а приводит лодку в равновесие, крепко ухватившись за железную балку.

— Ты можешь вернуться назад, Смила.

В нем есть что-то трогательное, как будто только сейчас он понимает, что это уже не игра.

— В том то и дело, — говорю я, — что у меня нет ничего, к чему бы стоило возвращаться.

Я сама закидываю коробку на бон. Когда я забираюсь вслед за ней и оборачиваюсь, он стоит мгновение, глядя на меня, маленькая фигурка, которая поднимается и опускается, повинаясь танцующему движению большой резиновой лодки. Потом он, повернувшись, отталкивается.



МОРЕ

I

1

Каюта размером два с половиной на три метра. И все же здесь умудрились уместить раковину с зеркалом, шкаф, койку с лампой, полку для книг, под иллюминатором — маленький письменный стол со стулом, а на столе — большую собаку.

Она занимает пространство от одной переборки до середины койки, то есть размером она метра два. Глаза у нее печальные, лапы темные, и всякий раз при крене судна она пытается дотронуться до меня. Если ей это удастся, я моментально разложусь на составные части. Мясо отстанет от костей, глаза вытекут из глазниц и испарятся, внутренности пробьются сквозь кожу и лопнут в облаке болотного газа.

Собака не имеет отношения к этому месту. Она вообще не имеет отношения к моему миру. Ее зовут Ааюмаак, и она происходит из Восточной Гренландии, моя мать привезла ее с собой, побывав в гостях в Аммассалике. Увидев собаку один раз, она почувствовала, что та всегда должна быть поблизости от Кваанаака, и с тех пор она ей часто встречалась. Собака эта никогда не касается земли, вот и сейчас она тоже парит на некотором расстоянии от письменного стола, здесь же она оказалась потому, что я плыву на корабле.

Я всегда боялась моря. Меня так и не смогли заставить сесть в каяк, хотя это было самым большим желанием моей матери. Я так никогда и не ступала на палубу принадлежащего Морицу “свана”. Одна из причин, по которым я люблю лед, заключается в том, что он закрывает воду и делает ее твердой, надежной, проходимой, постижимой. Я знаю, что за бортом волны становятся выше и ветер усиливается, а где-то далеко впереди форштевень “Кроноса” врежется в волны, разбивая их и посылая вдоль фальшборта ревущие каскады воды, которые за стеклом моего иллюминатора превращаются в мелкие шипящие брызги, белеющие в ночи. В открытом море нет ориентиров, есть только аморфное, хаотическое перемещение беспорядочных водяных масс, которые вздымаются, разбиваются и катятся, и их поверхность нарушают новые потоки воды, они сталкиваются, образуя водовороты, исчезают, возникают вновь и, наконец, бесследно пропадают. Этот беспорядок постепенно проникнет в лимфатические сосуды моей системы равновесия и лишит меня способности ориентироваться в пространстве, он пробьется в мои клетки и нарушит в них концентрацию солей и тем самым проводимость нервной системы, сделав меня глухой, слепой и беспомощной. Я боюсь моря не потому, что оно хочет поглотить меня. Я боюсь его, потому что оно стремится отнять у меня умение ориентироваться, мой внутренний гироскоп, мое знание того, где верх, а где низ, мою связь с абсолютным пространством.

Никто не может вырасти в Кваанааке, не выходя в море. Никто не может, учась в университете и работая, подобно мне, в составе экспедиционных отрядов по заброске провизии и оборудования, а также проводником по Северной Гренландии, не оказаться в ситуации, когда надо плыть по воде. Я побывала на большем количестве судов и провела там больше времени, чем об этом хотелось бы вспоминать. Если я не стою прямо посреди палубы, мне, как правило, удается вытеснить это из сознания.

С того момента, когда я несколько часов назад поднялась на борт, начался процесс разложения. В моих ушах уже шумит, в слизистой оболочке появляется странная, необъяснимая сухость. Я уже более не могу с уверенностью определить стороны света. На моем столе Ааюмаак ждет, что я потеряю бдительность.

Она сидит прямо у ворот, ведущих ко сну, и всякий раз, когда я слышу, что мое дыхание становится более глубоким, и понимаю, что уже сплю, я не погружаюсь в плавное исчезновение действительности, которое мне так необходимо, а оказываюсь в новом, опасном состоянии ясности рядом с парящим призраком — собакой с тремя когтями на каждой лапе, призраком, увеличенным и усиленным фантазией моей матери, и оттуда, из моего детства перенесенным в мои кошмары.

Должно быть, час назад был запущен двигатель, и я на большом расстоянии скорее почувствовала, чем услышала шум якорного устройства и грохот цепей, но я слишком устала, чтобы проснуться, и слишком возбуждена, чтобы спать, и, наконец, мне хочется, чтобы все это прекратилось.

Все это прекращается, когда открывается дверь. Не было ни стука, ни звука шагов. Он подкрался к двери, толкнул ее и просунул внутрь голову.

— Капитан ждет тебя на мостике.

Он продолжает стоять в дверях, чтобы я не могла встать с постели и одеться, чтобы заставить меня обнажить перед ним свое тело. Закрывшись одеялом до подбородка, я сползаю вниз и пинаю дверь ногой так, что он едва успевает убрать голову.

Яккельсен. Его фамилия Яккельсен. Может быть, у него есть и имя, но на “Кроносе” все называют друг друга только по фамилии.

Я стою под дождем, пока не исчезает резиновая лодка с силуэтом Ландера. Не видно ни души, и я сама пытаюсь поднять ящик, но мне приходится отказаться от мысли втащить его по штурмтрапу. Я оставляю ящик и поднимаюсь вверх в темноту над одиноким фонарем.

Трап ведет к открытому лацпорту. Внутри матовая дежурная лампочка освещает зеленый коридор на второй палубе. Укрывшись от дождя, положив ноги на ящик с канатом, сидит мальчишка с сигаретой.

На нем грубые черные ботинки, синие рабочие брюки и синий шерстяной свитер, и для моряка он кажется слишком молодым и чересчур тощим.

— Я тут тебя жду. Яккельсен. Мы здесь обращаемся друг к другу по фамилии. Приказ капитана.

Он внимательно разглядывает меня.

— Держись ко мне поближе — я могу тебе пригодиться.

На носу у него сеточка веснушек, волосы рыжие и вьющиеся, глаза над сигаретой наполовину прикрыты, они ленивые, изучающие, бесстыдные. На вид ему лет 17.

— Для начала ты можешь принести мой багаж.

Он неохотно встает, роняя сигарету на палубу, где она остается тлеть.

С трудом он втаскивает коробку по трапу и ставит ее на палубу. — У меня, между прочим, больная спина.

Заложив руки за спину, он ленивой походкой идет впереди меня. Я с коробкой следую за ним. По всему корпусу судна передается низкая непрерывная вибрация больших машин, напоминающая о том, что скоро предстоит отплытие.

По одному из трапов мы поднимаемся на верхнюю палубу. Здесь нет запаха дизельного топлива, воздух пахнет дождем и прохладой. В коридоре справа белая стена, слева множество дверей. Одна из них предназначена мне.

Открыв ее, Яккельсен отступает в сторону, чтобы я могла войти, потом заходит, закрывает дверь и прислоняется к ней.

Отодвинув коробку в сторону, я сажусь на койку.

— Ясперсен. Согласно списку команды. Твоя фамилия Ясперсен. Я открываю шкаф.

— Слушай, как насчет того, чтобы быстренько трахнуть? Я раздумываю, не ослышалась ли я.

— Женщины от меня без ума.

В нем появилась какая-то бойкость и живость. Я встаю. Надо избегать ситуаций, когда тебя могут удивить.

— Прекрасная идея, — говорю я. — Но давай отложим это до твоего дня рождения. До твоего пятидесятилетия.

У него разочарованный вид.

— К тому времени тебе будет 90. И это будет совсем неинтересно.

Он подмигивает мне и выходит.

— Я знаю море. Держись ко мне поближе, Ясперсен. Потом он закрывает дверь.

Я распаковываю вещи. Душ находится в коридоре. Вода в кране горячая как кипятки. Я долго стою под душем. Потом намазываю себя миндальным кремом и надеваю тренировочный костюм. Запираю дверь и ложусь под одеяло. Мир может сам добраться до меня, если я ему очень нужна. Я закрываю глаза и опускаюсь. Через ворота. На столе медленно проступает Ааюмаак. Во сне я осознаю, что это сон. Можно дожить до такого возраста и такого периода в своей жизни, когда даже в твоих кошмарах начинает появляться нечто умиротворяющее и привычное. Что-то вроде этого со мной и произошло.

Потом звук двигателя усиливается, и поднимают якорь. Потом мы плывем. Потом Яккельсен открывает мою дверь.

Я знаю, что заперла ее. Я отмечаю себе, что у него, должно быть, есть ключ. Такую мелочь стоит запомнить.

— Твоя форма, — говорит он из-за двери. — Мы ходим в форме.

В шкафу лежат слишком большие для меня синие брюки, слишком большие синие футболки, слишком большой и бесформенный, словно мешок для муки, синий рабочий халат, синий шерстяной свитер. Внизу стоят короткие резиновые сапоги, до которых мне еще расти и расти, размеров 5-6. чтобы они мне стали впору.

Яккельсен ждет снаружи. Он бросает на меня критический взгляд поверх своей сигареты, но ничего не говорит. Пальцы его барабают по переборке, в нем появилось какое-то новое беспокойство. Он идет впереди меня.

В конце коридора он поворачивает налево, к трапу, ведущему на верхние этажи. Но я выхожу направо, на палубу, и он вынужден идти следом.

Я встаю у борта. Воздух насыщен ледяной влагой, ветер сильный, порывистый. Впереди справа виден свет.

— Хельсинггёр-Хельсинборг. Самый судоходный фарватер в мире. Маленькие пассажирские паромы, железнодорожные паромы, огромная гавань прогулочных яхт, контейнеровозы. Каждые три минуты здесь проходит судно. Другого такого места нет. Мессинский пролив, я бывал там много раз, это ерунда. Вот это — это действительно пролив. А в такую погоду, как сейчас, на радаре помехи — тут плывешь, словно на подводной лодке в молочном супе.

Его пальцы нервно барабанят по планширю, но глаза пристально смотрят в ночь, в них что-то, напоминающее восторг.

— Мы ходили здесь, когда я был в мореходном училище. На парусном судне. Солнце светит, по левому борту Кронборг, а девчонки в яхтенной гавани приходили в восторг, когда нас видели.

Я иду впереди. Мы поднимаемся на три этажа и выходим на навигационный мостик. Справа от трапа за двумя большими стеклянными окнами находится штурманская рубка. В помещении темно, но над развернутыми морскими картами горят слабые красные лампочки. Мы заходим в рулевую рубку.

Свет здесь погашен. Но под нами, освещенная единственным палубным фонарем, выдаваясь на 75 метров вперед в ночь, лежит палуба “Кроноса”. Две шестидесятифутовые мачты с тяжеловесными грузовыми стрелами. Рядом с каждой мачтой четыре лебедки, у лестницы, ведущей на короткую палубную надстройку, находится отсек для управления лебедками. На палубе между мачтами, под брезентом, прямоугольный контур, где несколько маленьких синих фигурок укрепляют длинные поперечные каучуковые стропы. Наверное, это МДБ, списанный с флота десантный бот. На носу — большое якорное устройство и разделенный на четыре части люк трюма. Вдоль леера через каждые тридцать футов на стойках расположены белые прожекторы. Кроме этого — пожарные гидранты, огнетушители, спасательное оборудование.

Больше ничего. Палуба находится в образцовом порядке и готова к отплытию.

А теперь на ней уже и нет никого. Пока я стояла, синие фигурки исчезли. Свет гаснет, палубы не видно. Далеко впереди, там, где форштевень врежется в волны, внезапно возникают белые протуберанцы брызг. По обе стороны корабля, на удивление близко, проступают огни берегов. Под дождем желтый свет прожектора делает Кронборг похожим на мрачную современную тюрьму.

В темноте помещения отчетливо видны два зеленых медленно вращающихся луча на экране радара. Красная матовая точка в большом водяном компасе. В центре у окна, положив руку на румпель, вполборота к нам стоит человек. Это капитан Сигмунд Лукас. За ним прямая, неподвижная фигура. Рядом со мной, беспокойно покачиваясь на носках, стоит Ясперсен. — Вы свободны.

Лукас говорит это тихо, не оборачиваясь. Фигура, стоящая за его спиной, исчезает за дверью. Яккельсен следует за ней. На какое-то мгновение его движения перестают быть ленивыми.

Глаза медленно привыкают к темноте, и из ничего возникают приборы, некоторые из них мне знакомы, некоторые — нет, но всех их объединяет то, что я всегда держалась от них подальше, потому что они имеют отношение к открытому морю. И потому что для меня они символизируют культуру, которая воздвигает неодушевленную преграду между собой и стремлением определить, где находишься.

Жидкокристаллический дисплей компьютера спутниковой навигации, коротковолновый радиоприемник, Лоран-С — радиолокационная система, в которой я так и не смогла разобраться. Красные цифры эхолота. Навигационный гидролокатор. Креномер. Секстан на штативе. Приборная доска. Машинный телеграф. Вращающиеся стеклоочистительные устройства. Радиопеленгатор. Авторулевой. Две панели с вольтметрами и контрольными лампочками. И надо всем этим — настороженное, непроницаемое лицо Лукаса. Из УКВ-радиоприемника доносится постоянный треск. Не глядя, он протягивает руку и выключает его. Становится тихо.

— Вы на борту, потому что нам была необходима горничная. Стюардесса, как это теперь называется. И не по какой другой причине. В прошлый раз мы беседовали о приеме на работу, и ни о чем ином.

В болтающихся сапогах и в слишком большом свитере я чувствую себя маленькой девочкой, которую отчитывают. Он даже не смотрит на меня.

— Нам не сообщили, куда мы плывем. Об этом мы узнаем позже. До этого момента мы просто плывем прямо на север.

В нем что-то изменилось. Это его сигареты. Их нет. Может быть, он вообще не курит в море. Может быть, он уходит в море, чтобы освободиться от власти игорных столов и сигарет.

— Штурман Сонне покажет вам судно и расскажет о ваших служебных обязанностях. Они состоят в небольшой уборке. Вы также будете отвечать за стирку белья на судне. Кроме этого вы иногда будете подавать еду офицерам.

Почему же он все-таки взял меня с собой?

Когда я дохожу до двери, он окликает меня, голос его тих и полон горечи.

— Вы слышали, что я сказал? Да? Вы понимаете, что мы плывем, неизвестно куда?

Сонне ждет меня у дверей. Молодой, правильный, коротко стриженный. Мы спускаемся на один ярус, на шлюпочную палубу. Он поворачивается ко мне и, понизив голос, серьезно говорит.

— В этом плавании у нас на борту представители судовладельца. Они живут в каютах на шлюпочной палубе. Вход туда категорически запрещен. Если только вас не попросят обслуживать за столом. И ни в каком другом случае. Никакой уборки, никаких мелких поручений.

Мы продолжаем спускаться вниз. На прогулочной палубе находится прачечная, сушильня, кладовая для белья. На верхней палубе, где находится моя каюта, расположены жилые помещения, рабочие помещения старшего механика и электрика, кают-компания, камбуз. На второй палубе холодильник и морозильник для продуктов, кладовые, две мастерские, помещение для углекислотной сварки. Все это находится в надстройке и под ней, далеко впереди помещается машинное отделение, танки, коридоры и трюм.

Я иду за ним на верхнюю палубу. По коридору мимо моей собственной каюты. В задней части по правому борту находится кают-компания. Он толкает дверь, и мы заходим.

Не спеша, я оглядываю помещение, в котором насчитываю 11 человек: пять датчан, шесть азиатов. Трое мужчин похожи на маленьких мальчиков.

— Смила Ясперсен. новая стюардесса.

Так было всегда. Я стою в одиночестве в дверях, передо мной сидят все остальные. Это может быть школа, это может быть университет, это может быть любое другое скопление людей. Совсем не обязательно они откровенно настроены против меня, может быть, я им даже безразлична, но почти всегда возникает ощущение, что им не очень-то хочется лишнего беспокойства.

— Верлен, наш боцман. Хансен и Морис. Они втроем отвечают за работы на палубе. Мария и

Фернанда, судовые помощники.

Это две женщины.

В дверях камбуза стоит большой, грузный человек с рыжеватой бородой, в белом костюме повара.

— Урс. Наш кок.

Во всех чувствуется послушание и дисциплина. За исключением Яккельсена. Он прислонился к стене с сигаретой в зубах под табличкой “Курить воспрещается”. Один его глаз прикрыт от дыма, в то время как другим глазом он задумчиво разглядывает меня.

— Это Бернард Яккельсен, — говорит штурман. Он на мгновение замолкает.

— Он тоже работает на палубе.

Яккельсен не обращает на него никакого внимания.

— Ясперсен должна поддерживать наши каюты в порядке, — говорит он. — Ей будет чем заняться, выгребая за одиннадцатью членами экипажа и четырьмя офицерами. У меня, например, просто мания ронять все на пол.

Из-за того, что резиновые сапоги мне велики, носки с меня сползли. Нельзя вести достойное человека существование в носках, которые морщат. Да к тому же еще, если ты устал и тебе страшно. А они смеются. И это совсем не добрый смех. Но от тощей фигурки исходит превосходство, которому все покоряются.

Я теряю самообладание и, схватив его нижнюю губу, крепко сдавливаю ее. Она оттопыривается. Когда он хватается за кисть моей руки, я, взяв левой рукой его мизинец, отгибаю назад верхний сустав. С визгом, похожим на женский, он падает на колени. Я надавливаю сильнее.

— Знаешь, как я буду убирать в твоей каюте, — говорю я. — Я открою иллюминатор. А потом представлю себе, что передо мной большой шкаф. И все туда положу. А затем смою соленой водой.

Потом я отпускаю его и отступаю в сторону. Но он и не пытается схватить меня. Он медленно встает и подходит к вставленной в рамку фотографии “Кроноса” на фоне столообразного айсберга в Антарктиде. Он с отчаянием смотрит на свое отражение в стекле.

— Синяк, черт возьми, появился синяк. Никто кроме нас не пошевелинулся.

Выпрямившись, я оглядываю их всех. В Гренландии не принято говорить “извините”. По-датски это слово я так и не выучила.

В своей каюте я придвигаю стол к самой двери и плотно засовываю гренландский словарь Бугте под ручку. Потом я ложусь спать. Я твердо надеюсь, что сегодня ночью собака оставит меня в покое.

Половина седьмого, но они уже позавтракали, и в кают-компании никого нет, кроме Верлена. Я выпиваю стакан сока и иду за ним к складу рабочей одежды. Он окидывает меня беспристрастным взглядом и выдает мне стопку вещей.

То ли дело в рабочей одежде, то ли в обстановке, то ли в цвете его кожи. Но на мгновение я чувствую потребность в контакте.

— Какой у тебя родной язык?

— У вас, — поправляет он мягко, — какой у вас родной язык?

В его датском чувствуется слабый подъем тона на каждом слове, словно в фюнском диалекте.

Мы смотрим друг другу в глаза. В одном из нагрудных карманов у него лежит полиэтиленовый пакетик с вареным рисом. Из него он достает горсточку, кладет в рот, медленно и тщательно пережевывает, глотает и трет ладони одну об другую.

— Боцман, — добавляет он. Потом он поворачивается и уходит. Нет ничего более гротескного на свете, чем холодная европейская вежливость в выходцах из стран третьего и четвертого мира.

В своей каюте я переодеваюсь в рабочую одежду. Он дал мне нужный размер. Если рабочая одежда вообще может быть подходящего размера. Я пытаюсь надеть пояс поверх халата. Теперь я больше не похожа на почтовый мешок. Теперь я похожа на песочные часы высотой один метр шестьдесят сантиметров. Я повязываю шелковый платок на голову. Мне надо делать уборку, и я не хочу, чтобы запылились мои красивые коротенькие волосы, начинающие покрывать мою плешь. Я иду за пылесосом. Ставлю его в коридоре и спокойно направляюсь в кают-компанию. Но не для того, чтобы продолжить завтрак. Я не могла съесть ни кусочка. За ночь море сквозь иллюминатор просочилось в мой желудок и соединилось с привкусом дизельного топлива, с сознанием того, что я нахожусь в открытом море, и обволокло меня изнутри тепловатой тошнотой. Есть люди, утверждающие, что можно побороть морскую болезнь, выйдя на палубу на свежий воздух. Может быть, это и подействует, если судно стоит у причала или идет по Фальстербо-каналу, и можно выйти и посмотреть на твердую землю, которая скоро окажется у тебя под ногами. Когда утром, постучав в мою дверь, меня будит Сонне, чтобы дать ключ, и я одеваюсь и в пуховике и лыжной шапочке выхожу на палубу, где, глядя в кромешную зимнюю тьму, осознаю, что теперь мне уже некуда деваться, потому что я нахожусь в открытом море и обратного пути у меня нет — вот тут мне становится по-настоящему плохо.

Два стола в кают-компании убраны и вытерты. Я встаю в дверях, ведущих в камбуз.

Урс взбивает кипящее молоко в кастрюле. Я прикидываю, что он должен весить 115 килограммов. Но он крепкий. Зимой все датчане становятся бледными. Но его лицо, пожалуй, даже зеленоватое. В жарком камбузе оно покрыто легкой испариной.

— Великолепный завтрак.

Я его и не пробовала. Но с чего-то же надо начать разговор.

Он улыбается мне и, пожав плечами, продолжает взбивать молоко.

— I am Schweizer. <Я швейцарец (англ., нем.)>

Мне была дана привилегия изучить иностранные языки. Вместо того чтобы, как большинство других людей, говорить на жалком варианте лишь своего собственного языка, я кроме этого могу еще беспомощно выражаться на двух-трех других.

— Frühstück, — говорю я. — imponierend. Wie ein erstklassiges Restaurant. <Завтрак прекрасный, как в первоклассном ресторане (нем.)>

— Ich hatte so ein Restaurant. In Genf. Beim See. <У меня был такой ресторан. В Женеве. У озера (нем.)>

На подносе у него приготовлены кофе, горячее молоко, сок, масло, круассаны.

— На мостик?

— Nein. Завтрак не надо подавать. Его поднимают на кухонном лифте. Но если вы придете в 11.15, фройляйн, то будет второй завтрак офицеров.

— Каково работать поваром на судне?

Вопрос является оправданием тому, что я не ухожу. Он поставил в кухонный лифт поднос и нажал на кнопку, на которой написано “Навигационный мостик”. Теперь он готовит следующий поднос. Именно эта порция и интересует меня. Она состоит из чая, поджаренного хлеба, сыра, меда, варенья, сока, сваренных всмятку яиц. Три чашки и три тарелки. То есть на шлюпочной палубе “Кроноса”, куда запрещено ходить стюардессе, находятся три пассажира. Он ставит поднос в лифт и нажимает на кнопку “Шлюпочная палуба”.

— Nicht schlecht. <Неплохо (нем.)> Кроме того, это было, eine Notwendigkeit. Also elf Uhr funfzehn. <Необходимо. Значит, договорились в 11.15 (нем.)>

Сценарий конца света точно определен. Все начнется с трех очень холодных зим, и тогда озера, реки и моря замерзнут. Солнце охладится, так что оно больше не сможет установить лето, будет падать белый, беспощадно бесконечный снег. Тогда придет длинная, нескончаемая зима, и тогда, наконец, волк Сколл проглотит солнце. Месяц и звезды исчезнут, и воцарится безграничная тьма. Зима Фимбульветр.

Нас учили в школе, что именно так скандинавы представляли себе конец света, пока христианство не объяснило им, что вселенная погибнет в огне. Я навсегда запомнила это, не потому, что это было ближе мне, чем многое другое из того, что я учила, но потому, что речь шла о снеге. Когда я услышала об этом в первый раз, то подумала, что такое заблуждение могло возникнуть у людей, которые никогда не понимали, что такое зима.

В Северной Гренландии на этот счет были разные мнения. Моя мать, и многие вместе с ней, любили зиму. Из-за охоты на только что вставшем льду, из-за глубокого сна, из-за домашних ремесел, но в основном из-за походов в гости. Зима была временем общения, а не временем конца света.

Еще нам в школе рассказывали, что датская культура с древних времен и со времен представлений о зиме Фимбульветр многого достигла. Бывают минуты, когда мне трудно поверить, что это так. Вот как, например, сейчас, когда я протираю спиртом солярий в спортивной каюте “Кроноса”.

Ультрафиолетовый свет от зажженной лампы расщепляет небольшое количество содержащегося в атмосфере кислорода, образуя нестабильный газ озон. Его резкий запах

сосновых иголок можно почувствовать и летом в Кваанааке в болезненно резком солнечном свете, отраженном от снега и моря.

К моим служебным обязанностям относится протирание этого наводящего на размышление аппарата спиртом.

Мне всегда нравилось делать уборку. Хотя в школе нам и пытались привить лень.

В деревне первые полгода нас учила жена одного из охотников. Однажды летом приехали, чтобы забрать меня в город, два человека из интерната. Это были датский священник и западно-гренландский катехет. Они раздавали указания, не глядя на наши лица. Они называли нас *avanersuaarmiut* — люди с севера.

Мориц заставил меня уехать. Мой брат слишком вырос и стал слишком упрям для него. Интернат находился в Кваанааке, в самом городе. Я провела там пять месяцев, прежде чем мой боевой дух окреп достаточно для того, чтобы я смогла оказать сопротивление.

В интернате нам всякий раз подавали готовую еду. Мы принимали горячий душ каждый день, и нам через день давали чистую одежду. В деревне же мы мылись раз в неделю, и еще реже — на охоте или в поездках. Каждый день с глетчера на скалах я приносила домой в мешках *kangirluarhuq* — большие глыбы пресноводного льда — и растапливала их на плите. В интернате просто открывали кран. Когда наступили каникулы, все ученики и учителя отправились на Херберт Айлэнд в гости к охотникам, и в первый раз за долгое время мы ели вареное тюленьё мясо с чаем. Там я и ощутила беспомощность. Не только свою — беспомощность всех остальных. Мы больше не могли справиться с силами, уже не казалось естественным протянуть руку за водой, хозяйственным мылом и коробочкой неогена и начать тереть шкуры. Было непривычно стирать белье, невозможно взяться за приготовление еды. Во время каждого перерыва мы впадали в мечтательное ожидание, пребывая в котором мы надеялись, что кто-нибудь подхватит, сменит нас, освободит нас от наших обязанностей и сделает то, что надлежало сделать нам самим.

Когда я поняла, куда идет дело, я впервые поступила наперекор Морицу и вернулась. Одновременно я вернулась к возможности получать относительное удовлетворение от работы.

То же самое удовлетворение появляется и сейчас, когда я убираю пылесосом каюты на верхней палубе, где живет экипаж. То же ощущение спокойствия, что и в детстве, когда я чинила сети.

В каждой каюте царит идеальный порядок. Тем, кто прошел через интернаты жизни, подобные моим, понятно, что когда для тебя самого и твоих внутренних чувств есть всего лишь несколько кубических метров, то в этом личном помещении должны соблюдаться самые жесткие правила, если хочешь противостоять безнадёжности, распаду и разрушению, которые исходят от окружающего мира.

Подобная педантичность была свойственна и Исайе. И у механика она была. Она есть у экипажа “Кроноса”. Удивительно, но она есть и у Яккельсена.

На стенах у него вымпелы, почтовые открытки и маленькие безделушки из Южной Америки, с Востока, из Канады и Индонезии.

Вся одежда в шкафу аккуратно сложена в стопки.

Я ощупываю эти стопки. Снимаю матрас и чищу пылесосом отделение для постельного белья.

Выдвигаю ящики письменного стола, встаю на колени и заглядываю под стол, тщательно ощупываю матрас. У него полон шкаф рубашек, я беру в руки каждую из них. Некоторые из настоящего шелка. У него коллекция лосьонов после бритья и одеколонов, с дорогим и сладковатым спиртовым запахом, я открываю их, капаю понемногу на бумажную салфетку, которую потом скатываю в шарик и кладу в карман халата, чтобы потом спустить ее в туалет. Я ищу нечто конкретное и ничего не нахожу. Ни того, что ищу, ни чего-либо другого, представляющего интерес.

Я ставлю пылесос на место и иду по второй палубе, мимо холодильников и кладовых и оттуда далее вниз по лестнице, с одной стороны которой находится нечто, что должно быть выходом из дымовой трубы, а с другой стороны — стена с надписью Deer Tank <Диптанк (англ.) (Примеч перев.)>. Лестница ведет к двери в машинное отделение. В качестве оправдания в руке у меня наготове швабра и ведро, а если этого будет недостаточно, я всегда могу воспользоваться старой проверенной историей, будто я иностранка и поэтому заблудилась.

Дверь тяжелая, изолированная и когда я ее открываю, меня сначала оглушает шум. Я выхожу на стальную платформу, откуда начинается узкая галерея, которая идет наверху вдоль всего помещения.

В центре помещения в десяти метрах подо мной на слегка приподнятом фундаменте возвышается двигатель. Он состоит из двух частей: главной, с девятью обнаженными головками цилиндров, и шестицилиндрового вспомогательного двигателя. Ритмично, словно части бьющегося сердца, работают блестящие клапаны. Вся установка высотой метров пять и длиной около двенадцати метров производит впечатление огромного, укрощенного дикого животного. Вокруг ни души.

В стальном полу сделаны отверстия, мои парусиновые тапочки ступают прямо над бездной.

Повсюду развешены таблички на пяти языках, запрещающие курение. В нескольких метрах впереди меня — ниша. Оттуда тянется голубой шлейф табачного дыма. Яккельсен сидит на складном стуле, положив ноги на рабочий стол, и курит сигару. В сантиметре под его нижней губой виден кровоподтек шириной во весь рот. Я прислоняюсь к столу, чтобы незаметно положить ладонь на лежащий там разводной ключ длиной в 13 дюймов.

Он снимает ноги со стола, откладывает сигару и расплывается в улыбке.

— Смила. Я как раз о тебе думал.

Я отпускаю ключ. Его беспокойство на время пропало.

— У меня больная спина. На других судах во время плавания никто не суетится. Здесь мы начинаем в семь часов. Сбиваем ржавчину, сращиваем швартовы, красим, снимаем окалину и драим латунь. Как можно держать свои руки в приличном виде, когда ты каждый божий день должен сращивать тросы?

Я ничего не отвечаю. Я испытываю Бернарда Яккельсена молчанием.

Он очень плохо выносит его. Даже сейчас, когда у него прекрасное настроение, можно почувствовать скрытую нервозность.

— Куда мы плывем. Смила? Я продолжаю молчать.

— Я пять лет плаваю, никогда ничего подобного не встречал. Сухой закон. Форма. Запрет

выходить на шлюпочную палубу. И даже Лукас говорит, что не знает, куда мы направляемся.

Он снова берет сигару.

— Смила Кваавигаак Ясперсен. Второе имя, кажется, гренландское... Он, наверное, посмотрел мой паспорт. Который лежит в судовом сейфе. Это наводит на размышления.

— Я внимательно осмотрел судно. Я знаю все о судах. У этого — двойной корпус и ледовый пояс по всей длине. В носовой части листы обшивки такие толстые, что могут выдержать взрыв противотанковой гранаты.

Он лукаво смотрит на меня.

— Сзади, над винтом, “ледяной нож”. Двигатель индикаторной мощностью в 6 000 лошадиных сил, достаточной для того чтобы идти со скоростью 16-18 узлов. Мы плывем по направлению ко льду. Это уж точно. Уж не на пути ли мы в Гренландию?

Мне не требуется отвечать, чтобы он продолжал.

— Теперь посмотри на команду. Всякий сброд. И они держатся вместе, все знают друг друга. И боятся, и не вытянешь из них, чего боятся. И пассажиры, которых никогда не видишь. Зачем они на борту?

Он откладывает сигару. Она так и не доставила ему удовольствия.

— Или взять тебя, Смила. Я много плавал на судах в 4 000 тонн. На них, черт возьми, не было никакой горничной. Тем более такой, которая ведет себя как царица Савская.

Я беру его сигару и бросаю ее ведро. Она гаснет с тихим шипением.

— Я делаю уборку, — говорю я.

— За что он взял тебя на борт, Смила? Я не отвечаю. Я не знаю, что ему сказать.

Только когда за мной захлопывается дверь в машинное отделение, я понимаю, каким раздражающим был шум. Тишина действует благотворно.

Верлен, боцман, стоит на средней площадке лестницы, прислонившись к стене. Проходя мимо, я непроизвольно поворачиваюсь к нему боком.

— Заблудились?

Из нагрудного кармана он достает горсточку риса и подносит ко рту. Он не роняет ни зернышка, и на руках его ничего не остается, все его движения уверенные и отработанные.

Мне, наверное, надо было бы придумать какое-нибудь оправдание, но я ненавижу, когда меня допрашивают.

— Просто сбилась с пути.

Поднявшись на несколько ступенек, я кое-что вспоминаю. — Господин Боцман, — добавляю я. — Просто сбилась с пути, господин Боцман.

Я ударяю по будильнику ребром ладони. Пролетев словно пуля через каюту, он ударяется о вешалку на двери и падает на пол.

Я не могу смириться с явлениями, которые рассчитаны на всю жизнь. Пожизненные заключения, брачные контракты, постоянная работа до конца жизни. Попытки зафиксировать отрезки существования и избавить их от течения времени. Еще хуже с тем, что призвано быть вечным. Как, например, мой будильник. Eternity clock. <Вечные часы (англ.) (Примея перев.)> Так они его называли. Я вытащила его из приборной доски второго лунохода НАСА, после того как он полностью вышел из строя на материковом льду. Подобно американцам, он не смог выдержать 55-градусный мороз и ветер, значительно превышающий по силе бофорову шкалу.

Они не заметили, что я взяла часы. Я взяла их в качестве сувенира и чтобы доказать, что у меня не растут бессмертники — даже американская космическая программа не продержится у меня и трех недель.

На сегодняшний день они продержались уже десять лет. Десять лет, и при этом они не видели ничего иного, кроме грубости и суровых слов. Но к ним и в прежние времена предъявляли высокие требования. Говорили, что можно засунуть их в пламя паяльной лампы или сварить в серной кислоте, или погрузить на дно Филиппинской котловины, а они все равно, как ни в чем не бывало, смогут показывать время. Мне это утверждение казалось чересчур провокационным. В Кваанааке нам казалось, что ручные часы красивы. Некоторые из охотников носили их как украшение. Но нам бы и в голову не пришло жить по ним.

Это я объясняла сидящему за рулем Джилу. (Сидя в наблюдательной кабине, я сообщала, когда фирн приобретает слишком темный или слишком светлый оттенок, это означало, что он может не выдержать нас, а откроется, и земля поглотит идиотскую пятнадцатитонную американскую мечту о луне в сверкающую синим и зеленым тридцатиметровую трещину, которая, сужаясь у дна, заключает все падающее в крепкие объятия и тридцатиградусный мороз.) В Кваанааке нашим ориентиром является погода, — говорила я ему. Нашим ориентиром являются животные. Любовь. Смерть. А не кусочек механической железки.

Мне было тогда чуть больше двадцати. В этом возрасте можно лгать — можно даже лгать самому себе — с большим успехом.

В действительности, уже задолго до того времени, задолго до моего рождения европейское время пришло в Гренландию. Оно пришло вместе с расписанием работы магазинов Гренландской Торговой компании, установлением сроков уплаты долгов, церковными богослужениями и наемной работой.

Я пыталась разбить часы большим молотком. На молотке остались следы. Так что теперь я сдалась. Теперь я ограничиваюсь тем, что сметаю их на пол, где они невозмутимо электронно пищат, избавляя меня от необходимости появляться на мостике, не умыв лицо холодной водой и не подкрасив слегка глаза.

Время 2.30. Середина ночи в северной Атлантике. Около 22 часов из переговорного устройства над кроватью, без какого-либо предупреждения, кроме подмигивания зеленой лампочки, доносится голос Лукаса — вторжение в маленькое пространство.

— Ясперсен. Завтра в три часа утра вы должны подать кофе на мостик.

Только коснувшись пола, часы издают звук. Я проснулась сама по себе. Разбуженная ощущением непривычной активности. 24 часов хватило, чтобы ритм “Кроноса” стал моим. На судне в море по ночам тихо. Конечно же, работает двигатель, длинные, высокие волны ударяют о борт корабля, и время от времени форштевень разбивает 50-тонную массу воды в мелкую водяную пыль. Но это обычные звуки, а когда звуки повторяются достаточно часто, они превращаются в тишину. На мостике меняются вахтенные, где-то бьют склянки. Но люди спят.

На этом знакомом фоне теперь все в движении. Сапоги стучат по коридорам, двери хлопают, слышны голоса, звуки громкоговорителя и в отдалении гудение гидравлических лебедок.

По пути на мостик я выглядываю на палубу. Темно. Я слышу шаги и голоса, но свет не горит. Я иду в темноту.

На мне нет верхней одежды. Температура около нуля, ветер дует с кормы, небо покрыто низким и плотным слоем облаков. Гребни волн становятся видны только у самого борта, но ложбины между ними кажутся длинными, словно футбольные поля. Палуба скользкая и жирная от соленой воды. Я пригибаюсь к борту, чтобы укрыться и быть как можно менее заметной. В темноте у брезента стоит фигура. Впереди — слабый свет. Он идет из переднего трюма. Крышки люка откинута в сторону, а вокруг отверстия установлено леерное ограждение. От двух развернутых назад грузовых стрел на передней мачте отходят два троса и спускаются в отверстие трюма. На леере кольцами разложен толстый, синий нейлоновый трос. Людей нет.

Трюм на удивление глубок, он освещен четырьмя лампами дневного света, по одной с каждой стороны. В десяти метрах подо мной на крышке большого металлического контейнера сидит Верлен. У каждого из углов контейнера находится белый ящик из стеклопластика, вроде тех, что используются для хранения надувных спасательных плотиков.

Это то, что я успеваю увидеть. Кто-то хватается меня сзади за одежду.

Я не сопротивляюсь, но не потому, что смирилась, а чтобы можно было дать более сильный отпор. В эту минуту судно накрывается на косой волне, и, потеряв равновесие, мы валимся назад в сторону пульта управления лебедками и к знакомому мне запаху лосьона после бритья.

— Идиотка, ты идиотка!

Яккельсен пытается отдышаться после напряжения. В его лице и голосе появилось нечто новое. Признаки страха.

— На этом судне те же порядки, что и в старое время. Занимайся своим делом.

Он почти умоляюще смотрит на меня.

— Убирайся отсюда. Проваливай.

Я иду назад. Он то ли шепчет, то ли кричит против ветра мне вслед.

— Ты что, хочешь оказаться в большом мокром шкафу?

Я с грохотом ударяю поднос сначала об один дверной косяк, затем о другой, потом красиво захожу и останавливаюсь, позвякивая в темноте.

Никто не обращается ко мне. Постояв так какое-то время, я делаю шаг назад и нахожу среди

линеек и циркулей на столе место для чашек и сдобных булочек.

— Две минуты, восемьсот метров.

Он — лишь силуэт в темноте, но этот силуэт я прежде не видела. Он стоит, склонившись над зелеными цифрами электронного лага.

Слоеное сдобное тесто пахнет маслом. Урс — добросовестный кок. Запах улетучивается, потому что открыта дверь. В крыле мостика я замечаю спину Сонне.

Над морской картой зажигается слабая, красная лампочка, и в темноте проступает лицо Сигмунда Лукаса.

— 500 метров.

На мужчине комбинезон с расстегнутым воротником. Рядом с ним, на навигационном столе, стоит плоский ящик величиной с усилитель для стереосистемы. По бокам ящика поднимаются две тонкие телескопические антенны. У стола стоит женщина, в таком же комбинезоне, что и мужчина. На фоне рабочей одежды и сосредоточенности ее длинные, темные, расчесанные волосы, спадающие на расстегнутый воротник и струящиеся по спине, кажутся почти неуместными. Это Катя Клаусен. Внутренний голос подсказывает мне, что мужчина — это Сайденфаден.

— Минута, двести метров.

— Поднимайте.

Голос раздается из переговорного устройства на стене. Я разжимаю руки, отпуская стол, стоящий позади меня. Мои ладони вспотели. Я слышала этот голос раньше. В телефонной трубке, в своей квартире. В последний раз, когда я там была.

Красная лампочка гаснет. Из ночной тьмы вырастает серый контур, который поднимается из переднего трюма и движется, медленно покачиваясь, за борт судна.

— Десять секунд.

— Верлен. Опускай.

Он, должно быть, сидит в одной из наблюдательных кабин на верхушке передней мачты. То, что мы слышим, это его приказы палубе. — Туго натянуто. Ослабь.

— Пять секунд. Четыре, три, два, один, ноль.

Луч света туннелем прорезает ночь по направлению к корме. Контейнер лежит на воде, в пяти метрах от ахтерштевня. Он подпрыгивает — по-видимому, на носовой волне. От одного его угла вдоль борта в направлении носа тянется синий трос. У фальшборта стоят Мария и Фернанда, Хансен и матросы. Чем-то, напоминающим очень длинный багор, они отталкивают контейнер от борта. Благодаря освещению мне видно, что по краям контейнера — две узкие белые надувные резиновые полосы.

— Верлен. Отпускай.

Я передвигаюсь к крылу мостика. Свет идет от одного из тех прожекторов, которые

прикреплены на перилах. Им управляет Сонне. Он перемещает луч света по воде. Контейнер освобожден от троса, находится уже на расстоянии 40 метров от кормы и начинает тонуть.

Раздается приглушенный хлопок, и на поверхности воды раскрываются пять оболочек из стеклопластика, и над большим металлическим контейнером появляются пять серых самонадувающихся плавучих буев, словно пять огромных водяных лилий. Потом прожектор гаснет.

— Один метр, 2 000 литров. Это голос женщины.

— 3 000, 4 000. Два метра, 5 000 литров. Два метра. Два с половиной. Два тридцать. 5 000 литров и два тридцать.

Я встаю рядом с подносом. На прежнее место. На приборе перед ней горит теперь несколько красных указателей.

— Я поднимаю. 4 700 и два с половиной. Три, три двадцать, четыре, четыре с половиной, пять. 5 700 литров и пять метров. Крен нулевой. Температура минус полградуса.

Она поворачивает ручку, и в комнате разрастается такой звук, как будто они принесли сюда мой будильник.

— Пеленг десять — четыре.

Она выключает переговорное устройство. Мужчина, сидящий перед лагом, выпрямляется. Напряжение снято. Сонне заходит в помещение и закрывает дверь. Лукас встает рядом со мной.

— Вы можете идти спать.

Я делаю жест в сторону кофе. Он качает головой. Им даже не потребовалось его разлить по чашкам. Меня позвали только для того, чтобы пронести поднос шесть метров от кухонного лифта до мостика. Это лишено всякого смысла. Разве что он хотел, чтобы я увидела то, что я только что видела.

Я беру поднос. Женщина передо мной наклоняется вперед и поглаживает мужчину. Она не смотрит на него. Ее рука на мгновение задерживается на его затылке. Потом она наматывает маленькую прядь его волос на пальцы и тянет. Они не замечают меня. Я жду, что он отреагирует на боль. Но он стоит совершенно спокойно, совершенно прямо.

Лицо Урса блестит от пота. Он пытается одновременно жестикулировать и балансировать большой десятилитровой кастрюлей.

— Feodora, die einzige mit sechzig Prozent Cacao. Und die Schlagsahne muss ein bisschengefroren sein <“Феодора” — единственный напиток, где есть 60 процентов какао А взбитые сливки должны быть немного охлажденными (нем.) (Пргшея перев) >. Десять минут im <в (нем.) (Примеч. перев.)> морозильнике.

Здесь все одиннадцать человек. В воздухе не витает никаких вопросов. Как будто я единственная не поняла, что произошло. Или же, как будто им и не надо этого знать.

Я втягиваю в себя обжигающий шоколад через слегка замерзшие взбитые сливки. В результате как будто мгновенно наступает опьянение, которое начинается в желудке и, горячо пульсируя,

поднимается до самой макушки. Интересно, каким образом такой волшебник, как Урс, оказался на борту “Кроноса”.

Верлен задумчиво смотрит на меня. Но я избегаю его взгляда.

Я ухожу предпоследней. В углу над чашкой черного кофе сидит Яккельсен.

Мария стоит в туалете перед зеркалом. Сначала я думаю, что это своего рода протез, потом я вижу, что это маленькие, полые алюминиевые колпачки. На каждом кончике пальца у нее по колпачку, и теперь она их осторожно снимает. Под ними у нее красные, длиной четыре сантиметра, идеальные ногти.

— Я содержу свою семью, — говорит она. — В Пхукете. На свое жалованье. Я приехала в Данию шлюхой. В Таиланде ты либо девственница, либо шлюха.

Ее датский более невразумительный, чем у Верлена, менее разборчивый.

— Я могла принять 30 клиентов в день. Я бросила это дело. Вытянув указательный палец, она касается моей щеки кончиком ногтя и задерживает его, прижав к коже.

— Однажды я выцарапала глаза полицейскому.

Я стою, не двигаясь, касаясь ее ногтя. Она внимательно смотрит на меня. Потом опускает руку.

Я жду в своей каюте, приоткрыв дверь. Яккельсен проходит минуту спустя. Его каюта находится немного дальше по коридору. Он запирает за собой дверь. Я босиком подхожу к его двери. Внутри он с чем-то возится. Он чем-то тихо гремит, дергает наверх ручку. Загоняет под нее стул.

Он забаррикадировался. Может быть, он боится, что некоторые из тех женщин, которые тоскуют по нему, выломают дверь.

Я крадусь назад к своей каюте. Раздеваюсь, нахожу в ящике свой розовый банный халат и мочалку и, демонстративно посвистывая, иду в душевую и тру себя мочалкой, и вытираюсь, и намазываюсь кремом, и шлепаю в банных сандалиях назад по коридору. Отсюда я снова крадусь к двери Яккельсена.

За ней тихо. Может быть, он делает маникюр или как-то иначе ухаживает за своими нежными руками. Но это вряд ли.

Я стучу в дверь. Ответа нет. Стучу сильнее. Полная тишина. В кармане халата у меня мой ключ. Я открываю им дверь. Но она все равно не открывается. Я начинаю трясти ручку. Через минуту стул падает на пол. Я жду, пока пройдет испуг. Потом толкаю дверь. Предварительно, однако, бросив внимательный взгляд в обе стороны коридора — ситуация может быть истолкована не правильно.

Я стою в темноте. Не слышно ни звука. Я начинаю думать, что каюта пуста. Потом зажигаю свет.

Яккельсен спит в пижаме из тайландского шелка нежных пастельных тонов. Кожа его восковая. У левого уголка рта пузырьки слюны, и они двигаются всякий раз, когда он едва-едва, с трудом вдыхает воздух. Кисть его руки, выглядывающая из рукава пижамы, пугающе

худа. Он похож на больного ребенка — да, в каком-то смысле, им и является.

Я трясущ его. Веки его слегка приподнимаются. Глазное яблоко закатывается, и белки его глаз смотрят слепо и мертво. Он не издает ни звука.

Пепельница у кровати пуста. На столе ничего не лежит. Все в чистоте и порядке.

Я заворачиваю рукав его пижамы. На внутренней стороне руки рассеяно от 40 до 60 маленьких желто-синих точек с черным центром, красивый узор, который идет по вздувшимся венам. Я выдвигаю ящик для постельного белья. Он сбросил все туда. Фольгу, спички, старый стеклянный шприц, быстро застывающий клей, иголку, открытый перочинный нож, пластмассовый футляр, предназначенный для хранения швейных иголок, и кусочек черного резинового жгута, применяемого для упаковки.

Он не собирался в ближайшее время вставать. Он спит самым спокойным и безмятежным наркотическим сном.

До того как Гренландия получила автономию, там не было таможни. Функций таможенников выполняли полицейские и начальники портов. В тот год, когда я работала на метеорологической станции в Уппернавике, я встретила Йоргенсена.

Он был начальником порта. Но он редко бывал на своем рабочем месте. Вместо этого он отправлялся в Туле к американцам или же был на борту одного из сторожевых кораблей военно-морского флота. Он был рекордсменом Гренландии по количеству вертолетных перелетов.

Йоргенсена звали, когда что-то искали, не зная при этом, где это находится. Когда никого конкретно нельзя было заподозрить. У патруля по выявлению наркотиков на авиабазе Туле были собаки и металлоискатели, а также группа лаборантов и техников. В Хольстейнсборге было несколько опытных флотских следователей, а в Нууке находился один из переносных рентгеновских аппаратов Центра сварки.

И, однако, все они звали Йоргенсена. Он был квалифицированным сварщиком на верфи “Бурмайстер и Вайн”, а потом выучился на штурмана, и теперь оказался начальником порта, который никогда не показывался в порту.

Он был маленьким человечком, сереньким, сгорбленным, с жесткими, как у барсука, волосами. Он говорил на одном и том же односложном гнусавом датском с гренландцами, с русскими и всеми военными, не обращая внимания на звания.

Его приводили на борт задержанного судна или самолета, и он перекидывался парой слов с экипажем и с капитаном и, близоруко оглядываясь по сторонам, то и дело рассеянно постукивал костяшками пальцев по панелям, а потом вызывали одного из флотских слесарей, который приносил шлифмашину и снимал панель, а за панелью находили 5 000 бутылок или 400 000 сигарет, а с годами, все чаще — запечатанные парафином груды брикетов с белым порошком.

Йоргенсен рассказывал нам, что при расследовании проходишь только небольшой участок пути с помощью систематического метода. — Когда я не могу найти свои очки, — говорил он, — я сначала немного пользуюсь системой. Я ищу их в туалете, рядом с кофеваркой и под газетой. Но если их там нет, то я прекращаю думать, а сажусь в кресло и оглядываю все в ожидании, не появится ли идея, и она всегда появляется, всегда приходит. Мы не можем разложить все на части, неважно, что мы ищем — очки или бутылки, нам надо подумать и

почувствовать, нам надо найти преступника в самих себе и решить, куда бы мы сами их запрятали.

В феврале 1981 года в одной из факторий залива Диско его застрелили четыре молодых гренландца, которые по его требованию получили необоснованно суровые приговоры за контрабанду алкоголя. Меня он почему-то любил. Гренландцев как народ он никогда не пытался понять.

Теперь я вспоминаю Йоргенсена и пытаюсь отыскать наркотики в самой себе.

Я бы прятала их, не торопясь. Я бы не делала это небрежно. У меня возникло бы искушение спрятать их за пределами моей каюты. Но я бы не смогла жить без их близости к моему телу. Как мать не может жить без своего новорожденного ребенка.

В каюте работает кондиционер. “Кронос” оснащен вентиляционной системой высокого давления, которая и сейчас тихо жужжит. Вытяжка находится за панелями потолка, в которых проделаны отверстия. В каждой панели, по меньшей мере, 40 винтов. Было бы невыносимо отвинчивать 40 винтов, каждый раз, когда надо добраться до своего ребенка.

Второй раз за сегодняшний день я просматриваю его ящики. По-прежнему без всякого результата. В них писчая бумага, синий пластилин — такой, какой используют, чтобы прикреплять к стене открытки, несколько блестящих, сверкающих номеров “Плейбоя”, электрическая бритва, несколько колод карт, коробка с шахматами, четыре прозрачных пластиковых коробки, в каждой из которых шелковая бабочка кричащей расцветки, немного иностранной валюты, платяная щетка и несколько запасных золотых цепочек вроде той, какую он носит на шее.

На книжной полке испанско-датский словарь. Турецкий разговорник Берлица, пособие по контрактному бриджу, изданное “Бритиш Петролеум”, несколько книг по шахматам. Потертая книга в бумажной обложке с изображением обнаженной упитанной блондинки с названием “Флосси — 16 лет”.

Меня никогда всерьез не интересовали никакие другие книги, кроме специальной литературы. Я никогда не утверждала, что я культурный человек. С другой стороны, я всегда считала, что никогда не поздно начать учиться заново. Может быть, следовало бы начать с “Флосси — 16 лет”.

Я достаю перочинный ножик из ящика. На лезвии — несколько темно-зеленых частичек. Я открываю шкаф и еще раз просматриваю всю одежду. Нет ничего именно этого цвета. В кровати Яккельсен издает приглушенные булькающие звуки.

Я достаю из ящика коробку с шахматами. Беру белого короля и черного ферзя и ставлю их на стол. Они искусно вырезаны из какого-то тяжелого дерева. Доска лежит на столе, она покрыта тонкой металлической пластиной. На борту корабля, наверное, очень удобно иметь магнитные шахматы. Магниты находятся снизу — серые кружки под ножкой. На кружке наклеен кусочек зеленого фетра. Я засовываю лезвие ножа между ножкой короля и металлическим кружком. С некоторым напряжением мне удастся его вынуть. По бокам на нем видны следы клея. Я кладу кружок на стол.

На ноже остается кусочек фетра, несколько зеленых ниточек, которые заметны, только если знаешь, что они там должны быть.

Фигурка полая. Она примерно восемь сантиметров в высоту, и по всей ее высоте просверлен цилиндр, полтора сантиметра в диаметре. По-видимому, это сделал не Яккельсен, они так и выглядели с самого начала. Но он использовал это. Снаружи находится кусочек пластилина. Под ним — три прозрачные пластиковые трубочки. Я вытряхиваю их. Под ними — еще четыре.

Я кладу их на место, запечатываю пластилином и приклеиваю магнит на фигурку. Я могла бы обследовать остальные фигурки, чтобы выяснить, сколько футляров помещается в пешку — два или три. Чтобы определить, какой у него запас — на четыре месяца или на шесть. Но мне хочется уйти отсюда. Одиноким даме не пристало слишком долго оставаться в каюте незнакомого мужчины.

4

— Это было мое первое плавание. Поэтому я отправился к своему коллеге. “Как мне доплыть до Гренландии?” — спросил я. “Плыви до Скагена”, — ответил он. — “Там повернешь налево. Когда дойдешь до мыса Фарвель, поворачивай направо”.

Я ввинчиваю штопор в пробку. Это сухое вино, желто-зеленого цвета, и Урс отправил его на кухонном лифте в самый последний момент, как будто это чувствительная к температуре икона. Когда я вытягиваю пробку, половина ее остается в бутылке. Мне приходится предпринять еще одну попытку. На этот раз пробка, раскрошившись, падает внутрь. Урс сказал, что “Монтраше” — это великое вино. Тогда, наверное, не страшно, что туда попал такой маленький кусочек пробки?

— Потом он взял морскую карту, приложил один конец линейки к Ска-гену, повернул ее вокруг его оконечности и провел линию на мыс Фарвель. “Ты идешь вот так”, — сказал он, — “то есть ты плывешь grand circle sailing. <Плавание по дуге большого круга (англ.) (Примеч В.Воблина)> А последние двое суток перед мысом ты не спишь. Тут ты пьешь черный кофе и смотришь, нет ли айсбергов”.

Это говорит Лукас. Не глядя на тех, кому он это говорит. Но его авторитет приковывает их внимание.

Кроме него, в офицерской кают-компании три человека: Катя Клау-сен, Сайденфаден и старший механик Кютсов.

В первый раз в своей жизни я прислуживаю за столом.

— Тогда отплывали в апреле. Пытались попасть в так называемый “Пасхальный восточный ветер”. Если это удавалось, то во время всего плавания тебе был обеспечен попутный ветер. Трудно представить, чтобы кто-нибудь по доброй воле выбрал время от ноября до конца марта.

Существуют правила, определяющие, в какой последовательности надо наливать вино. С ними я, к сожалению, не знакома. Поэтому я решаю рискнуть и первой наливаю женщине. Она покачивает бокал, в котором налито на сантиметр жидкости, но глаза ее прикованы к Лукасу, и она не чувствует вкуса, когда пробует.

Я пытаюсь подходить поочередно то с правой, то с левой стороны. Чтобы все остались довольны.

Они переоделись к обеду. Мужчины в белых рубашках, женщина в красном платье.

— Первый лед мы можем ждать в сутках хода до мыса Фарвель. Именно там в 59-м затонул “Ханс Хедтофт”, принадлежавший Гренландской торговой компании, когда погибли 95 пассажиров и членов экипажа. Вы когда-нибудь видели айсберг, фрекен Клаусен?

Я подаю цветную капусту и батон из дрожжевого теста, приготовленные Урсом. У стола все проходит блестяще. Но около лифта я роняю остатки капусты прямо на вареного лосося. Он лежит целиком, во всей своей шкуре, и выжидающе смотрит на меня. Урс объяснил мне, что один японский кок научил его не варить глаза, а вынимать их и вставлять на место, когда рыба уже готова, и вообще слегка смазывать все яичным белком, так что рыба приобретает слизистый блеск, как будто она попало на стол прямо из сети. Мне это не нравится. По-моему, у нее какой-то дохлый вид.

Я соскребаю цветную капусту и вношу рыбу. Они все равно не видят, что едят. Они смотрят на Лукаса.

— Айсберги — это куски глетчера, которые сползают в море, откалываясь от материкового льда. Если они массивные, то соотношение между надводной и подводной частями один к пяти. Если они полые — один к двум. Последние, разумеется, наиболее опасны. Я видел айсберги высотой 40 метров и весом 50 000 тонн, которые могли перевернуться от вибрации винта.

Я обжигаясь о картофельную запеканку. Лукасу повезло. У берегов Антарктиды я в резиновой лодке проскочила мимо частично растаявших столообразных айсбергов высотой 90 метров и весом миллион тонн. Они могли бы взорваться оттого, что рядом начали бы насвистывать первый куплет “Прекрасного и радостного лета”.

— “Титаник” столкнулся с айсбергом в 1912 году, к юго-востоку от Ньюфаундленда, и затонул за три часа. Погибло 1 500 человек.

У себя в каюте я положила в раковину газету и, наклонившись вперед, срезала 20 сантиметров волос, так что они стали одной длины с теми, которые отросли на месте ожога. Впервые за то время, что я нахожусь на борту, я сняла свой платок. Это все, что я могу сделать, чтобы женщина меня не узнала.

Я могла бы и не стараться так. Я для нее все равно, что муха на стене, она меня не видит. Мужчина смотрит на Лукаса, старший механик смотрит на свой бокал, а Лукас ни на кого и ни на что не смотрит. На мгновение глаза женщины оценивающе задерживаются на мне. Она, по меньшей мере, на 20 сантиметров меня выше и на пять лет моложе. Она темноволосая, у нее настороженный вид, а у губ ее складка, которая рассказывает историю, возможно, это история о том, чего стоит женщине — что бы там ни говорили — хорошо выглядеть.

У меня есть надежда. На похоронах Исайи было темно. И там было двадцать других женщин. И она была там совсем по другому поводу. Она была там, чтобы предостеречь Андреаса Фаина. Ему следовало бы послушаться этого предостережения.

У нее уходит доля секунды на то, чтобы каталогизировать меня. Открыв внутри себя тот ящичек, на котором написано “обслуживание” и “один метр и шестьдесят сантиметров”, она опускает меня туда и забывает обо мне. Ей есть на чем сосредоточиться. Под столом она положила руку на бедро мужчины.

Он не прикоснулся к рыбе.

— Но у нас ведь на борту радар, — говорит он. — На “Хансе Хедтофте” тоже был радар.

Ни один опытный капитан или руководитель экспедиции специально не запугивает своих спутников. Если человеку знаком весь риск плавания во льдах, то он знает, что как только началось путешествие, нельзя позволить себе усугублять внешнюю опасность внутренним страхом. Я не понимаю Лукаса.

— И при этом ледяные горы — это самая маленькая из наших проблем. Так средний человек представляет себе полярные моря. Гораздо хуже — ледяные поля — пояс пакового льда, который дрейфует вдоль восточного побережья, обходит мыс Фарвель в ноябре и тянется вверх мимо Готхопа.

Из второй бутылки мне удалось вынуть пробку в целости и сохранности. Я наливаю Кютсову. Он пьет, рассеянно изучая этикетку. Его интересует содержание алкоголя.

— Там, где заканчивается паковый лед, начинается западный лед, образовавшийся в Баффиновом заливе и загнанный в Девисов пролив, где он смерзается с зимним льдом. Это создает ледяное поле, в которое мы упремся поблизости от рыболовных банок к северу от Хольстейнсборга.

Путешествия обостряют все человеческие чувства. Когда из Кваанаака уезжали на охоту, в гости или чтобы съездить в Квеквертат, то начинали бурно развиваться дремавшие до этого влюбленность, дружба, враждебность. В воздухе между Лукасом и двумя его пассажирами-работодателями висит тяжелая взаимная неприязнь.

Я смотрю на Лукаса. Он ничего особенного не сделал и не сказал. И все же без всяких слов он требует, чтобы на него смотрели. У меня снова возникает слабое, тревожное ощущение, что я присутствовала на представлении, которое частично было дано ради меня, но смысла которого я не поняла.

— Где Тёрк? — спрашивает он.

— Он работает, — отвечает женщина.

Тот, кто полетит из Европы в Туле, почувствует, выйдя из самолета, что он оказался в морозильной камере с высоким давлением, что невидимая ледяная стужа под давлением в несколько атмосфер проникает в его легкие. Если полететь в обратном направлении, то, приземлившись Европе, подумаешь, что оказался в финской бане. Но судно, плывущее в Гренландию, плывет не на север, оно плывет на запад. Мыс Фарвель находится на той же широте, что и Осло. Холод начинается только тогда, когда, обогнув мыс, берешь курс прямо на север. Поднимающийся в течение дня ветер холодный и влажный, но не холоднее, чем в Каттегате. Волны в Северной Атлантике, напротив, длинные и глубокие.

Палуба залита водой. Отверстие переднего трюма теперь закрыто. Я измеряю его шагами. Оно пять с половиной на шесть метров. Таким оно раньше не было. По обеим сторонам видна белая, свежевыкрашенная полоска в три четверти метра. А на крышке — сварной шов. Люк недавно был расширен почти на метр с каждой стороны.

Для европейцев море символизирует неведомое, а плавания — это путешествия и приключения. Эта мысль не имеет ничего общего с действительностью. Плавание — это движение, которое более всего похоже на пребывание на одном месте. Чтобы почувствовать, что ты перемещаешься, надо иметь ориентиры, надо иметь фиксированные точки на горизонте и ледяные подъемы, которые исчезают под полозьями саней, и вид гор за парагаа — стойкой сзади на санях — все то, что растет, приближаясь, пробегает мимо и исчезает на горизонте.

Всего этого нет на море. Кажется, что судно стоит на месте, что оно — зафиксированная стальная платформа, обрамленная неизменным круглым горизонтом, над которым проносится серый, холодный зимний день, и помещенная на подвижную, но всегда одинаковую поверхность воды. Сотрясаемое монотонными усилиями двигателя, оно без всякого результата топчется на месте.

Или же это я стала слишком старой, чтобы путешествовать.

Обступивший нас морской туман нагоняет на меня депрессию.

Чтобы путешествовать, надо иметь дом, откуда уезжаешь и куда возвращаешься. В противном случае ты беженец, бродяга, qivittog. Сейчас в Северной Гренландии в Кваанааке они собираются в дощатые бараки, покрытые рифленным железом.

Как и много раз прежде, я спрашиваю себя, почему я здесь оказалась. Я не могу взять на себя всю ответственность, это слишком тяжелое бремя, мне, должно быть, еще и не повезло — вселенная, должно быть, отвернулась от меня. Когда мир предаёт меня, я сама сжимаюсь, словно живая мидия, на которую капнули лимонным соком. Я не могу подставить другую щеку, я не могу встречать враждебность с еще большим доверием.

Однажды я ударила Исайю. Я рассказывала ему, что когда у Сиорапа-лука, далеко в заливе, вскрывался лед, мы, дети, прыгали со льдины на льдину, прекрасно сознавая, что если мы поскользнемся, то окажемся подо льдом, и течение унесет нас в Нерривик — мать морей, откуда никогда не возвращаются. На следующий день он хотел подождать меня перед “Бругсеном”, около гренландской статуи на площади, но когда я вышла из магазина, его не оказалось на месте, а когда я пошла по мосту, то увидела его внизу на льду, тоненьком, только что вставшем льду, немного подтаявшем снизу от течения. Я не закричала — я не могла кричать, а спустилась вниз к туалету на набережной и мягко позвала его, и он пришел, осторожно ковыляя по льду, и когда он встал на булыжник, я его ударила. Удар был видимо — как это бывает в случае насилия — квинтэссенцией моих чувств к нему. Он едва устоял на ногах.

— Ты меня бьешь, — сказал он и, моргая сквозь слезы, огляделся в поисках оружия, чтобы вспороть мне живот.

Но потом, сделав простой, но великий шаг, он обратился к своим безграничным природным резервам.

— Naammassereerrog, к этому можно привыкнуть, — сказал он.

Я таким глубокомыслием не обладаю. Возможно, это одна из причин того, что все пошло, как пошло.

Все вокруг тихо, но я знаю, что за спиной у меня стоит человек. Потом о перила облакачивается Верлен, глядя вместе со мной в сторону моря. Он снимает свою рабочую рукавицу и достает из нагрудного кармана немного риса.

— Я думал, что гренландцы коротконогие и трахаются, как свиньи, а работают, только когда голодны. Единственный раз, когда я там был, мы везли керосин в один город где-то на севере. Мы заливали керосин прямо в контейнеры, стоявшие на берегу. В какой-то момент появилась лодка с маленьким человечком, который, выстрелив из ружья, что-то прокричал. Потом все они побежали к своим хижинам и, вернувшись с ружьями, отправились в море в своих яликах или начали стрелять прямо с берега. Если бы я не был начеку, из-за давления вылетели бы

шланги из резервуаров. Оказалось, что все это из-за того, что шел косяк какой-то рыбы.

— Какое это было время года?

— Может быть, июль или начало августа.

— Белуха, — говорю я. — Маленький кит. Значит это было у одного из урочищ к югу от Упернавика.

— Мы послали телеграмму в торговую компанию о том, что они прекратили работу и ушли на рыбную ловлю. Нам ответили, что это происходит несколько раз в год. Так всегда с примитивными народами. Когда их желудки полны, они не видят никаких причин работать. Я понимающе киваю.

— В Гренландии считают, — говорю я, — что филиппинцы — это нация ленивых мелких сводников, которых можно использовать на море только потому, что им не надо платить больше доллара в час, но что их постоянно надо кормить большими порциями свежесваренного риса, если не хочешь неожиданно получить нож в спину.

— Это правда, — говорит он.

Он прислоняется ко мне, чтобы не кричать. Я смотрю в сторону мостика. На том месте, где мы стоим, мы как на ладони.

— На этом корабле свои законы. Некоторые законы установил капитан. Некоторые — Тёрк. Но не все законы. Они зависят от нас — от крыс.

Он улыбается мне, зубы его на фоне темной кожи — словно глазированные кусочки мела. Он ловит мой взгляд.

— Фарфоровые коронки. Я сидел в тюрьме в Сингапуре. Через полтора года у меня во рту не было ни одного зуба. Челюсть была скреплена оцинкованной стальной проволокой. И мы организовали побег.

Он еще ближе прислоняется ко мне. — Это там я понял, насколько я не перевариваю полицейских.

Когда он выпрямляется и уходит, я остаюсь стоять, глядя на море. Начинают падать белые хлопья. Но это не снег. Это с палубы. Я смотрю на себя. По всей длине от воротника до резинки на талии мой пуховик вспорот одним разрезом, который, не затронув подкладку, открыл полости, откуда теперь, кружась вокруг меня, словно снежинки, вырывается пух. Я снимаю куртку и складываю ее. Когда я иду по палубе, я вспоминаю, что должно быть холодно. Но я не чувствую холода.

5

Комитет Торгового флота по обеспечению бытовых условий моряков рассылает своим абонентам пакеты с девятью видеофильмами. На большом экране в спортивном зале Сонне приготовился показывать первый из них. Я сажусь в последнем ряду. Когда на экране появляется заход солнца над пустыней, я тихо прокрадываюсь к выходу.

На второй палубе в двух стоящих друг против друга рядах шкафов хранятся инструменты и запасные части. Я выбираю крестообразную отвертку. Потом беспорядочно роюсь в шкафах. В одном из деревянных ящиков я нахожу серые шарики от шарикоподшипника со следами смазки, каждый из них чуть больше мяча для гольфа и завернут в промасленную бумагу. Я беру один из них.

Поднявшись по трапу, я выхожу на ют. Через два длинных окна из помещения, где показывают фильм, проникает свет. Встав на колени, я подползаю к окну и заглядываю внутрь. Только когда мой взгляд находит и черный блестящий затылок Верлена, и очертания вьющихся волос Яккельсена, я возвращаюсь в коридор. И отпираю каюту Яккельсена.

Теперь в ящике под кроватью только постельное белье. Но шахматы по-прежнему на своем месте. Я засовываю коробку под джемпер. Потом некоторое время прислушиваюсь у двери и возвращаюсь в свою каюту. Далеко отсюда, в неопределенном направлении, через металлический корпус слышно звуковое сопровождение фильма.

Я кладу коробку в ящик стола. Странное ощущение — быть обладателем предмета, который в зависимости от того, в каком порту его найдут, может обеспечить своему владельцу от трех лет условного заключения до смертного приговора.

Я надеваю тренировочный костюм. Металлический шарик я завязываю в длинное, белое банное полотенце, которое складываю вдвое. Потом вешаю его обратно на крючок. И сажусь ждать.

Если приходится долго ждать, нужно чем-нибудь заняться в это время, чтобы избежать разрушительного воздействия ожидания. Если пустить все на самотек, сознание дрогнет, проснется страх и беспокойство, появится депрессия и тебя потянет вниз.

Чтобы не пасть духом, я задаю себе вопрос: что такое человек, что такое я сама?

Или я — мое имя?

В год моего рождения моя мать ездила в Западную Гренландию и оттуда она привезла женское имя Millaarak. Поскольку оно напоминало Морицу датское слово mild, <Мягкий, нежный (датск.)> которого не было в словаре его любовных отношений с моей матерью, поскольку он хотел подвергнуть все гренландское трансформации, которая бы сделала все европейским и знакомым, и поскольку я, как рассказывают, улыбалась ему — безграничное доверие грудного ребенка, который еще не знает, что его ждет — они договорились на имени Smillaarak, которое благодаря тому износу, которому время подвергает всех нас, превратилось в имя Смила.

Которое — всего лишь звук. А далее — можно в поисках того, что скрывается за звуком, найти тело с его кровообращением, движением лимфы. Его любовь ко льду, его гнев, его тоску, его понимание пространства, его бренность, его неверность и лояльность. За всем этим взрыв и затухание неясных сил, обрывочные и не связанные между собой картины воспоминаний, безымянные звуки. И геометрия. Глубоко в нас самих скрывается геометрия. Мои учителя в университете постоянно задавали вопрос, в чем проявляется реальность геометрических понятий. Где находится, спрашивали они, идеальный круг, настоящая симметрия, абсолютная параллельность, если их нельзя смоделировать в этом несовершенном окружающем мире?

Я не отвечала им, потому что они бы не поняли всей очевидности моего ответа и всей безграничности того, что из него следует. Геометрия существует в нашем сознании как врожденный феномен. В реальном мире никогда не возникнет снежный кристалл абсолютно правильной формы. Но в нашем сознании находится сверкающее и безупречное знание о

совершенном льде.

Если ты чувствуешь в себе силы, можно искать и дальше — за геометрией, за туннелями света и тьмы, которые есть в каждом из нас и которые тянутся назад к бесконечности.

Так много можно было бы сделать, если бы были силы.

Фильм закончился два часа назад. Два часа назад Яккельсен вошел в свою каюту. Но нет никаких оснований испытывать нетерпение. Нельзя вырасти в Гренландии, не столкнувшись с алкоголизмом или наркоманией. Ошибочно утверждение, будто наркотики делают людей непредсказуемыми. Напротив, они делают их очень, очень предсказуемыми. Я знаю, что Яккельсен придет. У меня достаточно терпения, чтобы ждать, сколько потребуется.

Я протягиваю руку к выключателю, чтобы ждать в темноте. Выключатель находится между раковиной и шкафом, так что мне необходимо наклониться вперед.

Именно этот момент он и выбирает. Значит, он стоял, прижав ухо к двери. Я недооценила Яккельсена. Подкравшись к моей двери, он открыл замок своим ключом и дождался, пока не услышит какое-нибудь движение за ней — и все это притом, что я, находясь прямо за дверью, не слышала его. Теперь он распахнул дверь так точно, что она ударила мне в висок и отбросила меня на пол между кроватью и шкафом. Войдя, он закрыл за собой дверь. Не надеясь на свою физическую силу, он взял с собой большую свайку с деревянной ручкой и полым концом из полированной стали.

— Отдавай, — говорит он. Я пытаюсь сесть.

— Не двигайся! Я сажусь.

Он поворачивает свайку в руке так, что тяжелый конец оказывается внизу, и ударяет меня по ногам. Он попадает в щиколотку на правой ноге. На мгновение тело отказывается верить в то, как сильна боль, потом белый язык пламени поднимается по скелету до макушки, и верхняя часть тела, не повинаясь мне, падает на пол.

— Отдавай.

Я не могу вымолвить ни слова. Но засовываю руку в карман и, достав маленький пластиковый футляр, протягиваю ему.

— Остальное.

— В ящике.

Он размышляет. Чтобы подойти к столу, ему нужно перешагнуть через меня.

Его беспокойство проявляется в большей степени, чем когда-либо раньше, но в нем появилось какая-то непреклонность. Я однажды слышала, как Мориц рассказывал, что с героином можно прожить долгую, здоровую жизнь. Если есть деньги. Само по себе вещество оказывает почти консервирующее действие. В могилу наркоманов загоняют холодные подъезды, воспаление печени, вредные примеси, СПИД и изматывающие попытки раздобыть деньги. Но если тебе позволяет кошелек, ты можешь жить с этой привычкой, не жалуясь на здоровье. Так говорил Мориц.

Я думаю, он преувеличил. Циничное, иронично-отстраненное преувеличение специалиста. Героин — это самоубийство. По мне нисколько не лучше оттого, что это растянуто на 25 лет, при любых обстоятельствах это презрение к собственной жизни.

— Достань мне их.

Я сажусь на корточки. Когда я пытаюсь опереться на правую ногу, она подкашивается, и я падаю на колени. Преувеличивая свое падение, я растягиваюсь до раковины. Сняв белое полотенце с крючка, вытираю кровь с лица. Потом поворачиваюсь и, хромая, делаю шаг в сторону письменного стола с ящиками. По-прежнему, с полотенцем в руках. И оборачиваюсь к шкафу.

— Ключ здесь.

Поворачиваясь, я начинаю замахиваться. Дуга, направленная на иллюминатор, поднимается к потолку и, ускоряясь, опускается к его носу.

Он видит, что она приближается, и отступает назад. Но он ожидает всего лишь легкого удара тканью. Спрятанный в полотенце шарик ударяет его прямо в грудь. Он падает на колени. Я снова замахиваюсь. Он успевает поднять руку, удар приходится ему в предплечье, отбрасывая его на кровать. Он приходит в бешенство. Я ударяю изо всех сил, целясь ему в висок. Он делает самое разумное — двигаясь навстречу удару, поднимает руку, так что полотенце обматывается вокруг нее, и он дергает. Я пролетаю на метр вперед. Тогда он снизу наотмашь ударяет меня свайкой прямо в живот. Мне кажется, что я вижу саму себя со стороны, в полете через каюту, и чувствую спиной письменный стол. Он ползет ко мне по кровати. Я не ощущаю своего тела и опускаю глаза вниз.

Сначала мне кажется, что из меня вытекает какая-то белая жидкость. Потом я понимаю, что это я при падении утащила за собой полотенце. Он уже на краю кровати. Я приподнимаю полотенце с шариком, в два раза укорачиваю и, взяв его обеими руками, резко дергаю вверх.

Удар приходится ему под подбородок. Его голова откидывается, тело с некоторым опозданием следует за ней, и его отбрасывает к двери. Сначала его руки, пытаюсь нащупать какую-нибудь опору позади, хватаются за ручку, потом он перестает делать эти попытки и опускается на пол.

Какое-то время я стою. Потом с трудом преодолеваю три метра, держась за кровать, шкаф и раковину, парализованная от пупка и ниже. Я поднимаю с пола свайку. Из его кармана я вытаскиваю пластиковый футляр.

Он долго приходит в себя. Я жду, прижав к себе свайку. Он ощупывает свой рот и сплевывает в ладонь. Появляется кровь, с твердыми светлыми кусочками.

— Ты испортила мне лицо.

Половина его верхних передних зубов выбита. Это видно, когда он говорит. Злоба в нем угасла. Он похож на ребенка.

— Дай-ка мне тот футляр, Смилла.

Я достаю и пристраиваю его у себя на колене.

— Я хочу осмотреть передний трюм, — говорю я.

Туннель начинается в машинном отделении. Между стальными балками фундамента двигателя вниз спускается маленький трап. У его подножия водонепроницаемая пожарная дверь ведет в узкий проход высотой в человеческий рост и шириной менее метра.

Эта дверь заперта, но Яккельсен открывает ее.

— Там, с другой стороны двигателя под средним и нижним помещениями юта вниз к боковым танкам проходит такой же туннель.

У меня в каюте он насыпал короткую, широкую полоску на мое карманное зеркальце и втянул ее в себя прямо через одну ноздрю. Это преобразило его в блестящего и самоуверенного гида. Но он шепелявит из-за выбитых передних зубов.

Я с трудом ступаю на правую ногу. Она вспухла как после сильного растяжения. Я иду за ним. Воткнув головку маленькой крестообразной отвертки в пробку, я засунула ее за пояс брюк.

Он включает свет. Через каждые пять метров висит лампочка в сетке из стальной проволоки.

— Длина туннеля 25 метров. Тянется до того места, где начинается передняя палуба. Сверху трюм объемом 34 500 кубических футов, над ним другой объемом 23 000 кубических футов.

Вдоль стен туннеля плотной решеткой расположены шпангоуты. Он кладет на них руку.

— Двадцать дюймов. Между шпангоутами. Вдвое меньше того, что требуется для судна в 4 000 тонн. Полуторадюймовые листы в носовой части. Это дает прочность в двадцать раз большую, чем того требуют страховые компании и Корабельный надзор, чтобы принять судно к ледовому плаванию. Вот почему я знал, что мы направляемся ко льдам.

— Откуда ты столько знаешь о судах, Яккельсен?

Он выпрямляется — сплошное очарование и огромные возможности.

— Ты помнишь Педера Моста, да? Я Педер Мост. Я, также как и он, из Свенборга. Я рыжий. Я из прежних времен. Из тех времен, когда корабли были из дерева, а моряки из железа. Теперь все наоборот.

Он проводит рукой по своим рыжим кудряшкам, чтобы придать им зализанный вид.

— Я такой же стройный, как и он. Мне несколько раз предлагали быть манекенщиком. В Гонконге два парня подписали со мной контракт. Они занимались модой. Они издали обратили внимание на мою осанку. На следующий день я должен был явиться на первую съемку. В то время я плавал юнгой. Понимаешь, я не успевал вымыть посуду. Тогда я вывалил все вилки, ножи и тарелки вместе с водой через иллюминатор. А когда я пришел к ним в гостиницу, они, к сожалению, уже уехали. Шкипер вычел 5 000 крон из моего жалования для оплаты того ныряльщика, которому пришлось доставать все со дна.

— Мир несправедлив.

— То-то и оно, моя милая. Именно поэтому я только матрос. Я плаваю семь лет. Я уже много раз собирался учиться на штурмана. И что-то всегда мешало. Но я знаю все о судах.

— А тот ящик, который мы вчера сбросили в воду, о нем же ты ничего не знал.

Он щурит глаза.

— Значит, верно то, что говорит Верлен. Я молчу.

Он взмахивает рукой.

— Я бы мог быть полезным полиции. Они могли бы взять меня в подразделение по борьбе с наркотиками. Я ведь знаю весь этот мир.

Над нашими головами проходит водопроводная труба. Через каждые десять метров на ней установлены насадки спринклерной противопожарной системы. У каждой из них — матовая красная лампочка. Он достает из кармана носовой платок и привычным движением оборачивает им отверстие. Потом зажигает сигарету.

— В каждом из них дымовые датчики. Если сядешь тут в уголочке покурить, не обезопасив себя, сработает сигнализация.

Он с наслаждением наполняет легкие и жмурится от боли во рту.

— В Дании чертовски трудно избавиться от нелегального груза. Вся страна насквозь находится под контролем — лишь только ты приближаешься к порту, тут же к тебе пристают полиция, портовые власти и таможенники, и все они хотят знать, откуда ты и куда, и кто твой владелец. В Дании не найдешь людей, которых можно подкупить, все они государственные служащие, они даже стакан минеральной воды от тебя не возьмут. Тогда тебе приходит в голову, что кто-нибудь из твоих приятелей мог бы на небольшом судне подойти к твоему борту и, взяв ящик, выгрузить его на какой-нибудь темный берег или в другое место. Но это тоже не пройдет.

Потому что все знают, что в Дании военно-морские силы и таможня сотрудничают. На двух крупных военных базах на Анхольте и в Фредерике-хауне сидят военные и выдают всем входящим в датские территориальные воды и покидающим их номер, заносят его в компьютер и отслеживают их движение. Они бы сразу засекли твоего друга на его судне. Поэтому у тебя возникает идея просто сбросить твой ящик за борт. Прикрепив к нему буюк или несколько надувных баллонов и маленький, работающий на батарейках передатчик, излучающий сигнал, который может запеленговать тот, кто придет подобрать твой ящик.

Я пытаюсь установить связь между тем, что слышу, и тем, что видела.

Он тушит сигарету.

— И все же тут что-то не так. Судно пришло с верфи в Гамбурге. Оно находилось в датских территориальных водах две недели. Стояло в Копенгагене. Вроде бы слишком поздно бросать товар на расстоянии 500 морских миль в Атлантике, так?

Я согласна. Это непонятно.

— Я думаю, что вчерашнее — это не контрабандный товар. Я знаю этот бизнес, я действительно уверен в том, что это не товар. И знаешь, почему? Потому что я заглянул в контейнер. Знаешь, что было в том контейнере? Цемент, сотни 50-килограммовых мешков с портландцементом. Я забрался туда ночью. Контейнер был закрыт на висячий замок. Но ключи от грузового отсека всегда висят на мостике. На случай смещения груза. Поэтому когда я был на вахте, я их взял. Слушай, я был весь как на иголках. Открыл крышку — и ничего кроме цемента. Я говорю себе, что быть этого не может. Что тут что-то не так. Поэтому я отправляюсь назад на камбуз за шампуром. Чуть в штаны не наложил при мысли о том, что

Верлен меня увидит. Два часа просидел в том контейнере. Перекладывая мешки и протыкая их шампуром, чтобы найти что-нибудь. Спина у меня раскалывается. Кожа на руках растрескалась. Цементная пыль — это страшное дело. Но я ничего не нахожу. Невозможно, говорю я себе. Все это плавание. Полная секретность. Повышенная зарплата, потому что мы не знаем, куда плывем. А на борт они берут всего лишь мусорный контейнер с цементом. Это уж слишком. Я почти не сплю по ночам. Я говорю себе, что тут должны быть замешаны наркотики.

— Значит, ты не узнал, в чем тут дело.

— Я думаю, — говорит он медленно, — что вчера была репетиция. Дело в том, что не так-то легко сбросить большой груз за борт. Надо сбросить его в нужных координатах, чтобы можно было найти товар. Надо постараться, чтобы ящик не попал под винт. Надо следить, чтобы не было большого крена, особенно при ветре и большой волне, иначе могут быть неприятности. А ты знаешь, что даже небольшие движения изменят твою относительную скорость на радаре береговой охраны. Лучше всего было бы остановиться и осторожно спустить ящик за борт. Но этот номер не пройдет. В ту же секунду ты услышишь таможенников по УКВ. Так что если бы тебе действительно надо было опустить что-то большое и тяжелое в воду и сделать это тихо и незаметно, тебе бы следовало потренироваться. Чтобы проверить буи и пеленговое устройство и чтобы дать матросам возможность усвоить свои действия на палубе. Чтобы проверить грузовую стрелу, и лебедки, и натяжение троса. Тот вчерашний ящик был тренировкой, “обманкой”. Здесь его выбросили, чтобы убедиться в том, что мы вне зоны действия радаров. А на самом деле, потом будет другой. — Какой?

— С настоящим товаром, моя милая. Тем, за которым мы плывем. Поверь моему слову. Я знаю все о море. Все это стоило им целое состояние. Единственное, что может обеспечить проценты с этого капиталовложения — это наркотики.

Там, где заканчивается туннель, вокруг стальной стойки не толще основания флагштока поднимается вверх узкая винтовая лестница. Яккельсен кладет руку на белую эмаль стойки. — Это опора передней мачты.

Я вспоминаю грузовую стрелу и лебедки. На них указана максимальная нагрузка в 45 тонн.

— Она слишком тонкая.

— Давление по вертикали. Нагрузка на мачту дает направленное вниз давление. Никакого заметного поперечного давления не возникает.

Я насчитываю 56 ступенек и прикидываю, что мы поднялись на такое количество метров, которое соответствует высоте трехэтажного дома. Моей ноге это нелегко дается.

Наверху трапа площадка, примыкающая к переборке. В переборке — круглая крышка диаметром в полтора метра. На ней два зажимных колеса, которые делают ее похожей на дверь сейфа из мультфильма. Крышка не соответствует тому, что ее окружает. “Кронос” выглядит так, будто он построен одновременно с “Киста Дан” судоходной компании “Лауритсен”

— моей первой захватывающей встречей с большими дизельными судами. Это было в моем детстве, в начале 60-х. Крышка кажется изготовленной позавчера.

Крышка закрыта не очень плотно. Яккельсен поворачивает оба колеса на пол-оборота и дергает ее на себя. Она должна быть тяжелой, но поддается без сопротивления. С внутренней

стороны в качестве уплотнения — тройной бортик из плотной черной резины.

За дверью — платформа, которая возвышается над темной пустотой. Откуда-то из-за двери он достает большой фонарик на батарейках. Я беру его и зажигаю.

Уже по звуку, по отражению его от далеких стен, можно понять, как велико помещение. Теперь луч света достигает дна, которое, кажется, находится головокругительно далеко под нами. В действительности, наверное, в 10-12 метрах. Над нами примерно 5 метров до крышки трюма. Я освещаю все отверстие по периметру. На нем такое же резиновое уплотнение. Я осматриваю дно. Оно представляет собой решетку из нержавеющей стали.

— Она опущена, — говорит он. — Когда здесь стоял контейнер, она была поднята выше.

Под решеткой пол скошен в сторону сточного люка.

Я нахожу угол и провожу фонариком снизу вверх по стене.

Стены сделаны из полированной стали. На некотором расстоянии от дна луч освещает выступ. Он напоминает головку ручного душа. Но он расположен под углом вниз. Немного выше — еще один выступ. Потом еще один. То же самое с другой стороны. В помещении их всего 18.

Я осматриваю все стены. В каждой стене сверху, снизу и посередине вставлены решетки размером 50 на 50 сантиметров.

Та платформа, на которой мы стоим, выдается на полметра над помещением. Слева находится приборная доска. На ней четыре лампы, рубильник, счетчик с надписью “кислор. 0/00”, еще один такой же с надписью “давл. возд.”, термостат со шкалой от плюс 20 до минус 60 градусов по Цельсию и гигрометр.

Я вешаю фонарик на место. Мы выходим, и я закрываю дверь. Слева в стене находится маленькая белая дверца. Я пытаюсь открыть ее, но ключ Яккельсена не подходит. Это неважно. Я примерно представляю себе, что за ней находится. За ней находится точно такая же приборная доска, как и в трюме. Плюс кнопки регулировки.

Мы идем назад. Яккельсен впереди. Его энергия иссякает. Он исчерпал все свои силы.

Он остается ждать в своей каюте, пока я хожу за шахматными фигурками для него. Мне не встретилось ни души. На моем будильнике 3.30. Я чувствую себя постаревшей.

Я иду в душ. Когда я выхожу из душа, он стоит в дверях. Полный энергии. С преобразившимся худым юным лицом.

— Смила, — шепчет он, — как насчет того, чтобы быстренько трахнуть?

— Яккельсен, — говорю я, — скажи-ка мне одну вещь. Этот Педер Мост тоже был наркоманом?

6

Я засовываю голову в сушильную машину и погружаю руки в еще обжигающе горячие полотенца. Кожа на лице и руках мгновенно и ощутимо начинает сохнуть.

Если человек бездомен, он всегда будет искать связь, сходство, запахи, цвета и переживания,

которые могут напомнить ему о том месте, где у него было ощущение родного дома, где он когда-то мог обрести душевный покой. В сушильной машине воздух пустыни. Однажды у меня возникло ощущение родного дома, когда я была в пустыне.

Мы шли по равнине на дне долины, и вокруг нас была плоская, безжизненная степь, а над нами палящее солнце. Как будто немилосердно любопытный Бог направил на нас свой микроскоп и свою лабораторную лампу, потому что мы были единственными живыми существами в совершенно безлюдном мире. Мы шли по песчаным дюнам и по соляным озерам, через желто-коричневый, пепельно-серый и все же волнующе прекрасный ад жары. В конце дня началась пыльная буря, нам пришлось прижаться к земле, закрыв лица платками. У нас кончилась вода, и у одного из участников, молодого человека, поднялась температура, и он кричал, что умирает от жажды. Когда буря пронеслась мимо, между нами и солнцем на мгновение повисла завеса взметенного песка. Она светилась изнутри, как будто поглотила солнце, как будто это вместе с солнцем поднимался в небо огромный пылающий пчелиный рой. Но на душе у меня было светло и радостно без всякой на то причины.

Время было 23.30 вечера, яркий свет был светом полуночного солнца, а происходило все это в Шукертдален в Северной Гренландии, арктической пустыне, где полярное солнце в течение очень короткого лета нагревает дюны до 35 градусов, создавая наполненный комарами пейзаж с высохшими руслами рек и трепещущей от жары каменной почвой. Чтобы пересечь ее, потребовалось два дня, и с тех пор у меня часто возникало желание вернуться туда. Мой брат участвовал в экспедиции как охотник. Это было наше последнее долгое совместное путешествие. Мы чувствовали себя детьми, как будто никогда не было того дня, когда Мориц заставил меня уехать в Данию, как будто у нас никогда не было 12 лет разлуки. Сейчас, стоя перед сушильной машиной, я все время возвращаюсь мыслями к этому абсурдному воспоминанию из моей молодости, сладость которого я более никогда ни с кем не смогу разделить. Смерть страшна не тем, что она меняет будущее. А тем, что она оставляет нас в одиночестве с нашими воспоминаниями.

Я достаю отвертку из пробки и разрываю большой черный мешок для мусора.

Позавчера ночью Яккельсен показывал мне трюм. Со вчерашнего дня я не расстаюсь с отверткой.

Придя вчера около 12 часов из прачечной к себе в каюту, я хотела переодеться.

Пожалуй, мою жизнь в целом можно назвать беспорядочной. Но моя одежда находится в порядке. Я взяла с собой вешалки для брюк, надувные вешалки для блузок, а свои свитера я складываю совершенно определенным образом. Ваша одежда остается новой и все же привычной оттого, что ее хорошо гладят, складывают, развешивают, и раскладывают аккуратными стопками.

Наверху в моем шкафу лежит футболка, которая сложена не так, как ей положено. Я просматриваю всю стопку. Кто-то ее обследовал.

В кают-компании я сажусь рядом с Яккельсеном. Я не видела его с прошлой ночи. На минуту он прекращает есть, потом опять склоняется над тарелкой.

— Ты обыскивал, — спрашиваю я тихо. — мою каюту?

В его глазах лихорадочно трепещет страх. Он качает головой. Мне следовало бы поесть, но у меня пропал аппетит. Перед тем, как идти после обеда в прачечную, я приклеиваю две тонкие

полоски скотча на свою дверь.

Когда я возвращаюсь перед ужином, они оторваны. С того момента я не расстанусь с отверткой. Возможно, это и не очень разумная реакция. Но люди могут привязываться к самым удивительным предметам. Чем крестообразная отвертка хуже чего-нибудь другого?

Из мешка на пол вываливается груда мужской одежды. Майки-сеточки, рубашки, носки, джинсы, трусы, пара брюк из плотной ткани в рубчик.

Это первая порция грязного белья с закрытой шлюпочной палубы.

Немного женской одежды: кардиган, чулки, хлопчатобумажная юбка, полотенца из махровой ткани толщиной в один сантиметр с бирками “Ютландская ткацкая фабрика дамаста”, на которых вышито имя Кати Клаусен. Более она ничего не прислала. Я ее хорошо понимаю. Женщинам не нравится, когда посторонние видят их грязное белье и держат его в руках. Если бы кроме меня в прачечной работал еще кто-нибудь, я бы стирала свое белье в раковине и потом сушила на спинке стула.

Потом еще одна груда мужской одежды. Футболки, рубашки, свитера, холщовые брюки. Обо всем этом можно сказать три вещи. Что все это новое, все это дорогое и все это 52-го размера.

— Ясперсен.

Маленькие черные пластмассовые телефоны, которые висят в каждом помещении “Кроноса” и приводятся в действие с мостика, позволяя тем самым вахтенному, когда ему будет угодно, подключиться и дать приказ, для меня — во всяком случае, в настоящий момент — являются олицетворением того, к чему привело замечательное, мелко-террористическое, изощренное и превосходящее все разумные пределы технологическое развитие последних 40 лет.

— Подайте, пожалуйста, кофе на мостик.

Я не люблю, когда за мной наблюдают. Я ненавижу отметки о приходе на работу и уходе с работы. У меня возникает аллергия, когда из разных инстанций сводится воедино различная информация о человеке. Я испытываю отвращение к паспортному контролю и свидетельствам о рождении. К обязательному обучению, к обязанности в определенных случаях предоставлять сведения, к обязанности содержать семью, к обязанности возмещать убытки, к обязанности сохранять тайну — ко всей этой вязкой громаде контрольных мероприятий и требований государства, которая обрушивается на вашу голову, когда вы приезжаете в Данию, и которую мне в обычной жизни удастся вытеснить из своего сознания, но она в любой момент может снова оказаться передо мной, материализовавшись в таком вот, например, маленьком черном телефоне.

Я ненавижу все это еще больше, потому что знаю, что все это преподносится под видом своего рода благодеяния — все западная мания контроля, архивирования и каталогизации задумана к тому же в помощь людям.

Когда в 30-е годы спросили престарелую Иттусаарсуак, которая ребенком вместе со своим племенем и с семьей пришла через остров Эллесмере в Гренландию с той волной эмиграции канадских эскимосов, которая впервые за 700 лет встретила инuit в Северной Гренландии, когда ей задали вопрос — 85-летней женщине, пережившей весь современный процесс колонизации от каменного века до радио — какова жизнь сейчас по сравнению с прошлыми временами, то она, не задумываясь, сказала: “Лучше — инuit гораздо реже умирают от голода”.

Наши чувства должны находить искреннее выражение, чтобы не происходило путаницы. Невозможно с полной искренностью ненавидеть колонизацию Гренландии, поскольку она, вне всякого сомнения, помогла преодолеть материальные трудности самых тяжелых на земле жизненных условий.

Кнопки ответа на переговорном устройстве нет. Я прислоняюсь к стене рядом с ним.

— А я-то как раз сижу и думаю, — говорю я, — когда же мне представится возможность себя проявить.

Направляясь наверх, я выхожу на палубу. “Кронос” идет по длинным поперечным волнам зыби, затухшим волнам, созданным далеким штормом, исчезнувшим и не оставившим после себя ничего другого, кроме подвижного, матово-серого ковра энергии, содержащейся в воде.

Но ветер дует навстречу — холодный ветер. Я вдыхаю его, открывая рот, позволяя ему найти резонанс — высокую стоячую волну, как будто дуешь над горлышком пустой бутылки.

Брезент с десантного бота снят. Стоя спиной ко мне, работает Верлен. Электрической отверткой он привинчивает ко дну лодки длинные рейки из тикового дерева.

Лукас на мостике один. Он стоит, положив руку на румпель. Авторулевой отключен. Что-то подсказывает мне, что он предпочитает сам стоять у руля, хотя это дает менее точный курс.

Он не оборачивается, когда я вхожу. Пока он не начинает говорить, кажется, что он и не заметил моего прихода.

— Вы хромаете.

Он выработал в себе способность видеть все, при этом ни во что особенно не всматриваясь.

— Это мои вены, — говорю я.

— Вы знаете, где мы находимся, Ясперсен?

Я наливаю ему кофе. Урс хорошо знает, какой кофе ему нужен. Крохотная порция. Черный и ядовитый, как один децилитр кипящей смолы.

— Я чувствую запах Гренландии. Сегодня, на палубе. Его спина выражает недоверие. Я пытаюсь объяснить.

— Это ветер. Он пахнет землей. И при этом он холодный и сухой. В нем лед. Это мы встретили ветер, дующий с материкового льда, над побережьем.

Я ставлю перед ним чашку.

— Я не чувствую никакого запаха, — говорит он.

— Научкой доказано, что заядлые курильщики губят свое обоняние. От крепкого кофе оно тоже лучше не становится.

— Но вы правы. Сегодня ночью, около двух часов, мы пройдем мыс Фарвель.

Ему что-то от меня нужно. Он не говорил со мной с того дня, как я появилась на борту.

— Существует правило, по которому при проходе мыса сообщают о себе Гренландской ледовой службе.

В Ледовом центре я налетала 300 часов на “твин-оттере” Хавиллана и провела три месяца в бараках Нарсарсуака, рисуя ледовые карты на основе авиасъемки, а потом отправляла их факсом в Метеорологический институт, который передает их для судов по радио “Скамлебэк”. Но я не рассказываю об этом Лукасу.

— Следовать или не следовать этому правилу — дело добровольное. Но все это делают. Они сообщают о себе, а потом раз в сутки докладывают.

Он берет кофе так, словно это лекарство от головной боли.

— Если только плавание не является противозаконным. И если не хотят скрыть свое движение. Если не сообщить о себе Ледовой службе, то и датской береговой службе ничего не сообщат. И полиции.

Все говорят со мной о полиции: Верлен, Мария, Яккельсен. А теперь вот — Лукас.

— С владельцами заключено соглашение, что по пути телефон на борту не будет использоваться. Но я готов сделать одно исключение.

Сначала это предложение ошарашивает меня. Мне кажется, что я не произвожу впечатления человека, которому необходимо повисеть на телефоне и поплакаться своим родственникам по радио “Люнгбю”.

Потом меня осеняет. Слишком поздно, конечно, но тем яснее все становится. Лукас думает, что я из полиции. Верлен так думает. И Яккельсен.

Они думают, что я переодетый полицейский. Это единственное разумное объяснение. Поэтому Лукас и взял меня на борт.

Я смотрю на него. По нему ничего не заметно, но конечно он должен чувствовать страх. Наверное, страх был написан на его лице уже при первой нашей встрече, тогда, когда он, отвернувшись, смотрел в окна казино. В его жизни, несомненно, было несколько сомнительных рейсов. Но этот с самого начала очень от них отличался. Этого плавания он боится. Настолько, что даже взял меня на борт, пребывая в убеждении, что я что-то расследую. Что его вынужденная уступчивость обеспечит ему своего рода алиби, если на него, “Кронос” и его пассажиров обрушится закон.

Это заметно по его осанке, по тому, как напряженно он держится и, очевидно, пытается следить за всем, присутствовать повсюду. По дисциплине, которую он поддерживает.

— У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы?

Такой вопрос не очень привычен для него. Он не сотрудник благотворительной организации и не начальник отдела кадров. Он раздает приказы.

Я встаю за его спиной.

— Ключ.

— У вас есть ключ.

Я стою так, что дышу ему в затылок. Он не оборачивается.

— От шлюпочной палубы.

— Он конфискован.

Я чувствую его возмущение. Моим требованием. Но более всего тем, что его лишили неограниченной власти главнокомандующего на судне. Потом я спрашиваю. О том же, о чем Яккельсен спрашивал меня.

— Куда мы плывем?

Его палец оказывается на лежащей рядом с ним морской карте. Карте Южной Гренландии. На нее положено полученное со станции в Юлианехоб прозрачное пластиковое факсимильное изображение линий, кругов, штриховки и черных как смоль треугольников, рассказывающих о скоплении льдов, видимости и айсбергах. Вдоль побережья проложен курс — мимо мыса Торвальдсен и затем норд-норд-вест. Линия заканчивается в районе западной части страны, где-то посреди моря.

— Это то, что я знаю.

Он ненавидит их за это. За то, что его держат в узде, словно он маленький ребенок.

— Но западный лед спускается вниз до самого Хольстейнсборга. И это не шуточное дело. Примерно до района к северу от Сёндре Стрёмфьорда. Дальше этого места меня плыть не заставят.

Я села рядом с Яккельсеном. По другую сторону стола сидят Фернанда и Мария. Они раз и навсегда объединились против окружающего их мира мужчин. Меня они не замечают. Как будто они пытаются привыкнуть к тому, как все будет, когда я очень скоро перестану существовать на этом свете.

Яккельсен устался в свою тарелку. На столе рядом с ним лежит его связка ключей. Положив на стол нож и вилку, я протягиваю правую руку, кладу ее на его ключи, медленно двигаю их по столу и сбрасываю себе на колени. Под столом я ощупываю их все один за другим, пока не нахожу тот, на котором три буквы “К” и цифра 7. Это ключ-проводник “Кроноса”, который есть и у меня. Но кроме этого ключа, у Яккельсена есть ключ с буквой “Н”. Судно ремонтировали в Гамбурге. “Н” означает Hauptschlüssel. <Ключ-проводник, ключ, который подходит ко всем дверям (нем.) (Примеч. перев.)>

Я снимаю его с кольца.

Потом кладу оставшиеся в связке ключи назад и встаю. Он не пошевелился.

У себя в каюте я тепло одеваюсь. Оттуда иду на ют.

Я иду неторопливо, держась рукой за перила. Это должно выглядеть как прогулка.

Расстояние в Северной Гренландии измеряется в sinik — “снах”, то есть тем числом ночевков, которое необходимо для путешествия. Это, собственно говоря, и не расстояние, потому что с изменением погоды и времени года количество sinik может измениться. Это и не единица времени. Перед надвигающейся бурей мы с матерью проехали без остановки от Форсе Бэй до Иита — расстояние, на котором должны были быть две ночевки.

Sinik — это не расстояние, это не количество дней или часов. Это и пространственное, и временное явление, понятие из области пространство-время, которое передает соединение пространства, движения и времени, являющееся само собой разумеющимся для эскимосов, но не поддающееся передаче ни на один европейский разговорный язык.

Европейское расстояние, обычный, парижский метр, это нечто иное. Это единица измерения для преобразователей, для людей, которые смотрят на мир, исходя прежде всего из того, что мир нуждается в переделке. Инженеры, военные стратеги, пророки. И рисовальщики карт. Как я сама.

Впервые я всерьез поняла метрическую систему во время курса топографии в Датском Техническом Университете осенью 83-го года. Мы обмеряли парк Дюрехаун. С теодолитами и рулетками, и нормальным распределением, и эквидистантой, и случайной переменной, и дождем, и маленькими карандашами, которые все время надо было точить. И с измерением шагами. Наш преподаватель не устал повторять, что топография начинается и кончается тем, что геодезист должен знать длину своего шага.

Я знала мой шаг, измеренный в sinik. Я знала, что если нам придется бежать за санями, потому что небо черно от затаенных разрядов, проходит вдвое меньше sinik, чем когда нас тянут собаки по свежевставшему льду. В тумане это количество увеличивается в два раза, во время снежной бури может увеличиться в десять раз.

Так что в Дюрехаун я сама переводила мои sinik в метры. С тех самых пор, независимо от того, иду ли я во сне или по канату, надеты ли на мне сапоги с “кошками” или узкая черная юбка, заставляющая двигаться японским пятисантиметровым шагом, я всегда точно знаю, какое расстояние я прохожу каждый раз, когда делаю шаг.

Не ради развлечения я отправилась гулять на ют. Я обмеряю “Кронос”. Я смотрю на воду, но вся находящаяся в моем распоряжении энергия уходит на то, чтобы запомнить.

Я прохожу 25 с половиной метров по палубе мимо задней мачты и ее двух грузовых стрел, и дальше к кормовой надстройке. 12 метров вдоль надстройки. Я облакачиваюсь на фальшборт и прикидываю, что высота надводного борта — пять метров.

Позади меня кто-то стоит. Я оборачиваюсь. Хансен заполняет собой весь дверной проем, ведущий в слесарную мастерскую. Массивный, в больших сапогах с деревянными каблуками. В руке он держит нечто, напоминающее короткий кинжал.

Он рассматривает меня с тем ленивым животным удовлетворением, которое появляется у некоторых мужчин от сознания собственного физического превосходства.

Он поднимает нож. Потом подносит левую руку к лезвию и начинает круговыми движениями протирать его маленькой тряпочкой. На лезвии остается белый след, похожий на мыльный.

— Мел. Их надо чистить мелом. Иначе не будут блестеть.

Он не смотрит на нож. Пока говорит, он не сводит с меня глаз.

— Я их сам делаю. Из старых ножовок по металлу. Самая твердая сталь в мире. Сначала я обрабатываю лезвие на точиле. Потом довожу на наждачном бруске, потом на оселке. И наконец, полирую мелом. Очень, очень острые.

— Как бритвенное лезвие?

— Острее, — говорит он удовлетворенно.

— Острее, чем маникюрные пилочки?

— Гораздо острее.

— Как же получается, — говорю я, — что ты так чертовски плохо выбрит и что каждый раз, когда ты появляешься в камбузе, у тебя невероятно грязные ногти?

Он смотрит на капитанский мостик и опять на меня. Облизывает губы. Но не находит, что ответить.

История повторяется? Разве Европа не пыталась всегда опустошать свои клоаки в колониях? Разве “Кронос” не то же самое, что судно с осужденными по пути в Австралию, иностранный легион по пути в Корею, английские командос по пути в Индонезию?

У себя в каюте я достаю два сложенных листка формата А4. Они лежали в кармане моей куртки. Я больше не оставляю ничего важного в каюте. Пока я еще помню, я заносу те цифры, которые отмерила шагами, на чертеж корпуса “Кроноса”, который я начала делать. На полях я записываю остальные цифры. Часть из них я знаю, часть додумываю.

Общая длина: 105 метров

Внутренняя длина: 97 метров

Ширина: 15 метров

Высота верхней палубы: 9, 5 метров

Высота второй палубы: 6 метров

Грузовместимость (II палуба): 100 000 куб. футов

Грузовместимость (корпус): 125 000 куб. футов

Всего: 225 000 куб. футов

Скорость: 18 узлов, при эффективной мощности 4 500 л.с.

Потребление топлива: 14 тонн в день

Дальность плавания: 10 000 морских миль

Я пытаюсь найти объяснение тем ограничениям, которые накладываются на передвижение экипажа на “Кроносе”. Когда эскимос Ханс плыл с Пири к северному полюсу, матросам было запрещено выходить на офицерскую палубу. Это было частью военной муштры, попыткой доставить на судне в Арктику сдержанность феодальных отношений. На современном судне экипаж слишком мал для такого рода правил. И, однако же, они существуют на “Кроносе”.

Я включаю стиральные машины. Потом выхожу из прачечной.

Если ты являешься частью изолированной группы людей — в интернате, на материковом льду,

на судне — то твоя индивидуальность стирается, отчасти уступая место ощущению единого целого. В любую минуту я, не задумываясь, могу узнать любого человека этого судового мира. По их шагам в коридоре, по их дыханию во сне за закрытыми дверями, по их посвистыванию, рабочему дню, по их вахтенным часам.

А они, в свою очередь, знают, где нахожусь я. Но есть преимущество в том, что ты работаешь в прачечной. По звуку кажется, что ты там, хотя, на самом деле, тебя там нет.

Урс собирается есть. Он открыл откидной столик рядом с конфоркой, постелил на него скатерть, накрыл стол и зажег стеариновую свечку.

— Фройляйн Смила, attendez moi one minute. <подождите одну минуточку (франц.. англ.)>

Кают-компания “Кроноса” — это вавилонское столпотворение английского, французского, филиппинского, датского и немецкого. Урс беспомощно плавает между обрывками языков, которых он никогда не учил.

Я чувствую к нему сострадание. Мне слышно, как разрушается его родной язык.

Он вытаскивает для меня стул и ставит на столик тарелку.

Ему необходима компания, чтобы есть. Он ест так, как будто ему хотелось бы объединить жителей всех стран вокруг кастрюль с мясом, он преисполнен неистребимой веры, что несмотря на все войны, и насилие, и языковые барьеры, и климатические различия, и проявление датского военного суверенитета в Северной Гренландии, даже после введения самоуправления, у нас есть одно общее — нам надо питаться.

На его тарелке порция макарон, которая достаточно велика, чтобы можно было предложить и мне.

— Вы слишком худенькая, фройляйн.

Он натирает большой кусок пармезана, сухая золотистая пыль, словно маленькие снежинки, сыпется на макароны.

— Вы ein Hungerkünstler. <Великий постник (нем.)>

Разрезав на части собственноручно испеченные батоны, он поджарил их в масле с чесноком. Засовывая в рот куски по 10 сантиметров, он медленно и с удовольствием пережевывает.

— Урс, — спрашиваю я, — как ты попал на судно?

У меня не получается говорить ему “вы”.

Он перестает жевать.

— Верлен говорит, что вы Polizist. <Полицейский (нем.)>

Он обдумывает мое молчание.

— Я был im Gefangnis. <В заключении (нем.)> Два года. In der Schweiz. <В Швейцарии (нем.)>

Это объясняет цвет его лица. Тюремная бледность.

— Я ездил на машине в Марокко. Я решил, что если провезти с собой два килограмма, то у тебя будут деньги на два года. У итальянской границы меня взяли на Stichprobekontrol. Ich bekam drei Jahre. <Выборочная проверка. Мне дали три года. (нем.)> Освободили через два года. В октябре прошлого года.

— Как тебе было в тюрьме?

— Die beste Zeit meines Lebens. <Лучшее время в моей жизни (нем.)>

От волнения он перешел на немецкий.

— Никакого стресса. Только Ruhe. <Покой (нем.)> Я добровольно работал на кухне. Поэтому я получил Strafermassigung. <Сокращение срока (нем.)>

— А “Кронос”?

Он еще раз пытается оценить мои намерения.

— Я служил в армии, в швейцарском флоте.

Я смотрю, не шутка ли это, но он категорично машет рукой.

— Flussmarine. <Речной флот (нем.)> Я был коком. Там у одного приятеля были знакомые в Гамбурге. Он предложил мне “Кронос”. — Ich hatte meine Lehrzeit teilweise in Danemark, in Tjnder gemacht. <Время моей учебы я частично провел в Дашии, в Тендере> Это было трудно. После тюрьмы не найти работу.

— Кто нанимал тебя?

Он не отвечает.

— Кто такой Тёрк?

Он пожимает плечами.

— Я видел его einmal. <Один раз (нем.)> Он все время на шлюпочной палубе. Выходят Сайденфаден и die Frau. <Женщина (нем.)>

— За чем мы плывем?

Он качает головой.

— Ich bin Koch. Es war unmöglich Arbeit zu kriegen. Sie haben keine Ahnung, Fraulein Smilla... <Я — повар Было невозможно получить работу. Вы не можете представить себе этого, фройляйн Смилла (нем.)>

— Я хочу посмотреть холодильники и склады.

На его лице появляется страх.

— Aber Verlaine hat mir gesagt, die Jaspersen will... <Но Верлен сказал мне, что Ясперсен хочет... (нем.)>

Я наклоняюсь через стол. Тем самым я заставляю его забыть о макаронах, о нашем

взаимопонимании, о его ко мне доверии.

— “Кронос” — это судно, которое везет контрабанду.

Теперь он в панике.

— Ahn, ich bin kein Schmuggler. Ich konnte nicht ertragen, noch einmal ins Gefdnngnis zu gehen.

— Разве это не было лучшим временем твоей жизни?

— Aber es war genug. <Но этого было достаточно (нем.)>

Он берет меня за руку.

— Ich will nicht zurück. Bitte, bitte. <Я не хочу назад. Пожалуйста, пожалуйста (нем.)> Если нас схватят, скажите им, что я невиновен, что я ничего не знал.

— Посмотрим, что я могу сделать.

Продовольственные склады находятся прямо под камбузом. Они состоят из морозильного помещения для мяса, помещения для яиц и рыбы, двойного холодильного помещения для других скоропортящихся продуктов с температурой плюс два градуса по Цельсию и различных шкафов. Все заполнено продуктами, чисто, аккуратно, удобно уложено. Видно, что этими помещениями настолько часто пользуются, что вряд ли они могут быть тайником.

Урс показывает их мне со смесью профессиональной гордости и страха. На то, чтобы просмотреть их, уходит две минуты. Я действую по графику. Иду назад в прачечную. Отжимаю в центрифуге белье. Кладу его в сушильную машину и, повернув ручку, включаю. Потом я снова ухожу. И направляюсь вниз.

Я ничего не знаю о двигателях. И более того, даже не собираюсь изучать их.

Когда мне было пять лет, мир был для меня непостижимым. Когда мне было 13, он казался мне гораздо меньше, гораздо более грязным и до тошноты предсказуемым. Теперь он по-прежнему находится в беспорядке, но снова кажется — хотя и по-другому — таким же сложным, как и в детстве.

С годами я по собственной воле стала накладывать на себя некоторые ограничения. Я больше не хочу начинать сначала. Изучать новую специальность. Бороться со своей собственной индивидуальностью. Вникать в работу дизельного двигателя.

Я полагаюсь на брошенные Яккельсеном замечания. — Смилла, — говорит он, когда я сегодня утром застаю его в прачечной. Он сидит, прислонившись спиной к изолированным трубам с горячей водой, сунув в рот сигару, спрятав руки в карманы, с целью уберечь от соленого морского воздуха свою персиковую кожу, которая так необходима ему, чтобы гладить изнутри женские бедра. — Смилла, — отвечает он на мой вопрос о двигателе, — он огромный. Девять цилиндров, каждый из которых 450 в диаметре, с ходом поршня в 720 миллиметров. Сделан на заводе “Бурмайстер и Вайн”, с прямым реверсом, с наддувом. Мы плывем со скоростью 18 или 19 узлов. Он сделан в 60-е, но отремонтирован. Мы оснащены, как ледокол.

Я смотрю на двигатель. Он неожиданно возникает передо мной — мне приходится его обходить. Его топливные вентили, стержни его клапанов, трубы радиатора, пружины, полированная сталь и медь, его выхлопная труба и его безжизненная, но, тем не менее, полная

энергии подвижность. Как и маленькие черные телефоны Лукаса, он — квинтэссенция цивилизации. Нечто одновременно естественное и непостижимое. Даже если бы это было необходимо, я бы не смогла остановить его. В каком-то смысле его, наверное, и нельзя остановить. Может быть, на некоторое время выключить, но не окончательно остановить.

Может быть, так кажется, потому что он не является индивидуальностью, подобно человеку, а лишь воплощением чего-то стоящего за ним — души машины, аксиоматики всех двигателей.

А, может быть, это все мне только мерещится из-за одиночества, смешанного со страхом.

Важным же вещам я, однако, не могу найти объяснения. Почему “Кронос” два месяца назад, в Гамбурге, был оснащен значительно большим, чем требовалось, двигателем?

Люк в переборке за двигателем изолирован. Когда он захлопывается за мной, звук двигателя исчезает, и мне кажется, что я потеряла слух. Туннель спускается на шесть ступенек вниз. Оттуда на 25 метров тянется прямой, как линейка, коридор, освещенный закрытыми сеткой лампочками — точная копия того прохода, по которому мы с Яккельсеном прошли менее 24-х часов назад, но теперь это кажется далеким прошлым.

На полу номерами отмечены находящиеся внизу топливные танки. Я прохожу мимо номеров семь и восемь. Над тем местом, где расположен каждый танк, висит огнетушитель, пожарное покрывало и находится кнопка сигнализации. Не очень-то приятно, когда тебе на борту судна напоминают о пожарах.

Там, где заканчивается туннель, наверх поднимается винтовая лестница. Первый люк оказывается на левой стороне. Если мои предположительные расчеты верны, то он приведет в самый задний и самый маленький трюм. Я прохожу мимо него. Следующий люк находится тремя метрами выше.

Помещение резко отличается от тех, которые я видела раньше. Оно не более шести метров в высоту. Стены не поднимаются до верха палубы, а заканчиваются где-то в межпалубном пространстве, там луч света от моего фонарика теряется в темноте.

Краска со стен в помещении облупилась, оно все в пятнах, и видно, что его много используют. У одной стены сложены деревянные клинья, манильские тросы и тележки для перевозки грузов.

У другой стены сложены в штабель и закреплены примерно 50 железнодорожных шпал.

Этажом выше дверь ведет в твиндек. Луч света находит отдаленные стены, высокий край выступающего трюма, крепление под тем местом, где должна стоять задняя мачта. Белые мотки электрического кабеля, выпускные отверстия спринклерной противопожарной системы.

Твиндек идет от одного борта до другого и представляет собой длинное помещение с низким потолком, поддерживаемым колоннами. Он начинается где-то у тех переборок, за которыми находятся холодильники и склады, а другой его конец исчезает в темноте кормовой части.

В этом направлении я и двигаюсь. Пройдя 25 метров, я вижу перила. Тремя метрами ниже луч фонарика освещает дно. Кормовой трюм. Я вспоминаю подсчеты Яккельсена: 1 000 кубических футов против 3 500, которые я только что видела.

Я достаю свой рисунок и сравниваю его с тем помещением, которое находится подо мной. Оно

выглядит немного меньше, чем я нарисовала.

Я иду назад к винтовой лестнице и спускаюсь вниз к первой двери.

Стоя на полу трюма, можно понять, почему он выглядит меньше, чем на моем рисунке. Он наполовину заполнен. Чем-то квадратным, в полтора метра высотой, под голубым брезентом.

С помощью отвертки я проделываю две дырочки в брезенте и разрываю его.

Увидев шпалы в трюме, можно было бы подумать, что мы направляемся в Гренландию, чтобы проложить 75-метровую железную дорогу и открыть железнодорожную компанию. Под брезентом же — груда рельсов.

Но их нельзя будет прикрепить к шпалам. Они сварены в большую квадратную конструкцию, с дном из стального уголка.

Мне это что-то напоминает. Но я не пытаюсь вспомнить, что именно. Мне 37 лет. Когда становишься старше, всякая вещь может вызвать воспоминание о любой другой вещи.

Оказавшись снова в твиндеке, я смотрю на часы. В эту минуту в прачечной должно быть тихо. Меня могут вызвать. Кто-нибудь может пройти мимо.

Я прохожу дальше в сторону кормы.

Судя по вибрации корпуса, винт должен находиться где-то наискосок подо мной. Согласно моему чертежу, примерно на расстоянии 15 метров. Здесь палуба перегорожена переборкой, в которой есть дверь. Ключ Яккельсена к ней подходит. За дверью красная дежурная лампочка с выключателем. Я не включаю свет. Должно быть, я нахожусь под низкой кормовой надстройкой. С того момента, как я попала на судно, она была закрыта.

Дверь ведет в маленький коридор с тремя дверями по обе стороны. Ключ подходит к первой из них по правой стороне. Для Педера Моста и его друзей не существует закрытых дверей.

Эта комната еще совсем недавно было одной из трех небольших кают по левому борту. Теперь перегородки снесены, так что образовалось одно помещение — склад. Вдоль стен лежат бухты 60-миллиметрового нейлонового троса. Плетеные полипропиленовые веревки. Восемь комплектов восьмимиллиметровой двойной веревки “Кермантель” ярких, альпийских, безопасных цветов — давно знакомой мне по материковому льду. Каждый комплект стоит 5 000 крон, может выдержать пять тонн, это единственная в мире веревка, которая растягивается на 25 процентов своей длины.

Под стропами лежат алюминиевые лестницы, фирновые якоря, палатки, легкие лопаты и спальные мешки. На металлических крюках, ввинченных в стену, висят ледорубы, скальные молотки, крючья, карабины, амортизаторы и ледобуры. И узкие, которые напоминают штопор, и широкие, создающие такое отверстие, что в него ввинчивают ледяной цилиндр, так что можно удержать слона.

В стоящих вдоль стен металлических шкафах открыто несколько дверей, внутри лежат шлямбурные крючья, солнцезащитные очки, ящик с шестью высотомерами “Томмен”. Рюкзаки без рамы, сапоги “Майндль”, страховочные системы — все прямо с завода, упакованное в прозрачный полиэтилен.

Помещение по правому борту также возникло в результате объединения трех кают. Здесь

больше лестниц и больше веревок, и несгораемый шкаф с надписью «Explosives» <“Взрывчатые вещества” (англ)>, который, к сожалению, не открывается ключом Яккельсена. В больших картонных коробках три одинаковых образца качественной датской продукции — три двадцатидюймовые manual winches от Софуса Беренсена — ручные лебедки с тремя зубчатыми передачами. Я не очень разбираюсь в передаточных числах. Но они велики, как бочки, и кажется, что могут поднять локомотив.

Я измеряю шагами длину коридора. У меня получается пять с половиной метров. Там, где коридор заканчивается, на уровень палубы поднимается трап. Наверху находится туалет, комната с краской, слесарная мастерская, маленькая кают-компания, которая используется как укрытие от непогоды, когда на палубе идут работы. Я принимаю решение отложить их изучение до следующего раза.

Но тут я меняю решение.

Дверь, через которую я пришла, я оставила закрытой на крюк. Возможно, потому что коридор и маленькие комнаты казались бы иначе ловушкой.

Возможно, чтобы увидеть, если за мной зажжется свет.

Теперь до меня доносится звук. Не очень громкий. Небольшой шум, которого почти не слышно из-за шума винта и ударов бурлящего моря о корпус.

Это звук металла, ударяющего о металл. Осторожный, но усиленный громким эхом помещения.

Я спешу вверх по лестнице, чтобы выйти на палубу. Наверху есть дверь. Мой ключ отодвигает собачку замка, но дверь не открывается. Она задраена снаружи. Тогда я бросаюсь вниз.

В темноте твиндека я отхожу в сторону, сажусь на корточки и жду.

Они приходят почти сразу же. Их, по крайней мере, двое, может быть, больше. Они двигаются медленно, исследуя по пути помещение вокруг себя. Спокойно, но не особенно заботясь о том, чтобы вести себя тихо.

Я откладываю фонарик на палубу. Я жду, что “Кронос” качнется на высокой волне. Когда это происходит, я зажигаю фонарик и отпускаю его. Он начинает катиться к правому борту, а его свет бежит по колоннам.

Сама я бегу вперед, стараясь держаться ближе к стене.

Но мне не удастся их провести. Передо мной оказывается что-то похожее на занавеску. Я хочу откинуть ее в сторону, но она окутывает меня. Тут появляется еще одна, окутывающая верхнюю часть тела и лицо, и я кричу, но звук приглушен толстой тканью и становится лишь звоном в моих ушах, запахом пыли и вкусом ткани во рту. Они обмотали меня пожарными одеялами.

Не было никакого насилия, все было сделано аккуратно и без всякого драматизма.

Они опускают меня. Одеяла сдавливают сильнее, и появляется новый запах. Земли и джута. Поверх одеял они натянули мне на голову один из тех мешков, которые я в большом количестве видела в трюме.

Меня так же осторожно поднимают, и я оказываюсь на плечах двух людей, они несут меня по палубе, и в голову приходит нелепая и суетная мысль о том, что я, должно быть, представляю собой забавное зрелище.

Какой-то люк открывается и закрывается. Спускаясь по лестнице, они держат меня между собой. Слепота увеличивает чувствительность тела, но меня ни разу не ударили о ступеньки. Если бы не то, во что я завернута, и не прочие обстоятельства, можно было бы подумать, что это санитары несут больного.

Приглушенный и одновременно близкий шум говорит о том, что мы остановились у двери в машинное отделение. Дверь открывается, мы проходим помещение, и звук снова затихает. Расстояние и время тянутся очень долго. Мне кажется, что мы идем целую вечность, когда они делают первый шаг наверх. На самом деле это были лишь 25 метров к находящемуся впереди трапу.

Теперь меня поддерживает лишь одно плечо. Я пытаюсь освободить руки.

Меня осторожно ставят на пол, где-то над головой слышится легкое дрожание металла.

Теперь я понимаю, куда мы идем. Дверь, которую открыли, никуда не ведет, через нее попадаешь на маленькую платформу, где на высоте двенадцати метров над полом стояли мы с Яккельсеном.

Не знаю, почему, но я уверена, что с платформы меня сбросят на дно трюма.

Меня усаживают. В результате на ткани образуется складка. Поэтому возникает возможность вытащить левую руку вдоль груди. В руке у меня отвертка.

Когда меня поднимают с пола, я оказываюсь прислоненной к его груди. Я пытаюсь прощупать, где заканчиваются его ребра, но слишком дрожу. К тому же пробка до сих пор сидит на отвертке.

Он прислоняет меня к перилам и встает на колени передо мной, как мать, которая хочет поднять ребенка.

Я уверена в том, что умру. Но я отталкиваю от себя эту мысль. Я не хочу мириться с этим унижением. Меня оскорбляет тот холодный расчет, с которым они все продумали. С какой же легкостью они все это проделали — и вот я барахтаюсь здесь. Смилла, бестолковая гренландка.

Когда он подставляет под меня плечо, я перекладываю отвертку в правую руку. Он выпрямляется, я медленно подношу ее ко рту, сжимаю зубами пробку и вытаскиваю отвертку. Он перехватывает меня, чтобы сбросить с края. Пальцами левой руки я нащупываю его плечо. До горла мне не достать. Но я чувствую ключицу и между ней и трапецевидной мышцей мягкое, треугольное углубление, где под тонким слоем кожи и соединительной ткани находятся незащищенные нервы. Туда я и направляю отвертку. Она проходит сквозь материю. Потом останавливается — неожиданно эластичное сопротивление и плотность живых клеток. Соединив ладони, я рывком высвобождаю тело, так что всем своим весом упираюсь в отвертку. Она входит в его тело по самую рукоятку.

Он не издает ни звука. Мы замираем и секунду покачиваемся вместе. Я жду, что он отпустит меня, я уже готова к удару о решетку в темной глубине подо мной. И тут он роняет меня на платформу.

Я ударяюсь головой о перила. Начинается головокружение, оно усиливается, потом проходит. Мешки и одеяла оказались достаточной защитой, чтобы я не потеряла сознания.

Потом меня в живот ударяет свайный молот. Это он бьет меня ногой.

Сначала появляется тошнота. Но боль все время возвращается, и я не успеваю вздохнуть после каждого удара. Меня душат. Я жалею, что не смогла добраться до его горла.

Следующее ощущение — это крик. Мне кажется, что это его крик. Меня хватают за плечи, и я думаю, что исчерпала весь запас своего везения и все свои ресурсы, и хочу теперь умереть в покое.

Но это кричит не он, это электронный вой, синусоида генератора. Меня тащат вверх по лестнице. Каждая ступенька отдается в моей пояснице.

Впереди холод и звук льющегося дождя. Потом закрывается какой-то люк, и меня отпускают. Рядом со мной в приступе кашля захлебывается какое-то животное.

Я с трудом снимаю с головы мешок. Мне приходится перекатываться с боку на бок, чтобы освободиться от одеял.

Я вылезаю навстречу холодному, проливному дождю, электронному крику, ослепительному электрическому свету и хриплому дыханию рядом со мной.

Это не животное. Это Яккельсен. Промокший до нитки и белый как мел. Мы находимся в помещении, которое я не сразу узнаю. Бешено вращающаяся спринклерная система льет на нас сверху потоки воды. Дымовая сигнализация орет монотонно и раздражающе, то становясь громче, то тише, .

— Что мне было еще делать? Я зажег сигарету и дыхнул на датчик. Тут все это дерьмо и заработало.

Я пытаюсь спросить его о чем-то, но не могу произнести ни звука. Он догадывается о чем.

— Морис, — говорит он. — Ему здорово досталось. Меня он даже и не заметил.

Где-то над нашими головами слышно, как кто-то бежит по ступенькам. Вниз по трапу.

Я не в состоянии двинуться. Яккельсен поднимается на ноги. Он протащил меня на этаж вверх по трапу. По-видимому, мы находимся на полуэтаже под носовой палубой. Напряжение совершенно лишило его сил.

— Я что-то не в форме, — говорит он. И, ковыляя, убегает в темноту.

Дверь распаивается. Входит Сонне. Я не сразу узнаю его. В руках у него большой огнетушитель, он в полном пожарном обмундировании с кислородным баллоном на спине. За его спиной стоят Мария и Фернанда.

Пока мы смотрим друг на друга, сирена умолкает, и давление воды в пожарной системе постепенно падает, и, наконец, она перестает течь. Среди звука падающих со стен и потолка капель и журчания ручейков по полу в комнате становится слышен далекий звук волн, разбивающихся о форштевень “Кроноса”.

Влюбленности придают слишком большое значение. На 45 процентов влюбленность состоит из страха, что вас отвергнут, на 45 процентов — из маниакальной надежды, что именно на сей раз эти опасения не оправдаются, и на жалкие 10 процентов из хрупкого ощущения возможности любви.

Я больше не влюбляюсь. Подобно тому, как не заболеваю весенней лихорадкой.

Но каждого, конечно же, может поразить любовь. В последние недели я каждую ночь позволяла себе несколько минут думать о нем. Я позволяю себе всем существом почувствовать, как тоскует тело, вспомнить, каким я видела его еще до того, как узнала. Я вижу его внимание, вспоминаю его заикание, его объятия, ощущение его мощного внутреннего стержня. Когда эти картины начинают слишком уж светиться тоской, я их прерываю. Во всяком случае, делаю такую попытку.

Это не влюбленность. Для влюбленного человека я слишком ясно все вижу. Влюбленность — это своего рода безумие. Сродни ненависти, холодности, злобе, опьянению, самоубийству.

Случается — крайне редко, но случается, — что я вспоминаю обо всех своих прежних влюбленностях. Вот, например, сейчас.

Напротив меня, за столом в офицерской кают-компании, сидит человек, которого называют Тёрк. Если бы эта встреча произошла десять лет назад, я, возможно, влюбилась бы в него.

Бывает, что обаяние человека столь велико, что оно преодолевает все показное в нас, свойственные нам предрассудки и внутренние преграды, и доходит до самых печенок. Пять минут назад мое сердце попало в тиски, и теперь эти тиски сжимаются. Одновременно с этим ощущением начинает подниматься температура, которая является реакцией на перенесенное напряжение, и появляется головная боль.

Десять лет назад такая головная боль привела бы к сильному желанию прижаться губами к его губам и увидеть, как он теряет самообладание.

Теперь я могу наблюдать за тем, что происходит со мной, испытывая глубокое уважение к этому явлению, но прекрасно понимая, что это не что иное, как кратковременная опасная иллюзия.

Фотографии запечатлели его красоту, но сделали ее безжизненной, словно это красота статуи. Они не передали его обаяния. Оно двойственно. Одновременно излучение, направленное наружу, и притяжение к себе.

Даже когда он сидит, он очень высокий. Почти металлически белые волосы собраны сзади в хвост.

Он смотрит на меня, и боль начинает еще сильнее пульсировать в ноге, спине и затылке, и передо мной проносятся, словно образцы ледяных формаций, которые мы должны были идентифицировать на экзамене, целый ряд мальчиков и мужчин, которые на протяжении моей жизни оказывали на меня подобное воздействие.

Потом я возвращаюсь в реальность и прихожу в себя. Волосы у меня на затылке встают дыбом, напоминая мне, что, даже если забыть о том, кто он такой, именно этот человек стоял на

холоде в метре от меня той ночью, когда мы оба ждали у “Белого Сечения”. Свечение вокруг головы — это были его удивительные светлые волосы.

Он внимательно смотрит на меня.

— Почему на носовой палубе?

Лукас сидит в конце стола. Он говорит с Верленом, сидящим наискосок от меня. Слегка сгорбившимся и покорным.

— Грелся. Перед тем, как вернуться к работе с полозьями.

Теперь я вспоминаю. “Киста Дан” и “Магги Дан”, корабли компании “Лауритсен” для арктических плаваний — корабли моего детства. Еще до американской базы, до перелетов из Южной Гренландии. Для экстремальных ситуаций, таких как, например, вмерзание в лед, они были оборудованы особыми спасательными дюралевыми шлюпками, к которым снизу были прикреплены полозья, так что их можно было тащить по льду, как сани. Креплением таких полозьев Верлен и занимался.

— Ясперсен.

Он смотрит на лист бумаги, лежащий перед ним.

— Вы покинули прачечную за полчаса до конца вашей вахты, то есть в 15.30, чтобы прогуляться. Вы пошли вниз в машинное отделение, увидели дверь, открыли ее и пошли по туннелю к лестнице. Какого черта вам там было надо?

— Хотелось узнать, над чем я каждый день прохожу.

— И что дальше?

— Там оказалась дверь. С двумя ручками. Я берусь за одну из них — и раздается сирена. Сначала я решила, что это я ее включила.

Он переводит взгляд с Верлена на меня. Голос его глух от гнева.

— Вы с трудом держитесь на ногах. Я смотрю Верлену в глаза.

— Я упала. Когда сработала сигнализация, я сделала шаг назад и упала с лестницы. Я, должно быть, ударила головой об одну из ступенек.

Лукас кивает, медленно и разочарованно.

— Есть вопросы, Тёрк?

Он не меняет позы. Он просто наклоняет голову. Ему можно дать и 35 лет, и 45.

— Вы курите, Ясперсен?

Как хорошо я помню этот голос. Я качаю головой.

— Спринклерная система включается по секциям. Вы где-нибудь чувствовали запах дыма?

— Нет.

— Верлен, где были ваши люди?

— Я пытаюсь это выяснить.

Тёрк поднимается. Он стоит, прислонившись к столу, и задумчиво смотрит на меня.

— Согласно часам на мостике сигнализация сработала в 15.57. Она выключилась через 3 минуты 45 секунд. Все это время вы находились в активной зоне. Почему вы не промокли до нитки?

Нет и следа тех чувств, которые я только что испытала. Сквозь лихорадку я понимаю только одно — еще один человек, облеченный властью, мучает меня. Я смотрю ему прямо в глаза.

— Большая часть того, с чем мне приходится сталкиваться в жизни, стекает с меня, как с гуся вода.

8

Горячая вода приносит облегчение. Я, с детства привыкшая к молочно-белым, ледяным ваннам из талой воды, попала в зависимость от горячей. Это одна из тех зависимостей, которые я за собой признаю. Как и потребность иногда пить кофе, иногда наблюдать, как на солнце сверкает лед.

Вода в кранах “Кроноса” — настоящий кипяток, и я, сделав себе такую, что еще немного — и обожгусь, встаю под кран. Утихает боль в затылке и спине, боль от синяков на животе, и почти совсем перестает болеть все еще распухшая, покалеченная нога. Потом температура у меня поднимается еще выше, меня начинает сильнее знобить, но я все равно продолжаю стоять под душем, а потом все проходит, и остается лишь слабость.

Взяв на камбузе термос с чаем, я несу его в свою каюту. Поставив его в темноте на стол, я закрываю дверь, облегченно вздыхаю и зажигаю свет.

На моей кровати в белом тренировочном костюме сидит Яккельсен. его зрачки исчезли в глубине мозга, оставив кварцево-стеклянный взгляд, выражающий напускное самодовольство.

— Слушай, ты понимаешь, что я тебя спас?

Я жду, пока в руках и ногах не пройдет напряжение от пережитого испуга, чтобы можно было спокойно сесть.

— Мир моря, говорю я себе, слишком суров для Свиллы. Поэтому я иду в машинное отделение, сажусь и жду. Ведь если хочешь тебя увидеть, то надо просто спуститься вниз. И тогда ты рано или поздно пройдеши мимо. Я вижу, что прямо за тобой идут Верлен, Хансен и Морис. Но я не двигаюсь. Ведь я запер дверь на палубу — у вас нет другого пути назад.

Я мешаю чай. Ложечка звенит о чашку.

— Когда тебя несут назад в мешке, я все еще там сижу. Мне понятны их проблемы. Ведь выбрасывать отходы с камбуза и тех, кто вам не нравится, за борт — это прошлый век. На мостике постоянно находятся два человека, а палуба освещена. Тому, кто перебросит через планширь что-нибудь больше спички, грозят неприятности и следствие. Нам пришлось бы идти

в Готхоп, и тут все бы кишмя кишело маленькими кривоногими гренландцами в полицейской форме.

Он соображает, что говорит с одним из маленьких кривоногих гренландцев.

— Извини, — говорит он.

Где-то бьют четыре двойных удара, четыре склянки, единица измерения времени на море, времени, которое не делает различия между днем и ночью, но знает лишь монотонную смену четырехчасовых вахт. Эти удары усиливают ощущение неподвижности — будто мы никогда и не отплывали, а оставались на одном и том же месте во времени и пространстве, и лишь глубже и глубже зарывались в бессмысленность.

— Хансен остался стоять у люка в машинное отделение. Поэтому я пошел на палубу и вперед на трап левого борта. Когда поднимается Верлен, становится ясно, чем все это пахнет. Верлен караулит на палубе, Хансен у люка, а Морис остался один с тобой внизу. Что это может значить?

— Может быть, то, что Морису захотелось быстренько трахнуть? Он задумчиво кивает.

— Что-то в этом есть. Но ему подавай молоденьких девочек. Интерес к зрелым женщинам приходит только с опытом. Я знаю, что они хотят сбросить тебя в трюм. И ведь хорошо придумано, а? Высота там 12 метров. Будет выглядеть так, будто ты сама упала. Потом только снять с тебя мешок — и все. Вот почему тебя несли так осторожно. Чтобы не оставить никаких следов.

Он просто сияет. Довольный тем, что он все вычислил.

— Я иду в твиндек и оттуда к трапу. Через ступеньки мне видно, как Морис втаскивает тебя в дверь. Он даже не запыхался при этом. Еще бы — каждый день в спортивном зале. 200 килограммов на силовом тренажере и 25 километров на велотренажере. Надо принимать решение. Ты ведь для меня никогда ничего не делала, так? Более того, от тебя были одни неприятности. И в тебе есть что-то такое, что-то чертовски...

— Девственное?

— Вот-вот. С другой стороны, Морис мне никогда не нравился. Он делает эффектную паузу.

— Я поклонник женщин. Поэтому я зажигаю сигарету. Мне вас не видно — вы на платформе. Но я беру датчик в рот, выдыхаю, и сигнализация срабатывает.

Он внимательно смотрит на меня.

— Морис появляется на трапе. Море крови. Спринклеры смывают ее с лестницы. Маленькая речка. Может стошнить. Почему они так стараются? Что ты им сделала, Смилла?

Мне необходима его помощь.

— До настоящего момента меня терпели. Все это случилось, только когда я приблизилась к корме.

Он кивает.

— Это всегда были владения Верлена.

— Пойдем сейчас на мостик, — говорю я, — и расскажем все это Лукасу.

— Ни за что.

На лице у него появились красные пятна. Я жду. Но он почти не может говорить.

— Верлен знает, что ты сидишь на игле?

Он реагирует с тем преувеличенным чувством собственного достоинства, которое иногда встречаешь у людей, достигших дна.

— Это я управляю наркотиками, а не они управляют мной.

— Но Верлен разгадал тебя. Он может рассказать о тебе. Почему ты так этого боишься?

Он внимательно изучает свои тенниски.

— Откуда у тебя ключ, который подходит ко всем дверям, Яккельсен? Он мотает головой.

— Я уже была на мостике, — говорю я. — С Верленом. Мы пришли к выводу, что сигнализация работала сама по себе. И что я упала с лестницы от неожиданности.

— Лукас не клюнет на эту удочку.

— Он нам не верит. Но сделать ничего не может. О тебе вообще не было речи.

Он испытывает облегчение. Потом у него возникает мысль.

— Почему ты не сказала, что произошло?

Я должна обеспечить себе его поддержку. Это — как попытка построить что-нибудь на песке.

— Меня не интересует Верлен. Меня интересует Тёрк. На его лице снова паника.

— Слушай, это гораздо хуже. Я знаю, что тут дело нечисто, он — это bad news. <Худые новости, плохой знак (англ.)>

— Я хочу знать, за чем мы плывем.

— Я же сказал тебе, мы плывем за наркотиками.

— Нет, — говорю я. — Это не наркотики. Наркотики привозят из тропиков. Из Колумбии, из Бирмы, из Пакистана. И их отправляют в Европу. Или США. Они не попадают в Гренландию. Во всяком случае, не в таких количествах, что нужно судно водоизмещением 4 000 тонн. Тот передний трюм — это специальное помещение. Я никогда ничего подобного не видела. Оно может стерилизоваться паром. Можно регулировать состав воздуха, температуру, влажность. Ты все это видел и обо всем этом думал. Ну и для чего это, по-твоему?

Его руки живут своей жизнью, беспомощно и суетливо двигаясь над моими подушками, словно птенцы, выпавшие из гнезда. Его рот открывается и закрывается.

— Что-то живое, детка. Или же это лишено всякого смысла. Они хотят перевезти что-то живое.

Сонне открывает мне дверь медицинской каюты. Время 21 час. Я нахожу марлевую повязку. Свою неуверенность он подкрепляет положением “смирно”. Потому что я женщина. Потому что он меня не понимает. Потому что он что-то пытается сказать.

— В твиндеке, когда мы пришли с огнетушителями, на вас было несколько пожарных одеял.

Я смазываю то место, где содрана кожа, слабым раствором перекиси водорода. Мне не надо никаких обычных дезинфицирующих средств. Я должна почувствовать, что жжет — и тогда поверю, что помогло.

— Я вернулся назад. Но их там не оказалось.

— Кто-то их, наверное, убрал, — говорю я. — Хорошее дело — порядок.

— Но они не убрали вот это.

За спиной он держал мокрый, сложенный джутовый мешок. От крови Мориса остались большие, бурые пятна.

Я кладу повязку на рану. На повязке есть нечто вроде клея, благодаря которому она сама прилипает.

Я беру большой эластичный бинт. Он провожает меня до дверей. Он приличный молодой датчанин. Ему бы следовало плыть сейчас на борту танкера Восточно-азиатской компании. Он мог бы стоять на мостике одного из судов компании “Лауритсен”. Он мог бы сидеть дома у папы с мамой в Эрёскёпинге под часами с кукушкой, и есть котлетки с коричневым соусом, и хвалить мамину стряпню, и быть предметом папиной преувеличенной гордости. Вместо этого он оказался здесь. В более плохом обществе, чем он даже может себе вообразить. Мне становится его жалко. Он частичка хорошей части Дании. Честность, прямота, инициатива, повиновение, коротко стриженные волосы и порядок в финансовых делах.

— Сонне, — говорю я, — вы из Эрёскёпинга?

— Из Сванеке. Он ошарашен.

— Ваша мама делает котлеты? Он кивает.

— Хорошие котлеты? С хрустящей корочкой?

Он краснеет. Он хочет возмутиться. Хочет, чтобы его воспринимали всерьез. Хочет поддерживать свой авторитет. Как и Дания. Голубые глаза, румяные щеки и честные намерения. Но вокруг него крупные силы: деньги, бурное развитие, наркотики, столкновение нового и старого миров. А он и не понял, что происходит. Не понял, что его будут терпеть, только пока он будет идти в ногу. И что это — умение идти в ногу — все, на что ему хватает фантазии.

Для того чтобы положить конец всему этому, нужны совсем другие таланты. Более грубые, более пронизательные. Гораздо более ожесточенные.

Протянув вперед руку, я треплю его по щеке. Не могу удержаться. Румянец поднимается вверх по шее, словно под кожей распускается роза.

— Сонне, — говорю я. — Я не знаю, что вы делаете, но продолжайте в том же духе.

Я закрываю дверь своей каюты, засовываю стул под ручку и сажусь на кровать.

Каждый, кто подолгу путешествовал в тех местах, где достаточно холодно, рано или поздно оказывался в ситуации, когда не умереть — это значит не заснуть. Смерть является частью сна. Тот, кто замерзает насмерть, проходит короткую стадию сна. Тот, кто умирает от кровотечения, засыпает, тот, кого накрывает плотная лавина мокрого снега, засыпает перед смертью от удушья.

Мне необходимо поспать. Но нельзя, еще нельзя. В этой ситуации некоторым отдыхом является зыбкое состояние между сном и явью.

Во время первой конференции народов, живущих в приполярных областях, мы обнаружили, что все эти народы имеют общее Сказание о Вороне — арктический миф о сотворении мира. В нем рассказывается о вороне.

"Однако он тоже начинал в облике человека, и он двигался ощупью во тьме, и деяния его были случайными, пока ему не открылось, кто он был и что ему надо делать".

Понимание того, что тебе надо делать. Может быть, это то, что мне дал Исая. Что может дать каждый ребенок. Ощущение смысла. Ощущение того, что через меня и далее через него катится колесо — мощное, неустойчивое и, вместе с тем, необходимое движение.

Это оно оказалось прерванным. Тело Исая на снегу — это разрыв. Пока он был жив, он давал всему основание и смысл. И, как всегда бывает, я поняла, сколько он значил, только когда его не стало.

Теперь смысл заключается в том, чтобы понять, почему он умер. Проникнуть внутрь, бросить свет на ту чрезвычайно малую и всеобъемлющую деталь, которой является его смерть.

Я наматываю эластичный бинт на ногу и пытаюсь восстановить в ней кровообращение. Потом я выхожу из своей каюты и тихо стучу в дверь Яккельсена.

Он все еще находится под химическим воздействием. Но оно начинает проходить.

— Я хочу попасть на шлюпочную палубу, — говорю я. — Сегодня ночью. Ты должен мне помочь.

Он вскакивает на ноги и направляется к двери. Я не пытаюсь остановить его. У такого человека, как он, нет никакой особой свободы выбора. — Да ты не в своем уме. Это закрытая территория. Прыгни в море, детка, лучше вместо этого прыгни в море.

— Тебе придется это сделать, — говорю я. — Или же я буду вынуждена пойти на мостик и попросить их забрать тебя и в присутствии свидетелей закатать твои рукава, так чтобы можно было уложить тебя в медицинской каюте, привязать ремнями к койке и запереть, поставив охрану.

— Ты бы этого никогда не сделала.

— Сердце мое обливалось бы кровью. Потому что мне пришлось бы выдать морского героя. Но у меня бы не было другого выхода.

Он борется с собой.

— Кроме того, я бы шепнула Верлену пару слов о том, что ты видел. Именно это последнее сломало его. Он не может сдержать дрожь.

— Он разрежет меня на куски, — говорит он. — Как ты можешь такое делать, после того как я спас тебя?

Может быть, я и могла бы заставить его понять это. Но потребовалось бы объяснение, которое я не могу ему дать.

— Я хочу, — говорю я, — я хочу знать, ради чего мы плывем. Для чего оборудован этот трюм?

— Почему, Смила?

Все начинается и заканчивается тем, что человек падает с крыши. Но в промежутке — целый ряд связей, которые, возможно, никогда не будут распутаны. Яккельсену необходимо убедительное объяснение. Европейцам необходимы простые объяснения. Они всегда предпочтут однозначную ложь полной противоречий правде.

— Потому что я в долгу, — говорю я. — В долгу перед тем, кого люблю. Это не ошибка, когда я говорю в настоящем времени. Это только в узком, физическом смысле Исайя перестал существовать.

Яккельсен разочарованно и меланхолично уставился на меня.

— Ты никого не любишь. Ты даже самое себя не любишь. Ты не настоящая женщина. Когда я тащил тебя вверх по лестнице, я увидел что-то торчащее из мешка. Отвертку. Словно маленький член. Ты же проткнула его.

Его лицо выражает глубокое удивление.

— Я тебя никак не могу понять. Ты — добрая фея в обезьяньей клетке. Но ты чертовски холодна, ты похожа на привидение, предвещающее беду.

Когда мы выходим под открытый навес на верхней палубе, на мостике бьют два двойных удара — время два часа ночи, середина ночной вахты.

Ветер стих, температура упала, и riųq — туман воздвиг четыре стены вокруг “Кроноса”.

Рядом со мной уже начал дрожать Яккельсен. Он не привык к холоду. Что-то случилось с очертаниями судна. С леером, мачтами, прожекторами, радиоантенной, которая на высоте 30 метров простирается от передней до задней мачты. Я протираю глаза. Но это не видение.

Яккельсен прижимает палец к перилам и убирает его. На том месте, где он растопил тонкий, молочный слой льда, остается темный след.

— Есть два вида обледенения. Неприятное, которое возникает оттого, что волны захлестывают палубу и вода замерзает. Все больше и больше, быстрее и быстрее, когда ванты и все вертикальные предметы начинают утолщаться. И по-настоящему скверное обледенение. То, которое возникает от морского тумана. Тут не надо никаких волн, оно просто ложится на все вокруг. Оно просто есть — и все.

Он делает движение рукой в сторону белизны.

— Это начало скверного. Еще четыре часа — и надо доставать ледовые дубинки.

Движения его ленивы, но глаза блестят. Ему бы очень не понравилось сбивать лед. Но где-то внутри него даже эта сторона океанской стихии рождает безумную радость.

Я прохожу десять метров вперед в направлении носовой части судна. Туда, где меня не видно с мостика. Но откуда мне видна часть окон шлюпочной палубы. Все они темны. Во всех окнах надстройки, кроме офицерской кают-компания, где горит слабый свет, тоже темно. “Кронос” спит.

— Они спят.

Он ходил на корму, чтобы посмотреть на те окна, которые выходят туда.

— Нам всем следовало бы спать, черт возьми.

Мы поднимаемся на три этажа на шлюпочную палубу. Он идет еще выше. Отсюда ему будет видно, если кто-нибудь покинет мостик. Или если кто-нибудь покинет шлюпочную палубу. В мешке, например.

На мне моя черная форма официантки. Здесь, в два часа ночи, она не имеет почти никакой ценности в качестве оправдания, но я ничего другого не смогла придумать. Я действую с ощущением, что мне не следует задумываться. Потому что есть только путь вперед, и нет возможности остановиться. Я вставляю ключ Яккельсена в замочную скважину. Он легко входит. Но не поворачивается. Замок поменяли.

— Слушай, это знак, что надо бросить это дело.

Спустившись вниз, он встает за моей спиной. Я хватаю его за нижнюю губу. Синяк еще не совсем прошел. Он хочет что-то сказать, но не может.

— Если это и знак, то знак того, что за этой дверью есть нечто такое, что они постарались скрыть от нас.

Я шепчу ему в ухо. Потом отпускаю его. Ему есть что сказать, но он подавляет это в себе. Понутив голову, он следует за мной. Когда представится возможность, он возьмет реванш и растопчет меня, или продаст меня кому угодно, или столкнет меня в пропасть. Но сейчас он сломлен.

Любое помещение, назначением которого является какая-то форма совместного времяпрепровождения, теряет свою реальность, когда его покидают. Театральные сцены, церкви, залы ресторанов. В кают-компаниях темно, она безжизненна и, тем не менее, населена воспоминаниями о жизни и обедах.

На камбузе сильно пахнет кислым, дрожжами и алкоголем. Урс рассказывал мне, что его тесто поднимается 6 часов, с десяти вечера до четырех утра. В нашем распоряжении есть полтора, самое большее два часа.

Когда я открываю раздвижные двери, до Яккельсена доходит, что будет дальше.

— Я знал, что ты не в своем уме. Но что в такой степени...

Кухонный лифт вымыт, и в него поставлен поднос с чашками, блюдами, тарелками, вилками,

ножами и салфетками. Символическая подготовка Урса к завтрашнему дню.

Я убираю поднос с посудой. — У меня клаустрофобия, — говорит Яккельсен.

— Ты и не поедешь на нем.

— У меня она возникает и из-за других.

Помещение лифта внутри прямоугольное. Сев на кухонный стол, я боком залезаю внутрь. Сначала я проверяю, можно ли вообще так глубоко спрятать голову между колен. Потом частично засовываю в лифт верхнюю часть тела.

— Ты нажмешь кнопку шлюпочной палубы. Когда я выйду, лифт должен остаться там. Чтобы не было лишнего шума. Потом ты пойдешь к лестнице и будешь ждать. Если кто-нибудь будет тебя гнать, все равно оставайся. Если будут настаивать, иди в свою каюту. Жди меня в течение часа. Если не вернусь, разбуди Лукаса.

Он беспокойно двигает руками.

— Я не могу, пойми, не могу.

Мне приходится вытянуть ноги, одновременно я стараюсь не попасть руками в стоящее на столе дрожжевое тесто.

— Почему это?

— Послушай, он мой брат. Именно поэтому я на судне. Именно поэтому у меня есть ключ. Он думает, что я вылечился.

Я в последний раз наполняю легкие, выдыхаю и скрючиваюсь в маленьком ящике.

— Если я не вернусь через час, ты разбудишь Лукаса. Это твой единственный шанс. Если вы не придете за мной, я все расскажу Тёрку. Он заставит Верлена заняться тобой. Верлен — это его человек.

Мы не зажигали свет, на камбузе темно, видны лишь слабые отсветы моря и отражение тумана. И все же я вижу, что попала в точку. Хорошо, что мне не видно его лица.

Я прячу голову между коленей. Двери сдвигаются. Подо мной в темноте слышно легкое жужжание электромотора, и я поднимаюсь вверх.

Движение продолжается секунд пятнадцать. Единственное ощущение — беспомощность. Страх, что кто-то ждет меня наверху.

Я достаю отвертку. Чтобы было, что им предложить, когда они распахнут двери и вытащат меня.

Но ничего не происходит. Лифт останавливается в своей темной шахте, и я сижу, и нет ничего, кроме боли в ногах, движения судна в море и далекого шума двигателя, который сейчас едва различим.

Я просовываю отвертку между двумя раздвижными дверями и нажимаю. Потом на спине выползаю на поверхность стола.

В комнату попадает слабый свет. Это топовые кормовые огни, свет которых проникает на этот этаж через верхний световой люк. Комната представляет собой небольшую кухню с холодильником, столиком и маленькой плитой.

Дверь ведет в узкий коридор. В коридоре я сажусь на корточки и жду.

Люди ломаются во время переходных периодов. В Скорсбисунне, когда зима начинала убивать лето, люди стреляли друг в друга из дробовика. Нетрудно плыть на волне благополучия, когда уже установлено равновесие. Трудным является новое. Новый лед. Новый свет. Новые чувства.

Я жду. Это мой единственный шанс. Это единственный шанс для любого человека — дать себе необходимое время, чтобы привыкнуть.

Переборка передо мной подрагивает от шума далекого двигателя, находящегося под нами. За ней должна быть дымовая труба. Вокруг ее большого прямоугольного корпуса и построен этот этаж.

Слева на высоте пола я вижу слабый свет. Это дежурная лампочка на лестнице. Эта дверь — мой путь отсюда.

Справа от меня сначала тихо. Потом из тишины появляется дыхание. Оно гораздо тише всех остальных звуков судна. Но после шести дней на борту обычные звуки стали незаметным фоном, на котором отчетливо слышны все, отличающиеся от них. Даже посапывание спящей женщины.

Это означает, что здесь, по левому борту, есть одна, возможно, две каюты, и напротив будет одна или две. То есть салон и кают-компания выходят на носовую палубу.

Я продолжаю сидеть. Через какое-то время слышно, как вдалеке журчит вода. На “Кроносе” туалеты с системой смыва высокого давления. Где-то под нами или над нами спустили воду в туалете. Звук в трубах говорит о том, что душевая и туалеты этого этажа находятся перед дымовой трубой и примыкают к ней.

В кармане передника лежит будильник, который я взяла с собой. Что мне было еще делать? Посмотрев на него, я встаю.

Замок входной двери на задвижке. Я открываю его, чтобы можно было быстро выйти. Но, главным образом, для того, чтобы можно было войти.

Между коротким коридором у входной двери и тем помещением, которое, по-видимому, является салоном, я ощупью нахожу дверь. Я прикладываю к ней ухо, стою и жду. Слышен только далекий звук судового колокола, бьющего склянки. Я открываю дверь, за которой еще большая тьма, чем та, из которой я иду. Тут я тоже жду. Потом зажигаю свет. Загорается не обычный свет. Над сотней очень маленьких закрытых аквариумов, размещенных в резиновом обрамлении на штативах, закрывающих три стены, вспыхивает сотня ламп. В аквариумах — рыбки. Их такое количество и они столь разнообразны, что это не идет ни в какое сравнение с любым магазином по продаже аквариумных рыбок.

Вдоль одной стены стоит покрашенный в черный цвет стол, в который вмонтированы две большие, плоские фарфоровые раковины со смесителями, управляемыми с помощью локтей. На столе две газовых горелки и две бунзеновские горелки, все стационарно подключенные медными трубами к газовому крану. На столике рядом прикреплен автоклав. Лабораторные

весы, pH-метр, большой фотоаппарат с гармошкой на штативе, бифокальный микроскоп.

Под столом находится металлическая полка с маленькими, глубокими ящиками. Я заглядываю в некоторые из них. В картонной коробке из химической лаборатории “Струер” лежат пипетки, резиновые трубки, пробки, стеклянные лопаточки и лакмусовая бумага. Химические препараты в маленьких стеклянных колбах. Магний, марганцовокислый калий, железные опилки, порошок серы, кристаллы медного купороса. У стены в деревянных ящиках, обернутые в солому и картон, стоят маленькие бутылки с кислотой. Фтористо-водородная кислота, соляная кислота, уксусная кислота различной концентрации.

На противоположном столе стационарно закрепленные пластмассовые кюветки, проявители, увеличитель. Я ничего не понимаю. Комната оборудована как нечто среднее между музеем “Датский Аквариум” и химической лабораторией.

В салоне двойные двери, обшитые филенками. Напоминание о том, что “Кронос” был построен с претензией на былую элегантность 50-х, уже тогда казавшуюся старомодной. Комната находится прямо под навигационным мостиком и такого же размера — как обычная датская гостиная с низким потолком. В ней шесть больших окон, выходящих на носовую палубу. Все они покрыты льдом, и сквозь него проникает слабый сине-серый свет.

Вдоль стены по левому борту деревянные и картонные коробки без всяких надписей, которые удерживаются на месте при помощи натянутого между двумя батареями фала.

В середине комнаты стоит привинченный к полу стол, в углублениях которого — несколько термосов. Вдоль двух стен установлены длинные рабочие столы с лампами “Луксо”. Маленький фотокопировальный аппарат привинчен к переборке. Рядом с ним — телефакс. Полка на стене заставлена книгами.

Направляясь к ней, я вижу морскую карту. Она лежит под пластиной из оргстекла, не дающей отражений, поэтому я ее не сразу заметила.

Текст на полях отрезан, так что мне надо несколько минут, чтобы определить, что это за карта. На морской карте материк — это деталь, одна лишь линия, контур, который пропадает в рое цифр, обозначающих глубины. Потом я узнаю мыс напротив Сисимиута. Под пластиной, по краю карты, положено несколько небольших фотокопий специальных карт. “Средневековой срез от зенита луны (апогей или перигей) по Гринвичу до прилива у берегов Западной Гренландии”. “Схема поверхностных течений к западу от Гренландии”. “Карта секторного деления в районе Хольстейнсборга”.

Наверху, у самой переборки, лежат три фотографии. Две из них — это черно-белая аэрофотосъемка. Третья напечатана на цветном принтере и похожа на фрактальную фигуру из тех, что созданы Мандельбротом. На всех в центре один и тот же контур. Свернувшаяся почти кольцом фигура с отверстием в центре. Словно похожий на рыбку пятинедельный эмбрион, который свернулся вокруг жабр.

Открыть картотечные шкафы не удастся — они заперты. Я рассматриваю книги, когда где-то на этаже открывается дверь. Выключив лампу, я примерзаю к полу. Открывается и закрывается какая-то другая дверь, и становится тихо. Но этаж уже больше не кажется спящим. Где-то есть люди, которые не спят. Нет необходимости смотреть на часы. Времени достаточно, но находиться здесь более у меня уже не хватает нервов.

Я уже берусь за ручку входной двери, когда слышу, что кто-то поднимается по трапу. Я отступаю назад в коридор. В замок вставляют ключ. На мгновение наступает замешательство,

так как дверь не закрыта. Распахнув кухонную дверь, я захожу внутрь и закрываю ее за собой. Кто-то идет по коридору. Его шаги кажутся осторожными, изучающими, может быть, он удивляется, почему не была закрыта дверь, может быть, собирается обыскать весь этаж. Возможно, у меня галлюцинации. Я заставляю себя залезть на кухонный стол и в лифт. Задвигаю двери, но изнутри их невозможно закрыть полностью.

Дверь в коридор открывается, и зажигается свет. На полу, прямо напротив той щели, которую мне не удалось закрыть, стоит Сайденфаден. Он в уличной одежде, его волосы все еще растрепанны после прогулки по палубе. Он подходит к холодильнику и исчезает из моего поля зрения. Раздается шипение углекислого газа, и он появляется снова. Он, стоя, пьет пиво прямо из банки.

В ту минуту, когда на его лице отражается глубокое наслаждение, и одновременно он закашливается, взгляд его устремлен на меня, но при этом он меня не видит. И тут оглушительно громко начинает шуметь лифт.

Мне с трудом удастся сжаться в тесном пространстве. Я могу только вытащить отвертку из пробки, готовясь к тому, что через две секунды последует разоблачение.

Лифт начинает опускаться.

В темноте надо мной открываются дверцы лифта. Но меня там уже нет — я еду вниз.

Я молю бога, чтобы это оказался Яккельсен, который нарушил мой запрет и, обнаружив в шахте движение, нажал кнопку, чтобы спустить меня вниз. Я надеюсь, что когда откроется дверь, будет темно. И что трясущиеся руки Яккельсена поддержат меня, когда я буду вылезать.

Я останавливаюсь, дверца осторожно отодвигается. Снаружи темно. Что-то холодное и влажное прижимается к моему бедру. Что-то ложится мне на колени. Что-то засовывают под колени. Потом дверь закрывается, лифт шумит, заработал двигатель, и я взрываю вверх.

Я перекидываю отвертку в левую руку и хватаю правой фонарик. Он на секунду загорается, и мне все становится видно.

В пяти сантиметрах от моих глаз, прислоненная к моему телу, поднимается вертикально прохладная и влажная, покрытая капельками росы, полуторалитровая бутылка с этикеткой Moët & Chandon 1986 brut Imperial Rose. Розовое шампанское. На коленях у меня лежит бокал для шампанского. Под коленями горбится донышко еще одной бутылки.

Я ни минуты не сомневаюсь в том, что когда люк откроется, я окажусь при ярком свете лицом к лицу с Сайденфаденом.

Но выходит иначе. Я насчитываю два удара — это означает, что я проехала мимо шлюпочной палубы. Я направляюсь на мостик, в офицерскую кают-компанию.

Лифт останавливается, потом наступает тишина — и больше ничего. Я пытаюсь открыть дверцы. Это почти невозможно — мешают бутылки.

Где-то открывается и закрывается дверь. Потом зажигается спичка. Я раздвигаю дверцы на один сантиметр. На большом обеденном столе, где я несколько дней назад подавала ужин, стоит стеариновая свеча в подсвечнике. Ее поднимают и несут по направлению ко мне.

Дверцы раскрываются. Одной рукой я упираюсь в стену позади меня, чтобы вложить всю свою силу в удар. Я ожидаю увидеть Тёрка или Верлена. Бить я собираюсь в глаза.

Свет ослепляет меня, потому что оказывается слишком близко. Не видно ничего, кроме темных очертаний фигуры, которая одну за другой берет бутылки. Когда он забирает бокал, его рука на секунду задевает мое бедро.

Из комнаты доносится приглушенный возглас удивления.

Ко мне склоняется лицо Кютсова. Мы смотрим друг на друга. Его глаза сегодня ночью выпучены, как будто с ним внезапно случился приступ базедовой болезни. Но он не болен в обычном смысле этого слова. Он чудовищно пьян.

— Ясперсен! — говорит он.

И тут мы оба замечаем отвертку. Она нацелена куда-то между его глаз.

— Ясперсен, — говорит он снова.

— Небольшой ремонт, — говорю я.

Трудно говорить, потому что сгорбленная поза затрудняет дыхание.

— Это я занимаюсь любым ремонтом на борту.

Говорит он авторитетно, но невнятно. Я высовываю голову из лифта.

— Я вижу, ты также курируешь винные запасы. Это заинтересует Урса и капитана.

Он краснеет — медленное, но радикальное изменение цвета, достигающее до фиолетового.

— У меня есть объяснение.

Через десять секунд он начнет соображать. Я высовываю руку.

— У меня нет времени, — говорю я. — Мне надо дальше работать.

В этот момент лифт едет вниз. Я в последний момент успеваю спрятать верхнюю часть тела внутрь. Меня охватывает злость оттого, что нет никакого устройства, блокирующего лифт, пока не закрыты двери.

Мысленно я успеваю пережить полное разоблачение, столкновение и трагический финал. Когда я доезжаю до камбуза, моей фантазии на большее уже не хватает.

Лифт здесь не останавливается. Он продолжает опускаться вниз.

Потом движение прекращается. Эти последние секунды лишили меня остатков сил. На моей стороне теперь только фактор внезапности. Толкнув двери, я рывком распахиваю их. Они с грохотом открываются. По направлению ко мне, покачиваясь, движется мешок с надписью “50 кг. Картофель “Вильмосе”. Датская судовая провизия”. Я высовываю обе ноги, упираюсь в мешок и нажимаю. Мешок останавливается, отклоняется назад и летит в самый дальний угол, приземляясь среди картонных коробок с надписью “Морковь “Виуф Ламмефьорд”.

Стоя на полу, я нахожу равновесие. Я не чувствую под собой ног. Но в руках у меня отвертка.

Из-за мешка выходит Урс.

Я так и не нахожу, что сказать. Когда я, ковыляя, выхожу из комнаты, он все еще стоит на коленях.

— Bitte, Fraulein Smilla, bitte... <Пожалуйста, фройляйн Смила, пожалуйста (нем)>

Подсознательно я, должно быть, ждала тревоги. Вооруженных людей. Но “Кронос” погружен во тьму. Я минуя три палубы, никого не встретив.

Трап внизу у мостика пуст. Яккельсена нигде не видно. Я наугад выхожу на палубу мостика, прохожу через дверь, на которой написано “Офицерское помещение”, и открываю дверь в мужской туалет.

Он стоит у раковины. Он причесывался. Лоб его прижат к зеркалу, как будто он хочет убедиться в том, что получилось действительно очень мило. Он зачесывал волосы за уши, назад. Но сейчас он спит. Тело бессознательно и покорно следует за движениями качающегося судна и само по себе держится вертикально. Но он храпит. Рот его открыт, и язык немного высовывается.

Я засовываю руку в нагрудный карман его рабочей рубашки. Нахожу резиновую трубку. Он сбегал в туалет и для подкрепления сил укололся. Потом он решил немного привести себя в порядок. А потом обессилел.

Я ударяю его по ногам. Он тяжело падает на пол. Пытаюсь поднять его, но спина еще слишком болит. Мне удастся только приподнять его голову.

— Ты пропустил Кютсова, — говорю я.

Легкая чувственная улыбка появляется у него на губах.

— Смила. Я знал, что ты вернешься.

Я поднимаю его. Потом засовываю его голову в раковину и открываю кран с холодной водой. Когда он оказывается в состоянии стоять на ногах, я тяну его к трапу.

Мы спускаемся на пять ступенек, когда из дверей за нашей спиной выходит Кютсов.

Нет никакого сомнения, что сам он уверен в том, что крадется на цыпочках. На самом деле он может стоять на ногах только потому, что цепляется за все, за что можно ухватиться. Заметив нас, он резко останавливается, ставит руку на доску с барометром и пристально смотрит на меня.

Я прижимаю безвольное тело Яккельсена к перилам. Сама я двигаюсь с огромным трудом.

Изумление медленно пробивается сквозь его опьянение, которое сейчас, должно быть, еще усилилось после двух шипящих полуторалитровых бутылок.

— Ясперсен, — бормочет он. — Ясперсен...

Я чувствую, что бесконечно устала от мужчин и их дурных привычек. Так было с тех пор, как я приехала в Данию. Все время надо смотреть, чтобы не столкнуться с теми, кто, отравляя самих себя, думает при этом, что ведет себя с достоинством.

— Проваливай, господин старший механик, — говорю я.

Он тупо смотрит на меня.

По пути вниз мы никого другого не встречаем. Я заталкиваю Яккельсена в его каюту. Он как тряпичная кукла валится на кровать. Я поворачиваю его на бок. Грудные дети, алкоголики и наркоманы могут захлебнуться собственной рвотой. Затем я закрываю его дверь снаружи его собственным ключом.

Потом запираю и баррикадирую свою собственную. Время 4.15. Я посплю 3 часа, затем официально сообщу, что больна, и буду спать еще 12. Все остальное подождет.

Мне удастся поспать 45 минут. Через первые, начинающиеся кошмары на поверхность сна проникают сначала электронное предупреждение, а затем требовательный голос Лукаса.

Я работаю менее чем в двух метрах от Верлена. Он орудует твердой резиновой палкой длиной с топор дровосека.

По тому, как сохнут мои губы, я понимаю, что мороз больше 10 градусов. Он работает без куртки. Одной рукой он держится за леер или за ограждение вокруг антенн радара. Другой он умелым, мягким движением, описывая дугу, заводит палку за спину, и ударяет ею по крыше рубки с таким грохотом, будто разбивается стекло в витрине магазина. Лицо его покрыто потом, но движения неутомимы и легки. Каждый удар отбивает пластину льда площадью примерно один квадратный метр.

Ветра нет, лишь короткая стоячая волна сильно раскачивает “Кронос”. И туман — словно большие, влажные, белые плоскости во мраке.

Каждый раз, когда мы проходим через облако тумана, лежащее так низко, что кажется, оно плывет по воде, слой льда заметно утолщается. Ручкой ледового ломика я счищаю лед с антенн. Как только я заканчиваю с одной из них, я могу возвращаться к тому месту, откуда начинала. Где менее чем за две минуты вырос слой твердого, серого льда толщиной в миллиметр.

Палуба и надстройка кажутся живыми. Не из-за маленьких, темных фигурок, разбивающих лед, а из-за самого льда. Включено все палубное освещение. Сочетание света и льда создает сказочную картину. Ванты и штаги мачт покрыты 30-сантиметровыми гирляндами льда, свисающими вниз и напоминающими настороженные лица. Якорные огни просвечивают сквозь ледяной панцирь, словно пылающий мозг в голове фантастического чудовища. Палуба — серое, застывшее море. Все вертикальное поднимается вверх с вопросительным видом и серыми, холодными членами.

Верлен работает у правого борта. За мной — леерное ограждение, а за ним — расстояние почти в 20 метров вниз до палубы. Передо мной за цоколями радаров и низкой мачтой с антеннами, рупором и движущимся прожектором для маневров в порту Сонне лопатой счищает лед. Те льдины, которые откалывает Верлен, он перекидывает через край, где они падают на шлюпочную палубу рядом со спасательной шлюпкой. Здесь в желтом защитном шлеме стоит Хансен, который отправляет их дальше за борт.

По левому борту Яккельсен коротким молотком отбивает лед с цоколей радаров. Он движется по направлению ко мне. В какой-то момент антенны закрывают нас от остальной части палубы.

Он засовывает молоток в карман куртки. Потом прислоняется спиной к радару. Достает из

кармана сигарету.

— Как ты и предсказывал, — говорю я. — Скверное обледенение.

Лицо у него побелело от усталости.

— Нет, — говорит он. — Оно начинается только при 5-6 баллах по шкале Бофорта и при температуре около нуля. Он слишком рано вызвал нас на палубу.

Он оглядывается. В непосредственной близости никого нет.

— Когда я раньше ходил в море, то тогда капитан вел судно, а время отсчитывали по календарю. Если входили в зону обледенению, то снижали скорость. Или меняли маршрут. Или же поворачивали и шли по ветру. Только за последние несколько лет все изменилось. Теперь все решают судовладельцы, теперь суда водят конторы в больших городах. А время отсчитывают вот по этому.

Он показывает на ручные часы.

— Но мы, по-видимому, куда-то спешим. Поэтому они и приказали ему плыть прежним курсом. Что он и делает. Он начинает терять чутье. Потому что раз уж нам надо пройти все это, то не стоило сейчас вызывать нас на палубу. Небольшое судно может вынести обледенение в 10 процентов своего водоизмещения. Мы могли бы плыть, имея на себе 500 тонн, без всяких проблем. Он мог бы послать пару матросов, чтобы расчистить антенны.

Я счищаю лед с радиопеленгаторной антенны. Когда я работаю, я не засыпаю. Как только я останавливаюсь, я начинаю проваливаться в сон.

— Он боится, что мы потеряем крейсерскую скорость. Боится, что мы что-то сделаем не так. Или что вдруг станет хуже. Это все нервы. Они уже никуда не годятся.

Он бросает свою недокурную сигарету на лед. Мимо нас проходит еще одно облако тумана. Кажется, что сырость приклеивается к уже образовавшемуся льду. На мгновение Яккельсен почти исчезает из виду.

Я работаю, двигаясь вокруг радара. Все время стараюсь быть в поле зрения и Яккельсена, и Сонне.

Верлен находится прямо рядом со мной. Он ударяет так близко от меня, что давление гонит морозный воздух мне в лицо. Удары его падают у подножия металлического цоколя с точностью хирургического скальпеля, отрывая прозрачную пластину льда. Он пинает ее ногой в сторону Сонне.

Лицо его оказывается рядом с моим.

— Почему? — спрашивает он.

Я держу ломик для льда, отведя его немного назад. В стороне, вне пределов слышимости, Сонне очищает нижнюю часть мачты ручкой лопаты.

— Я знаю, почему, — говорит он. — Лукас все равно бы не поверил в это.

— Я могла бы показать на раны Мориса, — говорю я.

— Несчастный случай на работе. Шлифмашина заработала, когда он менял диск. Гаечный ключ ударил его в плечо. Об этом доложено и даны необходимые объяснения.

— Несчастный случай. Как и с мальчиком на крыше.

Его лицо совсем близко. На нем не выражается ничего, кроме недоумения. Он не понимает, о чем я говорю.

— Но с Андреасом Лихтом, — говорю я, — стариком на шхуне, работа была немного более топорной.

Когда его тело сжимается, возникает иллюзия, что он замерзает, так же как и все на судне вокруг него.

— Я видела вас на набережной, — лгу я. — Когда плыла к берегу.

Размышляя о том, что следует из моих слов, он выдает себя. На мгновение откуда-то из его тела выглядывает больное животное, обычно скрытое подобно тому, как его зубы тонкой оболочкой прикрывают доведенные до садизма истязания.

— В Нууке будет расследование, — говорю я. — Полиция и военные моряки. Одно лишь покушение на убийство обеспечит тебе два года. Теперь они займутся и смертью Лихта.

Он улыбается мне широкой ослепительной улыбкой.

— Мы не идем в Готхоп. Мы идем к плавучему нефтехранилищу. Оно находится на расстоянии 20 морских миль от суши. Берега даже не видно.

Он с интересом смотрит на меня.

— А вы сопротивляетесь, — говорит он. — Даже жаль, что вы в таком одиночестве.

II

1

— Я думаю, — говорит Лукас, — о маленьком капитане вон на том мостике. Он больше уже не управляет судном. Он больше уже не имеет власти. Он лишь связующее звено, передающее импульсы сложной машине.

Лукас стоит, облокотившись о перила крыльев мостика. Из моря перед носом “Кроноса” вырастает небоскреб, покрытый красной полиэмалью. Он возвышается над передней палубой и тянется ввысь, минуя верхушку мачты. Если задрать голову, то можно увидеть, что где-то под серыми облаками даже этому явлению приходит конец. Это не дом. Это корма супертанкера.

Когда я была маленькой и жила в Кваанааке, в конце 50-х и начале 60-х, даже европейское время шло относительно медленно. Изменения происходили в таком темпе, что не успевал возникнуть протест против них. Этот протест сначала выражался в понятии “доброе старое время”.

Тоска по прошлому была тогда новым чувством в Туле. Сентиментальность всегда будет

первым бунтом человека против прогресса.

Такое отношение уже изжило себя. Теперь необходим какой-то другой протест, а не слезливая ностальгия. Дело в том, что теперь все идет так быстро, что уже в настоящий момент мы переживаем то, что через мгновение будет “добрым старым временем”.

— Для этих судов, — говорит Лукас, — окружающий мир больше не существует. Если, встретившись с ними в море, попытаешься связаться с ними по УКВ, чтобы обменяться прогнозами погоды и координатами или чтобы узнать о скоплениях льда, то они не ответят. У них вообще не включено радио. Если водоизмещение судна 250 000 кубических метров, и оно имеет такое же количество лошадиных сил, что и атомная электростанция, и на нем огромный как старый корабельный рундук компьютер для вычисления курса и скорости, чтобы потом, если это потребуется, или точно соблюдать их, или немного отклоняться, то окружающий мир тебя уже более не интересует. Тогда от всего мира остается только место, из которого ты плывешь, место, куда ты плывешь, и тот, кто тебе платит, когда ты доберешься до места назначения.

Лукас похудел. Он начал курить.

Так или иначе, но он прав. Одна из особенностей развития Гренландии — это ощущение, что все произошло совсем недавно. Новые, хорошо вооруженные и быстроходные инспекционные суда Датского военно-морского флота только что введены. Референдум о членстве в Общем рынке и незначительное большинство за выход с 1 января 1985 года, повторное обсуждение в ноябре 1992 года и повторное вступление 1 января 1993 года — самый большой внешнеполитический поворот в истории — произошли буквально на днях. Министр обороны только что ограничил въезд в Кваанаак по военным соображениям. А то место, у которого мы стоим — плавучее нефтехранилище, “Гринлэнд Стар” — 25 000 металлических понтонов, прикрепленных ко дну моря на глубине 700 метров, пол квадратных километра уродливого и тоскливого, продуваемого всеми ветрами зеленого металла, в 20 морских милях от берега — построено совсем недавно. “Динамичный” — это то слово, которое так любят политики.

Все это создано с целью подавления.

Подавления не гренландцев. Время военного присутствия, прямого насилия цивилизации в Арктике уходит. Для прогресса это уже более не является необходимостью. Теперь вполне достаточно либерального призыва к алчности во всех ее проявлениях.

Технологическая культура не уничтожила народы, проживающие у Северного Ледовитого океана. Думать так — это значит быть слишком высокого мнения об этой культуре. Она лишь послужила инициатором, всеобъемлющим примером возможности — которая заложена в любой культуре и в любом человеке — строить жизнь вокруг особой западной помеси вожделения и бессознательного.

Подавить они хотят другое, нечто большее, то, что вне людей. Это море, земля, лед. Конструкция, которая простирается у наших ног, является такой попыткой.

Лицо Лукаса искажено неприязнью.

— Раньше, до 92-го, была лишь база “Поларойл” у Фэрингехаун. Маленький поселок. На одной стороне фьорда телеграф и рыбообрабатывающий завод. На другой стороне весь комплекс. Под управлением Гренландской торговой компании. С грузом до 50 000 тонн мы могли пришвартоваться кормой. Спустив судовые шланги, мы выходили на берег. Там был лишь один жилой дом, столовая, насосная станция. Пахло дизельным топливом и бримолем. Пять человек

управлялись со всем. В столовой мы всегда выпивали джин-тоник с управляющим.

Этой сентиментальной стороны я в нем раньше не замечала.

— Это, наверное, было здорово, — говорю я. — А танцы в деревянных башмаках под аккордеон тоже были?

Его глаза превращаются в щелочки.

— Вы не правы, — говорит он. — Я рассказываю о полномочиях. И о свободе. Тогда капитан был высшей инстанцией. Мы сходили на берег, брали с собой экипаж, кроме стояночного вахтенного. В Фэрингехауне не было ничего. Это было всего лишь богом забытое пустынное место между Готхопом и Фредериксхопом. Но притом, что там ничего не было, там, если возникало желание, можно было прогуляться.

Он кивает в сторону системы понтонов перед нами и в сторону стоящих поодаль бараков из алюминия.

— Здесь три беспоплильных магазина. Отсюда постоянное вертолетное сообщение с землей. Здесь есть гостиница и водолазная станция. Почта. Представительства “Шеврона”, “Галфа”, “Шелла” и “Эссо”. Они за два часа могут смонтировать посадочную полосу для небольшого реактивного самолета. У судна, стоящего перед нами, брутто-тоннаж 125 000 тонн. Тут развитие и прогресс. Но никто не может сойти на берег, Яспер-сен. Они придут на судно, если вам что-нибудь потребуется. Они отметят в листке заказов то, что вам нужно, и вернутся с передвижным трапом и запихнут вам все на борт. Если капитан настаивает на том, чтобы сойти на берег, то приходит парочка офицеров безопасности, забирает тебя у трапа и водит за ручку, пока ты не вернешься назад. Говорят, что из-за опасности пожара. Из-за опасности саботажа. Говорят, что когда хранилища заполнены, здесь одновременно находится один миллиард литров нефти.

Он хочет взять новую сигарету, но пачка пуста.

— Это суть централизации. В этих условиях те, кто водят корабли, почти потерялись. Моряки больше не существуют.

Я жду. Ему что-то от меня надо.

— Вы надеялись сойти на берег? Я качаю головой.

— Даже если это был бы единственный шанс? Если это был бы конечный пункт? Если бы теперь оставался лишь путь домой?

Он хочет знать, как много мне известно.

— Мы ничего не загружаем, — говорю я. — Мы ничего не выгружаем. Это всего лишь стоянка. Мы чего-то ждем.

— Это все догадки.

— Нет, — говорю я. — Я знаю, куда мы плывем.

Поза его по-прежнему непринужденная, но теперь он начеку.

— Расскажите мне, куда.

— За это вы должны сказать мне, почему мы здесь стоим.

Кожа его лица не выглядит здоровой. Она очень белая и шелушится в довольно сухом воздухе. Он облизывает губы. Он поставил на меня, как на своего рода страховку. Теперь он оказывается перед новым, рискованным контрактом. Но это требует ко мне доверия, которого у него нет.

Не говоря ни слова, он проходит мимо меня. Я иду за ним на мостик. Закрываю за нами дверь. Он подходит к слегка приподнятому навигационному пульту.

— Покажите, — говорит он.

Это карта Девисова пролива масштабом 1:1 000 000. На западе ее изображена оконечность полуострова Камберленд. На северо-западе — побережье у банки Сторе Хеллефиске.

На столе, рядом с морской картой, лежит карта ледовой обстановки, изданная Ледовой службой.

— Полярный лед, — говорю я, — находился в этом году, с ноября, на сто морских миль к северу, но не выше Нуука. Тот лед, который следует с Западно-гренландским течением, по мере продвижения тает, потому что в Девисовом проливе было три теплые зимы, и там теплее, чем обычно. Течение, теперь уже безо льда, идет дальше вдоль берега. В заливе Диско самое большое количество айсбергов в мире на единицу площади. В последние две зимы глетчер у Якобсхавн двигался со скоростью 40 метров в день. Это приводит к образованию самых больших айсбергов за пределами Антарктиды.

Я показываю пальцем на карту ледовой обстановки.

— В этом году они были вытеснены из залива уже в октябре и прошли вдоль побережья с турбулентным ответвлением между Западно-гренландским и Баффиновым течениями. Даже в защищенных водах есть айсберги. Когда мы уйдем отсюда, Тёрк даст нам северо-западный курс, пока мы не обойдем этот пояс.

Лицо его непроницаемо. Но в нем такая же сосредоточенность, как и когда-то у рулетки.

— Баффиново течение с декабря несло западный лед вниз до 66° северной широты. Он сmerzся с новым льдом где-то на расстоянии от 200 до 400 морских миль в Девисовом проливе. Тёрк хочет привести нас куда-то к краю этого льда. А потом мы возьмем курс прямо на север.

— Вы здесь раньше плавали, Ясперсен?

— У меня водобоязнь. Но я кое-что знаю про лед. Он склоняется над картой.

— Никто никогда не плавал далее Хольстейнсборга в это время года. Даже вдоль берега. Течение превратило полярный и западный лед в бетонную поверхность. Мы могли бы проплыть дня два на север. Но что он хочет от нас у кромки льда?

Я выпрямляюсь.

— Нельзя играть, не сделав ставку, господин Капитан.

На минуту мне кажется, что он ускользнул от меня. Но потом он кивает.

— Все, как вы и сказали, — говорит он медленно. — Мы ждем. Это то, что мне известно. Мы ждем четвертого пассажира.

За пять часов до этого “Кронос” меняет курс. Напротив кают-компаний висит низкое, матовое солнце, и по тому, как оно расположено, мне это очень хорошо заметно. Но почувствовала я это еще раньше.

В столовых интернатов все прирастали к своим местам за столом. В нестабильных ситуациях начинают приобретать особое значение какие-то внешние точки опоры. В кают-компаниях “Кроноса” мы тоже приклеились к нашим стульям. За соседним столом, погруженный в себя, бледный, склонившись над тарелкой, ест Яккельсен. Фернанда и Мария стараются не смотреть на меня.

Морис сидит спиной к нам. Он ест только правой рукой. Левая подвязана к шее на перевязи, частично закрывающей плотно перебинтованное плечо. На нем форменная рубашка, один рукав которой отрезан, чтобы можно было наложить повязку.

От страха во рту у меня возникает сухость, которая никуда не исчезнет, пока я на борту судна.

Когда я выхожу из дверей, Яккельсен идет за мной.

— Мы поменяли курс! Мы идем к Готхопу.

Я решила делать уборку в офицерской кают-компании. Если меня будет преследовать Верлен, он вынужден будет пройти мимо мостика. Если же мы направляемся в Нуук, ему придется прийти. Они не могут позволить мне сойти на берег в большом порту.

Я провожу четыре часа в кают-компании. Я мою окна и полирую медные полосы и под конец покрываю деревянные панели маслом тикового дерева.

В какой-то момент мимо проходит Кютсов. Увидев меня, он поспешно удаляется.

Появляется Сонне. Он стоит некоторое время, переминаясь с ноги на ногу. Я надела короткое синее платье. Может быть, он принимает это за приглашение остаться. Это не правильное толкование. Я надела его, чтобы можно было бежать, как можно быстрее. Не получив никаких ободряющих предложений, он уходит. Он слишком молод, чтобы решиться сделать первый шаг, и недостаточно стар, чтобы быть навязчивым.

В четыре часа мы причаливаем позади красного небоскреба. Спустя полчаса меня вызывают на мостик.

— В это время года, — говорит Лукас, — есть только одна возможность пройти севернее, если с тобой нет ледокола. И даже в этом случае шансы не велики. Надо уйти дальше в море. Или же ты окажешься в заливе, лед неожиданно сомкнется за тобой, и ты попался...

Я могла бы солгать ему. Но он — одна из тех совсем немногих соломинок, за которые я могу ухватиться. Это человек, который опускается все ниже и ниже. Кто знает, может быть в ближайшем будущем он окажется там, где мы сможет встретиться.

— В районе 54° западной долготы, — говорю я, — глубина увеличивается. От берега отходит ответвление Западного течения. Там оно встречается с относительно более холодным северным течением. К западу от больших рыбных банок возникает район с неустойчивой

погодой.

— “Море туманов”. Никогда там не был.

— Место, куда течением с восточного побережья приносит большие обломки льда и откуда они никуда не могут деться. Вроде “кладбища айсбергов” к северу от Упернавика.

Концом линейки я показываю темную область на карте ледовой обстановки.

— Слишком маленький участок, чтобы быть четко обозначенным. Он очень часто, возможно, и сейчас, имеет форму продолговатого залива, словно фьорд в паковом льду. Есть риск, но участок проходимый. Если очень надо. Даже маленькие датские корабли береговой охраны иногда заходят туда в поисках английских и исландских траулеров.

— Зачем вести судно водоизмещением 4 000 тонн с двумя десятками человек по направлению к морю Баффина, чтобы войти в опасное для жизни пространство между ледяными полями?

Я закрываю глаза и вызываю в памяти увеличенную фотографию эмбриона, маленькую фигурку, свернувшуюся в кольцо. Фотографии, которые лежали на морской карте на шлюпочной палубе.

— Потому что там находится остров. До острова Элсмир это единственный остров на таком большом расстоянии от побережья.

Точечка под моей линейкой так мала, что ее почти и не видно.

— Исла Гела Альта. Открыт португальскими китобоями в прошлом веке.

— Я слышал о нем, — говорит он задумчиво. — Птичий заповедник. Слишком плохая погода даже для птиц. Запрещено сходить на берег. Невозможно встать на якорную стоянку. Совершенно непонятно, зачем туда надо плыть.

— И все же держу пари, что именно туда мы и направляемся.

— Я, — говорит он, — не уверен, что в вашем положении можно заключать пари.

Спускаясь с мостика, я размышляю о том, что в Сигмунде Лукасе пропал хороший человек. Я часто наблюдала это явление, будучи не в состоянии понять его — то, что внутри человека может существовать другой, цельный, великодушный и вызывающий доверие индивид, который никогда не показывается наружу иначе как мельком, потому что он существует в оболочке продажного и расчетливого преступника-рецидивиста.

На палубе стало темно. Где-то в темноте вспыхивает сигарета.

Яккельсен стоит, облокотившись на перила.

— Вот это круто! Круто!

Весь комплекс под нами освещен фонарями на столбах, расположенными по обе стороны от нас вдоль причала. Даже сейчас, освещенная этим желтым светом, покрашенная в травянисто-зеленый цвет, с огнями зданий вдалеке, маленькими электрическими автомобилями и белой дорожной разметкой, “Гринлэнд Стар” по-прежнему не похожа ни на что иное, кроме как на несколько тысяч квадратных метров стали, положенных в Атлантическом океане.

Для меня все это не более чем недоразумение. Для Яккельсена это чудесное соединение моря и передовой технологии.

— Да, — говорю я, — а самое прекрасное — это то, что все можно демонтировать и упаковать за 12 часов.

— Но, слушай, это же победа над морем. Теперь неважно, какая глубина и какая погода. Теперь можно где угодно устроить порт. Прямо посреди океана.

Я не педагог и не вожатый бойскаутов. У меня нет никакой необходимости поправлять его.

— А почему ее надо демонтировать, Смилла?

Может быть из-за того, что я так нервничаю, я все же отвечаю ему.

— Ее построили, когда начали добывать нефть со дна моря у Северной Гренландии. С того момента, когда нашли нефть, до начала ее добычи прошло десять лет. И все из-за льда. Сначала они построили прототип того, что должно было стать самой большой и самой надежной буровой платформой в мире, «Joint Venture Warrior» <Совместное предприятие "Воитель" (англ.)> — продукт "гласности" и гренландского самоуправления, результат сотрудничества между США, Советским Союзом и концерном "А.П.Мёллер". Ты плавал мимо буровых платформ. Ты знаешь, какого они размера. Их видно на расстоянии 50 морских миль, и они все растут и растут, словно парящая на столбах вселенная. С пивными и ресторанами, рабочими местами и мастерскими, кинотеатрами и театрами и, наконец, пожарными командами, и все это смонтировано на высоте 12 метров от поверхности моря, так что даже самые большие штормовые волны проходят под ними. Вспомни такую платформу. "Venture Warrior" должна была быть в четыре раза больше. Прототип находился на расстоянии 18 метров над поверхностью моря. На нем должны были работать 1 400 человек. Прототип воздвигли в море Баффина. Когда он был построен, появился айсберг. Это было предусмотрено. Но этот айсберг был немного больше, чем обычные. Он родился где-то на краю Северного Ледовитого океана. Его высота была 100 метров, и он сверху был плоский — такими обычно бывают высокие айсберги. Под водой у него было 400 метров льда, и весил он 20 миллионов тонн. Когда увидели, что он приближается, пришлось немного задуматься. Но у них в распоряжении были два ледокола. Их привязали к айсбергу, чтобы можно было отбуксировать его на другой курс. Течение было совсем небольшим, ветра не было. И все же ничего не изменилось, когда они прибавили обороты. Ничего — айсберг продолжал двигаться прямо вперед. Как будто он и не замечал, что его тащат. И он прошел по прототипу, а за ним, в воде, не осталось никаких других следов гордого проекта «Joint Venture Warrior», кроме нескольких нефтяных пятен и обломков. С тех пор все оборудование для Северного Ледовитого океана делается так, чтобы его можно было упаковать за 12 часов. Таково требование Ледовой службы. Бурение ведется с плавучих платформ, которые могут в любой момент уплыть. Этот суверенный порт не что иное, как жестяное блюдо. Если бы здесь проплывал лед, он унес бы его с собой, не оставив и следа. Они размещают эту платформу здесь только в мягкие зимы, когда полярный лед не поднимается, а паковый лед не спускается сюда. Они не победили лед, Яккельсен. Борьба еще и не начиналась.

Он гасит сигарету. Стоит он спиной ко мне. Я не знаю, разочарован он или ему все равно.

— Откуда ты это знаешь, Смилла?

Когда еще размышляли, не поставить ли на лед «Venture Warrior», я полгода работала в американской гидрокриолaborатории на острове Байлот, занимаясь моделированием для

определения эластичности морского льда. Нас в группе было пятеро энтузиастов. Мы знали друг друга еще с двух первых конференций приполярных народов. Когда мы устраивали вечеринки, то, захмелев, произносили речи о том, что впервые в одном месте собрано пять гляциологов эскимосского происхождения. Мы говорили друг другу, что в тот момент мы представляем собой самую компетентную в мире экспертизу.

Свои самые важные эмпирические выводы мы получали в тазах для мытья посуды. Мы наливали туда соленую воду, ставили тазы в лабораторные морозильники и замораживали воду до заданной толщины льда. Эти пластины мы выносили на улицу, клали их на края двух столов, нагружали их грузами и измеряли, насколько они прогнутся, пока не сломаются. Мы подключали электрические двигатели, чтобы создать вибрацию грузов, и доказывали, что сотрясение от бурения никак не повлияет на структуру и эластичность льда. Мы были полны гордости и научного восторга первооткрывателей. Только когда мы написали наш заключительный отчет, в котором рекомендовали компаниям “А.П.Мёллер”, “Шелл” и “Госпетрол” начать разработку гренландских нефтяных месторождений с построенных на льду платформ, до нас дошло, что мы делаем. Но было уже поздно. Одна советская компания создала «Venture Warrior» и получила концессию. Нас всех пятерых уволили. Пять месяцев спустя прототип был стерт в порошок. С тех пор не делалось никаких попыток создать что-нибудь более постоянное, чем плавающие платформы.

Я могла бы рассказать это Яккельсену. Но я этого не делаю.

— Сегодня ночью я все устрою, Смила, — говорит он.

— Прекрасно.

— Слушай, ты мне не веришь. Но ты увидишь. Мне все совершенно ясно. Меня они никогда не могли провести. Я ведь знаю судно, так? У меня все схвачено.

Когда он оказывается в полосе света от мостика, я вижу, что на нем нет верхней одежды. Он стоял на десятиградусном морозе, беседуя со мной, так, как будто мы были в помещении.

— Сегодня ночью от тебя требуется только сладко спать, Смила. Завтра все изменится.

— Тюремная кухня предоставляла *einzigartige* <Исключительные (нем.)> возможности, чтобы печь из дрожжевого теста.

Урс стоит, склонившись над прямоугольной формой, обернутой в белое полотенце.

— *Die Vielen Faktoren.* <Много факторов (нем.)> Сама закваска, опара и, наконец, тесто. Сколько оно поднимается и при какой температуре? *Welche Mehlsorten?* <Какие сорта муки? (нем.)> При какой температуре печется?

Он разворачивает хлеб. У хлеба темно-коричневая, блестящая зеркальная корочка, которая нарушается в нескольких местах целыми пшеничными зернами. Головокружительный аромат зерен, муки и кисловатой свежести. При других обстоятельствах я бы ему порадовалась. Но меня интересует нечто иное. Фактор времени. Каждое событие на судне начинается с камбуза.

— Ты сейчас печешь, Урс. Это *ungewöhnlich.* <Необычно (нем.)>

— Проблема в соотношении. Между *Sauerlichkeit* <кислотностью> и тем, как оно поднимается.

После того, как у нас пропал контакт, после того, как он обнаружил меня в кухонном лифте,

мне стало казаться, что в нем самом есть что-то похожее на опару. Что-то подвижное, неиспорченное, простое и вместе с тем изысканное. И одновременно слишком, слишком мягкое.

— Что, еще кто-нибудь будет есть?

Он пытается сделать вид, что не слышит меня.

— Ты попадешь за решетку, — говорю я. — Прямо ins Gefangnis. Здесь в Гренландии. И не будет никакой кухонной синекуры. Keine Strafer-massigung. <Никакого досрочного освобождения (нем.)> Они тут не особенно размышляют, как и что готовить. Когда мы снова встретимся, годика через три-четыре, посмотрим,охранишь ли ты свое прекрасное настроение. Хотя и похудеешь на 30 килограммов.

Он оседает, словно проколотое суфле. Откуда ему знать, что в Гренландии нет тюрем?

— Um elf Uhr. Für eine Person. <К 11-ти часам. На одну персону (нем.)>

— Урс, — говорю я, — за что тебя осудили? Он смотрит на меня застывшим взглядом.

— Только один звонок, — говорю я. — В Интерпол. Он не отвечает.

— Я позвонила перед отплытием, — говорю я. — Когда увидела список экипажа. За героин.

Бусинки пота проступают на узкой полоске между усами и верхней губой.

— И не из Марокко. Откуда он был?

— Зачем меня так мучить? — Откуда?

— Аэропорт в Женеве. Озеро совсем близко от него. Я был в армии. Мы получили ящики вместе с провизией и отправили их по реке.

Когда он отвечает, я впервые в жизни начинаю немного понимать искусство допроса. Он отвечает мне не только из-за того, что испытывает чувство страха. В такой же степени он испытывает потребность в контакте, тяжесть угрызений совести, одиночество на борту.

— Ящики с антиквариатом? Он кивает.

— С Востока. Самолетом из Киото.

— Кто их привез? Кто был экспедитором?

— Но вы это должны знать.

Я молчу. Я знаю ответ еще до того, как он открывает рот.

— Der Verlaïne natýrlich... <Верлен, конечно (нем.)>

Вот так они набирали экипаж на “Кронос”. Из людей, у которых не было выбора. Только теперь, по прошествии всего этого времени, я вижу кают-компанию такой, какой она является на самом деле. словно микрокосм, словно отражение той сети, которую Тёрк и Клаусен создали раньше. Подобно тому, как Лойен и Винг использовали Криолитовое общество, они использовали уже имевшуюся ранее организацию. Фернанда и Мария из Таиланда, Морис,

Хансен и Урс из Европы — части одного и того же организма.

— Ich hatte keine Wahl. Ich war zahlungsunfähig. <У меня не было выбора. Я был неплатежеспособен (нем.)> Его робость уже более не кажется преувеличенной. Я выхожу из дверей, когда он меня догоняет.

— Фройляйн Смила. Иногда я думаю, а не блефуете ли вы. Что, может быть, вы не из полиции.

Даже стоя в полуметре от него, я чувствую исходящий от хлеба жар. Он, должно быть, только что из печи.

— И в этом случае wäre es kein besonderes Risiko, <Никакого особого риска (нем.)> если бы я в один прекрасный день подал вам, ну скажем, порцию бисквита с осколками стекла и кусочками колючей проволоки.

Он держит хлеб в руке. Его температура, наверное, градусов 200. Может быть, этот Урс все-таки не такой уж мягкий. Может быть, если его подвергнуть воздействию высокой температуры, то у него появится твердая, как стекло, корочка.

Нервный срыв совсем не обязательно бывает срывом, он может наступить так, что ты тихо и спокойно погружаешься в равнодушие.

Это со мной и произошло. По пути с камбуза я решаю бежать с “Кроноса”.

В каюте я под одежду надеваю шерстяное нижнее белье. Поверх него свой синий рабочий костюм, синие резиновые тапочки, синий свитер и тонкий темно-синий пуховик. В темноте он будет почти черным. Это наименее бросающееся в глаза из того, что я сейчас могу найти. Чемодан я не собираю. Я заворачиваю деньги, зубную щетку, запасные трусики и бутылочку миндального масла в полиэтиленовый пакет. Мне кажется, что с большим количеством вещей мне не убежать.

Я повторяю самой себе, что это меня настигло одиночество. Я выросла среди людей. Если я и стремилась к коротким периодам одиночества и погружению в себя и достигала их, то лишь для того, чтобы еще сильнее ощутить общность с людьми.

Но я так и не смогла найти ее. Как будто она пропала для меня где-то той осенью, когда Мориц впервые вывез меня на самолете из Гренландии. Я по-прежнему ищу ее, я не отказалась от этого. Но похоже, что я так ничего и не добьюсь.

Теперь пребывание на этом корабле стало пародией на мое существование в современном мире.

Я не героиня. Мне довелось почувствовать что-то к ребенку. Я могла бы предоставить свое упрямство в распоряжение того, кто захотел бы понять, почему он умер. Но такого человека нет. Нет никого, кроме меня самой.

Я выхожу на палубу. За каждым углом я ожидаю увидеть Верлена.

Мне никто не попадается по пути. Палуба кажется вымершей. Я встаю у борта. “Гринлэнд Стар” выглядит иначе, чем несколько часов назад, когда я стояла здесь. Тогда я еще находилась под влиянием всех предшествующих дней. Теперь — это мой путь отсюда, моя возможность побега.

Пирсы, из которых, по меньшей мере, два длиной в километр, удивительно неподвижны на длинных волнах, катящихся из тьмы. У зданий я вижу маленькие, освещенные электрические автомобили и автокары.

Трап “Кроноса” спущен. На причале большие таблички гласят «Access to pier strictly forbidden». <“Выход на пирс строго запрещен” (англ) (Примеч перев)>

От того места, куда спускается трап, мне надо будет пройти 600-700 метров по понтонному причалу, освещенному ярким электрическим светом. Охраны, похоже, нет. В наблюдательных вышках, откуда управляют выкачиванием нефти, свет не горит. Но, скорее всего, за всем участком ведется наблюдение. Меня увидят и подберут.

На это я и рассчитываю. Они, очевидно, обязаны доставить меня назад. Но сначала они отведут меня туда, где будет офицер, письменный стол и стул. Там я расскажу кое-что о “Кроносе”. Не то, что будет похоже на известную мне часть правды. Этому бы не поверили. Но кое-что менее серьезное. Немного о наркотиках Яккельсена и о том, что я, не чувствуя себя защищенной от остальных членов экипажа, хочу покинуть судно.

Им придется выслушать меня. Дезертирства, как технического и юридического явления, более не существует. Матрос и горничная могут сойти на берег, когда им заблагорассудится.

Я спускаюсь на вторую палубу. Отсюда виден трап. В том месте, откуда он отходит, есть ниша. Именно там в свое время меня ждал Яккельсен.

Теперь там ждет другой. На низкий стальной ящик поставил свои кеды Хансен.

Я бы могла успеть сбежать по трапу до того, как он успеет подняться со стула. Я бы уверенно выиграла финишный бросок на 150 метрах набережной. Но зато потом я бы выдохлась, остановилась и упала.

Я отступаю на палубу. Стою, обдумывая свои возможности. И уже прихожу к мысли, что у меня их нет, когда неожиданно гаснет свет.

Я как раз закрыла глаза, пытаюсь найти решение в звуках.

Движение волн вдоль причала, глухой звук ударов воды о кранцы. Крик больших чаек в темноте, низкое гудение ветра, ударяющегося в наблюдательные вышки. Вздохи трущихся друг о друга связанных понтонов. Где-то вдали слабый визг больших турбогенераторов. И наводящее еще большее уныние, чем все эти звуки вместе, ощущение того, что весь этот шум втягивается в темноту над черным Атлантическим океаном. Что вся конструкция с пришвартованными судами — это уязвимая ошибка в расчетах, которая через мгновение разлетится вдребезги.

Эти звуки не могут мне помочь. В таком месте, как это, нельзя покинуть судно иначе как по трапу. Я заперта на “Кроносе”.

И тут гаснет свет. Когда я открываю глаза, меня сначала как бы ослепляет темнота. Потом, на расстоянии примерно сотни метров друг от друга, зажигаются красные фонари на самом причале. Это аварийное освещение.

Свет погас на том пирсе, где пришвартован “Кронос”, и на самом судне. Ночь так темна, что и в двух шагах ничего не видно. Дальняя часть платформы — словно светло-желтый островок в ночи.

Я вижу причал. И фигуру человека на причале. Человека, направляющегося в противоположную от “Кроноса” сторону. Смесь страха, надежды и шестого чувства помогает мне не удариться головой о мачту или о кабестан. Перед последним участком трапа я на мгновение останавливаюсь. Но даже если бы он там и караулил, я бы его не увидела. Потом я бегу.

С корабля, вниз по трапу. Я никого не вижу, меня никто не окликает. Я поворачиваю и бегу по пирсу. Понтоны кажутся живыми и ненадежными под ногами. Здесь внизу аварийное освещение оказывается болезненно ярким. Я бегу по ту сторону ряда фонарей, стараясь бежать быстрее каждый раз, когда попадаю в полосу света, и замедляя шаг, чтобы отдышаться, когда снова оказываюсь в темноте. Прошло всего шесть дней, с тех пор как я смотрела на исчезающего в тумане Ландера, направляющегося в сторону Скоуховед. Я по-прежнему во всех отношениях нахожусь в открытом море. И все же меня охватывает чувство, похожее, должно быть, на ту радость, которую испытывает матрос, после дальнего плавания снова ступивший на землю.

Передо мной становится видна фигура. Человек двигается быстро и суетливо, рывками из стороны в сторону, словно пьяный.

Начинается дождь. На причале сделана дорожная разметка, словно на проспекте. Вдоль него поднимаются ввысь, точно небоскребы высотой 45 метров, борта судов без иллюминаторов. Вдали сверкают алюминием бараки. Все тихо подрагивает от больших, невидимых механизмов. “Гринлэнд Стар” — это вымерший город на границе пустого пространства.

Единственное живое — это подпрыгивающая фигурка впереди меня. Это Яккельсен. Силуэт на фоне фонарей, несомненно, принадлежит Яккельсену. Перед ним вдали другая фигура — куда-то направляющийся человек. Именно поэтому Яккельсен петляет. Как и я. он пытается не попасть на свет. Пытается стать невидимым для того, кого он преследует.

За мной, кажется, никого нет, поэтому я немного замедляю шаг. Так, чтобы, не догоняя двух людей впереди меня, по-прежнему двигаться вперед.

Я поворачиваю за последнюю вышку. Передо мной — широкое, открытое пространство. Площадь посреди океана. Единственный свет в полумраке создают отдельные, высоко расположенные лампы дневного света.

Посреди площади, в центре нескольких белых концентрических окружностей, горбатый силуэт большого, мертвого животного — вертолет “Сикорский” с четырьмя слегка изогнутыми, висящими лопастями винта. У барака кто-то оставил маленькую тележку с насосом для тушения огня и электрический автобус. Яккельсена нигде не видно. Это самое пустынное место, которое я когда-либо видела.

В детстве я иногда представляла себе, что все люди умерли, предоставив мне эйфорическую свободу выбора в покинутом всеми мире взрослых. Я всегда считала, что это было моей самой сокровенной мечтой. Теперь, на этой площади, я понимаю, что это всегда было кошмаром.

Я иду вперед к вертолету, прохожу мимо и оказываюсь в полосе слабого света, который приобретает темно-зеленый оттенок из-за ребристого покрытия понтонов. Вокруг меня так пусто, что мне даже не надо бояться быть замеченной.

У края платформы стоят три барака и навес. В тени, немного в стороне от света, сидит Яккельсен. На мгновение мне становится не по себе. Еще несколько минут назад он двигался с

обезьянней ловкостью, теперь же свалился. Но когда я кладу руки ему на лоб, я чувствую, как он разгорячился от бега и вспотел. Когда я трясую его, чтобы привести в чувство, я слышу звон металла. Я залезаю в его нагрудный карман. Достаяю его шприц. Вспоминаю выражение его лица, когда он заверял меня в том, что он со всем справится. Я пытаюсь поднять его. Но он не держится на ногах. Ему бы надо двух санитаров и больничную койку на колесиках. Сняв свою куртку, я прикрываю его. Натягиваю ее ему на лоб, чтобы дождь не капал на его лицо. Шприц я опускаю назад в его карман. Надо быть моложе или, во всяком случае, большим идеалистом, чем я, чтобы пытаться приукрашивать людей, которые твердо решили убить себя.

Когда я выпрямляюсь, я вижу отделившуюся от навеса тень, которая обрела самостоятельную жизнь. Она направляется не ко мне, она пересекает площадь.

Это человек. С маленьким чемоданом, в развевающемся пальто. Но на самом деле чемодан не маленький. Это человек большой. С такого расстояния мне не очень хорошо видно. Но это и не нужно. Не много требуется, чтобы пробудить воспоминание. Это механик.

Может быть, я все время это знала. Знала, что он будет четвертым пассажиром.

Когда я узнаю его, я понимаю, что мне придется вернуться назад на “Кронос”.

Дело не в том, что неожиданно мне стало безразлично, буду я жить или умру. Скорее это потому, что больше нет необходимости искать какие бы то ни было решения. И дело не только в одном Исае. Или во мне самой. Или в механике. И даже не только в том, что есть между нами. Это нечто большее. Возможно, что это любовь.

Когда я иду по причалу, зажигается свет. Нет никакого смысла пытаться спрятаться.

На вышке напротив “Кроноса” появился человек. Его фигурка за стеклом похожа на насекомое. Вблизи становится видно, что это из-за его защитного шлема с двумя короткими антеннами. На борт тянутся два шланга — “Кронос” набирает топливо.

Напротив трапа сидит Хансен. Увидев меня, он застывает. Он сидел здесь из-за меня. Но он ожидал увидеть меня с другой стороны. Он не готов к такой ситуации. Перестраивается он медленно, импровизатор из него никудышный. Он начинает загораживать мне дорогу. Пытается оценить, насколько рискованно предпринимать какое-нибудь наступательное действие. В поисках отвертки я засовываю руку в свой полиэтиленовый пакет. На лестнице за его спиной появляется Лукас. Я протягиваю Хансену сжатую в кулак руку.

— От Верлена, — говорю я.

Его рука с самопроизвольной покорностью, вызванной именем боцмана, хватает то, что я ему протянула. Лукас подходит сзади вплотную к нему. Он одним единственным взглядом оценивает ситуацию. Его глаза сужаются.

— Вы промокли, Ясперсен.

Он загораживает мне проход по лестнице.

— Я выполняла поручение, — говорю я. — Для Хансена.

Хансен пытается подыскать слова, чтобы возразить. Он разжимает кулак в надежде найти там ответ. На его большой ладони лежит шарик. Он разворачивается у нас на глазах. Это женские трусики, маленькие, с кружевами, белые как мел.

— Большого размера не было, — говорю я. — Но я уверена, что они налезут на вас, Хансен. Они должны очень хорошо растягиваться.

Я прохожу мимо Лукаса. Он не пытается остановить меня. Он целиком поглощен Хансеном. У него совершенно ошеломленное лицо. Да, тяжело ему, бедному Лукасу. Вокруг него сплошные неразрешенные вопросы.

Поднимаясь по трапу, я слышу, как он отступает и перед этой загадкой.

— Сначала багаж, — говорит он. — Затем — кормовая лебедка. Отплываем через четверть часа.

Голос у него хриплый, удивленный, раздраженный и страдающий.

Сняв промокшую одежду, я сажусь на кровать. Я думаю о Яккельсене.

Через корпус судна ощущается, как остановили топливные насосы. Как скрутили шланги. Смотрели тросы. Как готовят к отплытию палубу.

Где-то в темноте, примерно в километре отсюда, сидит Яккельсен. Только я знаю, что он убежал с судна. Вопрос в том, надо ли мне сообщать о его отсутствии.

Трап поднимают. На палубе у швартовых занимают место люди.

Я продолжаю сидеть. Наверное, потому, что Яккельсен что-то узнал. Что-то в его голосе тогда на палубе, что-то в его самоуверенности и убежденности все время приходит мне на ум. Если правда, что он что-то обнаружил, то, наверное, была причина, по которой он хотел сойти на берег. Наверное, по его мнению то, что должно быть сделано, должно быть сделано оттуда. Так что, может быть, он все еще может помочь мне. Хотя я и не понимаю, как или почему. Или каким способом.

Не слышно никакого гудка. “Кронос” покидает “Гринлэнд Стар” так же анонимно, как и прибыл. Я даже не заметила, как стал набирать обороты двигатель. Только изменения в движениях корпуса говорят мне о том, что мы плывем.

Наша крейсерская скорость 18 узлов. От 400 до 450 морских миль в сутки. Это значит, что примерно через 12 часов мы будем на месте. Если я была права. Если мы направляемся к глетчеру Баррен на Гела Альта.

Что-то тяжелое протаскивали по коридору. Когда дверь на ют закрывается, я выхожу из каюты. Через стекло в дверях мне видно, как Верлен и Хансен двигают по направлению к корме багаж механика. Черные ящики, вроде тех, в которых музыканты возят свои инструменты, положенные на тележки. У него, должно быть, был излишек багажа в самолете. Это дорого стоит. Интересно, кто это оплатил?

2

Если в такой стране, как Дания, ты дожил до 37 лет, периодически обходясь без лекарств, не совершив самоубийства, не растратив полностью идеалы своего нежного детства, значит, ты кое-что понял о том, как надо встречать жизненные невзгоды.

В 70-е годы в Туле при помощи оборудования, которое находилось в метеорологических зондах,

мы проводили исследование сверхохлажденных капель. Эти капли в течение короткого времени существуют в облаках на большой высоте. Вокруг них холод, но совершенный покой. В неподвижном “кармане” их температура падает до 40 градусов. Они должны были бы превратиться в лед, но они не хотят, они парят в полном покое и равновесии.

Именно так я пытаюсь встретить невзгоды.

“Кронос” еще не затих. Чувствуется невидимая жизнь и движение. Но долго ждать нельзя.

Я могла бы пройти через машинное отделение и твиндек. Если бы это не было связано с множеством клаустрофобических воспоминаний. Уж если они придут за мной, мне хотелось бы их видеть.

Ют ярко освещен. Я делаю глубокий вдох и выхожу на сцену. Краем глаза я вижу, как мимо меня проплывают верповочные тросы и ограждение вокруг мачты. Я оказываюсь у ютовой надстройки и открываю ключом дверь. Войдя, я стою некоторое время у окна и смотрю на палубу.

Это владения Верлена. Даже сейчас, когда здесь нет ни души, чувствуется его присутствие.

Я запираю за собой дверь. Моим оружием все время были те детали, о которых никто не знает. Моя личность, мои намерения, ключ-проводник Яккельсена. Они не могут знать, что он у меня есть. Они должны думать, что мое проникновение через ют в прошлый раз было случайностью, результатом их забывчивости. Они боялись, что я что-то обнаружила. Но про ключ они ничего не могут знать.

В первом помещении я освещаю фонариком плотно упакованные и закрепленные банки со свинцовым суриком, грунтовкой, корабельным лаком, шпаклевкой, специальным растворителем, ящики с респираторами, эпоксидной смолой, кистями и валиками. Все аккуратно сложено и чисто. Заботливость Верлена.

Следующая дверь — это задняя дверь туалета. Дверь напротив ведет в душевую с двумя кабинами. Следующая — в слесарную мастерскую. Где Хансен полирует свои ножи мелом.

Последняя каюта — это электромастерская. В лабиринте шкафов, полок и ящиков можно было бы спрятать маленького слона, и у меня бы ушел час на его поиски. У меня нет часа. Так что я закрываю дверь и иду вниз.

Теперь дверь, ведущая в твиндек, заперта. И закрыта на засов. Кто-то хотел быть абсолютно уверенным в том, что никто не сможет здесь войти. Если я зажигаю фонарик, то лишь на мгновение. Это, наверняка, излишняя предосторожность — ведь я стою в совершенно темном помещении без окон. Но моя нервная система большего не выдерживает.

Я останавливаюсь, чтобы прислушаться. Мне надо сделать над собой усилие, чтобы не впасть в панику. Мне никогда особенно не нравилась темнота. Я никогда не могла понять привычку датчан бродить по ночам. Прогуливаться по вечерам в крошечной тьме. Слушать соловьев в лесу.

Обязательно выходить смотреть на звезды. Устраивать соревнования по ночному ориентированию.

К темноте надо относиться с уважением. Ночь — это то время, когда вселенная бурлит злом и опасностью. И можно называть это суеверием. Можно называть это боязнью темноты. Но

делать вид, что ночь — это то же самое, что и день, только без света, глупо. Ночь существует для того, чтобы собираться вместе под крышей дома. Если только ты, волею случая, не одинок и не призван делать что-то иное.

В темноте звуки различаешь лучше, чем предметы. Звук воды вокруг винта, где-то под моими ногами. Приглушенный шум попутного потока. Звук двигателя. Вентиляция. Вращение гребного вала в подшипниках. Маленький электрический компрессор, местонахождение которого почти невозможно установить. Как и, находясь в квартире, невозможно определить, у кого из соседей работает холодильник.

Здесь тоже есть холодильник. Я нахожу его не по звуку. Я нахожу его, потому что темнота проясняет для меня сделанный мной чертеж судна. Я измеряю коридор шагами. Но я уже знаю результат. Просто из-за волнения я раньше этого не замечала. Коридор на два метра короче, чем он должен быть. Где-то в конце его, за стеной, должна быть, по словам Яккельсена, гидравлическая система рулевого управления. Но она не может занимать два метра.

Я освещаю стену. Она покрыта той же фанерой, что и остальные стены — вот почему я раньше ничего не заметила. Но фанеру эту прибили относительно недавно. Откуда-то из-за нее доносится приглушенное гудение, похожее на звук работающего холодильника. Фанера плотно приколочена. Это не тщательно сделанный тайник. Его наскоро соорудили за неимением лучшего. Но одной мне бы не удалось снять фанеру. Даже если бы у меня и были необходимые инструменты.

Я открываю ближайшую дверь.

Вдоль стены стоят черные ящики. На них написано «Grimlot Music Instruments Flight Cases». <Ящики для авиаперевозок музыкальных инструментов Гримлот (англ.)> Я открываю первый из них. Он четырехугольный, и по виду в нем может поместиться динамик среднего размера.

На гарантийном свидетельстве, лежащем под голубыми, блестящими баллонами акваланга из эмалированной стали, написано «Self-contained Underwater Breathing Apparatus».

<“Автономная подводная дыхательная аппаратура ” (англ.)> Они обтянуты резиновой сеткой, чтобы защитить краску от ударов.

Я открываю другой ящик, меньше размером. В нем нечто, похожее на вентили, которые надо навинчивать на акваланг. Ярко блестящие. Уложенные на вырезанную по их форме пенорезину. Дыхательный аппарат. Но такого типа, который я никогда не видела. Который крепится прямо на баллоны, вместо того, чтобы прикрепляться к мундштуку.

В следующем ящике манометры и ручные компасы. В большом чемодане с ручкой лежат очки, три пары ласт, ножи из нержавеющей стали в резиновых ножнах и два надувных жилета, на которые прикрепляются баллоны.

В большом мешке два черных резиновых костюма с капюшонами и молниями у кистей рук и на лодыжках — это костюмы для подводного плавания из неопрена. Толщиной по меньшей мере 15 миллиметров. Под ними лежат два теплых костюма “Посейдон”. Под ними перчатки, носки, два утепленных костюма, страховочные тросы и шесть различного вида фонариков на батарейках, два из которых прикреплены к шлему.

В помещении стоит также ящик, в котором по виду может поместиться электроконтрабас, но он немного длиннее и глубже. Ящик стоит у переборки. В нем лежит Яккельсен.

Ящик оказался недостаточно большим для него, поэтому они прижали его голову к правому плечу и согнули ноги, так что он оказался на коленях. Глаза его открыты. На его плечах по-прежнему лежит моя куртка.

Я трогаю его лицо. Он все еще влажный и теплый. Температура тела крупного животного падает на несколько градусов в час, если оно лежит летом на улице, после того как его пристрелили. Можно предположить, что для человека эти цифры не будут очень отличаться. Яккельсен приближается к комнатной температуре.

Я сую руку в его нагрудный карман. Шприц исчез. Но там есть что-то другое. Мне надо было догадаться об этом раньше — металл сам по себе не звенит. Он звенит, ударяясь о другой металл. Очень осторожно, держа пальцы в его кармане, я нащупываю маленький треугольник. Он вырастает из его грудной клетки.

Трупное окоченение распространяется от жевательных мышц вниз. Так же, как и нервный спазм. Верхняя половина его тела застыла. Я не могу перевернуть его, и, просунув руку в ящик, проникаю под куртку за его спиной. Под лопатками торчит кусок металла, всего лишь несколько сантиметров длиной, плоский, не толще пилочки для ногтей. Или клинка из ножовочного полотна.

Лезвие вошло между двумя ребрами, и оттуда было направлено вверх наискосок. Я думаю, оно прошло через сердце. Потом рукоятку сняли, а лезвие осталось. Чтобы не было кровотечения.

У другого человека лезвие бы не вышло спереди. Но ведь Яккельсен был очень стройным.

Должно быть, это произошло как раз перед тем, как я подошла к нему. Возможно, когда я шла через площадь.

В Гренландии у меня никогда не появлялись дырки в зубах, теперь же у меня 12 пломб. Каждый год появляется новая. Я не хочу, чтобы мне делали обезболивание. Я разработала стратегию, с которой я встречаю боль. Я делаю вдох животом, и прямо перед тем, как бор проникает через эмаль в зуб, думаю о том, что сейчас со мной делают нечто, что я должна принять.

Тем самым я становлюсь заинтересованным, а не просто поглощенным болью наблюдателем.

Я была в ландстинге, когда партия “Сиумут” выдвинула предложение о том, чтобы запланированный уход американских и датских вооруженных сил из Гренландии сопровождался созданием гренландской армии. Но так они ее, конечно же, не называли. “Децентрализованная береговая служба”, говорили они, укомплектованная для начала теми гренландцами, которые последние три года служили сержантами в военно-морском флоте. И под руководством офицеров высокого класса, которые должны получать образование в Дании.

Я думала: не может быть, они так не сделают.

Предложение не прошло. — “Мы находим результаты голосования неожиданными”. — говорил Юлиус Хёг, внешнеполитический представитель партии Siumut, — “принимая во внимание то, что комиссия безопасности ландстинга рекомендовала создать береговую службу и создала подготовительную рабочую группу, состоявшую из представителей датского военно-морского флота, гренландской полиции, патруля “Сириус”, Ледовой службы и других специалистов”.

Других специалистов. Самое важное всегда говорится под конец. Как бы мимоходом. В дополнении к контракту. На полях.

Сотрудниками безопасности на “Гринлэнд Стар” были гренландцы. Только сейчас я вспоминаю это, теперь, когда мы уже давно отплыли от платформы. То, что стало обыденным, мы не замечаем. Стало обыденным видеть вооруженных гренландцев в форме. Война стала для нас обыденным делом.

И для меня. Все, что у меня осталось — это моя способность дистанцироваться.

Все что происходит, происходит со мной. Боль, которую я чувствую, это моя боль. Но она не поглощает меня полностью. Какая-то частичка меня остается наблюдателем.

Я забираюсь в кухонный лифт. Со вчерашнего дня делать это легче не стало. Ведь не становишься моложе.

На сей раз можно радоваться тому, что отсутствует устройство блокировки. Опасная для жизни система позволяет мне самой, нажав на кнопку, отправить себя наверх.

Страх при подъеме в шахте тот же, что и в прошлый раз. Та же тишина в конце пути. Пустая кухня.

Через верхнее окно проникает свет луны. Направляясь к двери, я на мгновение представляю себя со стороны. Одета в черное, но бледная, словно белый клоун.

В коридоре слышны те же звуки. Двигатель, туалеты, дыхание женщины. Как будто время стояло на месте.

Голубой лунный свет, проникающий в салон, создает ощущение прохлады, как будто на кожу попала жидкость. Из-за покачивания судна на волнах по стенам движутся, словно живые тени, квадраты окон.

Сначала я направляюсь к книгам.

Гренландская лоция, картографический атлас Гренландии Геодезического института, морская карта Девисова пролива, уменьшенная в четыре раза и изданная в одной книге. “Динамика снега и ледяных масс” Колбека о движении льда. “Метеориты” Бухвальда в трех томах. Номера журналов “Мир природы” и “Варв”. “Обзор медицинской микробиологии” Яветса и Мельника. “Паразитология. Справочник” Ринтека Мадсена. “Записки о тропической медицине” Дайона Р. Белла.

Я кладу две последние книги на пол и перелистываю их правой рукой, держа фонарик в левой. В разделе *Dracunculus* <Маленькая змейка, червь (лат.)> так много всего подчеркнуто ярким желтым цветом, что кажется, бумага стала другого цвета. Я ставлю книги назад.

В коридоре я долго прислушиваюсь у каждой двери. И все же дверь Тёрка я нахожу совершенно случайно. Я открываю ее на три миллиметра. Из иллюминатора на кровать падает лунный свет. В каюте холодно. И все же он откинул одеяло. Верхняя часть его тела как будто из голубоватого мрамора. Он крепко спит. Я захожу внутрь и закрываю за собой дверь. Нашу жизнь осложняет необходимость выбора. Тот, за кого выбор сделан, не испытывает сложностей.

Все получается само собой. Он работал за столом. Ручки положены на место, как и все, что может скатиться на корабле на пол, должно быть положено на место. Но бумаги остались на столе. Стопка бумаг, не настолько большая, чтобы я не могла ее унести.

Минуту я стою, глядя на него. Как и много раз прежде, с самого детства, удивляюсь абсолютной незащитности человека во сне. Я могла бы наклониться над ним. Могла бы поцеловать его. Могла бы ощутить удары его сердца. Могла бы перерезать ему горло.

Неожиданно я понимаю, что в жизни мне часто случалось не спать, в то время как все остальные спали. Я часто бодрствовала поздно вечером и рано утром. К этому я не стремилась. Но так уж получилось.

Я уношу пачку бумаг с собой в салон. Времени на то, чтобы отнести их к себе в каюту, нет.

Некоторое время я сижу, не зажигая свет. В комнате появляется что-то торжественное. Кажется, что лунный свет создал вокруг всех предметов сине-серую стеклянную оболочку.

Найти ключ к самому себе и своему будущему — мечта каждого. Религиозным обучением в воскресной школе в Кваанааке занимался проповедник из миссии моравских братьев — замкнутый и жестокий бельгийский математик, который не знал ни слова на диалекте Туле. Преподавание проходило на ужасающей смеси английского, западно-гренландского и датского. Мы боялись его, но одновременно он вызывал наше любопытство. Нас научили уважать ту глубину, которая может скрываться в безумии. Каждое воскресенье он неизменно возвращался к двум темам: недавно обнаруженной канонической заповеди Нага Хаммади познать самого себя и мысли о том, что наши дни сочтены, и что, следовательно, во вселенной существует божественная арифметика. Всем нам было от пяти до девяти лет. Мы не понимали ни одного слова. И все же позже я вспоминала отдельные вещи. Особенно размышляла над тем, что мне хотелось бы увидеть космические расчеты для моей жизни.

Иногда мне кажется, что время этого пришло. Вот и сейчас. Как будто эта лежащая передо мной пачка бумаг может сказать что-то решающее о моей жизни.

Предки моей матери удивились бы тому, что ключ к вселенной для одного из их потомков оказался письменным.

Сверху лежит копия отчета Кариолитового общества “Дания” об экспедиции на Гела Альта в 1991 году. Последние шесть страниц — это не копия. Это — оригинальные, не очень четкие и технически несовершенные фотографии глетчера Баррен, сделанные с воздуха. Глетчер выглядит так, как и должен выглядеть по слухам. Сухой, холодный, белый, истертый, продуваемый ветрами и покинутый даже птицами.

Потом идут два десятка исписанных страниц, на которых цифры и маленькие карандашные рисунки, не понятные для меня.

12 фотографий — это копии рентгеновских снимков. Возможно, на них те люди, которых я когда-то видела на экране в приемной Морица. Но на них может быть что угодно.

Есть еще фотографии. Они, может быть, тоже рентгеновские снимки. Но сюжет их — не человеческие тела. На фотографии видны регулярные черные и серые полосы, прямые, словно проведенные по линейке.

Последние страницы пронумерованы от 1 до 50 и образуют единое целое. Это отчет.

Текст скуп и краток, многие рисунки тушью похожи на наброски, подсчеты во многих местах вставлены от руки, там, где не хватало обычных знаков пишущей машинки.

Это описание опыта транспортировки по льду предметов, имеющих большую массу. С

рисунками рабочего процесса и краткими, наглядными расчетами механических условий.

Обзор, посвященный использованию тяжелых саней во время экспедиций на северный полюс. На нескольких рисунках показано, как тащили суда по льду, чтобы избежать сжатия льдами.

Над отдельными разделами короткие заголовки “Ахнигито”. “Дог”, “Савик 1”, “Агпалилик”. В них говорится о транспортировке самых больших известных осколков метеорита с мыса Йорк, о сложном спасении корабля Пири и о плавании на шхуне “Кайт”, о данных Кнуда Расмуссена, легендарной перевозке Бухвальдом 30-тонного “Ахнигито” в 1965 году.

В этом последнем разделе есть фотокопии собственных фотографий Бухвальда. До этого я их видела много раз — они сопровождали любую статью на эту тему в течение последних 20 лет. И все же я смотрю на них, как в первый раз. Покатые настилы, сделанные из железнодорожных шпал. Лебедки. Грубо сваренные сани из железнодорожных рельсов. Фотокопии сделали контрасты еще более четкими и смыли детали. И, тем не менее, все становится ясно. В кормовом трюме “Кронос” везет копию оборудования Бухвальда. Камень, который тот перевез в Данию, весил 30 тонн и 880 килограммов.

В последнем разделе говорится о датско-американско-советских планах по созданию буровой платформы на льду. В списке литературы приводится отчет с острова Байлот о допустимой нагрузке на лед. Мое имя в списке авторов.

В самом низу — шесть цветных фотографий. Они сняты со вспышкой, в какой-то пещере со сталактитами. Каждый студент, изучающий геологию, видел подобные фотографии. Соляные копи в Австрии, голубые пещеры на Сардинии, лавовые пещеры на Канарских островах.

Но эти фотографии выглядят иначе. Свет от вспышки отбрасывается назад к объективу ослепительными отражениями. Как будто это фотография тысячи маленьких взрывов. Это снято в ледяной пещере.

Все те ледяные пещеры, которые я видела, существовали очень недолго, пока не закрывался разлом глетчера или трещина, или пока они не наполнялись подземными талыми водами. Эта пещера не похожа на те, что я видела раньше. Повсюду с потолка свисают длинные, сверкающие сталактиты — колоссальная система сосулек, которая должна была образовываться долгое время.

В центре пещеры находится нечто похожее на озеро. В озере что-то лежит. Это может быть что угодно. По фотографии даже нельзя предположить что.

То, что можно вообще составить себе представление о размерах пещеры, объясняется тем, что на переднем плане сидит человек. Он сидит на одном из тех холмиков, которые создали на дне пещеры капающая вода и холод. Он торжествующе смеется фотографу. На этой фотографии он одет в пуховые штаны. Но все еще в камиках. Это отец Исайи.

Когда я хочу поднять пачку, на столе остается последний листок, потому что он тоньше фотографий. Это листок писчей бумаги с набросками письма. Всего лишь несколько строчек, написанных карандашом и перечеркнутых в нескольких местах. Потом листок положили в самый низ. Как будто писали дневник. Или завещание. А потом постеснялись. Решили: нельзя, чтобы это лежало на виду, доверяя всем свои тайны. Но все же хотелось, чтобы листок был поблизости. Может быть, потому что надо будет работать с ним дальше.

Я читаю его. Потом складываю и кладу в карман.

В горле у меня пересохло. Руки дрожат. Что мне необходимо сейчас — так это без всяких проблем уйти со сцены.

Я уже протянула руку, чтобы открыть дверь в каюту Тёрка, когда за ней раздается щелчок и в коридор падает полоска света. Я отступаю назад. Дверь начинает открываться. Она открывается в мою сторону. Благодаря этому я успеваю найти дверь справа от меня, открыть ее и войти в помещение. Я не решаюсь закрыть дверь, а лишь прикрываю ее.

Здесь темно. Плитки под ногами говорят о том, что это ванная. Включается кнопка в коридоре, и загорается свет. Я отступаю назад, за занавеску в душевую кабину. Дверь открывается. Звуков нет, но пара рук мелькает в длинной щели, которую не закрывает занавеска. Это руки Тёрка.

Его лицо показывается в зеркале. Оно такое сонное, что он даже себя самого не видит. Он наклоняет голову, открывает кран и пьет. Потом выпрямляется, поворачивается и уходит. Движения его механические, словно у лунатика.

В ту секунду, когда дверь его каюты закрывается, я вылетаю в коридор. Через мгновение он обнаружит, что бумаг на месте нет. Я хочу выбраться с этого этажа, пока не начались поиски.

Свет гаснет. Скрипит его кровать. Он вернулся к своему сну в голубом лунном свете.

Такая возможность, такая блестящая удача дается лишь раз в жизни. Я готова танцевать по пути к выходу.

В темноте коридора впереди меня раздается низкий и властный голос женщины. Развернувшись, я направляюсь назад. Передо мной раздается смех мужчины, проходящего мимо полосы света, которая падает из открытой двери салона. Он голый. У него эрекция. Они меня не заметили. Я оказалась между ними.

Сделав шаг назад, я оказываюсь в ванной, опять в нише. Загорается свет. Они входят в дверь. Он подходит к раковине. Ждет, пока эрекция пройдет. Потом он встает на цыпочки и мочится в раковину. Это Сайденфаден. Автор того отчета о транспортировке по морскому льду предметов, имеющих большую массу, отчета, который я только что листала. Отчета, в котором он ссылается на одну статью, автором которой являюсь я. И теперь мы находимся так близко друг от друга. Мы живем в мире, в котором все тесно взаимосвязано.

Женщина стоит за его спиной. Лицо ее сосредоточено. На мгновение мне кажется, что она увидела меня в зеркале. Потом она поднимает руки над головой. В руках у нее ремень с пряжкой. Ударяет она так точно, что только пряжка бьет по телу, оставляя длинную, белую полосу на одной его ягодице. Полоса сначала белая, потом ярко красная. Он хватается за раковину, выгибает спину, выставляя назад нижнюю часть тела. Она снова бьет, пряжка ударяет по другой ягодице. Я вспоминаю Ромео и Джульетту. Европа богата традициями нежных свиданий. Потом свет гаснет. Дверь закрывается. Они ушли.

Я выхожу в коридор. Мои колени дрожат. Я не знаю, что мне делать с бумагами. Делаю два шага в сторону каюты Тёрка. Отказываюсь от этого.

Делаю шаг назад. Принимаю решение оставить их в салоне. Другого выхода нет. Я чувствую себя запертой на сортировочной станции.

Передо мной в темноте открывается дверь. На сей раз совершенно неожиданно, свет не зажигается, и только благодаря тому, что я уже знаю помещение, я успеваю шагнуть в ванную

и встать в душевую кабину.

На этот раз свет не загорается. Но дверь открывают, а потом запирают. У меня наготове отвертка. Это они пришли за мной. Бумаги я держу за спиной. Их я отброшу, когда нанесу удар. Снизу вверх, в сторону брюшной полости. А потом я побегу.

Занавеска отодвигается. Я готовлюсь оторваться от стены.

Включают воду. Холодную воду. Потом горячую. Потом регулируют температуру. Душ был направлен на стену. В первые же три секунды я промокла до нитки.

Душ поворачивают от стены. Он встает под струю. Я нахожусь в десяти сантиметрах от него. Кроме журчания воды, нет никаких других звуков. И нет света. Но чтобы узнать механика на этом расстоянии, мне он и не нужен. В “Белом Сечении” он никогда не зажигал свет, поднимаясь по лестнице. Он до самого последнего момента не нажимал на кнопку выключателя в подвале. Он любит покой и одиночество в темноте.

Его рука легко касается меня, когда он ищет подставку для мыла. Он находит ее, отходит немного в сторону, намыливается, кладет мыло на место, массирует кожу. Снова тянется за мылом. Пальцы его задевают мою руку и исчезают. Потом медленно возвращаются. Ощупывают руку.

Как минимум должно было раздаться восклицание. Вполне уместен был бы крик. Он не издает ни звука. Его пальцы нащупывают отвертку, осторожно вынимают ее из моей руки, проводят по руке до локтя.

Вода выключается. Занавеска отодвигается, он выходит из кабины. Через мгновение загорается свет.

Он обернул вокруг бедер большое оранжевое полотенце. Лицо его непроницаемо. Все было сделано спокойно, без суеты, тихо.

Он видит меня. И узнает.

Его самообладание нарушено. Он не двигается и едва ли меняется в лице. Но он парализован.

Теперь мне ясно — он не знал, что я нахожусь на судне.

Он смотрит на мои мокрые волосы, прилипшее к ногам платье, промокшие бумаги, которые я теперь держу перед собой. Хлюпающие резиновые тапочки, отвертку, которую он держит в руках. Он ничего не понимает.

Потом он протягивает мне полотенце. Неловким и смущенным движением. Не думая, что он тем самым открывает свое тело. Взяв полотенце, я протягиваю ему бумаги. Он держит их внизу перед собой, пока я вытираю волосы, не сводя с меня глаз.

Мы сидим на кровати в его каюте. Вплотную друг к другу, но между нами пропасть. Мы шепчемся, хотя этого и не требуется.

— Ты понимаешь, что происходит? — спрашиваю я.

— В ос-с-новном.

— Ты можешь мне объяснить? Он качает головой.

Мы пришли примерно к тому же, с чего начинали. Мы опять погрязли в недомолвках. Я чувствую непреодолимое желание прижаться к нему и попросить его усыпить меня, чтобы проснуться только тогда, когда все будет позади.

Я никогда не знала его. Еще несколько часов назад я думала, что мы вместе пережили отдельные мгновения близости. Когда я увидела, как он пересекает посадочную площадку на “Гринлэнд Стар”, я осознала, что мы всегда были чужими друг другу. Пока ты молод, ты думаешь, что секс — это кульминация близости. Потом обнаруживаешь, что это едва ли начало ее.

— Я хочу тебе кое-что показать.

Я оставляю бумаги у него на столе. Он протягивает мне футболку, трусы, утепленные брюки, шерстяные носки и свитер. Мы одеваемся, повернувшись спиной друг к другу, словно чужие. Мне приходится закатать его брюки до колен, а рукава свитера до локтей. Я прошу также шерстяную шапочку, и он протягивает ее мне. Из одного из ящиков стола он достает плоскую темную бутылку и кладет ее во внутренний карман. Сняв с кровати шерстяное одеяло, я складываю его. И мы уходим.

Он открывает ящик. На нас печально смотрит Яккельсен. Нос его стал голубоватым, острым, как будто он отморожен. — Кто это?

— Бернард Яккельсен. Младший брат Лукаса.

Я подхожу к Яккельсену, расстегиваю рубашку, открывая стальной треугольник. Механик не двигается.

Я выключаю фонарик. Мы некоторое время тихо стоим в темноте. Потом идем вверх. Я запираю за нами дверь. Когда мы выходим на палубу, он останавливается. — Кто? — Верлен, — говорю я. — Боцман.

Снаружи на переборке приварены ступеньки. Я забираюсь первой. Он медленно поднимается за мной. Мы оказываемся на маленькой полупалубе, погруженной в темноту. На двух деревянных мостках стоит моторная лодка, за ней — большая резиновая лодка. Мы садимся между ними. Отсюда нам хорошо виден ют, мы же находимся в тени.

— Это случилось на “Гринлэнд Стар”. Когда ты приехал. Он мне не верит.

— Верлен мог бы сбросить его в воду там. Но он боялся, что тело на следующий день будет плавать у платформы. Или что его засосет винтом.

Я думаю о своей матери. То, что попадает на севере в воду, на поверхность больше не всплывает. Но Верлен этого не знает. Механик по-прежнему молчит.

— Яккельсен следил за Верленом на причале. Его заметили. Самое надежное было освободить для него место в ящиках. Взять его на борт. Подождать, пока мы не отойдем от платформы. И потом сбросить его за борт.

Я пытаюсь скрыть свое отчаяние и говорить совершенно спокойным голосом. Он должен мне поверить.

— Мы сейчас уже далеко в море. Каждая минута, пока он в трюме, это риск для них. Они скоро придут. Им придется вынести его на палубу. Другого способа выбросить его за борт нет. Поэтому мы здесь и сидим. Мне хотелось, чтобы ты сам их увидел.

В темноте раздается тихий вздох. Это пробка вылезла из бутылки. Он протягивает ее мне, и я пью. Это темный, сладкий, густой ром.

Я накрываю нас шерстяным одеялом. Мороз, наверное, градусов десять. И все же внутри меня обжигающий жар. Алкоголь расширяет капилляры, на поверхности кожи возникает легкое болезненное ощущение. Это та боль, которую всеми силами надо стараться избежать, если не хочешь замерзнуть насмерть. Я снимаю шерстяную шапку, чтобы почувствовать лбом прохладу.

— Тёрк бы никогда этого не допустил.

Я протягиваю ему листок. Он оглядывается на темные окна мостика, и, спрятавшись за корпус моторной лодки, читает письмо в свете моего фонарика.

— Это лежало в бумагах Тёрка, — говорю я.

Мы снова пьем. Луна светит так ярко, что можно различать цвета. Зеленая палуба, синие утепленные брюки, золото с красным на этикетке бутылки. Словно в солнечном свете. Этот свет ложится ощутимым теплом на палубу. Я целую его. Температура уже не имеет никакого значения. В какой-то момент я стою над ним на коленях. И уже больше нет наших тел, есть только жаркие точки в ночи.

Мы сидим, прислонившись друг к другу. Это он закрывает нас одеялом. Мне не холодно. Мы пьем из бутылки. Насыщенный и горячий вкус.

Ты из полиции, Смила? Нет, отвечаю я. Ты из другой конторы? Нет, отвечаю я. Ты все время знала? Нет, отвечаю я. А сейчас знаешь? У меня есть идея, говорю я.

Мы снова пьем, и он обнимает меня. Палуба должна быть холодной под одеялом, но мы этого не замечаем.

Никто не приходит. На “Кроносе” мертвая тишина. Как будто корабль оторвался от своего курса, как будто он теперь уносит куда-то нас двоих, только нас двоих.

Через какое-то время мы допиваем бутылку. Я встаю, потому что знаю, что что-то изменилось. Не может ли быть других отверстий в корпусе? -

Спрашиваю я. — Других способов избавиться от тела? Почему ты говоришь о смерти? — спрашивает он. Что мне ему ответить? Как выведен якорь? — спрашивает он.

Мы спускаемся в твиндек. В ящике теперь лежат спасательные жилеты. Яккельсена нет. Мы идем по лестнице, через туннель, машинное отделение, туннель, по винтовой лестнице, и он открывает две задвижки и дверь размером метр на метр. Якорная цепь туго натянута посреди помещения. Наверху на потолке она уходит в трубу, через которую виден лунный свет и очертания брашпиля. Внизу она исчезает через клюз, величиной с крышку канализации. Якорь подтянут под самый клюз. Места из-за него немного. Он смотрит на отверстие.

— Нельзя пропихнуть здесь взрослого человека.

Я трогаю стальную цепь. Мы оба знаем, что именно через это отверстие сегодня ночью нырнул Яккельсен.

— Он был очень стройным, — говорю я.

3

Капитан Лукас не брит, волосы его всклокочены, и, похоже, что он спал, не раздеваясь.

— Что вы знаете об электричестве, Ясперсен?

Мы одни на мостике. Половина седьмого утра. Остается полтора часа до начала его вахты. Желтоватая кожа на его лице блестит от пота.

— Я могу поменять перегоревшую лампочку, — говорю я. — Но обычно при этом обжигаю пальцы.

— Вчера, когда мы стояли у причала, отключилось электричество на “Кроносе”. И на части портовых сооружений.

В руке у него листок бумаги. Рука и бумага дрожат.

— На судах вся проводка проходит через распределительные щиты. Всякое подключение к сети осуществляется через предохранитель. Вы знаете, что это значит? Это значит, что на корабле чертовски трудно устроить электрическую аварию. Если только ты не такой умный, что пойдешь прямо к главному кабелю. Вчера вечером кто-то пошел к главному кабелю. В те очень редкие мгновения, когда Кютсов бывает трезвым, у него случаются минуты просветления. Он нашел причину аварии. Это штопальная игла. Вчера кто-то воткнул штопальную иглу в силовую кабель. Очевидно, при помощи пассатижей с изолированными ручками. А затем отломал игольное ушко. Особенно это последнее было хитро придумано. Ведь изоляция стягивается над иголкой. Место потом невозможно обнаружить. Если только ты, как Кютсов, не знаешь несколько хитростей с магнитом и индикатором полярности, и вообще, у тебя нет чутья на то, что надо искать.

Я вспоминаю, как возбужден был Яккельсен. С какой интонацией он говорил. Я все устрою, Смилла. Завтра все изменится. Я начинаю преклоняться перед его изобретательностью.

— Похоже, что во время этого затемнения один из матросов — Бернارد Яккельсен — нарушил запрет и покинул “Кронос”. Сегодня утром мы получили от него эту телеграмму. Это заявление об уходе.

Он протягивает мне бумагу. Это текст, напечатанный на телетайпе и отправленный с телеграфа “Гринлэнд Стар”. Для заявления об уходе он невелик.

Капитану Сигмунду Лукасу.

Настоящим я с сего момента прерываю свою службу на борту “Кроноса” по личным причинам. Идите вы все к черту.

Б. Яккельсен

Я поднимаю на него глаза.

— Меня мучает, — говорит он, — меня мучает подозрение, что вы тоже находились на берегу во время аварии.

Его лицо искажается гримасой. Куда-то пропал офицер, куда-то пропал весь его сарказм. Осталось лишь беспокойство, переходящее в отчаяние.

— Расскажите мне, знаете ли вы что-нибудь о нем.

Передо мной все то, о чем Яккельсен мне не рассказывал. Огромная забота, желание защитить, спасти, дать брату возможность плавать без взысканий, быть вдали от дурного общества в городах. Любой ценой. Даже если для этого надо брать его с собой в такое плавание.

На мгновение у меня возникает искушение рассказать ему все. В эту минуту в его муках я узнаю себя. Все наши иррациональные, слепые и тщетные попытки защитить другого человека от чего-то неизвестного, от того, что все равно произойдет, что бы мы ни пытались предпринять. Но я гоню от себя эту слабость. Сейчас я ничем не могу помочь Лукасу, Яккельсену же никто больше ничем не может помочь.

— Я была на причале. И все.

Он зажигает новую сигарету. Одна пепельница уже полна до краев.

— Я звонил на телеграф. Но ситуация совершенно невозможная. Строго запрещено высаживать на берег человека таким образом. К тому же, все осложняется их системой. Пишешь телеграмму и отдаешь ее в окошечко. Потом ее относят в комнату для сортировки почты. Оттуда ее забирает третий человек и несет на телеграф. Я говорил с четвертым. Они даже не знают, сам он ее принес или позвонил по телефону. Что-нибудь узнать невозможно.

Он берет меня за локоть.

— Вы совсем не представляете себе, зачем ему надо было на берег? Я качаю головой.

Он машет телеграммой.

— В этом весь он.

В глазах у него слезы.

Именно так Яккельсен бы и написал. Кратко, высокомерно, таинственно и все же с использованием канцелярских штампов. Но это писал не Яккельсен. Этот текст был на том листке бумаги, который я сегодня ночью взяла в каюте Тёрка.

Он молча смотрит на море, погружившись в первые мучительные размышления, которые с этого момента будут все больше и больше поглощать его. Он забыл, что я здесь.

В эту минуту начинает работать пожарная сигнализация.

Нас в кают-компании 16 человек. Все находящиеся на борту, за исключением Сонне и Марии, которые сейчас на мостике.

Строго говоря, сейчас день, но снаружи темно. Ветер усилился, и температура поднялась —

сочетание, благодаря которому дождь, словно ветки, хлещет по стеклам. Время от времени, словно удары кувалды, обрушиваются на борт судна волны.

Механик стоит, прислонившись к переборке, рядом с Урсом. Верлен сидит немного в стороне, Хансен и Морис — среди остальных. В компании они никогда не бросаются в глаза. Осторожность, которая входит в сферу заботы Верлена.

Лукас сидит в конце стола. Прошел час, с тех пор как я видела его на мостике. Он неузнаваем. На нем свежевыглаженная рубашка и начищенные до блеска кожаные ботинки. Он свежевыбрит, и волосы его приглажены водой. Он бодр и немногословен.

У самой двери стоит Тёрк. Перед ним сидят Сайденфаден и Катя Клаусен. Проходит какое-то время, прежде чем я могу заставить себя посмотреть на них. Они не обращают на меня никакого внимания.

Лукас представляет механика. Он сообщает, что по-прежнему наблюдаются нарушения в работе дымовой сигнализации. Утренняя тревога была ложной.

Он очень коротко сообщает, что Яккельсен сбежал. Он говорит все по-английски и использует слово *deserted*. <Дезертировал (англ.)>

Я смотрю на Верлена. Он прислонился к стене. Он внимательно, изучающе смотрит мне прямо в глаза. Я не могу отвести взгляд. Кто-то другой, а не я, смотрит моими глазами — дьявол. Он обещает Верлену возмездие.

Лукас сообщает, что мы приближаемся к пункту назначения. Более он ничего не говорит. *We are approaching our terminal destination*. <Мы приближаемся к месту назначения, (англ.)> Через день-два мы будем на месте. Сойти на берег будет нельзя.

По своей неопределенности сообщение является абсурдным. Во времена спутниковой навигации определить время, когда на горизонте покажется земля, можно с точностью до нескольких минут.

Никто никак не реагирует. Все они знают, что с этим плаванием что-то не в порядке. К тому же они привыкли к жизни на борту больших танкеров. Большинству из них случалось плавать по семь месяцев без захода в порт.

Лукас смотрит на Тёрка. Это собрание было устроено ради Тёрка. По его просьбе. Возможно, для того чтобы он смог посмотреть на всех нас, собранных в одном месте. Смог “прочитать” нас. Пока Лукас говорил, он переводил взгляд с одного лица на другое, и на мгновение останавливался на каждом. Теперь он поворачивается и уходит. Сайденфаден и Клаусен выходят следом за ним.

Лукас покидает помещение. Верлен уходит. Механик ненадолго задерживается, чтобы поговорить с Урсом, который на ломаном английском языке пытается что-то рассказать о тех круассанах, которые мы только что ели. Я слышу, что важен пар. И для опары, и при выпечке.

Фернанда выходит, стараясь не смотреть на меня.

Уходит механик. Он так ни разу и не взглянул на меня. Я увижу его вечером. Но до этого момента мы не можем существовать друг для друга.

Я думаю о том, что мне надо сделать до этого момента. И это не восхитительные планы на будущее. Это скучная, лишенная всякой фантазии стратегия выживания.

Я иду по коридору. Мне надо поговорить с Лукасом.

Я ставлю ногу на ступеньку, когда вижу, как навстречу мне спускается Хансен. Я отступаю на открытый участок верхней палубы.

Только здесь становится понятно, какая ужасная сегодня погода. Холодный, около 0 градусов, дождь идет плотной стеной. Порывы ветра хлещут мокрыми струями по лицу. На воде видны белые полосы, там, где ветер, сорвав гребешки волн, тянет за собой пену.

За мной открывается дверь. Не оборачиваясь, я иду к выходу на ют. Дверь впереди меня распахивается, и появляется Верлен.

Теперь этот короткий, закрытый навесом участок палубы, кажется совсем не таким, как раньше. Раньше мешали постоянно горящие лампы, две двери, выходящие сюда окна жилых кают. Теперь я понимаю, что это одно из самых изолированных мест на судне. Сверху оно не просматривается, войти сюда можно только с двух сторон. А те окна, которые находятся за моей спиной — это окна каюты Яккельсена и моей. Передо мной только фальшборт. А за ним 12 метров до поверхности моря.

Хансен приближается ко мне, а Верлен стоит на месте. Я вешу 50 килограммов. Меня быстро поднимут, а потом — вода. Что там говорил Лагерманн? Сначала задерживаешь дыхание, пока тебе не начинает казаться, что сейчас лопнут легкие. Это и есть самое болезненное. Потом делаешь сильный, глубокий вдох и выдох. Затем наступает покой.

Это единственное место на судне, где они могут это сделать, не боясь, что их увидят с мостика. Они, должно быть, ждали такой возможности.

Я подхожу к фальшборту и наклоняюсь над ним. Хансен приближается. Наши движения неторопливы и осторожны. Открытое пространство справа от меня нарушается надводным бортом, который спускается до самых перил. С наружной стороны борта в стальную обшивку вставлен ряд прямоугольных железных скоб, исчезающих в темноте.

Я сажусь верхом на перила. Хансен и Верлен останавливаются. Как и любой остановился бы перед человеком, который сам собирается прыгнуть вниз. Но я не прыгаю. Я хватаюсь за скобы и, подтянувшись, оказываюсь снаружи.

Хансен не успевает понять, что происходит. Но Верлен бросается к фальшборту и хватается меня снизу за ноги.

В борт “Кроноса” ударяет сильная волна. Корпус дрожит, и судно накрывается на правый борт.

Он вцепился в мою ногу. Но движение корабля прижимает его к перилам, грозя выбросить за борт. Ему приходится отпустить меня. Мои ноги скользят по соленым и мокрым скобам. Судно откатывается назад — и я повисаю на руках. Где-то подо мной светится белая ватерлиния. Закрыв глаза, я карабкаюсь наверх.

Когда мне кажется, что прошла вечность, я их открываю. Где-то подо мной, подняв голову и глядя на меня, стоит Хансен. Я поднялась всего на несколько метров вверх.

Я нахожусь на уровне окон прогулочной палубы. Слева от меня за синими занавесками свет. Я

барабаню ладонью по стеклу. Когда я уже теряю надежду и опять начинаю ползти наверх, занавески осторожно раздвигаются. На меня смотрит Кютсов. Я колотила в окно рабочей каюты старшего механика. Приставив ладони к стеклу, чтобы было лучше видно, он прижимается к окну. Нос его расплывается матово-зеленым пятном. Наши лица находятся в нескольких сантиметрах друг от друга.

— Помогите, — кричу я, — помогите же, черт возьми!

Он смотрит на меня. Потом задвигает занавески.

Я карабкаюсь наверх. Ступеньки заканчиваются, и я падаю на шлюпочную палубу рядом со шлюпбалками спасательной шлюпки левого борта. Дверь находится справа от меня. Она заперта. К платформе напротив мостика ведет по трубе наружная лестница, вроде той, по которой я только что поднялась.

В других обстоятельствах были бы все основания восхищаться предусмотрительностью Верлена. Наверху на лестнице, в нескольких метрах надо мной, стоит Морис — все еще с перевязанной рукой. Он оказался там, чтобы убедиться, что на расположенных выше палубах нет никаких свидетелей.

Я бегу к трапу, ведущему вниз. Но с нижнего этажа мне навстречу поднимается Верлен.

Я поворачиваю назад. У меня мелькает мысль, что, может быть, я смогу спустить на воду спасательную шлюпку. Ведь у нее должен быть какой-то быстро срабатывающий механизм, позволяющий сбросить ее вниз. Наверное, я смогу спрыгнуть за ней в воду.

Но, оказавшись перед лебедками для спуска, я отказываюсь от этой идеи. Систему карабинов и талей понять невозможно. Я срываю брезент со шлюпки. В поисках того, что можно было бы использовать для защиты. Багра, сигнальной ракеты.

Чехол шлюпки — из тяжелого зеленого нейлона, который крепится к бортам при помощи резинки. Когда я поднимаю чехол, ветер вырывает его у меня из рук, и он перелетает за борт, повиснув на кольце в форштевне шлюпки.

Верлен уже на палубе, позади него — Хансен. Ухватившись за зеленый нейлон, я перешагиваю через борт корабля. “Кронос” накреняется, меня приподнимает, и я, сжав ногами брезент, съезжаю вниз. Я спускаюсь до самого конца, и мои ноги болтаются в пустоте. И тут я падаю — они перерезали веревки, на которых держался чехол. Я выставляю руки, и подмышками ударяюсь о борт. Колени стукаются о борт судна. Но я все-таки повисаю на перилах. Сначала я парализована, но скорее потому, что не хватает воздуха. Потом я головой вперед сползаю на верхнюю палубу.

На мгновение возникает абсурдное воспоминание о первой в моей жизни игре в морских разбойников, вскоре после того как я приехала в Данию. О том, что не было привычки к игре, из которой быстро исключались слабые, а затем, по естественно возникавшей иерархии, и все другие. О стремлении остаться в живых, когда все остальные тебя ловят.

Дверь на лестницу открывается, и появляется Хансен. Двигаясь по направлению к юту, я оказываюсь рядом с трапом, ведущим наверх. На высоте моего роста на ступенях появляется пара синих ботинок. Просунув руки под ступеньки, я сталкиваю эти ноги вперед. Поскольку это продолжает их собственное движение, то не требуется очень много сил. Ноги описывают в воздухе короткую кривую, и голова Верлена ударяется о лестницу на уровне моих плеч. Потом

он пролетает последние метры по трапу и ударяется о палубу, никак не задержав своего падения.

Я бегу вверх по трапу. На шлюпочной палубе я держусь левого борта, и оттуда карабкаюсь наверх. Морис, должно быть, услышал меня. Пока я поднимаюсь наверх, он подходит к лестнице. За ним распаивается дверь, ведущая на мостик, и появляется Кютсов. Он в халате и босиком. Пока они с Морисом разглядывают друг друга, я прохожу мимо них на мостик.

Я нащупываю в кармане фонарик. Луч света освещает лицо Сонне. У штурвала стоит Мария.

— Открой мне медицинскую каюту, — говорю я. — Со мной произошел несчастный случай.

Он идет впереди. Напротив штурманской рубки он, остановившись, оборачивается ко мне. Я оглядываю себя. Вместо ткани на коленях спортивных брюк две кровавые дырки. Обе ладони разодраны.

— Я упала, — говорю я.

Он открывает медицинскую каюту. Старается не смотреть на меня.

Когда я сажусь и кожа на коленях натягивается, я едва не теряю сознание. Возникает вереница мелких, полных боли, воспоминаний. Первые лестницы в интернате и падение на неровной ледяной поверхности: проблеск света, полная беспомощность, тепло, острая боль, холод и тяжелая пульсация.

— Ты можешь продезинфицировать здесь? Он смотрит в сторону.

— Я не выношу вида крови.

Я дезинфицирую сама. Руки дрожат, жидкость льется по ранам. Я накладываю стерильные компрессы. Обматываю бинтом.

— Кетоган.

— Это запрещено правилами.

Я поднимаю на него взгляд. Он находит бутылочку.

— И амфетамин.

В любой судовой аптечке и в любой экспедиции есть лекарства, стимулирующие деятельность центральной нервной системы и снимающие чувство усталости.

Он протягивает мне его. Я разламываю пять таблеток над бумажным стаканчиком с водой. Получается очень горько.

Трудно сделать что-нибудь с руками. Он находит белые, плотно натягивающиеся хлопчатобумажные перчатки, из тех, что используют аллергики.

Когда я выхожу из дверей, он пытается бодро улыбнуться.

— Ну, что, лучше?

Он настоящий датчанин. Страх, железная воля к тому, чтобы вытеснить из сознания

происходящее вокруг него. Несгибаемый оптимизм.

Дождь не стал меньше. Он словно водяные нити, протянутые наискосок над окнами мостика, которые теперь отливают серым в слабом дневном свете.

— Где Лукас?

— В своей каюте.

С человеком, который не спал двое суток, бессмысленно говорить.

— Он выходит на вахту через час, — говорит Сонне. — В “вороньем гнезде”. Он хочет сам увидеть лед.

Экран одного из радаров настроен на радиус 50 морских миль. Недалеко от края на нем штрихами изображен зеленоватый континент. Начало полярного льда.

— Скажи ему, что я поднимусь к нему, — говорю я.

Палуба “Кроноса” пуста. Она уже больше не похожа на часть судна. Слабый дневной свет отбрасывает глубокие тени, и это уже более не просто тени. В любой темноте таится ад. В моем детстве эта атмосфера сопровождала любую смерть. Где-то начинали кричать женщины, и мы понимали, что кто-то умер, и сознание этого меняло все вокруг. И даже если это был май месяц в Сиорапалуке, когда струится, проникая повсюду, сине-зеленый свет, делающий людей безумными от весны, даже если это был такой свет, он все равно превращался в холодный отблеск царства мертвых, поднявшегося на землю.

Лестница поднимается вверх по передней стороне мачты. Наблюдательная “бочка” — “воронье гнездо” — это плоская алюминиевая коробка с окнами впереди и по бокам. Обязательная для каждого судна, плавающего во льдах.

До верха двадцать метров. На моем рисунке “Кроноса” это не кажется большим расстоянием. Но карабкаться по этому пути жутко. Судно ударяется о волны, накрывается набок, все движения от центра вращения корпуса усиливаются по мере того, как я поднимаюсь вверх и удлиняется радиус поворота.

Ступеньки приводят к платформе, над которой закреплены блоки грузовой стрелы. Оттуда попадаешь на меньшую платформу, а оттуда через маленькую дверцу — в металлическую будку.

Здесь едва можно стоять во весь рост. В темноте я вижу контуры старого телеграфного аппарата, креномер, лаг, большой компас, румпель и устройство для переговоров с мостиков. Когда мы войдем в полосу льда, именно отсюда Лукас будет управлять судном — только здесь будет достаточный обзор.

У задней стены — сидение. Когда я вхожу, он отодвигается, освобождая мне место, я вижу его как сгусток темноты. Я расскажу ему о Яккельсене. На любом судне у капитана есть какое-нибудь оружие. И у него еще остался его авторитет. Ведь можно, наверное, как-то обуздать Верлена и повернуть корабль. Мы могли бы дойти до Сисимиута за 7 часов.

Я опускаюсь на сидение, он кладет ноги на телеграф. Это не Лукас, это Тёрк.

— Лед, — говорит он. — Мы идем ко льду.

Он едва виден, словно бело-серый просвет на горизонте. Небо низкое и темное, словно угольный дым, с отдельными светлыми участками.

Маленькую будочку, в которой мы сидим, бросает из стороны в сторону, меня отбрасывает к нему и потом опять к стене. Он неподвижен. Сапоги лежат на телеграфе, рука — на сидении, и кажется, будто он приклеен к нему.

— Ты была на “Гринлэнд Стар”. Ты была в носовой части судна, когда первый раз сработала пожарная сигнализация. Кютсов несколько раз видел тебя по ночам. Почему?

— Я привыкла свободно перемещаться на судах. Мне не видно его лица, лишь очертания его.

— На каких судах? Ты отдала капитану лишь паспорт. Я посылал факс в Морское управление. На твое имя никогда не выдавалась служебная книжка.

На мгновение возникает огромное желание сдаться.

— Я плавала на небольших судах. Если это не торговый флот, то никогда не спрашивают твои документы.

— Ты узнала о том, что есть эта работа, и связалась с Лукасом.

Это не вопрос, поэтому я не отвечаю. Он изучает меня. Ему, наверное, видно не лучше, чем мне.

— Об этом плавании не было никакого объявления. Его держали в тайне. Ты не связывалась с Лукасом. Ты заставила Ландера, владельца казино, организовать встречу.

Он говорит, понизив голос, заинтересованно.

— Ты была у Андреаса Фаина и Винга. Ты что-то разыскиваешь. Кажется, что лед медленно движется навстречу нам по морю.

— На кого ты работаешь?

Именно мысль о том, что он с самого начала знал, кто я такая, так невыносима. С самого детства, кажется, я не чувствовала себя настолько во власти другого человека.

Он не рассказал механику, что я буду на борту судна. Он хотел увидеть нашу встречу, чтобы понять, что есть между нами. Именно за этим он прежде всего и наблюдал, когда нас собрали в кают-компаниях. Неизвестно, к каким выводам он пришел.

— Верлен считает, что ты из полиции. Когда-то я и сам склонялся к такому же мнению. Я осматривал твою квартиру в Копенгагене. Твою каюту здесь на судне. Кажется, что ты действуешь совсем одна. Без какой-либо организации. Но, может быть, какая-нибудь фирма? Частный клиент?

На минуту я чуть было не отключаюсь в ожидании сна, потери сознания и забвения. Но повторение вопроса выводит меня из транса. Ему нужен ответ. Это опять допрос. Он не может с уверенностью знать, кто я. С кем я связана. Что я знаю. Я еще в живых.

— Ребенок, в том подъезде, где я живу, упал с крыши. У его матери я нашла адрес Винга. Она получала пенсию за своего мужа от “Криолитового общества”. Это привело меня к архивам

общества. К той информации, которая там была об экспедициях на Гела Альта. Все остальное происходит из этого.

— Кто тебе помогал?

Все это время он говорил настойчиво и все же не заинтересованно. Как будто мы говорили о наших общих знакомых, о взаимоотношениях, которые, строго говоря, нас не касаются.

Я никогда не верила в то, что люди могут быть холодны. Неестественны, возможно, но не холодны. Суть жизни — тепло. Даже ненависть — это тепло, только с обратным знаком. Теперь я понимаю, что ошибалась.

От сидящего рядом со мной человека, словно физически ощутимая реальность, исходит мощный, холодный поток энергии.

Я пытаюсь представить себе его ребенком, пытаюсь уцепиться за что-нибудь человеческое, что-нибудь понятное: недоедающий мальчик без отца, живущий в хибаре в Брёнсхойе. Измученный, тощий как цыпленок, одинокий.

Мне приходится отказаться от этой попытки — ничего не получается, картинка рассыпается и исчезает. Сидящий рядом со мной человек — цельная натура, но одновременно он мягкий, гибкий — это человек, который поднялся над своим прошлым, так что не осталось и следов его.

— Кто тебе помогал?

Этот последний вопрос все определяет. Самое важное — это не то, что я сама знаю. Самое важное — с кем я поделилась этим знанием. Чтобы он мог понять, что его ожидает. Может быть, в этом стремлении все спланировать, сделать свой мир предсказуемым, идущем от бесконечной незащищенности в детстве, и заключается его человечность.

Я пытаюсь говорить совершенно бесстрастно.

— Мне всегда удавалось обходиться без посторонней помощи. Он некоторое время молчит.

— Для чего ты это делаешь?

— Я хочу понять, почему он умер.

Когда стоишь на краю пропасти с завязанными глазами, может вдруг появиться удивительная уверенность в себе. Я знаю, что сказала то, что надо было сказать.

Он задумывается над моим ответом.

— Ты знаешь, что мне надо на Гела Альта?

В этом “мне” проявление огромной искренности. Нет больше корабля, экипажа, меня самой, его коллег. Вся эта сложная машина движется только ради него одного. В его вопросе нет никакого высокомерия. Просто так все и есть на самом деле. Так или иначе, все мы находимся здесь, потому что он хотел этого и смог это осуществить.

Я балансирую на лезвии ножа. Он знает, что я солгала. Что я не сама по себе оказалась здесь. Уже одно то, что я смогла попасть на борт судна, говорит об этом. Но он по-прежнему не знает, кто сейчас сидит рядом с ним. отдельный человек или организация. Именно в его сомнениях заключается для меня надежда. Я вспоминаю лица возвращавшихся домой охотников — чем

более унылый у них был вид, тем больше лежало на санях. Я вспоминаю, как моя мать после рыбной ловли изображала ложную скромность, определение которой дал Мориц во время одного из своих приступов ярости — лучше преуменьшить все на 20 процентов, еще лучше — на 40.

— Мы должны что-то оттуда забрать. Нечто настолько тяжелое, что требуется судно такого размера, как “Кронос”.

Нет никакой возможности узнать, что творится у него внутри. Из темноты ко мне обращено лишь настойчивое внимание, регистрирующее и оценивающее. И снова я представляю приближающегося ко мне белого медведя: бесстрастное осознание хищником своего желания, способность добычи защищаться, всю эту ситуацию.

— Зачем, — слышу я свой голос, — нужно было мне звонить?

— Я кое-что понял, позвонив. Ни одна нормальная женщина, ни один нормальный человек не поднял бы трубку.

Мы одновременно выходим на платформу, покрытую теперь тонким слоем льда. Когда волна ударяет о борт, чувствуются усилия двигателя, по мере того как увеличивается нагрузка на винт.

Я пропускаю его вперед. Обычно то впечатление, которое производит человек, слабеет, когда он оказывается под открытым небом. Но с ним этого не происходит. Его собственное обаяние поглощает пространство вокруг нас и серый, водянистый свет. Никогда прежде я так не боялась человека.

Стоя на платформе, я вдруг понимаю, что это он был с Исайей на крыше. Что он видел, как тот прыгнул. Осознание этого приходит словно видение, еще без деталей, но с абсолютной уверенностью. В этот момент я чувствую — через время и пространство — страх Исаяи, в это мгновение я нахожусь рядом с ним на крыше.

Положив руки на перила, он смотрит мне в глаза.

— Отойди, пожалуйста, на несколько шагов.

Мы прекрасно понимаем друг друга, полностью и без лишних слов. Он представил себе такую возможность: он спускается на несколько ступенек по лестнице, а я, нагнав его, отрываю его руки и ударяю в лицо, так что он с 20-метровой высоты падает на палубу, которая отсюда кажется такой маленькой, что нет никакой уверенности в том, что он на нее попадет.

Я отступаю назад к самому ограждению. Я ему почти благодарна за то, что он принял эту меру предосторожности. Искушение, возможно, было бы слишком велико для меня.

Дважды случалось, что я, уехав в Гренландию, по полгода не видела своего собственного отражения в зеркале. По пути домой я старательно избегала зеркал в самолетах и аэропортах. Стоя потом перед зеркалом в своей квартире, я очень ясно видела физическое выражение хода времени: первые седые волосы, паутинку морщин, более глубокие и отчетливые тени выступающих костей.

Никакая другая мысль не была для меня более успокоительной, чем сознание того, что я умру. В эти минуты прозрения — а себя можно увидеть таким, какой ты есть, только если смотришь

на себя, как на чужого человека — все отчаяние, вся веселость, вся депрессия исчезают и сменяются спокойствием. Для меня смерть вовсе не была пугающей, она не была для меня состоянием или событием, которое придет и поразит меня. Она была скорее сосредоточенностью на нынешнем моменте, поддержкой, союзником, помогающим мыслями быть в настоящем.

Летними ночами бывало, что Исайя засыпал у меня на диване. Я не помню, чем я занималась, должно быть, сидела, глядя на него. Коснувшись его шеи, я чувствовала, что ему слишком жарко. Тогда, осторожно расстегнув его рубашку, я раскрывала ее на груди, вставала, открывала окно на набережную — и мы оказывались в другом месте. Мы были в Иите, в летней палатке — через брезент проникает свет, похожий на свет полной луны. Но это ткань делает свет голубым, потому что когда я откидываю ее, на Исайю падают розоватые лучи полуночного солнца. Он не просыпается — он не спал целые сутки, мы не могли заснуть при этом нескончаемом свете, и теперь он свалился без сил. Может быть, он мой ребенок, так я это чувствую, и я смотрю на его грудь и на его шею, а смуглая, без единого изъяна, кожа движется от его дыхания, и учащенно бьется пульс.

Тогда я подходила к зеркалу и, сняв блузку, смотрела на свою собственную грудь и на свою шею. осознавая, что когда-нибудь всего этого не будет, даже того, что я чувствую к нему, когда-нибудь не будет. Но к тому времени он все еще будет существовать, а после него — его дети или другие дети, колесо детей, цепь, спираль, поднимающаяся в бесконечность.

Когда я вот так чувствовала конец и продолжение всего, я бывала очень счастлива.

По-своему, я и сейчас счастлива. Я сняла с себя одежду и встала перед зеркалом.

Если бы кто-нибудь заинтересовался смертью, он мог бы с большой пользой посмотреть на меня. Я сняла свои бинты. На коленях содрана кожа. На животе — широкий желто-синий кровоподтек, в том месте, куда Яккельсен ударил меня свайкой. На обеих ладонях — кровоточащие, незаживающие раны. На затылке шишка величиной с чайное яйцо, в одном месте лопнула и слезла кожа. И к тому же я еще из скромности не сняла свои белые носки, так что не видно моей вспухшей лодыжки, и не говорю о всевозможных синяках и коже на голове, которая периодически все еще болит от ожога.

Я похудела. Превратилась из худой в тощую. Было слишком мало сна — глаза ввалились. И все же я улыбаюсь этой чужой женщине в зеркале. Счастье и несчастье в жизни не подчиняются элементарным законам математики, не подчиняются нормальному распределению. На борту “Кроноса” находится один из немногих людей на земле, из-за которых стоит оставаться в живых.

Он звонит ровно в 17 часов. Впервые я испытываю нежность к переговорному устройству.

— С-смила, в медицинской каюте через пятнадцать минут.

У него с телефонами так же, как и у меня. Он едва успевает сказать то, что собирался, как уже стремится отойти от аппарата.

— Фойл, — говорю я. Я никогда раньше не произносила его фамилию. На языке чувствуется сладость. — Спасибо за вчерашний день.

Он не отвечает. Устройство щелкает, лампочка гаснет.

Я надеваю синюю рабочую одежду. Делаю я это не случайно. Ничего не бывает случайным,

когда я одеваюсь. Конечно же, я могла бы одеться красиво. Даже сейчас я могла бы одеться красиво. Но синяя одежда — это форма на “Кроносе”, символ того, что сейчас мы встречаемся в других условиях, что мы противопоставлены всему миру иначе, чем когда-либо раньше.

Я долго стою у двери, прислушиваясь, прежде чем выхожу в коридор.

Я не могу представить себе, что может существовать что-нибудь похожее на христианский ад. Но того, что существует старое гренландское царство мертвых, я вовсе не исключаю. Если посмотреть на те неприятности, которые встречаешь на своем пути, пока живешь, трудно поверить, что все это прекратится только потому, что ты умер.

Если в царстве мертвых будут тайные свидания с возлюбленным, то их прелюдия будет наверняка такой же, как вот эта. Я двигаюсь от одной дверной ниши к другой. “Кронос” для меня теперь уже не просто судно, это скорее поле риска. Я пытаюсь заранее просчитать, где этот риск может превратиться в опасность. Когда кто-то выходит из спортивной каюты, я захожу в туалет и сижу там, пока не захлопнется дверь за тем, кто вышел. Через дверную щель мне видно, как мимо проходит Мария. Быстро, не глядя по сторонам. Не только мне известно, что “Кронос” представляет собой гибельный мир.

Я никого не встречаю, поднимаясь по лестнице. Дверь на мостик закрыта, в штурманской рубке темно.

Перед медицинской каютой я останавливаюсь. Я поправляю одежду, без косметики я чувствую свое лицо голым.

В каюте темно, занавески задернуты. Закрыв за собой дверь, я встаю к ней спиной. Я ощущаю свои губы. Мне хочется, чтобы он вышел из темноты и поцеловал меня.

Тонкий, прохладный, цветочный запах доносится до меня. Я жду.

Свет загорается не на потолке, а над койкой. Нечто вроде операционной лампы создает на ее черной коже желтые круги света, погружая оставшуюся часть каюты в полумрак.

На стуле, положив сапоги на койку, сидит Тёрк. У стены, в полутьме, стоит Верлен. На краю койки, покачивая ногами, сидит Катя Клаусен. Других людей в каюте нет.

Я вижу себя со стороны. Может быть потому, что слишком больно оставаться внутри себя. Мне наплевать на эту троицу, мне наплевать на самое себя. Это с механиком я говорила мгновение назад. Это он позвал меня сюда.

Предел, для всех нас есть предел. Есть предел нашей настойчивости, предел тому, сколько раз можно пытаться искать благосклонности у жизни. Тому, сколько ее отказов можно вытерпеть.

— Вынимай все из карманов.

Это Верлен. Это моя первая возможность увидеть разделение труда между ними. Я предполагаю, что Верлен отвечает за физическое насилие.

Я выхожу на свет и кладу свой фонарик и ключи на койку. Непонятно, зачем здесь женщина. И в то же мгновение я получаю объяснение этому. Верлен кивает ей, и она подходит ко мне. Мужчины отворачиваются, пока она обыскивает меня. Она гораздо выше меня ростом, но довольно ловкая. Она начинает с того что, встав на колени, ощупывает лодыжки, а потом

поднимается вверх. Она находит отвертку и футляр для иголок Яккельсена. В конце концов, она снимает с меня мой ремень.

Тёрк не смотрит на то, что она нашла. Но Верлен взвешивает это на ладони.

Как это произойдет? Успею ли я увидеть это?

Тёрк встает.

— Ты официально находишься под арестом.

Он не смотрит на меня. Мы оба знаем, что любая ссылка на формальности — это часть той же самой иллюзии, что и наша взаимная вежливость. Это последнее, что осталось между нами недосказанным.

Он стоит, опустив глаза. Потом медленно качает головой, и по его лицу пробегает что-то похожее на удивление.

— Ты замечательно блефуешь, — говорит он. — Я бы предпочел сидеть в “вороньем гнезде” и слушать, твою ложь, чем разгуливать среди всех этих скучных истин.

Минуту все они стоят неподвижно. Потом уходят.

Дверь закрывает Верлен. Он останавливается в дверном проеме. У него усталый вид. Есть что-то искреннее в его молчании. Оно говорит мне, что это не камера, а все это не арест. Это начала конца, который наступит очень скоро.

ЛЁД

1

В воскресной школе нас учили, что солнце — это Господь наш Иисус Христос, в интернате мы впервые услышали, что это непрерывный термоядерный взрыв.

Для меня оно всегда будет Небесным Клоуном. В моем первом сознательном воспоминании о солнце я, сощурив глаза, смотрю прямо на него, хорошо понимая, что это запрещено, и думаю, что оно одновременно и угрожает, и смеется, как лицо клоуна, когда он мажет его кровью и пеплом, и берет в зубы палочку, и, незнакомый, вселяющий ужас и радостный, идет навстречу нам, детям.

Теперь, прямо перед тем как солнечный диск коснется горизонта, где он на мгновение спасается от черной пелены облаков, отбрасывая огненный свет на лед и на корабль, он повторяет стратегию клоуна — сгибаясь как можно ниже, спасается от тьмы. Опасная сила унижения.

“Кронос” движется по направлению ко льду. Я вижу его на некотором расстоянии, неясно из-за десятимиллиметрового непробиваемого стекла, покрытого снаружи кристаллизованными точечками соли. Это ничего не меняет, я чувствую его так, как будто я стою на нем.

Это плотный полярный лед, и сначала все вокруг серое. Узкий канал, который пробивает “Кронос”, похож на поток лавы. Льдины, большинство из которых длиной с судно, похожи на

слегка приподнятые, разрушенные морозом обломки скал. Это абсолютно безжизненный мир.

Потом солнце скрывается за облаками, словно пылающий бензин.

Ледяной панцирь образовался в прошлом году в Ледовитом океане. Оттуда он спустился между Шпицбергенем и восточным побережьем Гренландии, обогнул мыс Фарвель и прошел вверх вдоль западного побережья.

Он создан в красоте. Однажды в октябре температура за 4 часа падает до минус 30 градусов по Цельсию, и море становится гладким, как зеркало. Оно готовится воссоздать чудо творения. Облака и море сливаются в завесу серого, тяжелого шелка. Вода становится вязкой и чуть розоватой, словно ликер из диких ягод. Синий туман морозного дыма отрывается от поверхности воды и плывет над водным зеркалом. И вода отвердевает. Холод извлекает из темноты моря сад роз, белый ковер ледяных цветов, созданных солеными, замерзшими водяными каплями. Они могут прожить четыре часа, могут прожить двое суток.

В это время кристаллы льда строятся вокруг числа шесть. В разные стороны от шестиугольников, словно в пчелиных сотах из застывшей воды, протягиваются шесть рук к новым ячейкам, которые снова — сфотографированные через цветной фильтр и сильно увеличенные — растворяются в новых шестигранниках.

Потом образуется ледяная крошка, ледяное сало, блинчатый лед, пластинки которого смерзаются в льдины. Лед выделяет солевой раствор, морская вода замерзает снизу. Лед ломается, поверхностное сжатие, осадки и новый мороз делают его поверхность неровной. И в один прекрасный день лед начинает дрейфовать.

Вдали находится hiku — неподвижный лед, континент замерзшего моря, вдоль которого мы плывем.

Вокруг “Кроноса”, в том фьорде, который создали — не до конца понятные и описанные — местные особенности течения, повсюду hikuag и puktaaq — льдины. Опаснее всего синие и черные куски пресноводного льда — тяжелые и глубоко сидящие, которые из-за того, что они прозрачны, принимают цвет окружающей их воды.

Лучше виден белый глетчерный лед и сероватый морской лед, окрашенные воздушными включениями.

Поверхность льдин — это пустынный пейзаж, состоящий из ivuniq — скопления льда, нагнанного течением и возникшего в результате столкновения льдин, maniilaq — глыб льда, и aruhiniq — снега, превращенного ветром в прочные баррикады.

Тем же ветром созданы на льду agiurpiniq — снежные полосы, вдоль которых едешь на санях, когда на лед опускается туман.

Пока что погода, море и лед позволяют “Кроносу” двигаться вперед. Лукас сейчас сидит в своем “вороньем гнезде”, проводя свое судно по каналам, ищет killaq — полыньи, направляет нос корабля на молодой лед, толщина которого менее 30 сантиметров, и раскалывает его весом судна. Он движется вперед. Потому что здесь такое течение. Потому что “Кро-нос” так сконструирован. Потому что у него есть опыт. Но это все только до поры до времени.

Специально оборудованное для плавания во льдах судно Шеклтона “Эндьюранс” было раздавлено паковым льдом в море Уэдделла, “Титаник” потерпел крушение. “Ханс Хедтофт” тоже. И “Протеус”, когда он пытался спасти экспедицию лейтенанта Гриливо во время второго

международного полярного года. Несть числа потерям в полярном судоходстве.

Соппротивление льда слишком сильно, чтобы стоило стремиться к его покорению. Вот сейчас я вижу, как в результате столкновения разбились края льдин и возникли двадцатиметровые нагромождения, под которыми лед уходит под воду на глубину 30 метров. Мороз усиливается. Сейчас, в это мгновение, я чувствую, как море стремится сомкнуться вокруг нас, что лишь только случайное, временное соединение разных факторов — воды, ветра и течения — позволяет нам плыть дальше. В 100 милях к северу паковый лед лежит словно стена, через которую ничто не может пробиться. К востоку высятся прочно замерзшие айсберги, отколовшиеся от ледника Jakobshavn. За один год с него сползли 1000 айсбергов, 140 миллионов тонн льда, вставшего между нами и землей как застывшая цепь гор на расстоянии 75 морских миль от берега. В любой момент времени на четвертой части мирового океана есть плавающий лед, пояс дрейфующего льда в Антарктиде составляет 20 миллионов квадратных километров, вокруг Гренландии и Канады — от 8 до 10 миллионов квадратных километров.

И все же они хотят покорить лед. Они хотят плавать по нему, строить на нем нефтяные платформы и таскать столообразные айсберги от Южного полюса до Сахары, чтобы орошать почву в пустынях.

Есть проекты, в которых меня совершенно не интересуют предварительные вычисления. Пустая трата времени — пытаться рассчитать неосуществимое. Можно попытаться жить со льдом. Нельзя жить против него или пытаться переделать его и жить вместо него.

В чем-то лед такой понятный — вся его история запечатлена на поверхности. Торосы, глыбы, тающий и снова замерзающий лед. Мозаичная смесь льда различных возрастов, большие куски sikussaq — старого льда, созданного в защищенных фьордах, со временем оторвавшегося и выдавленного в море. Теперь из тех облаков, за которые нырнуло солнце, в свете последних солнечных лучей, опускается на землю тонкая пелена qanik — медленно падающего снега.

Между белой поверхностью и моим сердцем протянута нить. Словно это продолжение солевого дерева внутри льда.

Очнувшись, я понимаю, что спала. Должно быть, сейчас ночь.

"Кронос" все еще плывет. Его движения говорят мне о том, что Лукас все еще пробивается через молодой лед.

Я осматриваю ящики в шкафчике с лекарствами. Они заперты. Я оборачиваю локоть свитером и выдавливаю стекло дверцы. На полках лежат ножницы, зажимы, пинцеты, отоскоп, бутылочка спирта, йод, хирургические иглы в стерильной упаковке. Я нахожу два одноразовых пластмассовых скальпеля и рулончик лейкопластыря. Соединяю две тоненькие узкие пластмассовые ручки и обматываю их пластырем. Теперь они приобретают некоторую прочность.

Не было слышно никаких шагов, дверь просто открывается. Входит механик с подносом. Он кажется более усталым и более ссутулившимся, чем в последний раз, когда я его видела. Его взгляд останавливается на разбитом стекле.

Я прижимаю скальпель к бедру. Ладони у меня покрываются потом. Он смотрит на мою руку, и я откладываю скальпели на кровать. Он ставит поднос на стол.

— У-урс очень старался.

Я чувствую, что меня стошнит, если я посмотрю на еду. Он подходит к двери и закрывает ее. Я отодвигаюсь. Самообладание держится на волоске.

Самое страшное — это не гнев. Самое страшное — это желание, скрывающееся за гневом. Можно смириться с чистым чувством без всяких примесей. Но меня всерьез пугает таящаяся в глубине души потребность прижаться к нему.

— Ты с-сама бывала в экспедициях, Смила. Ты з-знаешь, что наступает момент, когда от тебя ничего не з-зависит. когда ты не можешь остановиться.

Я думаю, что в каком-то смысле я его совсем не знаю, что я никогда не была с ним вместе в постели. С другой стороны, есть какая-то холодная, благородная последовательность в том, что он ни о чем не жалеет. Как только представится возможность, я вышвырну его из своей жизни. Но сейчас он — мой единственный, хрупкий, нереальный шанс.

— Мне надо тебе кое-что показать, — говорю я. И рассказываю, что именно.

Он неестественно улыбается.

— Это невозможно, Смила.

Я открываю дверь, чтобы он ушел. До этого момента мы говорили шепотом, теперь я уже не думаю об осторожности.

— Исая, — говорю я. — В чем-то это и твоя вина. Теперь оказывается, что и ты стоял на крыше за его спиной.

Он хватает меня за плечи и переносит назад на кровать.

— От-ткуда т-ты можешь з-знать, Смила?

Он гораздо больше заикается. На его лице написан страх. Наверное, теперь на борту “Кроноса” нет ни одного человека, который бы не боялся.

— Ты не с-сбежишь? И в-вернешься со мной назад? Я готова рассмеяться.

— Куда я денусь, Фойл? Он не улыбается.

— Ландер сказал, что он видел, как ты ходишь по воде.

Я снимаю носки. Между пальцами и передней частью стопы приклеен кусочек пластыря. С его помощью держится ключ Яккельсена.

Нам никто не попадаете по пути. Ют не освещен. Когда я открываю ключом дверь, мы оба ощущаем, что стоим в нескольких метрах от той платформы, где мы менее чем 24 часа назад ждали, чтобы увидеть последнее путешествие Яккельсена. Сознание это не имеет никакого особенного значения. Любовь проистекает оттого, что есть резервы, она проходит, когда живешь на уровне инстинктов, когда остаются только простые потребности в еде, сне и самосохранении.

Я зажигаю свет на нижнем этаже. Море света по сравнению с лучом фонарика. Может быть, это неосторожно. Но ни на что другое нет времени. Самое позднее через несколько часов мы будем на месте. Тогда будет включен свет на палубе, тогда все эти пустынные комнаты наполнятся людьми.

Мы останавливаемся перед стеной в конце коридора.

Я сделала ставку на свое удивление. Удивление по поводу того, что стена, согласно моим подсчетам, выдается на пять футов перед гидравлической системой управления. По поводу того, что где-то за этой стеной есть что-то вроде генератора.

Я смотрю на механика. И совершенно не понимаю, почему он все-таки пошел со мной. Может быть, он сам этого не понимает. Может быть, все из-за того, что невероятное способно притягивать. Я показываю на дверь слесарной мастерской. — Там есть молоток.

Кажется, он меня не слышит. Он берется за рейку, прибитую по краю стены, и отдирает ее. Разглядывает дырки от гвоздей. Дерево свежее.

Он засовывает пальцы в щель между доской и переборкой и тянет на себя. Она не поддается. С каждой стороны примерно по 15 гвоздей. Потом он сильно дергает, и стена оказывается у него в руках. Это кусок фанеры толщиной 10 миллиметров и площадью 6 квадратных метров. В его руках он похож на дверцу шкафа.

За ней стоит холодильник. Высотой два метра, шириной метр, сделанный из нержавеющей стали и напоминающий мне магазинчики, где продавали мороженое в 60-х годах в Копенгагене, когда я впервые увидела, что люди тратят энергию, чтобы сохранять холод. Чтобы он не сместился во время качки, его за ножку прикрепили металлической скобкой к тому, что, очевидно, раньше являлось задней стеной коридора. На дверце холодильника висит цилиндрический замок.

Он приносит отвертку. Отвинчивает скобку. Потом берется за холодильник, который кажется неподъемным. Напрягаясь изо всех сил, он вытягивает холодильник на полметра вперед. Есть что-то выверенное в его движениях, сознание того, что напрягаться изо всех сил надо только в течение доли секунды. Он делает еще три рывка, и холодильник оказывается развернутым задней стороной к нам. В перочинном ноже у него есть крестообразная отвертка. В задней стенке примерно 50 винтов. Он вставляет отвертку в шлиц и, придерживая винт указательным пальцем левой руки, вращает ее влево, не толчками, а равномерно. Винты вылезают из отверстий сами собой. У него уходит не больше десяти минут на то, чтобы вынуть их все. Он аккуратно собирает их в карман и снимает заднюю крышку вместе с проводами, ребрами охлаждения, компрессором и испарителем.

Даже в этих обстоятельствах то, что мы видим, представляется моему сознанию одновременно и банальным, и необычным. Мы смотрим на холодильник сзади.

Он заполнен рисом. Сверху донизу аккуратно стопками сложены прямоугольные коробочки.

Он берет коробку, открывает ее и достает пакетик. Я успеваю подумать, что мне все равно особенно нечего терять. Потом я вижу, как напрягается его лицо. Я снова смотрю на пакетик. Он матовый, но все же можно рассмотреть содержимое. Это не рис. Это вакуумная упаковка какого-то плотного и желтоватого, словно белый шоколад, материала.

Он открывает нож и разрезает пакетик. С тихим звуком тот засасывает в себя воздух. Потом на его ладонь высыпается комковатый, темный порошок, как будто в песок, которым измеряют время в песочных часах, вылили жидкое масло.

Он наугад выбирает несколько коробок, открывает, и, заглянув в них, аккуратно укладывает на место.

Привинтив заднюю крышку, он заталкивает холодильник на место. Я не помогаю ему, я больше не могу прикасаться к нему. Он привинчивает металлическую скобу, ставит стенку, приносит молоток и аккуратно прибивает ее на место. Все это он делает рассеянно и напряженно.

Только потом мы смотрим друг на друга.

— Майам, — говорю я. — промежуточный между чистым опиумом и героином продукт. Содержащий масла, поэтому его надо хранить в холодильнике. Его разработал Тёрк. Мне рассказывал об этом Раун. Это часть сделки между Тёрком и Верленом. Кусочек пирога для Верлена. На обратном пути мы должны зайти в порт. Может быть, в Хольстейнсборг, может быть, в Нуук. Может быть, у него есть связи на “Гринлэнд Стар”. Еще каких-нибудь десять лет назад они привозили сюда контрабандой спиртное и сигареты. Это время уже прошло. Это уже стало “добрым старым временем”. Теперь в Нууке много кокаина. Теперь гренландская верхушка живет как европейцы. Тут прекрасный рынок сбыта.

В глазах у него мечтательное, далекое выражение. Я должна добраться до него.

— Яккельсен, должно быть, обнаружил это. Он, должно быть, понял это. И случайно выдал себя. Он, наверное, принял дозу и переоценил свои возможности. Стал нажимать на них. Это заставило их принять меры. Тёрк устроил все с телеграммой. Он был вынужден это сделать. Но они с Верленом ненавидят друг друга. Они — из двух разных миров. Они вместе только потому, что могут быть полезны друг другу.

Он наклоняется ко мне и берет меня за плечи.

— Смилла, — шепчет он, — когда я был маленьким, у меня был такой заводной танк на гусеницах. Если перед ним ставили какой-нибудь предмет, он мог карабкаться вверх по нему, потому что у него была низкая передача. Если предмет нависал над ним, то он, поворачивая, двигался вдоль него и находил другой способ перебраться на другую сторону. Его нельзя было остановить. Ты — такая машина Смилла. Тебя надо было держать подальше от всего этого, но ты все время вмешивалась. Ты должна была остаться в Копенгагене, но неожиданно оказываешься на борту. Потом они сажают тебя под замок, это моя идея — так безопаснее всего для тебя. Дверь запирают, хватит о Смилле, и вот пожалуйста — ты уже выбралась. Ты все время неожиданно возникаешь. Ты такая машина, Смилла, ты вроде такой детской чашки-непроливайки, которая все время поднимается.

В его голосе борются несоединимые чувства.

— Когда я была маленькой, — говорю я, — мой отец подарил мне плюшевого медвежонка. Раньше у нас были только те куклы, которых мы сами делали. Он продержался неделю. Сначала он испачкался, потом у него выпала шерсть, а потом он порвался, и то, чем он был набит, высыпалось, а кроме этого, у него внутри ничего не было. Ты — такой медвежонок, Фойл.

Мы сидим рядом на кровати в его каюте. На столе стоит одна из плоских бутылок, но пьет только он один.

Он сидит, согнувшись, опустив ладони между коленями.

— Это метеорит, — говорит он, — нечто вроде камня. Тёрк говорит, что он старый. Он застрял подо льдом в чем-то вроде седловины скалы.

Я вспоминаю фотографии среди бумаг Тёрка. Мне надо было еще тогда сообразить. То, что

напоминало рентгеновские снимки — Видманштеттова структура. Есть в любом школьном учебнике. Иллюстрация сочетания никеля и железа в метеоритах.

— Зачем?

— Тот, кто находит что-нибудь интересное в Гренландии, должен сообщить об этом в Государственный музей в Нууке. Оттуда они позвонили бы в Минералогический музей и Институт Металлургии в Копенгагене. Находка была бы зарегистрирована как нечто, имеющее национальный интерес, и была бы реквизирована.

Он наклоняется вперед.

— Тёрк говорит, что он весит 50 тонн. Это самый большой метеорит в мире. У них с собой в 91-м году были кислород и ацетилен. Они отрезали несколько кусочков. Тёрк говорит, что в нем алмазы. И вещества, которых нет на земле.

Если бы не эта сложная ситуация, мне бы, наверное, показалось, что в нем есть что-то трогательное, что-то мальчишеское. Воодушевление ребенка при мысли о загадочном веществе, алмазы, золото под воротами радуги.

— А Исайя?

— Он был в 1991 году. Со своим отцом. Так, конечно, и должно было быть.

— Он убежал с судна в Нууке. Им пришлось оставить его там. Лойен нашел его и отправил домой.

— А ты, Фойл, — говорю я. — Что тебе от него было нужно? Когда он понимает, что я имею в виду, лицо его становится замкнутым и очень суровым. В эти минуты, когда все равно уже слишком поздно, я проникаю в потаенные уголки его души.

— Конечно, я его не трогал. Там на крыше. Я любил его, как никого. Он заикается и не может закончить предложение. Ждет, пока успокоится.

— Тёрк знал, что он что-то взял. П-пленку. Глетчер переместился. Они искали две недели и не могли его найти. Н-наконец Тёрк нанял вертолет и полетел в Туле. Чтобы найти тех эскимосов, которые участвовали в экспедиции 66-го года. Он нашел их. Но они не хотели ехать с ним. Так что он попросил их описать маршрут. Эту пленку взял Барон. Ее ты и нашла.

— А “Белое Сечение”, как ты туда попал? Я знаю ответ заранее.

— Винг, — говорю я. — Это Винг. Он поселил тебя там, чтобы ты приглядывал за Исайей и Юлианой.

Он качает головой.

— Наоборот, конечно же, — говорю я, — ты был там раньше. Винг переселил туда Исайю и Юлиану, чтобы они были поблизости от тебя. Может быть, чтобы выяснить, что они знают и помнят. Именно поэтому ходатайство Юлианы о том, чтобы ее переселили этажом ниже, не было удовлетворено. Они должны были быть поблизости от тебя.

— Меня нанял Сайденфаден. О двух других я раньше и не слышал. Пока ты не добралась до них. Я нырлял для Сайденфадема. Он инженер по транспорту. Тогда он торговал антиквариатом.

Я доставал ему идолов со дна озера Лиайя, в Бирме, до введения там чрезвычайного положения.

Я вспоминаю чай, который он заваривал мне, его тропический вкус.

— Потом я случайно встретил его в Копенгагене. Я был безработным. Негде было ж-жить. Он предложил мне приглядывать за Бароном.

Нет человека, которому не становится легче на душе, когда приходится рассказывать правду. Механик — не прирожденный лжец.

— А Тёрк?

Взгляд его становится отсутствующим.

— Человек, который всегда добивается своей цели.

— Что он знает о нас? Он знает, что мы сейчас здесь сидим? Он качает головой.

— А ты, Фойл, кто ты такой?

В его глазах пустота. Это тот вопрос, на который он никогда в жизни не пытался дать ответ.

— Человек, который хочет немного заработать.

— Надеюсь, что ты хорошо зарабатываешь, — говорю я. — Ведь эти деньги должны компенсировать смерть двух детей.

Губы его сжимаются.

— Дай мне глоток. — говорю я.

Бутылка пуста. Он достает из ящика еще одну. Я успеваю заметить там круглую синюю пластмассовую банку и что-то прямоугольное, обернутое в желтую тряпку.

Спиртное пьется быстро.

— Лойен, Винг, Андреас Фаин?

— Они б-были отстранены с самого начала. Они с-слишком старые для этого. Это должна была быть наша экспедиция.

За этими стереотипными формулировками мне слышится голос Тёрка. Есть что-то привлекательное в невинности. Но лишь пока ее не соблазнили. Потом она представляет собой жалкое зрелище.

— Так что когда я начала причинять слишком много сложностей, вы договорились, что ты начнешь следить и за мной?

Он качает головой.

— Я ничего не знал обо всем этом, не знал о Тёрке или Кате. То, что удалось узнать нам с тобой, было неожиданным для меня.

Теперь я вижу его таким, каков он есть. Это зрелище не приносит разочарования. Просто все сложнее, чем я раньше думала. Всякое увлечение упрощает. Как и математика. Видеть его ясно — это значит быть объективной, оставить иллюзию о герое и вернуться обратно к действительности.

А может быть я просто опьянела от первых глотков. Вот что получается, когда пьешь так редко. Пьянеешь, как только первые молекулы впитываются слизистой оболочкой рта.

Он встает и подходит к иллюминатору. Я наклоняюсь вперед. Одной рукой я беру бутылку, другой вытягиваю ящик и ощупываю тряпку. Она обмотана вокруг рифленого металлического предмета цилиндрической формы.

Я смотрю на механика. Вижу его тяжесть, его медлительность, его энергию, его жадность и его простодушие. Его потребность в руководстве, опасность, которую он собой представляет. Я вижу его заботу, его тепло, его терпение, его страстность. И я вижу, что он по-прежнему мой единственный шанс.

Потом я закрываю глаза и отметаю все лишнее в сторону — нашу ложь друг другу, вопросы, на которые не получены ответы, обоснованные и болезненные подозрения. Прошлое — это роскошь, которой мы более не можем себе позволить.

— Фойл, — говорю я, — ты будешь нырять у того камня?

Он кивнул. Я не слышала, чтобы он что-то сказал. Но он кивнул. Этот его ответ на минуту заслоняет собой все другое.

— Почему? — слышу я свой вопрос.

— Он лежит в талых водах. Он почти целиком в воде. Он должен быть близко от поверхности льда. Сайденфаден думает, что не трудно будет спуститься к нему. Либо через туннель с талыми водами, либо по трещинам в шахте, которая находится чуть выше седловины. Сложно будет его поднять. Сайденфаден считает, что нам надо расширить туннель, который идет от озера, и вытащить камень через него. Расширять его надо при помощи взрывчатки. Вся эта работа будет проходить под водой.

Я сажусь рядом с ним.

— Вода, — говорю я, — замерзает при температуре около 0 градусов. Как Тёрк объяснил тебе то, что вокруг камня — вода?

— Дело разве не в давлении льда?

— Да, дело может быть в давлении льда. Чем дальше опускаешься в ледник, тем теплее становится. Из-за давления ледяных масс над тобой. Температура материкового льда минус 23 градуса на глубине 500 метров. Еще на 500 метров глубже она минус 10 градусов. Поскольку температура таяния зависит от давления, то, действительно, при температурах ниже нуля встречается вода. Возможно, при минус 1, 6 или 1, 7 градуса. Бывают теплые ледники, в Альпах или Скалистых горах, где на глубине 30 метров или ниже встречаются талые воды.

Он кивает.

— Так Тёрк это и объяснял.

— Но Гела Альта находится не в Альпах. Это так называемый “холодный” глетчер. И он очень маленький. В настоящий момент температура его поверхности будет минус 10 градусов. А температура у основания — примерно такая же. Зависящая от давления температура таяния будет примерно 0 градусов. На этом глетчере не может образоваться ни капли воды в жидком состоянии.

Глядя на меня, он пьет. То, что я сказала, нисколько не нарушило его равновесия. Возможно, он этого не понял. Возможно, Тёрк вызывает у людей доверие, которое заслоняет от них весь окружающий мир. А может быть, это совершенно обычная вещь — лед не понятен тому, кто не вырос с ним. Я пытаюсь использовать другую тактику.

— Они рассказали тебе, как его нашли?

— Его нашли гренландцы. В доисторическое время. О нем говорится в их легендах. Именно поэтому они брали с собой Андреаса Фаина. Тогда метеорит, может быть, еще лежал на льду.

— Когда метеор входит в атмосферу, — говорю я, — на расстоянии примерно 150 километров от поверхности земли, сначала он испытывает воздействие ударной волны, как будто он ударился о бетонную стену. Наружный слой оплавляється. Мне попадались такие черные полосы метеоритной пыли на полярном льду. Но при этом снижается скорость метеора и падает его температура. Если он достигает поверхности земли, не разбившись на кусочки, то обычно имеет среднюю температуру земли — примерно 5 градусов. Так что он не вплаывается в лед. Но и не остается на поверхности. Сила притяжения медленно и неотступно тянет его вниз. На поверхности льда никогда не встречали метеоритов заметного размера. И никогда не встретят. Сила притяжения увлечет их вниз. Они будут поглощены и со временем вынесены в море. А если они попадут в подводную трещину, то будут раздавлены. Глетчеру не свойственна деликатность. Он представляет собой помесь гигантского рубанка с камнедробилкой. Он не окружает всякие геологические безделушки волшебными пещерами. Он затягивает их вниз, перемалывает в порошок и высыпает его в Атлантический океан.

— Тогда вокруг него должны быть горячие ключи.

— На Гела Альта не обнаружено никакой вулканической активности.

— Я видел ф-фотографии. Он лежит в воде.

— Да, — говорю я. — Я тоже видела фотографии. Если все это не надувательство, то он находится в воде. Я очень надеюсь, что это надувательство.

— Почему?

Я думаю, сможет ли он понять это. Но другого выхода нет — придется попробовать сказать правду. То, что я считаю правдой.

— Я точно не знаю, но похоже, что тепло исходит от камня. Что он излучает энергию. Может быть, своего рода радиоактивность. Но возможен и другой вариант.

— Какой?

Я вижу по нему, что и для него эти мысли не новы. Он тоже понимал, что не все здесь в порядке. Но он вытеснял эти мысли из своего сознания. Он — датчанин. Всегда лучше удобное замалчивание, чем удручающая правда.

— Передний трюм “Кроноса” переоборудован. Он может быть стерилизован. Он оснащен устройством подачи кислорода и атмосферного воздуха. Он сделан так, как будто они собираются перевозить крупное животное. Мне пришла в голову мысль, что Тёрк, может быть, считает, будто камень, который вы должны поднять, живой.

В бутылке больше ничего не осталось.

— Ты это хорошо придумал с пожарной сигнализацией. Он устало улыбается.

— Только так можно было положить бумаги на место и не привлечь внимания к тому, что они мокрые.

Мы сидим на разных концах кровати. “Кронос” плывет все медленнее и медленнее. В моем теле тихо разгорается яростная схватка между двумя видами отравления: кристально ясной нереальностью амфетамина и зыбким наслаждением алкоголем.

— Когда Юлиана рассказала тебе, что Лойен регулярно обследовал Исайю, я впервые подумала, что речь идет о какой-то болезни. Но только когда я увидела рентгеновские снимки, я окончательно убедилась в этом. Снимки после экспедиции 66-го года. Их раздобыл Лагерман из больницы Королевы Ингрид в Нууке. Смерть наступила не от взрыва. В их организм проник какой-то паразит. Возможно, своего рода червь. Но размером больше, чем какой-либо из известных. И более быстрый. Они умерли в несколько дней. Возможно, в несколько часов. Лойена интересовало, не заражен ли Исайя.

Он качает головой. Он не хочет верить в это. Он ведь ищет сокровище. Алмазы.

— Именно поэтому сначала всем этим занимался Лойен. Он ученый. Деньги — это второстепенное. Речь шла о Нобелевской премии. С того момента в сороковых годах, когда он это обнаружил, он предвидел научную сенсацию.

— Почему они мне этого не рассказали?

Все мы живем, слепо доверяя тем, кто принимает решения. Слепо доверяя науке. Ведь мир безграничен, а любая информация неопределенна. Мы признаем, что земной шар круглый, что ядра атома держатся вместе, словно капли, что пространство изгибается, что необходимо вмешиваться в генетический материал. Не потому, что мы знаем, что это правильно, а потому, что мы верим тем, кто нам это говорит. Все мы — прозелиты науки. И в отличие от последователей других религий мы более уже не можем перешагнуть расстояние, отделяющее нас от наших проповедников. Сложности возникают, когда натыкаешься на прямую ложь, и эта ложь имеет непосредственное отношение к твоей жизни. Состояние механика сродни панике ребенка, впервые поймавшего своих родителей на лжи, которую он всегда за ними подозревал.

— Отец Исайи нырял, — говорю я. — Остальные, очевидно, тоже. Большинство паразитов проходит ряд стадий в воде. Ты должен нырять. И ты должен заставить других это делать. Ты — последний человек, которому следует знать правду.

От волнения он вскакивает на ноги.

— Ты должен помочь мне позвонить, — говорю я.

Когда мы встаем, я нащупываю в ящике металлический предмет, завернутый в тряпку, и плоскую, круглую коробку.

Радиорубка находится за мостиком, напротив офицерской кают-компания. Мы проходим туда, никем не замеченные. Перед дверью я останавливаюсь. Он качает головой.

— Там никого нет. По требованию ИМО здесь два раза в час должен кто-нибудь быть, но у нас на борту нет радиста. Поэтому они настроили УКВ-приемник на 2182 килогерца, международную радиотелефонную частоту бедствия, и подключили к сигнализации, которая сработает, если будет подан сигнал бедствия.

Ключ Яккельсена не подходит к этой двери. Мне хочется закричать.

— Я должна попасть туда, — говорю я. Он пожимает плечами.

— Ты в долгу перед нами обоими, — говорю я.

Еще мгновение он колеблется. Потом осторожно берется за ручку и нажимает на дверь. Не слышно треска дерева, слышно лишь, как язычок, царапая стальную рамку, выдавливает ее внутрь.

Помещение очень маленькое, тесно заставленное. Маленький УКВ-приемник, двойной длинноволновый передатчик размером с холодильник, ящик, каких я раньше не видела, с вмонтированным телеграфным ключом, стол, стулья, телетайп, телефакс, кофеварка, сахар и пластмассовые стаканчики. На стене часы, стекло которых оклеено бумажными треугольниками разных цветов, радиотелефон, календарь, сертификат технического освидетельствования, лицензия, выданная Сонне на то, что он может работать радиооператором. На столе привинчен магнитофон, лежат разные руководства, открытый журнал радиосвязи.

Я пишу номер на листке бумаги.

— Это Раун, — говорю я.

Он замирает. Я беру его за руку и думаю о том, что последний раз в жизни касаюсь его.

Он садится в кресло и преображается. Движения у него такие же, как и в его кухне — быстрые, точные и уверенные. Он стучит по циферблату часов.

— Треугольники обозначают установленные во всем мире промежутки времени, когда каналы должны быть свободны для сигналов бедствия. Если мы нарушим это правило, сработает сигнализация. Для УКВ-приемника это с 30 до 33 минут каждого часа и с начала каждого часа до трех минут следующего. У нас есть три минуты.

Он дает мне трубку, сам берет наушник. Я сажусь рядом с ним.

— Это бессмысленно в такую погоду и на таком расстоянии до берега, — говорит он.

Сначала я понимаю, что он делает, хотя и не могла бы это проделать сама.

Он устанавливает выходную мощность в 200 ватт. При такой мощности передатчик может заглушить свой собственный сигнал, но пасмурная погода и расстояние от берега не оставляют выбора.

Слышен лишь скрип в пустой комнате, потом пробивается голос.

— This is Sisimiut. What can we do for you? <Это Сисимиут. Чем мы можем вам помочь? (англ.) (Примеч. перев)>

Он выбирает для передачи несущую частоту. В передатчике аналоговое отсчетное устройство и автоматическая подстройка частоты. Теперь он все время будет настраиваться на несущую частоту, а разговор будет идти на боковой полосе частот. Самый точный способ и, может быть, единственно возможный в такую ночь, как эта.

Прямо перед тем, как его соединяют, приемник ловит канадскую станцию, которая передает классическую музыку в коротковолновом диапазоне. На мгновение я погружаюсь в детские воспоминания. Это Виктор Халкенвад поет “Гуррелидер”. Потом мы слышим Сисимиут. Механик не просит, чтобы ему дали “Люнбю Радио”, он просит соединить его с Рейкьявиком. Когда его соединяют, он просит дать ему Торсхаун.

— Что ты делаешь? — спрашиваю я. Он прикрывает рукой микрофон.

— На всех крупных станциях есть автоматический пеленгатор, который включается, когда раздается звонок. Они заносят счета за разговоры на имя того судна, которое называешь. Гарантией для них является то, что они могут определить местонахождение судна. То есть можно всегда отнести разговор к каким-то координатам. Я ставлю преграду. С каждой новой станцией все труднее определить, откуда звонят. После четвертого пункта это невозможно.

Ему дают “Люнбю Радио”, и он говорит, что звонит со славного судна “Кэнди-2”, и называет номер Рауна. Он смотрит мне в глаза. Мы оба знаем, что если я потребую сделать иначе, потребую прямого звонка, при котором Раун сможет определить местоположение “Кроноса”, он отключит все. Я не спорю. Я и так уже долго на него давила. А нам еще кое-что предстоит.

Он требует, чтобы ему дали линию безопасности — линию без прослушивания. Далеко-далеко, в другой части вселенной звонит телефон. Гудки тихие и неуверенные.

— Какая сейчас погода, Смила?

Я пытаюсь вспомнить ночь и погоду.

— Облака из ледяных кристаллов.

— Это самое плохое. Высокочастотные волны распространяются в соответствии с искривлением атмосферы. Когда идет снег и пасмурно, отражение может помешать волнам.

Телефон звонит монотонно, безжизненно. Я сдаюсь. Отчаяние — это чувство, которое проистекает из желудка.

И тут трубку поднимают.

— Да?

Голос очень близко, совершенно отчетливый, но очень сонный. В Дании должно быть около пяти утра.

Я хорошо представляю ее себе. Такой, какой она была на фотографиях в бумажнике Рауна. Седая, в шерстяном костюме.

— Можно поговорить с Рауном?

Когда она кладет трубку, слышно, как поблизости плачет ребенок. Он, должно быть, спит в их спальне. Может быть, в кровати между ними.

— Раун слушает.

— Это я, — говорю я.

— Поговорим в другой раз.

Голос его очень хорошо слышен, поэтому отказ кажется таким определенным. Я не знаю, что случилось. К тому же я зашла слишком далеко, чтобы размышлять на эту тему.

— Слишком поздно, — говорю я. — Я хочу поговорить о том, что происходит на крышах. В Сингапуре и в Кристиансхаун.

Он не отвечает. Но трубку не вешает.

Невозможно представить себе его в частной жизни. В чем он спит? Как он выглядит сейчас, в кровати, рядом со своим внуком?

— Давайте представим себе, что сейчас вечер, — говорю я, — Мальчик сам возвращается домой из детского сада. Он единственный ребенок, за которым не приходят каждый день. Он идет так, как обычно ходят дети, неровно, подпрыгивая, разглядывая что-то под ногами. Обращая внимание только на то, что поблизости. Как ходят и ваши внуки, Раун.

Я так отчетливо слышу его дыхание, как будто он находится рядом с нами в комнате.

Механик снял один наушник с уха, чтобы одновременно следить за разговором и слушать, не идет ли кто-нибудь по коридору.

— Поэтому он не замечает мужчину, пока тот не оказывается прямо рядом с ним. Тот ждал в машине. На стоянку не выходит ни одного окна. Там почти совсем темно. Середина декабря. Мужчина хватает его. Не за руку, а за одежду. За клапан непромокаемых штанишек, который не может оторваться и где не остается следов. Но он просчитался. Мальчик сразу же узнал его. Они вместе провели несколько недель. Но не потому он запомнил его. Он помнит его по одному из последних дней. Тому дню, когда он видел, как умер его отец. Может быть, он видел, как мужчина заставлял водолазов опять лезть в воду после того, как один из них погиб. В тот момент, когда они еще не поняли, в чем дело. Или, может быть, это само переживание смерти соединилось в воспоминании мальчика с этим человеком. Во всяком случае, он видит перед собой не человека. Он видит угрозу. Так, как дети чувствуют угрозу. Всем своим существом. И сначала он замер. Все дети замирают.

— Это все догадки, — говорит Раун.

Слышно теперь хуже. На мгновение я чуть не теряю связь.

— И ребенок, который находится рядом с вами, — говорю я. — Он бы тоже замер. Вот тут человек и просчитался. Стоящий перед ним мальчик кажется таким маленьким. Он наклоняется к нему. Мальчик словно кукла. Мужчина хочет приподнять и посадить его на сидение. На минуту он его выпускает. Это его ошибка. Он не предусмотрел энергии мальчика. Неожиданно тот бросается бежать. Земля покрыта плотно утоптанном снегом. Поэтому мужчина не может догнать его. У него нет привычки, как у мальчика, бегать по снегу.

Теперь они полны внимания, и тот, кто рядом со мной, и тот, кто находится далеко, на бесконечно огромном расстоянии. И дело не в том, что они слушают меня. Просто нас связывает страх, страх, испытываемый тем ребенком, который есть у всех нас внутри.

— Мальчик бежит вдоль стены дома. Мужчина выбегает на дорогу и перерезает ему путь. Мальчик бежит вдоль пакгаузов. Мужчина следует за ним, скользя, покачиваясь. Но уже взяв себя в руки. Ведь отсюда никуда не убежать. Мальчик оборачивается назад. Мужчина абсолютно спокоен. Мальчик оглядывается. Он перестал думать. Но внутри у него работает моторчик, он будет работать, пока не растратятся все силы. Именно этот моторчик мужчина и не предусмотрел. Неожиданно мальчик взбегают на леса. Мужчина — за ним. Мальчик знает, кто именно преследует его. Это сам страх. Он знает, что его ожидает смерть. Это ощущение сильнее, чем страх высоты. Он добирается до крыши. И бежит по ней вперед. Мужчина останавливается. Может быть, он с самого начала этого и хотел, может быть, идея пришла ему в голову только сейчас, может быть, только сейчас он осознал свои собственные намерения. Понял, что есть возможность устранить угрозу. Избежать того, чтобы мальчик когда-либо рассказал, что он видел в пещере на леднике где-то в Девисовом проливе.

— Это все догадки. Он говорит шепотом.

— Мужчина идет к мальчику. Видит, как он бежит вдоль края, чтобы найти место, где можно спуститься вниз. Дети не могут все сразу увидеть — мальчик, очевидно, не очень хорошо понимает, где он находится, он видит лишь на несколько метров вперед. У края снега мужчина останавливается — он не хочет оставлять следы. Ему бы хотелось обойтись без этого.

Связь пропадает. Механик поворачивает ручки. Связь восстанавливается.

— Мужчина ждет. В этом ожидании как будто таится огромная уверенность в себе. Как будто он знает, что одного его присутствия достаточно. Его силуэт на фоне неба. Как и в Сингапуре. Ведь это было там, Раун? Или он ее столкнул, потому что она была старше и больше владела собой, чем мальчик, потому что он мог подойти к ней вплотную, потому что не было снега, на котором остались бы следы?

Слышится такой отчетливый звук, что мне кажется, он исходит от механика. Но тот молчит.

И снова звук, звук, выражающий боль — это Раун. Я говорю с ним очень тихо.

— Посмотрите на ребенка, Раун, на ребенка рядом с вами, это — ребенок на крыше, Тёрк преследует его, это его силуэт, он мог бы остановить мальчика, но он этого не делает, он гонит его вперед, как и тогда женщину на крыше. Кто она была? Что она сделала?

Он исчезает и снова появляется где-то далеко.

— Мне надо это знать! Ее фамилия была Раун!

Механик закрывает мой рот рукой. Ладонь его холодна как лед. Я, должно быть, кричала.

— ... была...

Голос его пропадает.

Я хватаю аппарат и трясую его. Механик оттаскивает меня от него. В этот момент снова появляется голос Рауна, отчетливый, ясный, без всяких эмоций.

— Моя дочь. Он сбросил ее. Вы удовлетворены, фрекен Смила?

— Фотография, — говорю я. — Она фотографировала Тёрка? Она работала в полиции?

Он ничего не отвечает. Одновременно его голос теряется в туннеле шума и совсем пропадает. Связь прервана.

Механик выключает верхний свет. В свете аппаратуры на приборной доске его лицо кажется белым и напряженным. Он медленно снимает наушники и вешает их на место. Я вся в поту, как после забега.

— Но ведь свидетельские показания ребенка не имели бы силы на суде?

— Для присяжных это имело бы значение, — говорю я.

Он не продолжает свою мысль, да это и не нужно. Мы думаем об одном и том же. В глазах Исайи могло быть нечто — понимание, не свойственное его возрасту, понимание вне всякого возраста, глубокое проникновение в мир взрослых. Тёрк увидел этот взгляд. Есть и иные обвинения кроме тех, что предъявляются в суде. — Что делать с дверью?

Он кладет руку на стальную рамку и, осторожно согнув ее, приводит в прежнее положение.

Он провожает меня назад по наружной лестнице. В медицинской каюте он на минуту задерживается.

Я отворачиваюсь от него. Телесная боль так незаметна и незначительна по сравнению с душевной.

Он смотрит на свои руки, растопылив пальцы.

— Когда мы закончим, — говорит он, — я его убью.

Ничто не могло бы заставить меня провести ночь — даже такую короткую и безотрадную как та, что ждет меня сейчас — на больничной койке. Я снимаю постельное белье, вытаскиваю валики из кресел и ложусь прямо у двери. Если кто-нибудь захочет войти, он сначала должен будет отодвинуть меня.

Никто не захотел войти. Сначала мне удастся погрузиться на несколько часов в глубокий сон, потом слышится скрежетание корпуса обо что-то, и на палубе слышен топот многих ног. Мне кажется также, что прогрохотал якорь, может быть, это “Кронос” стал на якорь у края льда. Я слишком устала, чтобы подниматься. Где-то поблизости, в темноте, находится Гела Альта.

2

Сон иногда бывает хуже, чем бессонница. Проспав эти два часа, я оказываюсь в большем напряжении, чувствую себя более разбитой физически, чем если бы не легла вовсе. За окнами темно.

Я составляю в уме список. Кого, спрашиваю я себя, я могла бы привлечь на свою сторону? Все эти размышления возникают не потому, что у меня появилась надежда. Скорее это потому, что сознание не остановить. Пока ты жив, оно само по себе будет продолжать искать пути выживания. Как будто внутри тебя сидит другой человек, более наивный, но и более

настойчивый, нежели ты сам.

Я оставляю эти мысли. Списочный состав “Кроноса” можно разделить на тех, кто уже настроен против меня, и тех, кто будет против меня, когда дойдет до дела. Механик не в счет. О нем я пытаюсь не думать.

Когда приносят завтрак, я лежу на койке. Кто-то нащупывает выключатель, но я прошу не включать свет. Поставив поднос у дверей, он выходит. Это был Морис. В темноте он не мог заметить, что стекло разбито.

Я заставляю себя немного поесть. Кто-то садится снаружи у двери. Иногда мне слышно, как стул касается двери. Проходит какое-то время, и включаются вспомогательный двигатель и генераторы. Через две минуты что-то сгружают с юта. Мне не видно, что именно. Окна медицинской каюты выходят на левый борт.

Начинается день. Кажется, что рассвет не несет с собой света, а сам по себе является некой субстанцией, которая, дымясь, проплывает мимо окон.

Острова отсюда не видно. Но чувствуется присутствие льда. “Кронос” пришвартовался кормой. Кромка льда находится на расстоянии метров 75. Мне видно, что один из швартовочных тросов ведет к ледовому якорю, закрепленному за груды смерзшихся льдин.

К кромке льда причалила моторная лодка, ее разгружают. Нет никакого желания высматривать, кто там стоит или что выгружают. Потом, похоже, все уходят, оставив лодку пришвартованной к кромке льда.

Я чувствую, что прошла весь путь до конца. Ни от одного человека нельзя требовать, чтобы он прошел больше, чем весь путь.

Внутри тех валиков, которые служили мне подушкой, спрятан ключ Яккельсена. Еще там лежит синяя пластмассовая коробка. И тряпка, в которую завернут металлический предмет. Я ожидала, что он сразу же обнаружит пропажу, но он не пришел.

Это револьвер. “Баллестер Молина Инунангитсок”. Сделанный в Нууке по аргентинской лицензии. В нем очевидно несоответствие между назначением и дизайном. Удивительно, что зло может принимать такую простую форму.

Существованию винтовок можно найти оправдание — они используются для охоты. Иногда в снежных просторах может для самообороны понадобится крупнокалиберный револьвер с длинным стволом. Потому что и мускусный бык, и белый медведь могут обойти охотника и напасть сзади. Так быстро, что не останется времени на то, чтобы вскинуть винтовку.

Но этому тупорылому оружию нет никакого оправдания.

У патронов плоские свинцовые головки. Коробка заполнена доверху. Я вставляю их в барабан. В нем помещается шесть штук. Я устанавливаю барабан на место.

Засунув палец в рот, я вызываю приступ кашля. Ударяю по тем осколкам, которые еще остались в дверце шкафчика. Они со звоном падают на пол. Дверь распаивается, и входит Морис. Опираясь на кровать, я двумя руками держу револьвер.

— На колени, — говорю я.

Он начинает двигаться по направлению ко мне. Я опускаю ствол к его ногам и нажимаю на спусковой крючок. Ничего не происходит. Я забыла снять с предохранителя. Он наносит удар снизу здоровой левой рукой. Удар приходится мне в грудь и отбрасывает меня к шкафу. Осколки разбитого стекла вонзаются мне в спину с характерной холодной болью от очень острых режущих поверхностей. Я падаю на колени. Он бьет меня ногой в лицо, разбивает мне нос. и на минуту я теряю сознание. Когда я прихожу в себя, одна его нога находится у моей головы — он, наверное, стоит прямо надо мной. Из кармана для инструментов в рабочих брюках я вытаскиваю обмотанные пластырем скальпели. Немного подтянувшись вперед, я вонзаю скальпель в его лодыжку. С легким щелчком лопаются ахиллесово сухожилие. Вытаскивая скальпель, я вижу, что в глубине разреза желтеет кость. Я откатываюсь в сторону. Он пытается шагнуть за мной, но падает вперед. Только вскочив на ноги, я замечаю, что в руке я все еще сжимаю револьвер. Он стоит на одном колене и, не торопясь, нащупывает что-то под своей штормовкой. Я подхожу и ударяю его цилиндром короткого ствола прямо по зубам. Он отлетает назад к шкафу. Я больше не решаюсь к нему приблизиться и выхожу из каюты. Ключ все еще вставлен в замок. Я запираю за собой дверь.

Коридор пуст. Но за дверью кают-компания слышны какие-то звуки.

Я приоткрываю дверь на сантиметр. Урс накрывает на стол. Я захожу внутрь. Он ставит на стол хлебницу. Сначала он меня не замечает, потом вдруг видит.

Я отвинчиваю крышку с термоса. Наливаю кофе в чашку, кладу сахар, размешиваю, пью. Кофе почти обжигающий, вкус жареных зерен в сочетании со вкусом сахара вызывает тошноту.

— Сколько мы пробудем здесь, Урс?

Он таращится на мое лицо. Своего носа я не чувствую. Чувствую только, как по нему разливается тепло.

— Вы под арестом, фройляйн Смила.

— Мне разрешили гулять.

Он мне не верит. Он надеется, что я уйду. Никто не любит законченных неудачников.

— Drei Tage. <Три дня (нем.)> Завтра еду надо доставить на берег. Тогда мы все будем работать im Schnee. <В снегу (нем.)>

То есть тащить камень по настилу из шпал. Значит, он должен быть где-то близко от берега.

— Кто на берегу?

— Тёрк, Верлен, der neue Passagier. Mit Flaschen. <Новый пассажир. С бутылочкой (нем.)>

Сначала я его не понимаю. Он рисует руками в воздухе — кислородные баллоны.

Я уже выхожу из дверей, когда он догоняет меня. Ситуация повторяется — мы когда-то уже так стояли.

— Фройляйн Смила.

Он, который никогда не решался приблизиться ко мне, настойчиво берет меня за руку.

— Sie müssen schlafen. Sie brauchen medizinische <Вы должны спать. Вам необходима

медицинская> помощь.

Я выдергиваю руку. Мне не удалось его напугать. В результате я вызвала его сострадание.

На море существует правило, согласно которому двери запирают, только когда покидают помещение. Чтобы облегчить проведение спасательных операций в случае пожара. Лукас спит, не заперев дверь. Спит он крепко. Закрыв за собой дверь, я сажусь в ноги его кровати. Он открывает глаза. Сначала они затуманены сном, потом сверкают от удивления.

— Я временно сама себя выписала, — говорю я.

Он пытается схватить меня. Он оказывается более проворными, чем можно было ожидать, если принимать во внимание то, что он лежал на спине и только что проснулся. Я вынимаю револьвер. Это его не останавливает. Я подвожу ствол к его лицу и снимаю с предохранителя.

— Мне нечего терять, — говорю я. Он остывает.

— Идите назад. Под арестом вы в безопасности.

— Да, — говорю я. — Если Морис стоит под дверями, это действительно внушает спокойствие. Наденьте пальто. Мы идем на палубу.

Он медлит. Потом тянется за своим пальто.

— Тёрк прав. Вы больны.

Может быть, он прав. Во всяком случае, от остального мира меня теперь отделяет панцирь бесчувственности. Оболочка, в которой умерли нервы. У раковины я промываю нос. Делать это неудобно, потому что в другой руке я должна держать оружие и все время наблюдать за Лукасом. Крови не так много, как я думала. Раны на лице кажутся больше, чем они есть на самом деле.

Он идет впереди. Когда мы проходим мимо лестницы, ведущей на верхнюю палубу, навстречу нам спускается Сонне. Я встаю вплотную к Лукасу. Сонне останавливается. Лукас делает движение рукой, чтобы он шел дальше. Тот медлит, но срабатывает морская выучка, годы, проведенные во флоте и вся его внутренняя дисциплина. Он отходит в сторону. Мы выходим на палубу. Подходим к борту. Я встаю на расстоянии нескольких метров от него. Это значит, что нам надо говорить громко, чтобы было слышно друг друга. Но при этом ему сложнее дотянуться до меня.

После всех этих дней на море остров мне кажется мрачно, болезненно прекрасным.

Он такой узкий и высокий, что поднимается из замерзшего моря, словно башня. Только в нескольких местах проглядывают скалы, в основном же он покрыт льдом. Из чашеобразной вершины, словно из холодного полярного рога изобилия, через край по крутым склонам стекает лед. По направлению к “Кроносу” в море спускается коса — глетчер Баррен. Если бы мы смотрели на остров с другой стороны, мы бы наблюдали вертикальные скалистые стены со следами лавин и движения льда.

Ветер дует со стороны острова, северный ветер — *avangnaq*. Он вызывает в памяти другое слово, и сначала есть только звуковая оболочка слова, как будто его произнес кто-то другой внутри меня. *Pirhirhuq* — снежная буря. Я качаю головой. Мы не в Туле, здесь другие погодные условия, мои измученные нервы рожают галлюцинации.

— Куда вы пойдете потом?

Он показывает на палубу, на открытое море. На моторную лодку рядом с краем льда.

— Feel free, фрекен Смила. <Чувствуйте себя как дома (англ.) (Примеч. перев.)>

Теперь, когда исчезла его вежливость, я понимаю, что у него ее никогда и не было. Это была вежливость Тёрка. И порядки на борту были установлены Тёрком. Лукас же был не более чем орудием.

Он идет в противоположную от меня сторону. Он тоже неудачник. Ему тоже больше нечего терять. Я кладу тяжелый металлический предмет в карман. До этого в медицинской каюте я могла бы застрелить Мориса. Могла бы. Или, может быть, я сознательно не сняла револьвер с предохранителя.

— Яккельсен. — говорю я вслед ему. — Верлен убил его, а Тёрк послал телеграмму.

Он возвращается. Встает рядом со мной и смотрит на остров. Так он и стоит, не меняя выражения лица, пока я говорю. Во время нашего разговора контуры нескольких больших птиц отрываются в вышине от крутого ледяного склона — перелетные альбатросы. Он их не замечает. Я рассказываю ему все с самого начала. Я не знаю, сколько это продолжается. Когда я заканчиваю, ветра уже нет. К тому же кажется, что поменялось освещение. При этом невозможно точно сказать, как именно. Иногда я поглядываю на дверь. Никого нет.

Лукас курил сигарету за сигаретой. Как будто считал своим долгом каждый раз добросовестно прикуривать, затягиваться и выпускать дым.

Он выпрямляется и улыбается мне.

— Им надо было послушать меня, — говорит он. — Я им предложил сделать вам укол. 15 мг диазепама. Я сказал им, что иначе вы убежите. Тёрк стал возражать.

Он снова улыбается. Теперь за улыбкой скрывается безумие.

— Как будто он хотел, чтобы вы пришли к нему. Он оставил резиновую лодку. Может быть, он хочет, чтобы вы сошли на берег.

Он машет мне рукой.

— Пора приниматься за работу, — говорит он.

Я прислоняюсь к перилам. Где-то там, в низкой пелене тумана, где лед спускается к морю, находится Тёрк.

Внизу подо мной виден белый венчик — окурки Лукаса. Они не качаются, не меняют положения по отношению друг к другу. Они лежат без всякого движения. Вода, на которой они плавают, все еще черна. Но она уже больше не блестит. Она покрыта матовой пленкой. Море вокруг “Кроноса” начинает замерзать. Небесный свод надо мной начинает поглощать облака. Вокруг ни ветерка. За последние полчаса температура упала, по меньшей мере, на десять градусов.

Похоже, что в моей каюте ничего не тронута. Я достаю пару коротких резиновых сапог. Кладу в полиэтиленовый пакет свои камики.

В зеркале я вижу, что мой нос не особенно вспух. Но выглядит он кривым, смещенным в одну сторону.

Через минуту он будет нырять. Я помню пар на фотографии. Температура воды, наверное, десять или двенадцать градусов. Он всего лишь человек. Это не так уж много. Я знаю это по собственному опыту. И все же человек всегда пытается бороться за жизнь.

Я надеваю утепленные брюки. Два тонких свитера, пуховик. Из ящика достаю наручный компас, плоскую фляжку. Беру шерстяное одеяло. Наверное, я очень давно готовилась к этому моменту.

Все трое сидят, поэтому я их не заметила, пока не поднялась на палубу. Из резиновой лодки выпущен воздух, она превратилась в серый резиновый коврик с желтым рисунком, распластанный на юте.

Женщина сидит на корточках. Она показывает мне нож.

— Вот чем я выпустила из нее воздух, — говорит она.

Она протягивает его назад прислонившемуся к шлюпбалке Хансену. Встав, она направляется ко мне. Я стою спиной к трапу. Сайденфаден нерешительно идет за ней.

— Катя, — говорит он.

Все они без верхней одежды.

— Он хотел, чтобы ты сошла на берег, — говорит она. Сайденфаден кладет руку ей на плечо. Она оборачивается и ударяет его. Уголок его рта подергивается. Лицо его похоже на маску.

— Я люблю его, — говорит она.

Это ни к кому конкретно не обращено. Она подходит ближе.

— Хансен обнаружил Мориса, — говорит она, как бы объясняя. И потом — без всякого перехода:

— Ты хочешь его?

Мне случалось и раньше сталкиваться с тем, как ревность и безумие, сливаясь, искажают действительность.

— Нет, — говорю я.

Я делаю шаг назад и упираюсь во что-то неподатливое. За мной стоит Урс. Он все еще в переднике. Поверх наброшена большая шуба. В руке — батон. Наверное, только что из печи. На холоде он окружен ореолом плотного пара. Женщина не обращает на него внимания. Когда она протягивает ко мне руку, он прикладывает батон к ее горлу. Упав на резиновую лодку, она не пытается встать. Ожог на ее шее проявляется словно фотопленка, повторяя надрезы на батоне.

— Что я должен делать? — спрашивает он. Я протягиваю ему револьвер механика.

— Можешь дать мне немного времени? Он задумчиво смотрит на Хансена.

— Leicht, — говорит он. <Немного (нем.)>

Бон все еще не убран. Как только я вижу лед, я понимаю, что пришла слишком рано. Он еще слишком прозрачный, чтобы по нему можно было идти. На палубе стоит стул. Я сажусь ждать. Кладу ноги на ящик с тросом. Здесь когда-то сидел Яккельсен. И Хансен. На корабле все время натыкаешься на свои собственные следы. Как и в жизни.

Идет снег. Большие снежинки — qanik, как снежинки над могилой Исайи. Лед еще такой теплый, что снежинки тают, попадая на него. Когда я вот так долго смотрю на него, начинает казаться, что снег не падает, а вырастает из моря и поднимается к небу, чтобы лечь на верхушку скалистой башни напротив меня. Сначала как шестиугольные, только что возникшие снежинки. Потом как 48-часовые, разломанные снежинки, с расплывшимися контурами. На десятый день это будет зернистый кристалл. Через два месяца снег уплотнится. Через два года он будет находиться на стадии между снегом и фирном. После трех лет — это neve. Через четыре года он превращается в большой блок ледникового кристалла.

Более трех лет он не просуществует на Гела Альта. Затем глетчер столкнет его в море. Откуда он однажды сдвинется и поплывет, чтобы растаять, раствориться и быть принятым океаном. Откуда он снова в один прекрасный день поднимется в виде нового снега.

Лед становится сероватым. Я ступаю на него. Он не слишком прочный. Нет более ничего прочного.

Насколько это возможно, я стараюсь держаться в тени фальшборта. Скоро лед становится настолько тонким, что мне приходится отойти в сторону. Они и так не должны меня заметить. Начинает темнеть. Свет исчезает, так по-настоящему и не появившись. Последние десять метров мне приходится ползти на животе. Я кладу одеяло на лед и толчками передвигаюсь вперед.

Моторная лодка привязана к кромке льда. Она пустая. До берега 300 метров. Здесь образовалась своего рода лестница, где нижняя часть ледника несколько раз оттаивала и снова замерзала.

Меня преследует запах земли. После всего этого проведенного в море времени начинает казаться, что остров пахнет, словно сад. Я соскребаю слой снега. Он толщиной примерно 40 сантиметров. Под ним — остатки мхов, увядшая арктическая ива.

Когда они выбрались сюда, здесь лежал тонкий слой свежевыпавшего снега — их следы хорошо видны. У них были сани. Механик тащил одни, Тёрк с Верленом — другие.

Они поднялись по склону, чтобы не оказаться под крутыми проходами, через которые лед сползает в море. Здесь глубина рыхлого снега полметра. Они по очереди протапывали дорогу.

Я переодеваюсь в камики. Смотрю под ноги, сосредоточившись только на том, чтобы идти. Как будто я снова ребенок. Мы куда-то направляемся, не помню куда, позади долгая дорога, может быть, несколько sinik, я начинаю спотыкаться, я более уже не владею своими ногами, они идут сами по себе, с трудом, как будто каждый шаг — это невероятно сложная задача. Где-то внутри растет желание сдаться, сесть и заснуть.

Тут моя мать оказывается позади меня. Она все понимает, она уже какое-то время наблюдает за мной. Она, обычно такая молчаливая, говорит, она хлопает меня по голове — полугрубость, полуласка. Какой это ветер, Смила? Это kanangnaq. Это не так, Смила, ты спишь. Нет, не

сплю, он слабый и влажный, наверное, вскрылся лед. Ты должна хорошо говорить со своей матерью, Смила. Невежливости ты научилась от qallunaaq.

Так мы и говорим, и я снова не сплю, я знаю, что нам надо идти вперед, я уже давно стала слишком тяжелой, чтобы она могла меня нести.

Мне исполнилось 37 лет. 50 лет назад для жителя Туле это была целая человеческая жизнь. Но я не стала взрослой. Я так и не привыкла идти в одиночестве. Где-то в глубине души я надеюсь, что кто-нибудь подойдет сзади и подтолкнет меня. Моя мать. Мориц. Какая-то сила извне.

Я чуть не падаю. Я стою перед ледником. Здесь они делали передышку. Они прикрепили к ботинкам “кошки”.

Вблизи от ледника начинаешь понимать, почему он так называется. Ветер отшлифовал его поверхность, превратив ее в плотное, гладкое покрытие без неровностей, словно это белая, керамическая глазурь. Прямо передо мной она кончается обрывом, глубиной около 50 метров — поверхность нарушена ледопадом. Образовалась система серых, белых и серо-синих лестниц. Издали кажется, что они правильной формы, если подойти поближе, то оказывается, что они образуют лабиринт.

Неизвестно, как они нашли дорогу. И их нигде не видно. Поэтому я иду дальше. Следы видны хуже. Но все же их можно разглядеть. На горизонтальных ступеньках остался лежать снег, по которому видно, что они здесь были. В какой-то момент, когда я перестаю ориентироваться и начинаю ходить кругами, я замечаю на некотором расстоянии желтый след мочи.

Начинаются галлюцинации, в голове возникают обрывки разговоров. Я что-то говорю Исاية. Он отвечает. Механик тоже с нами.

— Смила.

Я прошла мимо него на расстоянии метра, не заметив. Это Тёрк. Он ждал меня. Он так нежно позвал меня. Как тогда по телефону, в последнюю ночь в моей квартире.

Он один. Без саней и без багажа. Сидя здесь, он представляет собой живописное зрелище. Желтые сапоги. Красная куртка, отбрасывающая красные блики на лежащий вокруг него снег. Бирюзовая повязка на светлых волосах.

— Я знал, что ты придешь. Но я не знал, как. Я видел, как ты шла по воде.

Как будто мы всю жизнь были друзьями, но вынуждены были скрывать это от окружающего мира.

— По льду.

— А до этого ты проходила через закрытые двери.

— У меня был ключ.

Он качает головой.

— С людьми, у которых есть ресурсы, всегда происходят настоящие события. Это похоже на случайности. Но они возникают из необходимости. Катя и Ральф хотели остановить тебя еще в Копенгагене. Но я увидел в этом для нас дополнительные возможности. Ты укажешь нам на то,

что мы упустили. Что упустили Винг и Лойен. Что всегда упускают.

Он протягивает мне страховочные ремни. Я надеваю их и застегиваю спереди.

— А “Северное сияние”. — говорю я. — пожар на нем?

— Лихт позвонил Кате, когда получил пленку. Он пытался вытянуть из нее деньги. Нам надо было что-то предпринять. В том, что тут оказалась замешана ты, была моя ошибка. Я предоставил это Морису и Верлену. А Верлен испытывает примитивную ненависть к женщинам.

Он протягивает мне конец веревки. Я делаю узел-восьмерку. Он дает мне короткий ледоруб.

Он идет впереди. В руках у него длинная, тонкая палка. С ее помощью он проверяет поверхность на предмет трещин. Отойдя на расстояние 15 метров, он начинает говорить. Блестящие стены вокруг создают резкую и вместе с тем интимную акустику, как будто мы с ним вдвоем находимся в одной ванне.

— Я, конечно же, прочитал то, что ты написала. Такая тяга ко льду наводит на размышления.

Он вбивает ледоруб в снег, оборачивает вокруг него веревку и осторожно выбирает ее, пока я поднимаюсь к нему. Когда я оказываюсь рядом с ним, он начинает говорить снова.

— Что бы сказали специалисты об этом глетчере?

Мы оглядываемся по сторонам в надвигающейся тьме. На этот вопрос трудно ответить.

— Специалисты не знают, что и сказать. Если бы он имел в десять раз большую площадь, он мог бы быть классифицирован как очень маленький ледяной купол. Если бы он находился ниже, они сказали бы что это боту-глетчер. Если бы течение и ветер здесь были немного другими, то выветривание, эрозия за один месяц так бы его уменьшили, что специалисты сказали бы, что никакого глетчера вовсе нет, а есть лишь остров, на котором лежит немного снега. Его нельзя классифицировать.

Я снова оказываюсь рядом с ним, он протягивает мне веревку, я остаюсь на месте, он поднимается. Обычно его движения быстрые и методичные, но лед придает им некую неуверенность, как и бывает со всеми европейцами. Он походит на слепого, привыкшего к своей слепоте, прекрасно умеющего пользоваться палкой, но все же слепого.

— Меня всегда занимало, насколько ограничены возможности науки что-либо объяснить. Возьмем, к примеру, мою собственную область — биологию, опирающуюся на зоологическую и ботаническую системы классификации, которые развалились. Как наука она более не имеет фундамента. Что ты думаешь о переменах?

Он задает этот вопрос без всякого перехода. Я следую за ним, он вытягивает двойную веревку вверх. Мы связаны пуповиной, словно мать и ребенок.

— Считается, что они вносят разнообразие, — говорю я.

Он протягивает мне свой термос. Я делаю глоток. Горячий чай с лимоном. Он наклоняется. На снегу лежит несколько темных зерен — раскрошенных камней.

— 4,6 умножить на 10 в девятой степени. 4,6 миллиардов лет. Тогда солнечная система начала

приобретать современный вид. Проблема геологической истории Земли состоит в том, что ее невозможно изучать. Не осталось никаких следов. Потому что с тех пор, со дней Творения, камни, вроде этих, преобразовывались несчетное число раз. То же самое можно сказать про лед вокруг нас, воздух, воду. Их происхождение нельзя больше проследить. На Земле нет веществ, которые сохранили бы свою первичную форму. Именно поэтому метеориты представляют интерес. Они попадают к нам извне, они не подвергались тем преобразованиям, которые Лавлок описал в своей теории о “Гее”. Они по своей природе уходят корнями ко времени происхождения солнечной системы.

Да и состоят они, как правило, из первых элементов вселенной. Железа, никеля, силикатов. Ты читаешь художественную литературу? Я качаю головой.

— Напрасно. Писатели раньше ученых видят, в каком направлении мы движемся. То, что мы находим в природе — уже более не является ответом на вопрос, что в ней имеется. Все определяется тем, что мы в состоянии понять. Как в романе Жюль Верна “В погоне за метеором” — о метеоре, который оказывается самой большой ценностью в мире. В мечтах Уэллса о других жизненных формах. В книге Пайпера “Уллер”. В ней рассказывается об особой форме жизни на основе неорганических веществ. Тела, созданные из силикатов.

Мы выходим на плоское, отшлифованное ветром плато. Перед нами открывается ровный ряд трещин. Мы, должно быть, дошли до зоны абляция, того места, где нижние слои глетчера перемещаются к его поверхности. Здесь скалы разделяют ледяной поток. Я не заметила их снизу, потому что они из светлого камня. Они светятся в опускающейся тьме.

Там, где от подножия начинается спуск к трещине, снег притоптан. Здесь они делали передышку. Отсюда он вернулся за мной. Я спрашиваю себя, откуда он знал, что я приду. Мы садимся. Лед образует большое, чашеобразное углубление, словно это открытая раковина моллюска. Он отвинчивает крышку термоса и продолжает говорить, как будто разговор и не прерывался, может быть, он действительно не прерывался внутри него, может быть, он никогда и не прекращается.

— Она красива, эта теория о “Гее”. Важно, чтобы теории были красивы. Но она, конечно, не правильна. Лавлок показывает, что земной шар и его экосистема представляют собой сложную машину. Гей, по сути, не отличается от робота. Он разделяет ошибку всей остальной биологической науки. У него нет объяснения начала всего. Объяснения первой формы жизни, ее возникновения, того, что предшествует цианобактериям. Жизнь на основе неорганических веществ могла бы быть первой такой ступенькой.

Я делаю осторожные движения, чтобы сохранить тепло и проверить его внимание.

— Лойен приехал сюда в 30-е годы. С немецкой экспедицией. Они хотели подготовить аэродром на узкой полоске плоского северного побережья. Они привезли с собой эскимосов из Туле. Им не удалось уговорить поехать с собой западных эскимосов из-за дурной славы острова. Лойен начал поиски так же, как и Кнуд Расмуссен, когда тот искал свои метеориты. Он серьезно отнесся к эскимосским легендам. И нашел его. В 66-м году он вернулся сюда. Он, и Винг, и Андреас Лихт. Но они слишком мало знали, чтобы решить технические проблемы. Они сделали стационарный спуск к камню. После этого экспедиция была прервана. В 91-м они вернулись. Тогда мы были с ними. Но тогда нам тоже пришлось вернуться домой.

Его лицо почти исчезает в темноте, лишь голос остается неизменным. Я пытаюсь понять,

почему он говорит. Почему он по-прежнему лжет, даже сейчас, в ситуации, которую он полностью контролирует.

— А те куски, которые были отпилены?

Его молчание служит объяснением. Понять это — в какой-то степени облегчение. Ему по-прежнему непонятно, как много я знаю и одна ли я. Будет ли кто-нибудь ждать его на острове, или на море, или когда он когда-нибудь вернется домой. По-прежнему, еще некоторое время, пока я не все сказала, я буду ему нужна.

Одновременно с этим становится ясно и другое. То, что имеет решающее значение, но не очень понятно. Раз он ждет, раз ему приходится ждать, то это значит, что механик не рассказал ему всего, не рассказал ему, что я одна.

— Мы исследовали их. Не нашли ничего необычного. Они состояли из смеси железа, никеля, оливина, магния и силикатов.

Я знаю, что это должно быть правдой.

— Значит, он не живой?

В темноте я вижу его улыбку.

— Наблюдается тепло. Совершенно точно, что он выделяет тепло. Иначе бы его унесло льдом. Лед вокруг него тает с той интенсивностью, которая соответствует движению глетчера.

— Радиоактивность?

— Мы измеряли, но никакой радиоактивности не обнаружили.

— А погибшие? — спрашиваю я. — Рентгеновские снимки? Светлые полосы во внутренних органах?

Он на какое-то время замолкает.

— Ты не могла бы рассказать мне, откуда тебе это известно? — спрашивает он.

Я ничего не отвечаю.

— Я так и знал, — говорит он. — Тебе и мне, нам с тобой могло бы быть хорошо вместе. Когда я позвонил тебе в ту ночь — это было импульсивное решение, я всегда полагаюсь на свою интуицию, я знал, что ты возьмешь трубку, я чувствовал тебя, я мог бы сказать: “Приходи к нам”. Ты бы пришла?

— Нет, — говорю я.

Туннель начинается у подножия утеса. Это простая конструкция. Там, где лед почти отрывался от скалы, они пробили себе динамитом путь вниз, а затем установили большие бетонные канализационные трубы. Они круто спускаются вниз, ступеньки в них сделаны из дерева. Сначала это меня удивляет, потом я вспоминаю, как трудно класть бетон на подушку вечной мерзлоты.

В десяти метрах ниже горит огонь.

Дым идет из примыкающего к лестнице помещения, которое представляет собой бетонную полость, укрепленную балками. На полу разложено несколько мешков, на которых в нефтяной бочке горят разбитые ящики.

У самой задней стены, на широком столе стоят приборы и оборудование. Хроматографы, микроскопы, большие кристаллизационные стаканы, термокамера, прибор, который никогда мне раньше не встречался, в виде большого пластмассового ящика с передней стенкой из стекла. Под столом стоит генератор и несколько деревянных ящичков таких же, что горят в бочке. Все подвержено моде, даже лабораторное оборудование — приборы напоминают мне 70-е годы. Все покрыто серым слоем льда. Это, должно быть, было оставлено в 66-м или в 91-м. Что оставим после себя мы?

Тёрк кладет руку на пластмассовый ящик.

— Электрофорез. Для выделения и анализа протеинов. Лойен взял его с собой в 66-м. Когда они еще думали, что имеют дело с формой органической жизни.

Он кивает, это почти незаметное движение. Все, что он делает, пронизано сознанием того, что даже этих маленьких знаков и движений достаточно, чтобы окружающий мир стоял перед ним на вытяжку. У высокого верстака Верлен возится с микроскопом. Он настраивает его для меня — окуляр на 10, объектив на 20. Придвигает ближе газовую лампу.

— Мы оттаиваем генератор.

Сначала я ничего не вижу, потом настраиваю резкость и вижу кокосовый орех.

— Cyclops Marinus, — говорит Тёрк. — рачок, живущий в соленой воде. Его самого или его родственников можно увидеть повсюду, во всех морях земного шара. Нити — это органы равновесия. Мы дали ему немного соляной кислоты, поэтому он лежит смирно. Обрати внимание на заднюю часть его тела. Что ты видишь?

Я ничего не вижу. Он берет микроскоп, перемещает под ним чашку Петри и снова настраивает его.

— Систему пищеварения, — говорю я, — кишки.

— Это не кишки. Это червь.

Теперь я вижу. Кишка и желудок — это темное поле на брюхе животного, а длинный светлый канал идет вдоль спины.

— Принадлежит к классу Phylum Nematoda, круглых червей, подклассу Dracunculoidea. Имя его Dracunculus Borealis, полярный червь. Известный и описываемый, по крайней мере, со средневековья. Крупный паразит. Обнаружен у китов, тюленей и дельфинов, он из кишок может перемещаться в мышечную ткань. Там самец и самка спариваются, самец умирает, самка переходит в подкожный слой, где создается узел размером с детский кулачек. Когда взрослый червь чувствует, что в воде вокруг него есть Cyclops, он делает в коже отверстие и выпускает миллионы маленьких живых личинок в море, где их поглощает рачок, являющийся так называемым промежуточным хозяином — местом, где черви проходят стадию развития продолжительностью в несколько недель. Когда рачок вместе с морской водой попадает в ротовую полость или в кишки крупного морского млекопитающего, он разрушается, и личинка проникает, делая отверстие, в этого нового, более крупного хозяина, где она размножается, проникает под кожу и завершает свой цикл. Очевидно, ни рачок, ни млекопитающие не

испытывают неудобства от этого. Один из самых хорошо приспособленных паразитов в мире. Ты задумывалась над тем, что мешает паразитам распространяться?

Верлен подкладывает дров и подтягивает генератор к огню. Тепло почти обжигает мой бок, другой же остается холодным. Нет никакой настоящей вентиляции, дым удушающий, они, должно быть, очень спешат.

— Их всегда останавливают сдерживающие факторы. Взять, например, гвинейского червя — ближайшего родственника полярного червя. Ему необходимы тепло и стоячая вода. Он живет в тех местах, где люди зависят от поверхностной воды.

— Как, например, на границе Бирмы, Лаоса и Таиланда, — говорю я, — например, в Чианграе.

Оба они замирают. У Тёрка это лишь едва заметное напряжение.

— Да, — говорит он, — например, там, в относительно редкие периоды засухи. Как только сильные дожди порождали потоки воды, как только становилось холоднее, условия его существования осложнялись. Так и должно быть. Паразиты развивались вместе со своими хозяевами. Гвинейский червь, должно быть, развивался параллельно с человеком, может быть, на протяжении миллиона лет. Они подходят друг другу. 140 миллионов человек ежегодно подвергаются опасности заражения гвинейским червем. В год наблюдается 10 миллионов случаев заболевания. Большинство зараженных переживают полный мук период болезни продолжительностью в несколько месяцев, но потом червь выходит. Даже в Чианграе только у половины процента взрослого населения возникли необратимые изменения. Это основное правило замечательного равновесия природы: хороший паразит не убивает своего хозяина.

Он делает движение рукой, и я непроизвольно отступаю в сторону. Он смотрит в микроскоп.

— Представь себе их положение — Лойена, Винга, Лихта — в 66-м. Все подготовлено, конечно, есть проблемы, но это технические проблемы, поддающиеся решению. Они определили местонахождение камня, сделали спуск и эти помещения, им везет с погодой, и у них есть время. Они убедились, что не могут доставить в Данию камень целиком, но решили, что могут привезти его часть. Есть фотографии их пилы, гениального изобретения — ленты на валках из закаленной стали. Лойен был против того, чтобы резать камень автогеном. Но как раз когда эскимосы устанавливают пилу, они погибают. Через двое суток после первого погружения в воду. Они умирают почти одновременно, в течение часа. Все меняется. Проект лопнул, времени неожиданно не хватает. Им приходится симитировать несчастный случай. Разумеется, этим занимается Лойен. У него хватает присутствия духа, чтобы не уничтожить трупы целиком. У него уже тогда возникает подозрение, что тут что-то не так. Уже в Нууке он делает вскрытие. И что он находит?

— Время, — говорит Верлен.

Тёрк не обращает на него внимания.

— Он находит полярного червя. Широко распространенного паразита. Большого — 30-40 сантиметров, но совершенно обычного. Круглого червя, цикл жизни которого описан и понятен. И только одно не так, как должно быть — он не живет в людях. В китах, в тюленях, дельфинах, иногда в моржах. Но не в людях. Каждый день, особенно среди эскимосов, случается, что в пищу идет инфицированное мясо. Но как только личинка проникает в человеческое тело, она опознается нашей иммунной системой как инородное тело и после этого уничтожается лимфоцитами. К этой иммунной системе червь никогда не мог приспособиться. Он навсегда должен был ограничиться определенными видами крупных

млекопитающих, вместе с которыми он, должно быть, развивался. Это часть равновесия природы. Представь себе удивление Лойена, когда он все же находит его в трупах. К тому же еще по чистой случайности. Потому что ему в последний момент приходится для опознания сделать рентгеновские снимки.

Я не хочу его слушать, не хочу с ним говорить, но я не могу ничего с собой поделать. К тому же это тянет время.

... — Почему так получилось?

— На этот вопрос Лойен не мог ответить. Поэтому он сосредоточился на другом. Каким образом? Он привез домой пробы воды, взятые у камня. Кроме талой воды, туда попадает также вода из озера, расположенного выше, на самой поверхности. Вокруг озера гнездятся птицы. Водится также немного форели. И несколько видов ракообразных. Вода поблизости от камня кишит ими. Все те пробы, которые Лойен привез домой, были заражены. И он привил личинки живым людям.

— Прекрасно, — говорю я, — как ему это удалось?

Я спрашиваю, но уже знаю ответ. Он сделал это в Гренландии. В Дании вероятность того, что это раскроется, была бы слишком велика. Тёрк видит, что я поняла.

— Он потратил на это 25 лет. Но он узнал, что личинка приспособилась к иммунной системе человека. Уже во рту она проникает через поры слизистой оболочки и создает своего рода кожу, построенную из собственных белков человека. В таком закамуфлированном виде система защиты организма путает ее с самим телом и не реагирует на нее. И тут она начинает расти. Не так медленно, как в тюленях и китах, а от часа к часу, от минуты к минуте. Само размножение и передвижение по телу, которое у водных млекопитающих занимает более полугода, здесь продолжается несколько дней. Но это не самое главное.

Верлен берет его за руку. Тёрк смотрит на него. Тот убирает руку.

— Мне надо ее кое о чем спросить, — говорит Тёрк.

Может быть, он сам в это верит, но на самом деле он не поэтому говорит. Он говорит, чтобы добиться внимания и признания. За самоуверенностью и очевидной объективностью скрываются огромная гордость и торжество от того, что он обнаружил. Мы с Верленом покрываемся потом и начинаем кашлять. Но он невозмутим и доволен, в свете мерцающих отблесков пламени лицо его полно спокойствия. Может быть, потому что он стоит посреди льда, а может быть, потому что мы так близки к концу, он вдруг становится совершенно прозрачным для меня. И как всегда бывает, когда взрослый человек становится ясен, в нем проступает ребенок. Я вспоминаю письмо Виктора Халкенвада, и неожиданно из моего рта сами собой вылетают слова.

— Это как с велосипедом, который так и не купили в детстве. Замечание это настолько абсурдно, что сначала он не понимает его.

Потом, когда до него доходит смысл, он пошатывается, словно я его ударила, на мгновение он чуть не теряет самообладание, потом берет себя в руки.

— Можно было подумать, что мы столкнулись с новым видом. Но это не так. Это полярный червь. Но что-то важное изменилось. Он приспособился к человеческой иммунной системе. Но

не приспособился к нашему равновесию. Беременная самка проникает не под кожу после спаривания.

Она проникает во внутренние органы. Сердце или печень. И там выпускает свои личинки. Личинки, которые жили в матери, которые не успели узнать человеческое тело, которые не покрыты протеиновой оболочкой. Тело реагирует на них воспалением. Это вызывает шок организма — каждый раз выбрасывается 10 миллионов личинок. В жизненно важные органы. Человек мгновенно умирает, нет никакого спасения. Что бы там ни случилось с полярным червем, он нарушил равновесие. Он убивает своего хозяина. По отношению к людям возник плохой паразит. Но прекрасный убийца.

Верлен говорит что-то на непонятном мне языке, Тёрк снова не обращает на него внимания.

— Верлен прививал личинку всем тем рыбам, которых мы могли раздобыть: морским рыбам, пресноводным рыбам, большим, маленьким, при разных температурах. Он приспосабливается ко всем. Он может жить где угодно. Ты понимаешь, что это значит?

— Что он неприхотлив.

— Это значит, что отсутствует самый важный фактор, ограничивающий его распространение — ограничение числа хозяев, которые могут его переносить. Он может жить где угодно.

— Почему же он до сих пор не распространился по всей Земле?

Он поднимает несколько мотков веревки, поднимает сумку, пристраивает на лоб фонарик. К нему вернулось чувство времени.

— На этот вопрос есть два ответа. Один — это то, что его развитие в морских млекопитающих процесс медленный. Хотя отсюда — и возможно, из других мест на этом острове — он вымывается в море, он все же должен ждать проплывающих мимо тюленей, которые перенесут его дальше. Если он все еще будет жив, когда они будут проплывать мимо. Кроме того, здесь пока что бывало слишком мало людей. Только когда приходят люди, все ускоряется.

Он уходит. Я знаю, что мне надо идти за ним. На минуту я задерживаюсь. Когда он выходит, возникает чувство бессилия. Верлен смотрит на меня.

— В то время, когда мы работали на Кум На, — говорит он, — появились 12 полицейских. Единственным, кто остался в живых, была женщина. Женщины — это вредители.

— Раун, — говорю я, — Натали Раун? Он кивает.

— Она приехала под видом английской медсестры. Говорила по-английски и по-тайски без акцента. В тот момент мы вели войну с Лаосом, Таиландом и, наконец, Бирмой, с помощью США. Было много раненых.

Зажав чашку Петри между большим и указательным пальцами, он протягивает ее мне. Тело инстинктивно стремится отодвинуться от червя. Наверное, только упрямство заставляет меня оставаться неподвижной.

— Проникая через кожу, она выворачивает свою матку и выпускает белую жидкость с миллионами личинок. Я видел это.

От отвращения его лицо передергивается.

— Самки, они гораздо больше самцов. Они пробуравливают тело. Мы следили за этим при помощи ультразвукового сканирования. Лойен привил их двум гренландцам, у которых был СПИД. Он привез их в Данию и положил в одну из тех частных клиник, где интересуются только номером твоего банковского счета. Нам было видно все — как она дошла до сердца и потом вывернулась наружу. Вывернула матку и все. Все самки таковы, и женщины, особенно женщины.

Он осторожно ставит чашку Петри назад.

— Я вижу, — говорю я, — что вы прекрасный знаток женщин, Верлен. Чем вы еще занимались в Чианграе?

Он не остается равнодушным к комплименту. Именно поэтому отвечает мне.

— Я лаборант. Мы делали героин. В тот момент, когда появилась женщина, они послали против нас армию, все три страны. Тогда Кум На выступил по телевидению и сказал: “В прошлом году мы отправили 900 тонн на рынок, в этом году мы отправим 1 300 тонн, в следующем году 2 000 тонн, пока вы не отзовете солдат домой”. В тот день, когда он это сказал, война закончилась.

Я уже выхожу из помещения, когда он произносит:

— Только человек — паразит. Червь — это орудие богов. Как и мак.

3

Тёрк ждет меня. Спустившись примерно на 20 метров, мы оказываемся на дне. Туннель идет теперь горизонтально, снабженный грубыми четырехгранными бетонными подпорками. В конце его чернеет пустота. Тёрк проходит вперед, и мы останавливаемся перед бездной.

У наших ног обрыв глубиной 25 метров до самого дна пещеры. Оттуда к нам вертикально поднимаются сверкающие всеми цветами радуги сталагмиты.

Он отламывает кусочек льда и бросает перед собой. Бездна превращается в круги, а затем в туман, и исчезает. Мы смотрели на потолок пещеры, отраженный в воде, находящейся прямо у наших ног — такой спокойной, какой она никогда бы не могла быть на поверхности земли. Даже сейчас, когда по ней расходятся круги, глаза не хотят верить, что это вода. Она медленно успокаивается, восстанавливая потревоженный подземный мир.

Модели роста сосулек и кристаллов описаны Хатакеямой и Немото в *Geophysical Magazine*, № 28 за 1958 год, Найтом в 1980 в *Journal of Crystal Growth*, № 49. И Маэно и Такахашаи в *Studies on Icicles, Low Temperature Science, A*, 43 за 1984 год. Но пока что наиболее плодотворная модель предложена мной и Лассе Макконеном из Лаборатории структурных технологий в Эспоо в Финляндии. Она показывает, что ледяная сосулька растет как труба, как полость из льда, содержащая внутри воду в жидкой фазе. Что массу сосульки можно просто зная диаметр, длину, и плотность льда, и где в числителе, естественно, появляется, поскольку наши расчеты основывались на полусферической капле, с заданным диаметром в 4, 9 миллиметра.

Мы предложили нашу формулу из страха перед льдом. В то время, когда в Японии произошла

целая серия несчастных случаев с сосульками, которые падали в железнодорожных туннелях, пробивая крыши вагонов. Над нашими головами самое больше количество самых больших сосулек, которые я когда-либо видела. Инстинктивно меня тянет назад, но я чувствую Тёрка и не двигаюсь с места.

Помещение похоже на церковь. Над нами по меньшей мере на 15 метров поднимаются своды, которые, должно быть, доходят почти до поверхности ледника. Внутри по периметру купола разломы, где был обвал, и отломившийся лед покрыл пол, наполнив пещеру, а потом снова растаял.

В то время, когда Мориц отсутствовал, когда у нас не было денег на керосин, или в те короткие периоды, когда мы ждали судно, моя мать ставила на зеркало парафиновые свечи. Даже при малом количестве свечей отражательный эффект был замечательным. Тот же эффект дает луч от фонарика, укрепленного у Тёрка на лбу. Он держит его неподвижно, чтобы дать мне время, и свет улавливается льдом, усиливается и отражается, словно поднимающийся вверх дождь лучей.

Длинные ледяные копы, кажется, парят. Призматически сверкая, они стекают с потолка, устремляясь к земле. Может быть, их десяток тысяч, может быть, больше. Некоторые из них соединены, словно цепи опрокинутых вниз готических соборов, другие расположены тесно, точно маленькие иголки на игольнице из горного хрусталя.

Под ними — озеро. Метров 30 в диаметре. В середине его лежит камень. Черный, неподвижный. Вода вокруг него напоминает молоко из-за растворенных в глетчерном льде пузырьков. В помещении нет другого запаха, кроме запаха льда, создающего легкое жжение в горле. Единственный звук — это звук падающих капель. С большими интервалами времени. Потолок находится на таком расстоянии от камня, что достигается равновесие. Здесь слегка подмораживает и одновременно лед немного подтаивает. Циркуляция воды минимальна. Место безжизненно.

Если бы не тепло. Оно такое же, как в снежном доме из моего детства. На фоне холодного излучения стен тепло делается соблазнительным. Хотя температура держится между нулем и пятью градусами.

Рядом с нами лежит кое-какое снаряжение. Кислородные баллоны, костюмы, ласты, гарпуны, ящик с взрывчаткой. Канат, фонарики, инструменты. Кроме нас, никого нет. Один раз скрипнул снег, как будто кто-то двигает тяжелую мебель в соседнем помещении. Но здесь нет соседних помещений. Только плотный, сжатый снег.

— Как его можно достать?

— Мы пробьем туннель, — говорит он.

Это вполне реально. Он будет длиной метров 100. И не надо будет ставить в нем подпорки. А камень сам по себе покатится по туннелю, если будет подходящий наклон.. Сайденфаден с этим справится. Катя Клаусен его заставит. А Тёрк заставит ее и механика. Именно так я смотрю на мир, с тех пор как покинула Гренландию. Как на цепь принуждений.

— Он живой? — спрашивает он тихо.

Я качаю головой, потому что не хочу в это верить. Он берется руками за фонарик. Луч его направлен теперь на снег под нашими ногами и отражается вверх. Таким образом становятся видны не отдельные сосульки, а облако парящих отблесков, словно это невесомый драгоценный

камень.

— Что будет, если червь окажется на свободе?

— Мы будем держать камень в защищенном месте.

— Вы не сможете удержать червя. Он микроскопический. Он не отвечает.

— Вы не можете знать, — говорю я. — Никто не может знать. Вы знаете о нем лишь то, что вы выяснили при помощи ваших мелких лабораторных опытов. Но ведь все же есть вероятность, что он — настоящий убийца.

Он не отвечает.

— Каков второй ответ на вопрос, почему он пока что не распространился по всему миру?

— В детстве я провел год в Гренландии, на западном побережье. Там я собирал ископаемые остатки. С тех пор я иногда возвращался к мысли о том, что некоторые из крупных, доисторических истреблений жизни могли быть вызваны паразитом. Кто знает, может быть, полярным червем. У него были бы все необходимые качества. Может быть, именно он истребил динозавров.

В голосе его слышатся шутливые нотки. Я сразу же понимаю его.

— Но ведь это неважно, так? — Да, это неважно.

Он смотрит на меня.

— Неважно, как дело обстоит на самом деле. Важно, что думают люди. Они поверят в этот камень. Ты слышала об Илье Пригожине? Бельгийский химик, получил в 77-м году Нобелевскую премию за описание диссипативных структур. Он и его ученики постоянно возвращаются к мысли о возможности возникновения жизни из неорганических веществ под воздействием энергии. Эти идеи подготовили почву. Люди ждут этого камня. Их вера и их ожидание сделают его настоящим, сделают его живым, независимо от того, как там в действительности обстоит дело. — А паразит?

— Я уже слышу первые умозрительные построения журналистов. Они напишут о том, что полярный червь представляет собой важный этап соединения камня, неорганической жизни и высших организмов. Они придут ко всем возможным выводам, которые сами по себе не имеют никакого значения. Имеют значение только те силы страха и надежды, которые будут высвобождены.

— Почему, Тёрк? Чего ты добиваешься?

— Денег, — говорит он. — Славы. Больше денег. На самом деле, не имеет никакого значения, живой он или нет. Важен его размер. Его тепло. Червь вокруг него. Это самая большая естественнонаучная сенсация этого столетия. Не цифры на листке бумаги. Не абстракции, на публикации которых в той форме, которую можно продать общественности, уходит 30 лет. Камень. Реальный и осязаемый. От которого можно отрезать кусочки и продать. Который можно сфотографировать и о котором можно снимать фильмы.

Я снова вспоминаю письмо Виктора Халкенвада. "Мальчик был изо льда", писал он. И все-таки

это не так. Холоден он лишь снаружи. Внутри скрывается страсть.

Неожиданно и мне становится все равно, живой он или нет. Неожиданно он становится символом. Символом выкристаллизовавшегося в этот момент отношения западной естественной науки к окружающему миру. Расчетливость, ненависть, надежда, страх, попытки все подвергнуть измерению. И над всем этим, сильнее любого чувства к чему-нибудь живому — страсть к деньгам.

— Вы не можете взять червя и привезти его в густонаселенную часть мира, — говорю я. — Во всяком случае, не раньше, чем вы узнаете, что он собой представляет. Вы можете вызвать катастрофу. Если он и имел глобальное распространение, то оно снова стало ограниченным, только когда он истребил своих хозяев.

Он кладет фонарик на снег. Конусообразный туннель света расходится над поверхностью воды и камнем. Остальная часть мира не существует.

— Смерть — это всегда потери. Но иногда это единственное, что может пробудить людей. Бор участвовал в создании атомной бомбы и считал, что это послужит делу мира.

Я вспоминаю, что однажды сказала Юлиана, в том момент, когда была трезва. Что не надо бояться третьей мировой войны. Людям нужна новая война, чтобы образумиться.

Сейчас я испытываю то же, что и тогда — понимаю безумие этого аргумента.

— Нельзя заставить людей обратиться к любви, низведя их до последней степени, — говорю я.

Я переносу вес тела на другую ногу и беру моток троса.

— У тебя отсутствует фантазия, Смилла. Это непростительно для естественника.

Если я смогу замахнуться веревкой, мне, быть может, удастся столкнуть его в воду. Потом я смогу убежать.

— Мальчик, — говорю я. — Исайя. Почему Лойен его обследовал? Я отступаю назад, чтобы можно было сильнее размахнуться.

— Он прыгнул в воду. Нам пришлось взять его с собой в пещеру — он боялся высоты. Отец его потерял сознание еще на поверхности. Он хотел подплыть к нему. Он совсем не боялся холодной воды — он плавал в море. Это Лойену пришла в голову мысль держать его под наблюдением. У него червь жил под кожей, не во внутренностях. Он его не беспокоил.

Вот и объяснение биопсии мышцы. Желание Лойена сделать последний и окончательный анализ. Получить сведения о судьбе паразита, когда его носитель умер.

Вода зеленоватого оттенка — умиротворяющий цвет. Только представление о смерти внушает ужас, само же явление наступает так же естественно, как и закат солнца. В Форс Бэй я однажды видела, как майор Гульбрандсен из патруля “Сириус” с помощью автомата отгонял трех американцев от медвежьей печени, зараженной трихинеллой. Это было среди бела дня, они знали, что мясо заражено, и им надо было только подождать 45 минут, пока мясо сварится. И все же они отрезали узкие полоски печени и начали есть, когда мы добрались до них. Все было таким будничным. Голубоватый оттенок мяса, их аппетит, автомат майора, их удивление.

Он протягивает руку мне за спину и берет у меня из рук моток троса, как берут острый

инструмент из рук маленького ребенка.

— Иди туда и жди.

Он освещает противоположную стену. Там начинается туннель. Я иду туда. Теперь я узнаю этот путь. Он ведет не наверх, им все кончается. Началом конца всегда был туннель. Как и началом жизни. Тёрк привел меня сюда. Все время, от самого судна он меня вел.

Только сейчас я понимаю, как он великолепно все спланировал. Он не мог сделать этого на борту. Ему все еще надо возвращаться назад, “Кронос” все еще должен когда-то войти в какой-то порт. Он не смог бы этого скрыть. Но это будет еще один случай дезертирства. Исчезновение, как и в случае исчезновения Яккельсена. Никто не видел, как я его встретила, никто не увидит, как я исчезну.

И механик не вернется назад. Он поймет, мое исчезновение он свяжет с Тёрком с такой же уверенностью, как если бы он видел нас здесь. Тёрк заставит его нырять, очевидно, он им нужен, по крайней мере для того, чтобы поместить в воду первую порцию взрывчатки. Они заставят его нырнуть, а потом он перестанет существовать. Тёрк вернется, и окажется, что произошла авария, может быть неисправность акваланга. Тёрк придумает, как это сделать.

Теперь я понимаю назначение того оборудования у озера. Механик распаковывал его, пока Тёрк говорил со мной. Поэтому он и увел меня с собой в лабораторию.

Свет от его фонарика освещает камень, отбрасывая тень на стену передо мной. Когда я вхожу в туннель, становится темнее.

Это прямоугольная, горизонтальная шахта, два метра высотой и два метра шириной. Через несколько метров она расширяется. Здесь стоит стол. На столе измерительные приборы, молочные бутылки, сушеное мясо, овсяная крупа — все 28-летнего возраста и покрыто льдом.

Я жду, пока глаза привыкнут к слабому свету льда, и иду дальше, пока все не становится черным, и даже тогда я продолжаю идти вперед, ощупывая вытянутой рукой стену. Уровень пола немного поднимается, но нет никакого движения воздуха, а значит, нет и выхода. Это тупик.

Передо мной оказывается преграда — стена льда. Здесь я останавливаюсь в ожидании.

Не слышно звука шагов, но виден свет, сначала далеко, потом ближе. Фонарик у него прикреплен на лбу. Луч света находит меня у стены и замирает. Потом он снимает фонарик. Это Верлен.

— Я показала Лукасу холодильник, — говорю я. — Когда это прибавят к убийству Яккельсена, ты получишь пожизненное заключение без права помилования.

Он останавливается на полпути между мной и светом.

— Даже если тебе оторвать руки и ноги, ты все равно найдешь способ лечь.

Он наклоняет голову, произнося себе что-то под нос. Это похоже на молитву. Потом он делает шаг ко мне.

Сначала мне кажется, что это его тень на стене, но потом я все-таки оглядываюсь. На льду

распускается роза, метра три в диаметре, нарисованная мелкими красными точками, разбрызганными по стене. Потом его ноги отрываются от земли, он раскидывает руки, поднимается в воздух на полметра, и его бросает на стену. Он застывает словно большое насекомое посреди цветка. Только тогда слышен звук — легкое шипение. В свете лежащего на земле фонаря возникает серое облако. Из облака появляется Лукас. Он не смотрит на меня. Он смотрит на Верлена. В руке он держит пневматический гарпун.

Верлен шевелится. Одной рукой он пытается нащупать что-то на спине. Где-то под лопаткой выходит тонкая, черная полоска. Металл, должно быть, особым образом легированный, поскольку его прочности хватает, чтобы удерживать тело в воздухе. Острие было на расстоянии не более полутора метров, когда Лукас выстрелил. Оно попало примерно в то же место, куда был нанесен удар Яккельсену.

Я выхожу из полосы света и прохожу мимо Лукаса.

Я иду навстречу поднимающемуся яркому белому солнцу. Когда я выхожу из туннеля, я вижу, что это горит укрепленная на штативе лампа. Они, должно быть, запустили генератор. Рядом с лампой Тёрк. Механик стоит по колено в воде. Я не сразу узнаю его. На нем большой желтый костюм с сапогами и шлемом. Я уже преодолела половину расстояния до них, когда Тёрк замечает меня. Он наклоняется. Из багажа он достает цилиндр, размером со сложенный зонтик. Механик стоит ко мне спиной. Он в шлеме, поэтому не сможет услышать меня. Сняв компас, я бросаю его в воду. Он поднимает голову и видит меня. Потом начинает отодвигать стекло шлема в сторону. Тёрк возится с зонтиком. Выдвигает ствол.

— С-смила.

Я продолжаю идти. За мной в трубе туннеля слышны гулкие шаги.

— Я нырну т-только один раз. Это нужно для завтрашней работы.

— Для нас с тобой не будет завтрашнего дня, — говорю я. — Спроси его, где Верлен.

Механик поворачивается к Тёрку. Смотрит на него и понимает.

— Мальчик, — говорю я, — почему?

Я спрашиваю из-за механика и чтобы потянуть время, а не потому, что мне самой нужен ответ. Я знаю, что случилось, так точно, как если бы я сама была с ними на крыше.

Я чувствую Тёрка, как будто он часть меня. Через него я ощущаю весь драматизм ситуации. Ему в его игре так много нужно учесть. Понять, может ли он обойтись без механика. Принять какое-то решение. И тем не менее его голос спокоен, почти печален.

— Он прыгнул.

Я продолжаю идти, пока он говорит. Он присоединяет перпендикулярно стволу длинный магазин.

— Его охватила паника.

— Почему?

— Я хотел попросить его вернуть мне магнитофонную кассету. Но он побежал, он не узнал

меня. Думал, что я чужой человек. Было темно.

Он снимает оружие с предохранителя. Механик не видит этого — он смотрит в лицо Тёрка.

— Мы поднимаемся на крышу. Он меня не видит.

— Следы, — лгу я. — Я видела следы, он обернулся. — Я кричал ему, он обернулся, но не увидел меня.

Он смотрит мне в глаза.

— Глухой, — говорю я. — Он был глухой. Он не обернулся. Он ничего не слышал.

Подо мной лед, я иду по льду по направлению к нему, как Исайя двигался прочь. Как будто я Исайя. Но теперь по пути назад. Чтобы что-то изменить. Чтобы попробовать, нет ли иной возможности.

Лукас находится в пяти метрах от Тёрка, когда тот его замечает. Он обошел камень с другой стороны. Внимание Тёрка было поделено между мной и механиком. Нельзя предусмотреть все. Даже он не может всего предусмотреть.

— Бернард мертв, — говорит Лукас.

Он держит перед собой гарпун. Он, должно быть, зарядил его снова. Гарпун кажется длинным, словно пика, на мгновение Лукас всей своей прямой и тощей фигурой напоминает героя мультфильма. На его брюках образовался ледяной панцирь. По пути к берегу он, должно быть, проваливался в воду.

— Тебя надо привлечь к ответственности, — говорит он.

Зонтик Тёрка дергается. Большая, невидимая рука разворачивает Лукаса. Раздается глухой звук выстрела, и Лукас описывает на месте пируэт. Он снова оказывается лицом к нам, но теперь у него нет левой руки. Он опускается на лед, истекая кровью.

И тут приходит в движение механик. Выходя из воды, он на короткий миг становится похож на большую рыбу, выпрыгнувшую на берег. Зонтик со звоном катится по льду. Даже без оружия прямая фигура Тёрка полна самоуверенности.

Механик настигает его. Одна желтая рукавица опускается на плечо Тёрка, другая зажимает ему рот. Потом его руки сжимаются. Когда лицо, обрамленное светлыми волосами, отклоняется назад, он склоняет свой шлем над ним, и они смотрят друг другу в глаза. Я ожидаю услышать звук отрывающихся позвонков. Звук этот должен быть не хрустом чего-то ломающегося, треском чего-то встающего на место.

Тёрк наносит удар ногой, умелое движение, направленное снаружи по дуге в лицо механика. Он попадает сбоку в шлем с тем звуком, с которым топор входит в деревянный пенёк. Желтая фигура медленно наклоняется набок и встает на колени.

Зонтик лежит передо мной на льду. Мой страх перед оружием так велик, что я даже не отталкиваю его ногой.

Механик выпрямляется. Он начинает стаскивать акваланг. Движения его замедленны, словно он астронавт в невесомости.

Тёрк бросается бежать. Я бегу за ним.

Он сможет заставить остальных уплыть. Им это не понравится. Особенно Сонне это не понравится. Но он заставит их это сделать.

Он бежит вдоль трещины. Его фонарик мигает, здесь темно. Ночью в Кваанаке я выходила на лед, чтобы принести домой куски льда из талой воды. Ночью лед гостеприимен. У меня нет фонарика, но я бегу словно по ровной дороге. Не то чтобы без труда, но уверенно. Камики касаются льда не так, как его сапоги.

Ему не так уж много надо — один единственный неосторожный шаг, и он упадет, как упал Исайя.

Белые поля, на которых остался лежать снег, образуют в темноте шее треугольники. Мы бежим через вселенную.

Я раньше его пересекаю край глетчера и спускаюсь вниз. Я хочу отрезать ему путь к моторной лодке. Он не видел и не слышал меня. И все же он знает, что я здесь.

Лед — hikuliaq, новый лед, образованный в том месте, откуда унесло старый. Он слишком толстый, чтобы можно было проплыть по нему н; моторной лодке, и слишком тонкий, чтобы идти по нему. Над ним стоит покачиваясь, белый морозный туман.

Он видит меня, или, может быть, просто видит какую-то фигуру, и вес больше удаляется от берега. Я бегу в том же направлении, но немного в стороне. Он видит, что это я. Он понимает, что у него не хватит сил догнать меня.

Судно скрыто в тумане. Он слишком забирает вправо. Когда он инстинктивно меняет направление, “Кронос” оказывается в 200 метрах позади нас. Он потерял ориентацию. Его уводит к открытой воде. Туда, где течение уменьшило лед настолько, что он стал тонким, словно пленка, словно оболочке вокруг эмбриона, а под ней море — темное и соленое, как кровь, и снизу к пленке прижимается лицо, это лицо Исайи, еще не родившегося Исайи. Он зовет Тёрка. Это Исайя тянет его к себе, или это я обхожу его со стороны, чтобы тем самым заставить его выйти на тонкий лед?

Его силы уже на исходе. Если ты не вырос среди этой природы, то она лишает тебя сил.

Может быть, через минуту лед сломается под ним. Может быть, для него будет облегчением то, что холодная вода сделает его невесомым и затянет вниз. Снизу, даже в такую ночь, лед будет бело-голубым, словно неоновый свет.

Или же он изменит направление и снова побежит вправо, через лед. Сегодня ночью температура еще больше упадет, и будет снежная буря. Он продержится в живых только несколько часов. В какой-то момент он остановится, и холод преобразует его, словно сосульку — замороженная оболочка вокруг струящейся жизни, пока и пульс тоже не затихнет, и он не превратится в одно целое с окружающим ландшафтом. Лед нельзя победить.

За нами по-прежнему остается камень, его загадка, те вопросы, которые он всколыхнул. И механик.

Где-то впереди меня медленно темнеет бегущая фигура.

Они придут и скажут мне, — Расскажи нам. Чтобы мы поняли и могли поставить точку. Они

ошибаются. Только то, что невнятно, можно закончить. Но ничего далее не последует...

mir-knigi.org